ИНОСТРАННАЯ литература

8

1965

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

ЭРВИН ШТРИТТМАТТЕР — Оле Виккоп (Продолжение) 10

КАРЛОС ФУЭНТЕС — Смерть Артемио Круса (Окончание) 85

ДЖОН Б. ПРИСТЛИ — Сэр Майкл и сэр Джордж 153

РАССКАЗЫ

ЛУАНДИНУ ВИЕЙРА, ЭЙСУКЭ НАКАДЗОНО, Р. К. НАРАЙАН, РИЧАРД РАЙВ 65

СТИХИ

ПОЭТЫ КИПРА

АХИЛЛЕАС ПИЛИОТИС, ФЕОДОСИС ПИЕРИДИС, ЭЛЛИ ПЕОНИДУ, МИХАЛИС ПАСИАРДИС 3

КРИТИКА

Е. КНИПОВИЧ — Художник и история 205

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

ОБ ИСКУССТВЕ РАССКАЗА

КОБО АБЭ, КЭНДЗАБУРО ОЭ, ХУАН БОШ 220

8

АВГУСТ

1965

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
Москва

ЧТО ЧИТАЮТ СЕГОДНЯ

МАРТИН НАГ — Куда идет норвежская литература? 234

КАЛЕНДАРЬ «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

БАРБЮС СЕГОДНЯ — Письма французских писателей (Публикация Ф. НАРКИРЬЕРА) 236

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ 239

УЭНО МАКОТО — Чтобы потомки помнили... (Послесловие Н. Н. МИХАЙЛОВА) 239

ОЧЕРКИ

ЭРИК ЛУНДКВИСТ — Мать-Индия (Главы из книги) 247

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

Вадим Соколов — Человек на перекрестке. ◇ А. Тэн — У истоков корейской художественной прозы 264

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Т. Балашова — Трагическое соло. ◇ О. Малевич — Традиции реализма 267

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

(Хроника) 271

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА 286

НА ОБЛОЖКЕ: Работа мексиканского художника Давида Альфаро СИКЕЙРОСА «К будущему».

Поэты Кипра

АХИЛЛЕАС ПИЛИОТИС

Смерть певца

Когда мы были детьми,
мы пели без слов.
Сами не знали — о чем.
Пели о чем-то *о том*.
Очень хотелось петь
песни о чем-то о том.
Взрослые нас понимали.
На руки нас поднимали.
Молча качали плавно.
И на щеках у взрослых
маковым лепестком песня о том
проступала.
Мало-помалу
потом
они начинали петь.

Теперь мы выросли.
Теперь научились петь.
А песня оборвалась.

Как же нам песню вернуть?
Песню, хотя бы без слов.
Даже она — без слов — к нам не
идет на уста.
Видимо,
что-то стряслось с сердцем нашим,
но что?
Что ж это сделали с ним?

Когда мы были детьми,
пока мы не знали ран,
мы что-то успели сказать,
что-то о том,
но вот...

Мы открываем рот.
Слышите — все не о том:
сгустки кровавые — ртом,
крики кровавые — ртом,
ненависть,
гнев
и боль.

Что же нам остается?
Плакать мы не хотим.
Мы не можем кричать.
Нет сил молчать.
Что же нам остается?

Стоим и глядим вокруг.
Идем по земле, спотыкаясь,
ногами опознавая
дорог и улиц приметы:
вот здесь мы когда-то шагали,
здесь падали,
здесь вставали...

Стоим и глядим вокруг:
обломки камней, деревьев,
клочья и тлен одежды,
обрывки надежды,
веры,
обрывки... обломки...

Когда-то
мы веру сжимали, как древко,
как знамя в разгаре боя,
прятали на груди...

Куда мы теперь идем?
Куда мы бредем, спотыкаясь?
Плетемся, не понимая,
куда выводит дорога.
Вот пень, напоенный кровью.

Мы так этот пень поили!
Как поят телка молоком.

И все же он пнем остался,
не вырос, как мы хотели,
в дерево нашей свободы.

Чего же теперь мы ждем?
Нарядные люди напрасно
бродят по побережью,
поглядывая на эстраду,
надеясь услышать поэта.

Напрасно мы ищем поэта.
Поэт со стихами — *про это* —
умер,
место пустует.
Места поэтов свободны.
Места их давно зияют
и не болят —
как гнезда
выкрошенных зубов.

Что же нам остается?
Плакать мы не хотим.
Мы не можем кричать.
Нет сил молчать.
Что же нам остается?!

Что будет с нами?
Что будем делать?
Кто о нашей боли,
кто о нашем горе
расскажет?.. Идем, спотыкаясь.
Ищем. На каждом шагу —
только обломки, обрывки...
люди — с пустыми руками.
Все говорит нам: «Оставьте!»
Все говорит нам: «Напрасно!»
Все говорит о смерти
поэта... Но мы-то знаем:
нет сил молчать!
Значит — заговорим!
Значит — сможем запеть
песню нового дня...
Обрывки, что треплет ветер,
обломки,
что крошит ветер,
швыряет в закрытые ставни
наших слепых домов,
эти обрывки —
отрывки,
эти обломки — обложки,
это — вечные книжки,
это — наши мечты...

Перевод с греческого НИКОЛАЯ ПАНЧЕНКО

ФЕОДОСИС ПИЕРИДИС

Жажда

Суров пейзаж. Белесы каменные глыбы.
Земля — вся в трещинах — давно уже не помнит,
что был когда-то дождь.

Редкие клочья зелени — теперь уж не зеленой —
не сохранили ни крупицы хлорофилла
с тех пор, когда прошел и позабылся дождь.

Суров пейзаж. Суровы козы,
бесцельно топчущие голый камень.
Суров, как мумия, иссохший пес.
Ни лаять, ни вилять хвостом не может,
не тратит сил на тщетные движения
и сберегает жалкие усилия
только на то, чтоб удержаться в жизни.

Суров мужчина, в центре, над пейзажем,
окаменевший на белесом камне.
Еще один безводный, худосочный куст.
Ненужный сторож при послушном стаде —
нет сил бежать и некуда бежать.

Мужчина, не забывший подсчитать
все дни и месяцы, что миновали
с тех пор, когда прошел последний дождь.

Отдаленная деревушка

Проносятся автомобили, не оглядываясь,
не удостаивая взглядом деревушку,
что притаилась в глубине пейзажа.
Она им кажется невзрачной, неприметной.
Раз обошли ее топографы,
не полоснули лезвием дороги,
уберегли от столь целебной раны —
пусть радуется, глядя издалека,
как мчатся быстрые автомобили,
пусть восхищается.
И пусть живет идиллией крестьянской старины,
волнующей поэтов и этнографов.

Но та деревня в глубине пейзажа —
не иллюстрация, не экспонат музея.
Там люди.

Кое-кто уже познал себя.
А кто-то познает сию минуту.

Перевод с греческого С. ИЛЬИНСКОЙ

Есть у меня брат...

Есть у меня брат... В Африке у меня брат.
Но не в оазисе, нет! Есть у меня брат.
Прутья в его окне тесно переплелись.
Но не лианы, нет! Прямо из черных стен
прутья эти растут. Ржавчиной прутья цветут.
А за окном — песок.
И на зубах — песок.
И из окна — рука, добрая, как ручеек,
выросшая здесь, в песках, лилии белой цветы.
Она орошает цветы, пока над запястьем ее
пульсирует ручеек.

Просит меня брат, чтобы я не оставил его, чтобы я не забыл
о нем,
чтобы я не позволил забыть
о нем и о белых цветах.

Звали его — Юзеф.
Как теперь его там зовут?
Каким заклеймили клеймом? Номером каким нарекли?
Чтобы исчез человек. Чтоб и тюремщик не смог
даже подумать о том, что он — человек,
что дом был у него и дочь;
что сам он взрашен в песках,
чтобы нести весну — всем!
И тюремщикам всем.

Есть у меня брат на Эгине. Но не на той, что в цветах.
На той, что цветет проклятьями, как бородавками — жаба.
Есть на Эгине тюрьма. Братья наши — в тюрьме.
Они истлеют в тюрьме, если тюрьму не открыть!
Дважды ее черту не пересек никто.

Есть у меня брат. Звали его Тонис. Звали его Георгос.
Теперь я не знаю, как
зовут его... и в лицо
мне его не узнать. Знаю только одно,
знаю — духом его
стены тюрьмы кричат: «Не забывай о нем!»
Не позволяй забыть: брат твой горит огнем —
факелом — над тобой,
и над твоей борьбой,
и над людской судьбой.

Есть у меня в Испании брат.
Звали Энрико его. Теперь я не знаю — как!
Жив ли он или нет. И у какой тюрьмы
в землю упало зерном верное сердце его —
ночью, когда темно:
чтоб не узрела заря,
чтоб не обмыла роса.

Есть у меня брат
во всех темницах земли,
на каждой каторге есть, в каждой могиле, как весть
о том, что везде — семена
ждут, чтоб пришла весна
ко всем...
И к тюремщикам всем.

Есть у меня брат, который зовет меня,
есть у меня брат, который мне смотрит в глаза
и ждет: что же стану я делать?..

Другие пусть пишут стихи.

Есть у меня брат.
Я губы ему даю: пусть говорит.
Есть у меня брат.
Я сердце ему даю: пусть горит
факелом — над тобой
и над твоей судьбой.

ЭЛЛИ ПЕОНИДУ

Кипр

Спускаются ветры с севера.
Поднимаются ветры с юга.
Над Кипром встречаются с ветрами
запада и востока.
При встрече они замирают,
привалившись друг к другу
плечами,
и устраивают недолгий совет.
Потом разлетаются ветры,
захватив с собою на память
сияющий образ Кипра —
образ открытой ладони,
ладони, повернутой к солнцу,
готовой с каждой ладонью
слиться в рукопожатье.

Первый дождь

Слеза скатилась по стеклу. Слеза!
Другие капли... были просто капли.
Обыкновенные осенние дождинки.
Но первая из них была слеза. Я знаю:
слеза скатилась по стеклу. Слеза.
Быть может, девушка, что надо мной живет,
во след любви слезинку обронила.
А может быть, огромную слезу —
не по себе, но по размеру горя —
во след поклаже, выпавшей из лапок,
исторг из сердца рыжий муравей.

Слеза скатилась, первая слеза:
еще одно
слезой исходит лето...

Камень в Салониках

Григорису Ламбракису

В Салониках раскололся камень.
От этого треска
до самых основ задрожала Эллада,
как стол, у которого
отпиливают ножку.

В Салониках развалился камень.
Но вот он:
кровь наша — камень в Салониках,
наша пища — камень в Салониках,
наши книги — камень в Салониках.

Афины, мне не забыть тот вечер,
когда вы не спали: не стало его.
Конец —
он всегда означает начало:
конец и начало
живут друг в друге.

Немая толпа с кулаками в карманах.
Пустынные улицы
в траурных рамках.
В Салониках раскололся камень!
Окаменели руки Эллады —
сжатые кулаки в карманах...

Ожидание

Нельзя так безучастно подчиняться
кровавому течению времен!
Похожи мы на детские ведерки,
забытые в песке,
на солнцепеке.
Наполненные морем
и дождем.

Но до чего же в самом деле нас
преследует инерция, привычка!
Один у времени попросит карандаш,
чтоб записать двустишье о закате,
другой укладывает аккуратно пули,
одну к другой,
в коробочку,
как прежде
укладывал, разглаживая, марки.
А с неба свесилась набрякшая луна.
И тоже ждет. И не проронит слова.

А где-то девушка сейчас, наверно, вяжет.
Глаза бредут за стрелками часов.
Мысль мечется, летит и ускользает
в дверную щелку.
Сколько же еще
возьмет часов вязанье-ожиданье?
Ну, вот и день — еще один — ушел.
Восточный луч объявит новый день, сегодняшний.
А, может быть, сегодня...

Перевод с греческого НИКОЛАЯ ПАНЧЕНКО

МИХАЛИС ПАСИАРДИС

Тот, кто пал

Он был молод. Юноша с открытой грудью,
смуглой грудью, оттеняющей белизну рубашки.
В то утро
он оделся, как обычно, очень тщательно,
причесался перед зеркалом, как обычно.
Только очень веселы
были у него глаза. Очень веселы.

Будто у ворот ждала его любимая,
будто за воротами ожидало счастье,
а еще подальше —
ждал Иисус Христос,
как при втором пришествии.

А была там ты.
И ты ждала его, Родина.

Весна, 1964

Весна не кажет глаз у нас на родине,
ползет, к земле приникнув,
словно прячется,
ползет, как малое дитя,
ходить неученное.
На улицах гремит многоголосый клич
и песнь товарищей: «Привет тебе, Свобода,
златая лестница к воротам мира...»
Разгневанные отблески грозы
сулят другую, новую весну.
Весну грядущую.

Убитый ребенок

Чуть справа, над бровью, открылась рана,
и вылился свет его двенадцати лет.
И смотрят глаза его
полуоткрытые,
как два обманутых солнца,
веривших в доброту мира
и все еще верящих.
О, не улыбайся, дитя,
через порог смерти,
будто смерти не было
и ты по-прежнему
играешь в прятки в своем переулке.
Мы и так пред тобой в долгу.
Не улыбайся, дитя!
И без того долг велик.

Перевод с греческого С. ИЛЬИНСКОЙ

ЭРВИН ШТРИТТМАТТЕР

ОЛЕ БИНКОН

РОМАН

Перевод с немецкого
Н. МАН и С. ФРИДЛЯНД

58

В лесной лачуге Дюрров на самом пороге имеется впадинка. Четыре или пять поколений лесных рабочих выросли в этом дощатом домишке. Впадинку протоптали тяжелые сапоги лесорубов, деревянные башмаки и босые детские ножонки. Полы в комнате белы, как белая скатерть; даже гвозди, которыми прибиты доски, блестят, словно начищенные наждаком.

Эмма Дюрр не может все время плакать да плакать. Товарищи, вы же знаете, истинная печаль кроется глубоко. После смерти Антона она работает в женской лесной бригаде. Тяжелый труд в жару и непогоду.

Дома ребятишки сами стряпают себе обед как придется. Случается, что Антон Второй, вообще-то расторопный парнишка, забудет посолить картошку или посахарить ягодный суп. Эмма Вторая морщит губы.

— Что же это такое?

Антон Второй с великолепной небрежностью, совсем как взрослый, отвечает:

— Ты вспомни-ка тысяча девятьсот сорок пятый год!

Эмма Вторая вдумывается в названную дату, но ни суп, ни картошка от этого вкуснее не становятся. Ребята начинают пререкаться, опрокидывают горшок с супом, и оба, разными дорогами, бегут к матери в лес — жаловаться.

— Погодите, погодите,— говорит Эмма,— вот приду домой и наварю вам супу из розог да березовой каши!

Дети хохочут. Согласие в их маленьком мирке восстановлено.

Сейчас весна, и надо обрабатывать большой огород за домом; на то, что потребительская кооперация обеспечит всю деревню овощами, рассчитывать не приходится. Но не только в огороде недостает Эмме Антона. По вечерам не с кем словом перекинуться, некого приголубить.

Ах, какая жизнь была у них при Антоне! То и дело отворялась дверь, товарищи приходили, спрашивали: «Как мы тут поступим? Что ты скажешь относительно общего положения, Антон?»

Продолжение. Начало в № 7.

Антон думает и с каждым делится тем, что надумал.

Эмме так нужен сейчас совет, но никто не стучится в дверь по вечерам, никто не заходит в комнату.

Но нет! Все-таки в этот вечер кто-то дергает ручку двери, и в лачуге вдруг веет прежним воздухом. Оле Бинкоп, бледный, все еще нездоровый, тяжело дыша, входит в низкую комнатушку. Он садится, и стул, источенный червяком, скрипит под ним.

Эмма:

— Я своим глазам не верю!

Что же дальше? Оле смотрит на Эмму, и Эмма смотрит на Оле. Ей вспоминается время, когда Антон сидел вон тут за столом и говорил то, что нельзя было не сказать. Две слезы катятся по ее иссиня-красным щечкам. Оле в смущении почесывает затылок.

Везде на свете есть вода, но если она сочится из глаз страдающего человека, она сильнее, чем когда вращает турбины, ибо ток, ею рождаемый,— человеческое сострадание. А сострадание — дитя жизни, и у него две руки. Ласкающей рукой оно ничего сделать не в состоянии, рукою действенной оно устраняет причины страданий.

Проходит минуты две, слышно, как дети перешептываются в соседней спаленке. Первым собирается с духом Оле. Черт подери, он пришел не с пустыми руками. Времени ему терять нельзя.

— Может, ты чуточку повременишь с твоими слезами, Эмма, сейчас будет собрание.

— Собрание? Где?

Здесь, в доме, как в прежние времена, когда то, что обсуждалось, не должно было тотчас же стать достоянием гласности.

— Партийное собрание?

Пожалуй, да, скорее всего партийное. А куда вообще после смерти Антона подевалась партгруппа? Что-то нигде ее не видно. Не может ли Эмма взять на себя обязанности секретаря и, таким образом, продолжить дело Антона? Во всяком случае собрание состоится, и довольно-таки интересное, он готов об заклад побиться, что Эмме будет чему порадоваться сегодня.

— Ну, а пока что помолчи!

Эмма едва успевает застелить стол куском красной материи, надеть кофточку понаряднее и подколоть волосы, как минута в минуту, точно бой часов на церковной башне, появляется Герман Вейхельт в своем черном воскресном костюме.

— Господь да благословит вас!

— Так, так,— говорит Эмма,— собрание адвентистов седьмого дня — так, что ли? Очень мило. Это ты ему велел прийти?

Оле не успевает ответить. Дверь опять отворяется: входит Вильм Хольтен, рыжеволосый, с ребяческими доверчивыми глазами, и усаживается на дровяной ящик возле плиты.

Франц Буммель вталкивает в комнату свою супругу. С его кучерской ливреи выведены все пятна, а на Софи красуется чудом сохранившееся во все эти годы подвенечное платье.

Оле Бинкоп почтительно приветствует всю эту изящную публику и опять садится на свое место под висячей лампой. У него все еще бледное лицо человека, долго жившего взаперти, но глаза блестят, как в сумасшедшие годы юности.

Все они вместе — это новое крестьянское содружество во главе с Оле, его учредителем, и ничего не подозревающей Эммой в роли гостеприимной хозяйки.

Оле стучит черенком своего перочинного ножа по маленькой вазочке. В вазочке несколько ландышей из палисадника Эммы Дюрр. Собрание

считается открытым. Вильм Хольтен сейчас доложит о своем пребывании в России.

— Я?

— Да. Ты член нового содружества или нет?

Вильм вскакивает и что-то лепечет. От смущения он хватает кочергу и размахивает ею. Эмма берет кочергу у него из рук.

— Ты мне сейчас лампу разобьешь.

— Нет, не разобью! — Вильму необходимо что-то держать в руке, когда он говорит.

Вильм рассказывает о России, говорит о гигантских пространствах пахотной земли, о стадах, неисчислимых, как облака в небе. Вильм жил там в качестве военнопленного, но работал, как местный житель. Женщины вытягивают шеи.

— Что же у них в кухнях — водопровод?

— Нет, колодцы во дворах.

— Вода и есть вода, не будем отвлекаться.— Оле Бинкоп — строгий председатель собрания.

Вильм рассказывает о деревенском хоре, о танцах и песнях по вечерам под липами, которые оправились после войны и опять зеленеют. «Вечерний звон, вечерний звон!» и «Однозвучно гремит колокольчик...»

Франц Буммель его прерывает:

— Ну, на такое дело я не гожусь. Голос неподходящий.

Оле стучит по вазочке. Антон Второй вбегает в зал заседаний и вместо нее ставит на стол елочный колокольчик.

Герман Вейхельт поднимает руку.

— А как там насчет бога, в этой самой России?

Вильм подыскивает ответ:

— Как, значит, они относятся к господу богу? Они ходят в церковь, как ты, или не ходят, как я! У них бог добровольный.

Герман:

— Говорят, у русских священники, точно бабы, носят длинные волосы. Это же открытая дорога греху!

Оле звонит в елочный колокольчик.

— Ближе к делу!

В эту самую минуту дверь распахивается и входит бургомистр Нитнагель. Кончики его усов торчат, как навакшенные.

Все смущены. Бургомистра Нитнагеля, этого представителя власти, сюда не звали.

Нитнагель оглядывается в поисках свободного стула.

— Разрешается присесть или как?

— Ты можешь быть нашим гостем, а можешь и не быть. Что надо сделать, все равно будет сделано.

Нитнагель садится на Эммину ножную скамеечку. Теперь ему приходится смотреть на стол снизу вверх — как из погреба. Что ж, разными путями идет человек... Собравшейся здесь компании нечего опасаться, напротив, все они должны приветствовать, что он сидит здесь, слушает их, участвует в разговорах и, таким образом, вроде как собственными руками душит всякие слухи о будто бы зарождающихся антипартийных настроениях.

Эмма, хозяйка дома, вдруг выходит из себя.

— Антипартийные настроения? Тут, конечно, без тебя с твоим сопливым носом не обошлось. Все, что сейчас делается, делается по заветам Антона, если мои уши умеют слышать. А уж Антона обвинять в антипартийных настроениях — все равно что на Ленина тень наводить, потому что у него, и только у него, учился Антон!

Нитнагель тихо сидит на своей скамеечке. Сидит в погребе, его уже почти нет здесь. И надо же, опять его не признают! Это его секретарша

Фрида Симсон виновата, она его послала на недозволенное собрание в качестве наблюдателя. «Адам, старый дурень, будь бдителен!»

Из-за кулис выходит главное действующее лицо — Оле. Вот он стоит в своей куртке, статный, брезентово-зеленый. Не отвлекаться разговорами о побочных делах вроде деревенского хора, церкви и попов! В Блюменау нарождается нечто новое и нарождается, право же, не от дурных родителей. Оле не скупится на краски и цифры. Машины, доверху груженные зерном, проезжают по убогой комнатушке, грозя сорвать дощатый потолок. Огромные стада топочут по прогибающимся половицам.

Но вдруг благочестивый Герман Вейхельт поднимает руку и бесстрашно становится на пути будущего стада:

— Не забудь, Оле, что мне полагаются две кровати. Желательно одна над другой!

Следующим Оле Бинкопа перебивает Франц Буммель:

— Почему ты не сказал, что торговля лошадьми и карточная игра будут разрешены в этом новом ферейне?

На радость детям, перешептывающимся в спальне, все чаще и дольше звенит елочный колокольчик, тоненьким стеклянным своим голоском напоминая взрослым — ближе к делу.

Наконец собравшиеся переходят к конкретному разговору: они устанавливают, каковы будут земельные владения нового крестьянского содружества.

Тут долго считать нет надобности. Владения Оле и Франца Буммеля составляют вкупе сорок девять моргенов пахотной земли, лугов и леса. Меньше, чем середняцкое землевладение.

Бургомистра Нитнагеля вдруг осеняет: так вот зачем он сюда явился! Удобнейший случай подворачивается ему — так путнику, заблудившемуся в лабиринте, является добрая фея. Он несет ответственность за неделенное пространство возле деревни, называемое *земельный фонд*. *Земельный фонд* — это более звучное и бюрократическое обозначение пустыря. Его винят за то, что земля пропадает даром, а великолепное цветение сорняков на пустыре вызывает порицание районного управления.

Каждый год Нитнагель и Оле, председатель «Крестьянской помощи», ходили по дворам, упрашивая крестьян хоть как-нибудь возделать общественную землю, а те когда соглашались, а когда и нет, в зависимости от своего отношения к бургомистру в данный момент.

И вдруг подвернулся этот великолепный случай передать общественную землю в твердые, надежные и рачительные руки Оле Бинкопа.

Нитнагель встает с ножной скамеечки, так сказать, вылезает из погреба, является народу и как по писаному доказывает: надо извлечь пользу из земельного фонда.

Вильм Хольтен вскакивает.

— Мне двадцать моргенов! — Он не робкого десятка. И бывал в колхозах, для которых двадцать моргенов все равно что пригоршня земли.

Двадцать моргенов земли Герману Вейхельту, без вступления в колхоз.

— Чего тут скупиться, земельные резервы неисчерпаемы!

— Двадцать моргенов Адаму Нитнагелю! — кричит Франц Буммель из-за печки.— Пускай и власти поработают!

Нитнагель крутится, как карась на сковороде, потом вдруг обеими руками хватается за усы и объявляет о своем согласии.

— Ур-ра!

Распределение пустыря продолжается.

— Двадцать моргенов для Эммы Дюрр,— восклицает Оле.

Эмма раскачивается из стороны в сторону, так что шпилька выскальзывает из ее пучка.

— Нет! Нет! Ничего мне не надо!

— Разве не таково было последнее желание Антона?

Молчание. Тишина, как бездонная яма. Все уставились на Эмму. Шпильки в старомодном пучке товарища Эммы блестят, наверно, оттого, что впопыхах она не в меру напомадилась.

— Предыдущий оратор говорил о последнем желании Антона. Последней его волей и последним желанием было, чтобы предыдущий оратор навел порядок у себя дома. Я не вижу среди нас Аннгрет, или она куда-нибудь спряталась?

59

Серые дождевые нити связывают небо с землей. Самая подходящая погода для слухов и сплетен:

От Оле ушла жена. Жизнь его больше не радует. Он раздаривает все, что у него есть. Кому что надо — торопитесь!

Удар кнутовищем не остался для Оле без последствий. Он возомнил себя пророком и хочет через игольное ушко пролезть в царствие небесное.

Бинкоп получил задание из России. Он должен сколотить колхоз и насильственно спарить всех крестьян.

Слухи, выползшие из дома лесопильщика и из церковного совета, доходят до несколько крупноватых ушей Фриды Симсон. Что там затевается за спиной партии?

Партия — это Фрида Симсон. За всеми другими партийцами числятся уклоны, такие или эдакие. Фрида для партии в Блюменау значит то же, что для геометров всего мира эталонный метр, хранящийся в Париже в глубоком подвале.

Сейчас прозвонит будильник, и Фриде стукнет тридцать лет. Она не красивая и не уродливая, скорее пресная, чем волнующая. Все бы это еще куда ни шло, и Фрида давно была бы замужем, не страдай она манией — не преследования, конечно, а поучения.

Вловец Реттих из Антоновой бригады лесорубов готов был к ней посвататься. Он тайком с нею встретился и зажал ей рот поцелуем.

Фрида немедленно ускакала. Лесоруб снова наткнулся на нее возле кооперативной лавки.

— Ну что, не получится из нас пары, а?

— Нет, ты недостаточно подготовлен.

— Это как так?

— Идеологически.

— Я буду ходить на партучебу, ежели она у нас будет.

— Но ты жуешь табак.

— Что с того? Уменьшает опасность лесного пожара.

Вполне логичное замечание, но Фрида все же принялась обрабатывать Реттиха, не скупясь на такие выражения, как *индифферентность* и *обывательская психология*.

Реттих отряхивался, точно собака после купанья, ибо непонятных ему штампов не терпел, как Фрида не терпела жевательного табака.

— Враждовать не будем, но и супругов из нас не получится.

Может быть, Фриде следовало стать учительницей? Нет, материнской теплоты в ней ни на грош, а дети не переносят занудливых учителей.

Перед Фридой открывались перспективы навечно остаться девственной ланью, если не слишком бездушно толковать это понятие.

В большую войну Фрида служила машинисткой в Майбергской казарме. Она не отрицает, что любила военную форму, и, чем больше на форме было серебряных галунов и жестяных звезд — тем горячее.

Под конец войны девушка убедилась, что разукрашенные серебром и золотом мундиры надеты отнюдь не на самых лучших из парней. Потом отец Фриды погиб на фронте, и это заставило ее призадуматься. Когда солдат из Майбергской казармы отправили спасать свою уже сильно уменьшившуюся в размерах родину, она к ним не присоединилась, а упросила свою мать, рабочую в лесу, спрятать ее на островке среди болот.

После большой войны Фрида сумела стать полезной в деревне. Она, не жалея сил, помогала устранять разрушения, усердно занималась переселенцами и вела протоколы при разделе земли, а также на многочисленных и тогда необходимых заседаниях. Так Фрида вросла в партийную работу. Антон Дюрр по-отечески ее поощрял. Вследствие долгого общения с «Германии отважными сынами» Фрида усвоила своего рода разбойничий жаргон. «Ну, этого мы живо пришили». Антон затыкал себе уши: «Скажи, на милость, ты женщина или солдафон?»

Фрида не понимала, чего ему от нее надо, но обещала исправиться. Антон и его товарищи послали ее в районную партийную школу. Переменится человек — переменится и его речь.

Из районной партийной школы Фрида вернулась, не усвоив другой манеры выражаться, зато сделалась непревзойденным мастером по части заучивания наизусть учебных и руководящих лозунгов и в любое время дня и ночи могла перечислить все четыре первоосновы диалектики и весь прочий тяжеловесный дискуссионный материал.

В своем неуемном рвении всех поучать Фрида накинулась и на Вильма Хольтена, жильца и нахлебника своей матери. Под ее руководством Вильм читал ученые партийные книжки; он очень старался и глупее, конечно, не стал, но, когда Фрида учиняла ему экзамен, его ответы отклонялись от печатного текста: все выученное он передавал своими словами.

Фрида недовольно его перебивала:

— Ты подумай, что получится, если каждый неумный товарищ начнет бесчестить слова классиков своим собственным каляканьем?

Упрямый Вильм не желал ее слушаться и забросил учебники.

Вскоре спотыкающиеся речи Антона уже не выдерживали никакого сравнения с гладкими фразами Фриды, приправленными *воинственной нотой* разбойничьего жаргона.

Чувствительный Антон страдал. Не по сердцу ему были дрессированные люди. Он их воспринимал как печальную деформацию высшего, что есть на земле.

— Партия — это интернациональное содружество, призванное уничтожить устарелый общественный строй!

— Совершенно правильно,— подтверждала Фрида, но говорила и действовала так, словно партия была содружеством молельщиков и кающихся грешников.

Фрида сделалась секретарем муниципалитета и там поучала Адама Нитнагеля, старого социал-демократа, когда никого другого под рукой не оказывалось. Покуда был жив Антон, Фрида оставалась в муниципалитете и была там весьма полезна — секретарь с надежной памятью как нельзя лучше подходит для такого дела.

Бургомистр Нитнагель диктует отчет. Живые слова на пишущей машинке Фриды сжимаются в бюрократические ледышки.

Оле Ханзен, по прозванию Бинкоп, организует крестьянское содружество нового типа...

Фрида быстро хватает сигарету, два раза жадно затягивается и выстукивает: «Оле Ханзен, по прозванию Бинкоп, приложил существенные усилия к проведению подготовительных мероприятий для организации...»

Она останавливается:

— Крестьянское содружество нового типа, это еще что за штука?

— Посмотрим, что из него получится.

— А разрешенная ли это организация?

— Не запрещенная.

Фрида удивлена. Похоже, что Нитнагель опять вкручивает ей свои социал-демократические шарики.

— Мое дело тебя предупредить, Адам! Смотри, сядешь в калошу, а там и вовсе накроешься. Боюсь, как бы тебе не влипнуть, дражайший Адам!

Нитнагель уже отвык считать этот тон неподобающим. У Фриды, в конце концов, есть свои хорошие стороны, а как машинистка она сущий клад. Стоит Нитнагелю сказать несколько отрывочных слов, как Фрида уже перевела их на официальный язык и отстукала на машинке без всяких там социал-демократических выкрутасов.

После беседы с Нитнагелем рот у Фриды становится тоненьким штришком. Не имеет смысла вступать в дискуссию с этим социал-демократическим дураком. В Блюменау затеваются антипартийные интриги. Она, Фрида, должна что-то предпринять.

60

Ранняя весна охорашивается, надевает на себя ожерелье из солнечных дней. Сходит последний серый снег в придорожных канавах. Поля напоены водой.

Потом вдруг налетает мартовский ветер. Деревья беспокойно шумят. Под корой у них уже пульсирует сок, запасы для летней жизни.

Беспокойство овладевает и людьми. Они ходят по полевым дорогам, прикидывают, пробуют, может ли уже земля выдержать тяжесть плуга. Начинается весенняя страда.

Ни угроза Фриды Симсон, ни отказ Эммы Дюрр не дошли до Оле. У него вид изобретателя и обращенный вовнутрь взгляд, все его мысли и чувства устремлены к одной цели. Сейчас самое важное — доказать полезность своего изобретения.

Что сказать об Эмме? Вечером с корзиной в руках она входит в его убогую спальню, вынимает из корзины шерстяной платок, а из платка горшок. В горшке дымится суп.

— Что ты выдумала, Эмма? У меня же все есть!

— Как у мыши в кузне: утром, в обед и в ужин — подковы да железные брусья! Нет, нет, тут и спорить нечего! — Готовит ли Эмма по вечерам на троих или пятерых, это вышестоящих лиц не касается. Но Оле и его жилец Герман могли бы сэкономить ей дорогу сюда и каждый вечер приходить ужинать к ней. Конечно, ужин будет не бог весть какой роскошный, но досыта она их накормит, а то ведь известно, сухая ложка рот дерет.

— Ладно, даром слов не трать. До свиданья!

За ночь на сирени лопнули почки, обнажив нежные листики. Весна еще на шаг продвинулась вперед. Ветер засеял нивы мартовской пылью, словно он за ночь начитался соответствующих циркуляров о севе.

Крестьяне из содружества собирают ил. Невозможно с двух хозяйств — Бинкопа и Буммеля — напастись навоза на все земли, отныне находящиеся во владении нового крестьянского содружества. Гниющие

водоросли и грязь, выплюнутая озером,— эффективнейшее удобрение. Оле отлично в этом разбирается. Волей-неволей.

Оле, Софи Буммель и Вильм Хольтен превратились в каких-то болотных чертей. Они сваливают скользкий ил в кучи на берегу озера, не позволяя себе даже небольшой передышки.

Франц Буммель и Герман Вейхельт соревнуются в возке ила. Если Францу на ладной кобылке удается обогнать Германа, в чью телегу запряжен здоровенный мерин, он показывает длинный нос своему благочестивому собрату. Без такой забавы Буммель, пожалуй, и не вынес бы однообразия работы.

Коренные крестьяне и те, что себя за таковых выдают, отпускают злые шуточки. Бинкоп перестраивает мир с самого основания. Сначала разделывается с илом! Завещание Антона Дюрра.

В самый разгар работ прибегает Антон Второй: трактор пригнали, сейчас начнут пахоту. Оле бросает работу, мчится в деревню и вступает в переговоры с трактористом:

— Прошу вас, дорогой мой коллега, сделаем маленькую перестановку.— Он хочет, чтобы тот сначала перевез ил на поле. Ни одна борозда не должна остаться без удобрений.

— Ил возить? — Его прислали сюда пахать на среднюю глубину и выполнять норму. Точка!

Оле дипломатично и льстиво:

— Крестьяне из содружества очень тебя просят, коллега!

— Из содружества? Это еще что за штука?

Оле велит Антону Второму сбегать за пивом. Бутылки стукаются одна о другую. Ваше здоровье! Тракторист становится сговорчивее.

Они едут к озеру. Там идет форменная потасовка. Франц Буммель ссорится с рыбаком, братом Аннгрет.

— Где ж это видано, без разрешения распоряжаться чужим добром?

— Это золото хозяина не имеет.

Рыбак на него замахивается:

— Я хозяин над илом!

— Так на ж тебе! — кричит Буммель, и пригоршня ила шлепается о живот рыбака. Вторая летит ему в физиономию.

Оле пресекает рукопашную. Рыбак сплевывает и разражается бранью. Этого еще недоставало! Он не позволит истреблять мальков. Он будет жаловаться.

Рыбак приводит народного полицейского Мартена. Мартену не по плечу роль царя Соломона. Он просит товарища Бинкопа прекратить вывоз ила. Рыбак обязан выполнять норму по рыбосдаче, он тоже несет ответственность за это дело. Во всем разберется муниципалитет. Некоторое время Мартен еще охраняет прибрежную полосу, дабы не возникла новая иловая война.

Разрешения от муниципалитета не скоро дождешься. Томас Мюнцер проповедовал: пашни, леса и воды отдать в руки крестьян. Но какое дело районным властям до Томаса Мюнцера, этого старого болтуна? Здесь речь идет об охране рыбных богатств.

Время проходит, пора обрабатывать землю. Проблема удобрений становится угрожающей и неотложной. Оле решает попытать счастья в районном управлении. Ему необходимы искусственные удобрения, хотя бы для земель содружества, ответственность за которые взяли на себя он и его товарищи.

До чего же Оле наивен! В четыре часа он является в управление со своим отнюдь не простым требованием, а в пять учреждения кончают работу. Хватит и того, что его впустили, хотя сегодня нет приема.

Да, но ведь он депутат районного собрания.

Районное собрание принимает решения, а районное управление чинит препятствия.

Здесь все дружелюбно относятся к Бинкопу, но очень трудно прийти к согласию касательно этого из ряда вон выходящего случая — просьбы о преждевременной выдаче искусственных удобрений. Неужто товарищ Бинкоп не мог с осени запасти эти самые удобрения?

Но земля, для которой они нужны, досталась новому крестьянскому содружеству лишь в самые последние недели. Товарищи из управления листают свод законов. Нигде ни слова о новом крестьянском содружестве — ни постановления, ни плана организации такового. А что не занесено в свод законов, того и не существует. Оле, как депутат районного собрания, право же, должен это понимать. Ясно?

Оле взбешен. Его отсылают к другому ответственному исполнителю.

Итак, он излагает свое дело уже во второй инстанции. Его отсылают к третьей.

Наконец Оле становится просто невмоготу. На коленях ему, что ли, вымаливать удобрения? Или он их задаром просит?

— Я хочу получить точный ответ, вот и все!

Без пяти пять Оле получает вожделенный точный ответ. Поскольку Блюменауская муниципальная земля числится «земельным фондом», все ясно, как день: бургомистр Нитнагель должен ждать, покуда ему, как это делается ежегодно, не будут отпущены удобрения. Почему в нынешнем году такая спешка?

Оле хочет снова пуститься в объяснения, но уже пять часов. Ответственный исполнитель спешит на заседание в другом месте. Сейчас он больше не может разговаривать. Никоим образом!

Бинкоп стучит в дверь председателя. Она заперта. Уже половина шестого. Вахтер внизу звякает ключами. Оле готов выть от ярости, готов взломать дверь. Но ведь здесь он имеет дело не с лесопильщиком, да и вообще не с врагами-реакционерами.

61

Майберг—районный центр, в то же время и крестьянский город. Три башни в нем приветствуют путника. Две церковные шлют ему приветы небесные — евангелический и католический. Толстая складская башня при вокзале — привет земной. Возле нее пахнет пшеницей и рожью. Вокруг рыночной площади скучились дома. Они похожи на старых горожанок в чепцах, которые остановились на панели посудачить.

Середину площади украшает памятник — гробница прусской королевы. Королева будто бы была прекрасна, как все юное на этом свете. Она умерла на чужбине, но тело ее доставили на родину. Кони в траурных попонах медленным шагом везли останки королевы в Берлин. По ночам коням и людям полагался отдых, на отдых остановилась процессия и в городишке Майберге. Здесь на тихой рыночной площади провели звездную ночь мертвая королева и ее свита. То была памятная ночь для майбергских бюргеров. Об этом свидетельствует надпись на гробнице. «Вот здесь, ах здесь, лилися наши слезы... О горе, горе, нет ее... В ночь на девятое июля лежало здесь ее тело...»

Слезы бюргеров обратились в камень. Дотронуться до них нельзя: чугунная цепь ограждает и слезы, и саркофаг. За тенистыми каштанами прячется бюргерский дом, построенный в стиле загородных вилл эпохи грюндерства, теперь в нем помещается районный партийный секретариат.

Там только что появился новый секретарь. Старый секретарь в последнее время уже не обладал таким здоровьем, каким ему следовало

обладать. Его энергия ослабела, он, так сказать, выпустил вожжи из рук, а речь неопровержимо свидетельствовала, что он не очень-то прилежно учился в партийной школе.

Многочисленные новшества в области сельского хозяйства сбили его с толку и спутались в его голове в какой-то странный клубок. Он предоставлял крестьянам слишком много свободной инициативы, но ему самому мешала его былая сельскохозяйственная практика. Словом, ему недоставало гибкости, а время требовало, чтобы свежие силы влились в районный секретариат, чтобы новый человек, пришедший туда, самостоятельно разбирался в теории всех новшеств. Короче говоря, Карлу Крюгеру необходим был длительный отпуск для поправления здоровья.

Новый районный секретарь Вуншгетрей все еще занят переездом. Его уже нет там, откуда он переезжает, и нет там, куда он должен въехать.

В этой-то суматохе ему, так сказать, бросилась на шею Фрида Симсон. Она жаждет представиться новому секретарю и с места в карьер показаться ему со своей сильной, то есть бдительной стороны. Жалоба, и немаловажная: в партийной группе деревни Блюменау возникли разногласия, временами подрывающие партийную работу, и прочие неурядицы.

Вуншгетрею недосуг исповедовать свою непрошеную гостью.

— Какого мнения на этот счет первичная партийная организация?

— Первичная организация? Прежний секретарь умер, нового что-то не видно.

— Да вот же он сидит передо мной,— шутит Вуншгетрей.

Для Фриды уже зазвонили колокола партийной славы. Она опускает глаза долу, насколько ей это удается.

— Извини меня, товарищ, но я всего только винтик!

Вуншгетрей встает, ему пора идти.

— Пусть соберется партгруппа, займет определенную позицию в этом вопросе, и потом доложите мне. Держаться линии партии!

Нежданные перспективы для Фриды. Вечером она набрасывается на учебники. Будущий секретарь партийной организации должен что-то кумекать.

Фрида Симсон шеборшится среди книг, как мышь в копне сена. Вильм Хольтен рубит в корыте корм для поросят Оле. Матушка Симсон, уморившись от тяжелой работы в лесу, уже легла спать.

— Тебе хорошо,— вздыхает Фрида,— кончил работу и вот другим делом занялся. А наш брат только и знает, что зубрить и повышать свою квалификацию.

— Бери косарь да руби!

— Чудак! Это значило бы саботировать партийную работу! — Шутка почти удается Фриде. Сегодня она чувствует себя удивительно весело и свободно. И то сказать, перед ней открываются приятнейшие перспективы. Странным образом ей даже хочется позволить себе какую-нибудь непозволительную выходку.— Сейчас, в наказанье, ты мне зажжешь сигарету!

— Это можно.— Вильм чиркает спичкой.

— Сунь мне сигарету в рот.

— И это можно.— Вильм выполняет ее просьбу.

— Ну, теперь ты все равно что поцеловал меня.

— И это можно.

Освобожденные чувства Фриды уже не знают удержу: она кидается на Вильма. И кусает его, да еще как! Вильм ее кусает в ответ, разве он даст над собой насмешки строить? Как аукнется, так и откликнется!

Вильм чувствует себя почти как в детстве, когда подвыпившая батрачка, заплатив несколько грошей за бедного сироту, подняла его и посадила на лошадь ярмарочной карусели...

Земля кружится в мировом пространстве. Через четверть часа Фрида говорит:

— Теперь ты все равно что обесчестил меня. Отнесись к этому самокритично.

62

Партийная группа наконец-то собралась. Одна из положительных сторон Фриды сразу стала очевидной — она умеет двигаться вперед на всех парах.

Кому быть новым секретарем? Всеобщая нерешительность. Есть три кандидатуры: Ян Буллерт, Оле Ханзен и Фрида Симсон. Фрида достаточно прозрачно намекает, что районное руководство во главе с новым секретарем Вуншгетреем хочет видеть ее на посту секретаря деревенской парторганизации.

— Нет! — Оле высказывается против. Фрида девица усердная, намерения у нее самые лучшие, но важно *как* эти намерения проявляются. Говорит она правильно, правдиво, а тон ее только страху на людей нагоняет. Этого мнения держался и Антон.

Фрида, пожелтев, резко и категорично:

— Вопрос об Антоне не стоит на повестке дня!

Каменщик Келле, парень двухметрового роста:

— В таком случае и Ленин не стоит на повестке дня, поскольку он умер!

Фрида вызывающе:

— Сравнение глупое и неубедительное.

Эмма Дюрр возмущенно:

— Вот вам и доказательство! Фрида, не уважающая память покойных товарищей, на посту секретаря парторганизации? Нет!

Обсуждают кандидатуру Оле Ханзена. Но Фрида была бы уже не Фридой, если б не попыталась свести счеты с Оле.

— Необходимо отметить, что товарищ Ханзен за спиной партии организует недозволенные институции! — Если выберут Бинкопа, она, Фрида, выходит из игры.

В результате выбран Ян Буллерт, до сих пор бывший заместителем местного секретаря.

Уже поздно, очень поздно. Но как бы там ни было, Фрида требует, чтобы поставили на обсуждение вредные антипартийные уклоны Бинкопа. Сейчас о них будет доложено. Как-никак она отвечает за эти дела перед районным собранием.

Эмма Дюрр вскакивает.

— Нет, трижды нет. Ответственность отныне несет Ян Буллерт, секретарь.

У Яна Буллерта свое представление о работе секретаря деревенской партийной организации, и еще вопрос — правильное ли Оле Бинкоп ввергнут в горести холостяцкой жизни, тут и незаслуженная беда, и сумасшествие, от которого его необходимо излечить.

Буллерт приглашает Оле на семейное торжество. Его сыну Клаусу стукнуло восемнадцать — иными словами, он достиг совершеннолетия. А Оле считается вроде как крестным отцом Клауса. Он вырезал ему первую флейту из сучка бузины. Лазил с босоногим мальчонкой на колокольню, показывал ему колокола и в самый обычный вечер устроил сва-

дебный трезвон. А когда люди сбежались в церковь, оба нарушителя общественного спокойствия уже надежно укрылись в стоге соломы.

Музыка изо всех дыр — да и может разве быть иначе на празднике у Буллертов? Оле встречают тушем. Усаживают на диван, пусть устраивается поудобнее и веселится вместе со всеми. На диване сидит еще Розекатрин Зенф, разведенная красотка из Обердорфа. Блестящие украшения на всех неприкрытых местах. Навешано, как на берлинской лошади с пивоварни. Розекатрин призывно хлопает ладонью по дивану.

— Сюда, Бинкоп, товарищи по несчастью должны друг друга утешать!

Еще бы раз почувствовать себя двадцатилетним —

играет домашний оркестр. Тринадцатилетняя Герта и пятнадцатилетняя Тильда поют это с таким чувством, точно им уже под пятьдесят.

Розекатрин протестует:

— Не по вкусу мне эта народная песня! — Она щиплет колено задумавшегося Оле.— В нас разве уже и перца не осталось?

Саксофон Клауса хохочет, искусственные цветы дрожат в хрустальной вазе. Ради своего дня рождения Клаус велел подстричь себя по новой моде. Получилось это не слишком элегантно. Георг Шабер, деревенский цирюльник, не успел обзавестись машинкой. Он обстриг Клауса обыкновенной бритвой — как косой скосил. Не то, что нужно, конечно, но ничего, со временем прогресс обязательно победит в Блюменау!

Семейный праздник идет своим чередом: баранье жаркое с гречневой кашей. Свиная голова с кислой капустой. Торт, на котором сливочным кремом выведено «18», и крепкий кофе. Земляничное вино, водка и бутылочное пиво. Заплесневелые куплеты Яна Буллерта «Уж ты не скромник прежних лет — ишь на тебе какой жилет...» Оле знает со времен отрочества, а вот баранье жаркое, торт и кислая капуста — это что-то поновее.

Розекатрин следит, чтобы ее сосед всего отведал.

— Свиной головы вы непременно должны попробовать. Если бы я снова вышла замуж и мой муж был бы таким тощим, не знаю, могла ли бы я его любить!

Ну что он должен ответить? Ваше здоровье! Оле пьет четвертый стакан земляничного вина. Розекатрин покачивает головой и придвигается к нему.

— Жаль, что мы уже на «ты»! Как бы кстати было сейчас выпить на брудершафт и поцеловаться. На этот счет я очень даже отзывчивая.

Оле бросает в жар. Он снимает пиджак. На манжетах у него нет пуговиц. Ему приходится засучить рукава. Розекатрин не может вдосталь наглядеться на его волосатые мужские руки.

— Если я выпью еще и этот стакан, не знаю, что будет, со мной уже случалось, что я кусала руку своего соседа!

Оле предпочитает общество Яна и его зятя Тутен-Шульце. Они спорят о посадке картофеля. Тутен-Шульце задирается:

— Квадратно-гнездовой способ? Русская мода! Они там против индивидуализма. У них все коллективное. Три картофелины в одну ямку суют.

Ян Буллерт оглядывается на Розекатрин:

— Тебя что, диван греть сюда позвали, а?

Праздник упорно лезет вверх по лесенке веселья. Затевается игра в фанты. Розекатрин расплачивается своими украшениями. Кольца, браслеты и бусы уже лежат возле руководителя игры Клауса.

— Теперь мне, кажется, придется блузку снимать,— кокетливо щебечет Зенфиха.

— Блузку? Нет, нет! — Криста, жена Буллерта, такого не допустит. Поди знай этих мужчин! Она проворно собирает на стол и приносит ужин: сардельки и картофельный салат — солидный противовес хмельным выдумкам.

За сардельками следует вишневый компот. Фанты выкупаются поцелуями, подслащенными вишневым сиропом. Оле деваться некуда, Розекатрин получает от него положенную порцию поцелуев, покуда ей не удается вернуть себе все свои доспехи.

Тут начинаются танцы, а потом все снова поют. Им подтягивают друзья из «Свободной немецкой молодежи». Они пришли прямо с собрания поздравить Клауса.

— Желаем тебе того, что ты сам себе желаешь.— Танцы становятся более современными. Вальс и полька — да это же наследие бабок и дедов! «Чико, Чико, Чарли» и «Теодор, о, Теодор»...

Ян Буллерт держит речь, речь, не стоящую на ногах, Криста на всякий случай ухватила его за полу пиджака.

— Хвала женщинам! Славьте женщин, все живо ими... Они синие васильки среди золотой нивы мужчин! Мужчины, которых мне сейчас называть неудобно, погибают без женщин! Благосостояние, как песок, просыпается у них между пальцев. Да здравствуют женщины, на которых все держится!

— Правильно! — У Розекатрин его речь имеет успех.

После девятого стакана земляничного вина Оле до того размягчен, что позволяет Розекатрин увести его от Буллертов. Ян Буллерт подмигивает им вслед — совсем как барышник на конском торге.

Оле с Розекатрин сидят в беседке перед его домом. Студеный весенний воздух разгоняет хмель.

— Не думай ни минуты, что Аннгрет уже нет в моем сердце. Ужас, что это было. Любовь, казалось, будет жить до гроба. И вот ты отворяешь дверь. Двое отскакивают друг от друга. Ты слышишь в сердце звон черепков. Жизнь стала темнее. Угас один из ее светильников!

Не очень-то обнадеживающие слова для охочей до любви Розекатрин. Она опасливо и сочувственно склоняет голову на плечо Оле. Может быть, вздох его растрогает?

— Я ведь тоже через это прошла, и прямо скажу: круто мне приходилось.

Но Оле не слышит ее слов, так же как не слышит дипломатического вздоха.

63

Каждый вечер Оле Бинкоп обходит поля нового крестьянского содружества. Он уже почти совсем здоров. А что голова иногда болит после удара кнутовищем, так это беда невелика. Встает луна. Пряные запахи подымаются от земли. Минутами Оле чудится, что запах вспаханного поля подхватывает и несет его. Внезапно его осеняет мысль: они спасены, удобрения будут!

Оле садится на камень и, так сказать, со всех сторон обозревает свою идею.

На следующее утро буйно забил источник удобрений. Члены нового крестьянского содружества с утра до вечера свозят на бывшую общинную землю возле деревни прогнившие кучи пырея и отбросов, дерн и мусор.

Самые жирные кучи отыскивает Герман. Господь-вседержитель и нечистоты обратил на пользу человека. Герман, весь в поту, грузит гнилье и вдруг слышит знакомый свист. Толстый Серно топает по пашне.

— Далеко ты пошел, мой брат во Христе! Заправским мошенником стал!

— Но ведь эта заваль только уродует лесную опушку и всю красу господню вокруг!

Краса красой, вера верой, а эта мусорная куча — собственность церковного старосты. Воровство же воровством и зовется.

Герман краснеет до ушей. Он хочет сгрузить отбросы обратно, но Серно не согласен: пусть лучше сейчас же идет к нему на двор помочь коровам копыта чистить.

Телегу с отбросами и Серно, восседающим на них, Герман поворачивает в деревню. До полудня он чистит копыта коровам. Тощая фрау Серно кормит его обедом. Потом он этот обед отрабатывает. Член общины справедливых, основанной Оле, он не может на даровщину есть у Серно. Уже начинает смеркаться, когда Герман вывозит свой груз на землю содружества. Дороговатые получились удобрения.

Стыд и отчасти дух противоречия заставляют Германа пойти к пастору. Так, мол, и так, господин пастор.

Пастор долго размышляет. Несть попечения о душах без дипломатии и политики! В результате:

— Это не грех, сын мой, бесполезный мусор обратить в изобилие земное!

Герману даже разрешается опорожнить драгоценную яму под дворовой уборной пастора, чтобы и ее содержимое обратить в изобилие земное.

Оле Бинкопу, устроителю и пахарю будущего, то и дело попадается на дороге Розекатрин Зенф. Она не скупится на пламенные взгляды и любезности.

— Я сейчас от Буллертов иду и уже не в первый раз вижу, как ты бродишь печальный такой и одинокий. Мне бы хотелось тебе хоть белье постирать.

Оле с неприступностью во взоре:

— Не хлопочи обо мне, не стоит!

Но Розекатрин находит и другие поводы. Она едет в город. В Блюменау у нее вдруг спустила шина. Может, Оле будет так мил и посмотрит, что там такое случилось?

Оле смотрит. В шине нет вентиля, и не удивительно — вентиль лежит в сумочке у Розекатрин.

— Как ты умудрилась потерять вентиль?

Она сама не знает. Такая она стала рассеянная, а все весна! Может случиться, что она и себя самое потеряет: только бы знать, что ее подберет кто-то, кто ей по душе. Оле, например.

Оле Бинкоп с обращенным вовнутрь взглядом изобретателя:

— Есть у вас в Обердорфе ничейные мусорные кучи? — Тоже мне любовный разговор. Легенда о том, что у Оле после болезни не все дома, становится еще правдоподобнее.

Аннгрет, со своей стороны, способствует этому. Тут и там рассыпает она пригоршни лжи и не в последнюю очередь — среди кумушек, что с утра до вечера околачиваются на деревенской улице:

— Причем тут удар кнутовищем? В мозгу у Бинкопа сидел червячок, бацилла какая-то, еще задолго до того, как лесопильщик из ревности хватил его палкой по голове. Ну какая женщина стерпит, что муж является к ней в постель с топором! Виданное ли это дело, чтобы для любви был надобен топор?

— Господи, твоя святая воля! И ты так его и приняла с топором?

Еще чего! Она защищалась, выставила Оле из комнаты. И он среди зимы в одной рубашке куда-то помчался. Все это знают, а если кто сомневается, пусть послушают, как Оле клянчит у людей отбросы и любой куче дерьма радуется.

Аннгрет сама себе дивится: до чего же легко соскакивают у нее с языка эти придумки; и еще дивится своим слезам.

Вечером она, как воровка, рыщет вокруг лесопильни. Тоска гложет ее, но постучать в окно она не смеет. Юлиан беседует с Серно и еще какими-то мужчинами. Что тут поделаешь — коммерсант!

Она не стыдится разыскать Мампе Горемыку в его запущенной комнатушке вдовца.

— Пожалуйста, передай Юлиану Рамшу горяченького кофейку. Небольшое подкрепление после трудового дня. А тому, кто передаст,— бутылка водки!

Под крышкой термоса — записочка, в кофе — порошочек.

64

В юношеских глазах лесничего Штамма тревога. Может быть, не все благополучно на его лесном участке? Нет, вполне благополучно: рабочие его любят за то, что он, сняв свой ведомственный мундир и, не заботясь о престиже, иной раз вместе с ними часок-другой перетаскивает бревна из чащи на поляну.

Женщины, работающие в лесу, тоже любят своего начальника и с уважением отзываются о Хорсте, этом большом ребенке. Лесничий Штамм неподкупен, дружески к ним расположен и всегда готов прийти на помощь.

— У вашего багра неудобная рукоятка, фрау Симсон.

— Верно. Старая вчера сломалась. Надо будет заставить Вильма Хольтена выточить другую, получше!

— Скоро можно будет поздравить вас с помолвкой дочери, так ведь, матушка Симсон?

Нет, уж лучше повременить, у ее дочери Фриды характерец такой, что поздравить можно будет разве что после первого ребенка. Строптивая девка эта Фрида! Ну да надо надеяться, что с Вильмом Хольтеном у них дело сладится. Аккуратный парнишка, услужливый.

Но почему же все-таки у молодого лесничего такой тревожный взгляд? Он встревожен из-за жены. Ей что-то неможется последнее время, по утрам ее тошнит и она стремительно выбегает из спальни. Слыша, как она стонет во дворе, лесничий вскакивает и в ночных туфлях бежит за нею.

— Опять тебя рвало?

— Нет, да, уже прошло.

С недавнего времени лесничихе претит запах парного молока. Лесничий вынужден сам доить корову. Молоко он в обед раздает женской бригаде.

Может быть, это последствия того, что ее лягнула коза? Штамм беспокоится и хочет свезти жену к врачу, но она противится.

— Что ты сказала?

— Это все пустяки.— Такая же история была у нее в двенадцать лет. В ту пору она не могла есть селедки. Что же оказалось? Червяки, глисты завелись в ее девическом чреве.

У лесничего Штамма не становится легче на душе. Это же должен быть невесть какой огромный глист, если он так подтачивает здоровье его жены.

Заботливый муж принес из аптеки таблетки от глистов. Лесничиха погрызла их, и к вечеру ей полегчало.

Молодой лесничий пытается развлечь жену и берет ее с собою в лес. Он показывает ей целую колонию цапель, а также гнездо орлана-белохвоста. Конечно, это здорово — крылатые зверюги, но лесничиха больше интересуется породами деревьев.

— Это береза, я знаю, а вон там что такое?

— Лиственница.— Лесничий рад преподать жене урок ботаники.

В следующий раз его чернявая супруга проявляет незаурядный интерес к штабелям лесоматериалов.

— Это крепежный лес, я знаю, а вон там что такое?

— Крупномерный лесоматериал.

— А что из него производят?

— То есть?

— Кто этот крупномерный лес получает?

— Его отправляют на лесопильни.— Лесничий счастлив, что может удовлетворить древесную любознательность жены.

Лесничиха сегодня полна женственной прелести, как в былые времена. Сорвав листочек белой акации, она гадает: любит, не любит, плюнет, поцелует...

Еще она хочет знать, куда будет отправлен тот штабель крупномерного лесоматериала, перед которым они стоят.

— На Майбергскую лесопильню, кошечка моя!

— Весь этот крупномерный лес пойдет в Майберг? — Как она прелестно умеет удивляться.— А господин Рамш, выходит, ничего не получит для своей лесопильни?

Теперь уже удивляется лесничий. Его нежные взгляды приобретают иную окраску. Он ведь в лесу, а не дома под красновато-розовым абажуром. Фрау Штамм пугается. Довольно щебетать о деревьях и пиломатериалах! Лесничий поворачивается и идет к дому.

Фрау Штамм нелегко поспевать за мужем. Она пробует смягчить его доброе сердце, останавливается, снимает туфлю, трет себе ногу и стонет. Не берет! В эти минуты у лесничего сердце — твердая древесина. Скальный дуб.

Лесничий выгоняет корову из хлева и идет с нею в деревню. Там он привязывает рогатую беднягу под окном Рамшева кабинета. Вот ваша корова!

Рамш удивлен до крайности.

— Что, она молока не дает или у нее обнаружились какие-нибудь дефекты?

— Она опасна.— Больше Штамм на эту тему распространяться не желает. Хватит с него коровьих дел.

Но пятерку его коз успели прирезать.

— What a pity! *

— Pity или не pity, а вон она стоит, ваша корова!

Рамш быстро прикидывает в уме: пять коз по семьдесят марок за штуку составляет триста пятьдесят. Он протягивает лесничему деньги. Тот мешкает. Но, в конце концов, он ведь не шествует по пути, усыпанному розами и лилиями; за здорово живешь привязывать к коровьему хвосту стомарковую бумажку, посланную Рамшу, нет, на это он не согласен.

Рамшу ста марок никто не передавал.

— So sorry! ** — Но поскольку порядочный человек это утверждает, значит, все дело в забывчивости Мампе Горемыки.

— Вот еще сто марок, please! Взаимное доверие превыше всего.

Лесничий сует деньги в карман и уходит, не простившись.

---

* Как жаль *(англ.)*.

** Очень сожалею *(англ.)*.

Если у Мампе Горемыки достаточно денег, он пьет четыре дня подряд и с помощью водянисто-прозрачной водки окрашивает себя самого и весь мир в ярко-розовый цвет. Но на пятый день, когда голова его, кажется, вся утыкана осколками стекла и даже волосы болят, он хватает себя за ворот, трясет что есть силы и корит:

— Шливин, Шливин, чем же ты кончишь?

Из деревенских жителей те, что помоложе, не очень-то и верят, что Мампе Горемыка в свое время звался Шливином и был искусным портным. Те, что постарше, вспоминают с содроганием, как управляющий баронским имением соблазнил молодую жену портного и довел ее до смерти. Шливин, ожидавший от этой женщины первого своего ребенка, после ее смерти озлобился не на тех, кто способствовал ее гибели, а на весь мир; отныне он только и делал, что просветлял водкой свои мрачные думы. Со временем боль притупилась, взгляд стал не таким угрюмым, но благоприобретенные привычки налипли на него, как репей на платье нищего. Шливин пропил свою портновскую мастерскую и начал время от времени ходить на заработки, но рабочим считался ненадежным. Свои, деревенские, не страдавшие от его горя так долго, как он, придумали для него насмешливую кличку и почем зря его дразнили.

Исключением был только старый хозяин лесопильни Рамш. Шливину разрешалось приходить к нему поплакаться. Хозяин вполуха, но слушал его. На то имелись свои причины: даже суровому старому дельцу, с душою, покрывшейся коростой, а таков был старик Рамш, время от времени нужен человек, с которым можно вместе посетовать на судьбу.

Сначала хозяин выслушивал горькие жалобы Мампе Горемыки и устраивал ему головомойку. Случалось, что он при этом не выпускал из рук телефонной трубки. Пусть барышня из почтового отделения тоже слышит его отповедь и мотает себе на ус.

— Ну что ты несешь? Конец тебе приходит? Ни одному человеку не приходит конец, покуда господь бог не судил его. Несчастный ты пропойца, забулдыга проклятый, тебе бы только надрызгаться, выпивоха эдакий, пивная бочка! У тебя душа в спирте утонула, скоро водка из ушей потечет! На страшном суде господь тебя подожжет, как факел. Ну что ты сюда приходишь плакаться? Марш на кухню! Нажрись и иди лес валить!

Старый хозяин ничего не делал понапрасну, зазря он даже не бранился. Каждое его бранное слово стоило пфеннига, а то и больше. Чем длиннее была назидательная речь, тем меньше становилось жалованье, которое Рамш выплачивал Мампе Горемыке. Но тот все равно считал, что теперь он спасен, был благодарен за еду, которую старая брюзга-кухарка ставила для него на лежанку, каялся и на следующий вечер опять выслушивал наставления старика Рамша.

В старом хозяине сидела изнурительная болезнь. Он подцепил ее во время увеселительной поездки в Берлин. Но никто, сохрани боже, не должен был знать о ней, и прежде всего фрау Рамш, хоть она и жила с ним под одним кровом. Да, старик Рамш очень страдал от нарывов, выскакивающих то тут, то там.

— Вам бы попробовать мазать их пережженной еловой смолой,— посоветовал Мампе.

Нет, старый лесопильщик мазал свои гнойники зельем, полученным от матушки Себулы. Теперь он вознамерился лечить их раствором ртути и, чтобы не возбуждать подозрений, послал Мампе к аптекарю за этим снадобьем.

Так вот и дружили Мампе и старый хозяин. Но даже ртуть не спасла старика Рамша. Он скончался от «продолжительной и тяжелой болезни».

Свою привязанность к старику Мампе Горемыка попытался перенести на его сына Юлиана, нынешнего лесопильщика. Юлиан унаследовал Мампе, ни от чего не отказчика, но не слишком охочего до работы, заодно со всем прочим, числившимся в инвентарном списке.

В минуты просветления Мампе Горемыка вспоминает о предостережении бывшего своего школьного учителя: «Господь все видит и тебя тоже!» Он старается наладить отношения с господом богом и для пробы становится благочестивым. Просит у бога то того, то этого. Но бог не хочет подменять собою бургомистра Нитнагеля. Он внемлет рабу своему, лишь будучи в хорошем расположении духа. В последнее время бог сделался безотказен. Мампе вынужден это признать. «Разведи, господи, пути лесничего и лесопильщика!» — молится он, и до господа доходят его молитвы. Господь помогает скрыть от глаз людских пропитие стомарковой кредитки.

Мампе Горемыка опять работает на хуторе Серно. Времена сейчас худые. Нельзя затребовать из сиротского приюта работоспособного мальчонку. Батраки — то бишь помощники в ведении сельского хозяйства — редки, да и те, как волки, в лес смотрят. Не успеют шапку снять и почтительно поздороваться, уже заговаривают о *тарифе*. *Тариф* для Серно такое же зачумленное слово, как обязательные поставки и мор на свиней.

Тощая фрау Серно надраивает душу Мампе Горемыки после его последнего, четырехдневного, запоя.

— Господь карает грешников после смерти тем, чего они всего больше вожделели при жизни.— Она подъемлет к небу белесые глаза.— На распутников он насылает развратных баб, и те вытягивают из них все соки.

Ну, значит, тебя, худое сверло, я на том свете не встречу, думает Мампе.

— Стяжателя он погребает под кучей денег.

Не иначе как инфляционных, думает Мампе.

— Пьяницу заливает водкой.

Ну, это меня уже до некоторой степени устраивает, думает Мампе. Он берется за работу и трудится не покладая рук. Он снова доволен собой, и Серно доволен им.

Вечером на своем ложе — некогда портновском столе — Мампе переваривает Сернову картошку в мундире. На кровать Мампе нашелся покупатель, на стол никто не польстился. Он слишком большой и весь исковырян зубчиками портновской шестеренки при раскрое брюк и курток.

Мампе опять исполнен желания начать новую жизнь. Прежде чем улечься спать, он вынес из своей комнатушки в сарай все, что имело бутылочную форму и могло напомнить ему прежнее — даже бутылку из-под уксуса.

Под деревенскими липами стрекочут кузнечики. Мампе, лежа в темноте, прислушивается к песням зеленых скрипачей. Они живут солнечным светом и зеленью листвы. Мампе сроду не видывал пьяного кузнечика.

Дверь в его комнатку распахивается.

— Mampe, are you there? * — Скрипучий голос заглушает радостное стрекотанье кузнечиков.— Ты дома? Отвечай же!

Мампе предпочитает не быть дома, но внезапно вспыхивает спичка. Он закрывает глаза. О, быть бы ему сейчас кузнечиком в липовой листве! Поток проклятий обрушивается на него! В них то и дело врывается слово *растрата*.

---

* Ты здесь? *(Англ.)*

Мамше, как и всегда в свои трезвые дни, на все соглашается без возражений. Дверь захлопывается. Рамш уходит. Но маленькая комната еще полна проклятий и непристойной брани. Кажется, что они, как жирные мухи, бьются об оконные стекла.

66

Лесопильщик ходит как в воду опущенный. Он уже не складывает губы трубочкой, насвистывая веселые песенки,— нет поводов для веселья. Корова завладела всеми его помыслами.

Человек ученый, он, конечно, слыхал про «повторность сходных положений». Опять у него трудности и недоразумения с лесничим. Возврат коровы, видимо, означает конец с таким трудом налаженных деловых отношений — конец, наставший еще до того, как ему удалось извлечь из них пользу.

Корова, надо думать, устанавливает причинные связи: на супружеском ложе в минуту слабости, наверно, кое-что выяснилось относительно маленьких интимностей, которые он позволил себе с чернявой лесничихой.

Когда путаешь дела с любовью, нелегко устроить, чтобы одно не мешало другому. Не думал Юлиан, что так круто ему придется, когда принимал из рук умирающего отца лесопильню, старый дом Рамшей, заборы, ящики, мировое имя фирмы. Куда делась чистота его тогдашних помыслов?

Иные времена требуют иных обычаев, привычек, методов, иных рекордов хитроумия. Советы стариков — это зонтики, вышедшие из моды. Стоят в шкафу и покрываются пылью.

Чего недостает лесопильщику? Разве ему нечего есть и пить, разве нет у него дома для себя, матери, кухарки и прочих людей? Разве не расширил он свою лесопильню? Разве не рвут у него из рук его продукцию или обходят его государственными заказами? И разве не живет он, не ведая трудностей сбыта, не зная борьбы с конкурентами и риска?

What is the matter? * Чего он хочет? Такой вопрос под стать разве что комсомольцу. Настоящий делец хочет расширять свое предприятие, когда ему вздумается: армия рабочих, почет, паровая сирена, подъездные пути, игра богатством, добром и злом и место в парламенте, когда ты уже обзавелся всем остальным. Мечты! Эта республика маленьких людей — малопитательная почва для их осуществления. Лесопильщику нужно утешение, нужны ободряющие слова.

Под молодыми липами столицы останавливается синяя машина. На ее крыльях уже слегка облупился лак. Из машины выходит человек и с двумя чемоданами тащится вниз по Фридрихштрассе. Машинально он читает надписи на вывесках и дощечках конторских зданий. *Союз немецких писателей, Германская демократическая крестьянская партия, Комитет объединения немцев* — всего этого человек с двумя чемоданами не знает и не ищет. Он направляется к лестнице, ведущей вниз, и исчезает под землей. Там он садится в поезд.

Следом за ним входят двое рабочих с нарукавными повязками — народные контролеры — и пристально вглядываются в пассажиров.

Тот, что вошел первым, возится со своими чемоданами, потом раскрывает книгу и, спрятавшись за нею, делает вид, что углубился в чтение. Заголовок виден всем: «О коммунистическом воспитании».

---

* В чем же дело? *(Англ.)*.

Поезд лязгает и приходит в движение. Кажется, что плакаты на стенах тоннеля движутся медленно, потом быстрее: *Больше работать — значит лучше жить.* Надписи бледнеют, плакаты становятся цветными кляксами. Поезд скрывается в тоннеле.

Пять минут странствия под землей — и вот уже возникают огни другой подземной гавани. В окнах снова мелькают плакаты, сначала как яркие пятна, затем они становятся разрисованными прямоугольниками, и наконец уже можно прочесть: *Позволь себе роскошь, ты это заслужил, кури сигареты «Кэмел»!*

Человек с чемоданами облегченно вздыхает. На него повеяло воздухом *свободного мира.* Правда, пыль подземной гавани воняет точно так же, как пыль на *красном берегу,* но все же здесь к ней подмешивается запах апельсинов и наркотического дыма сигарет «Прерия».

Он идет по улицам города-острова, таращит глаза на витрины, путается в ногах у торопливых островитян. Он приспосабливается к их ритму. И теперь уже только на бегу видит все эти обольстительные и волнующие вещи. Ай-ай-ай, веселые дамы! Еще утро, а они уже смотрят на него влюбленными глазами! Курфюрстендамм и Тауентциен, о да, yes.

Солдаты Армии спасения под гитару поют свои песни в греховном чаду острова:

О, как это будет прекрасно,
Когда мы приидем ко Христу...

Эту предостерегающую песнь он воспринимает как безобразное пятно на бодрой суете *свободной жизни.* Как? Разве он не благочестивый человек? Он ведь даже состоит в церковном совете у себя на родине. И разве его благочестие не более как кастовый дух, вставший на стражу незыблемого и традиционного?

Неприятнейшая суматоха в мыслях. Надо, пожалуй, отдохнуть и перекусить; он ест черепаховый суп и глотает устриц — наслаждения *свободного мира.* Заказывает себе drink *. Раз, еще и еще раз.

В меняльной конторе сей свободной гавани он обменивает красные деньги на деньги *свободного мира.* Деньги эти — выручка за проданную корову. Корова была ему подарена, подарена его возлюбленной. Смахивает на story ** из прошлого столетия. Деньги за красную корову он помещает на свой текущий счет в *свободном мире.*

Он встречается с друзьями.

— Хэлло, Рамш, old boy ***, ты жив еще?

— You see. Ты же видишь.

— Рюкзак с продуктами на случай отправки в Сибирь все еще держишь наготове возле кровати?

Это на самом деле так, и Рамш предпочитает промолчать. Некоторое время они вместе жуют резинку, заодно пережевывая воспоминания, плюют как можно дальше и в общем приятно проводят время.

В послеобеденный час Рамш встречается со своим, так сказать, наставником и утешителем, серьезным господином в никелевых очках и философически проникновенным взглядом. Да, да, земля, эта устарелая планета! Жизнь на ней — цепь катастроф и поражений. Лишь изредка встречается благородный человек — свидетельство иных времен, живой памятник.

— Кстати, что там у вас слышно насчет грядущей катастрофы, почтеннейший?

О катастрофе не может быть и речи! Очень цепкая раса эти маленькие люди. Всегда-то они сбиваются в кучу, всегда друг друга поддержи-

* Выпивка *(англ.).*
** История *(англ.).*
*** Старина *(англ.).*

вают! А это отнюдь не облегчает возможности окончательной катастрофы. Чего стоит один колхоз, организованный на его, лесопильщика, родине!

— How interesting! — Наставительный друг Рамша протирает очки. Веки его полуопущены, рысьи глазки сверкают.— Расскажите, прошу вас!

Рамш рассказывает. Не вдаваясь в излишние подробности, суховато: одна восьмая часть деревенского населения уже вступила в колхоз. Что тут говорить! Так оно есть и так будет дальше.

Мистер, ухмыляясь не без важности:

— Not at all! Be sure *, это не что иное, как начало конца.

Рамш теперь значительно менее чувствителен к утешениям. Кто может, пусть терпит! Картина, конечно, красивая: памятник былых времен среди бушующих красных волн, но он не высечен из гранита, нет, нет!

День тает, как шоколад на солнце. Лесопильщик разгружает свои тяжеленные чемоданы. Свежее масло домашнего изготовления и копченый шпик — подарки островитянам.

Теперь чемоданы заполняют другие товары — заморские сигареты, гвозди, нужные для производства, эластичный бинт для кухарки и цемент для искусственной челюсти старой хозяйки.

Рамш велит носильщику снести свои вещи на перрон, садится в овеянный дальними ветрами межзональный поезд и едет, джентльмен с головы до пят, по городу Берлину от Зоологического сада до Фридрихштрассе. Там он выходит.

67

Солнце согревает землю материнским теплом. Пускают ростки овес и яровая рожь. Оле часто приходится залезать в собственный карман и тратить прикопленные деньги: люпин и люцерна, искусственные удобрения и подсолнечник, семена кукурузы — все на этом свете продается за деньги. Франц Буммель просит аванс на новый костюм. Не может же он весь век ходить в кучерском камзоле и, будучи членом нового крестьянского содружества, выставлять напоказ всему миру это свидетельство доброты барона.

Франц получает аванс. Оле Бинкопу надо поскорее отделаться от просителя. У него забот полон рот: запасов картофеля с бывшего его двора недостаточно для посадки на полях нового крестьянского содружества.

Картофель, эти невинно округлые плоды земли, требует от Оле чрезвычайного умственного напряжения. Оседлав свой мотоцикл, он едет в соседние деревни. Там он машет перед носом крестьян кредитными билетами. Погреба открываются. Картошку для нового крестьянского содружества скупает еще и Вильм Хольтен. Они раздобывают в одном месте пять центнеров, в другом десять и все, конечно, по завышенным ценам. Слава тому, кто может это выдержать!

Там, где Оле обещают картошку, он прибивает к забору страничку из партийной газеты «Нейес Дейчланд». Опознавательный знак для божьего человека и возницы Германа Вейхельта, где ему забирать посадочный материал. Крестьяне усмехаются:

— Совсем человек спятил!

Первые возы картофеля отправлены со двора Оле. Маленькая передышка. Пошло дело! Франц Буммель и его Софи могли бы уже начинать посадку. Но где же Франц?

---

* Вовсе нет. Будьте уверены *(англ.)*.

Франца Буммеля след простыл, а заодно исчезла и корова. Софи ручьем разливается. Франц, правда, терпеть не мог корову, но как ни верти, во всем виноват Бинкоп. Он дал Францу денег на новый костюм, и у того от гордости голова пошла кругом. А кончилось все тем, что Франц бросил ее и уехал в западные страны.

Оле утешает Софи: что с ней худого случится? Она же состоит в содружестве, в крестьянском содружестве нового типа.

Но Софи мало одного содружества, а что касается *тифа,* то он ей уж совсем ни к чему, ей нужен муж. Какой бы там ни был!

Оле обещает выколотить всю дурь из Франца, когда тот вернется. Как-никак утешение! Софи перестает плакать. Только всхлипывает. Не найдется ли у него яичек? Она еще не завтракала, потому что Франц прихватил с собой все, что было в буфете.

Он может дать ей хлеба, даже кусочек масла у него имеется в спальне под кроватью, но яйца? У Софи же есть куры! На дворе весна, им самая пора нестись.

Несутся-то они несутся, да только в лесу за кустами. Ей некогда гоняться за этими мерзавками. Насколько она понимает, надо срочно сажать картошку.

Новая, пусть второстепенная, задача для Оле: навести порядок в курином хозяйстве! В современном крупном хозяйстве не станут люди заниматься поисками кур. Кроме того, хозяйство не может ждать, покуда двум или трем старым несушкам вздумается заквохтать. Следовательно: общий курятник, выращивание цыплят общими усилиями!

Оле является к Нитнагелям; они только что сели обедать.

— Теперь ты будешь заботиться о яйцах,— говорит он Нитнагельше.

— Ты, часом, не спятил?

Почему это спятил? Нитнагели вступили в новое крестьянское содружество со своими двадцатью моргенами земли. Пусть Нитнагельша возьмет на себя попечение о курах и вырастит две сотни цыплят. Не так уж много.

Полчаса спустя Оле с Нитнагельшей изловили Буммелевых кур. Крик стоит такой, словно лиса сидит на яйцах вместе с наседками. Куры Франца Буммеля противятся совместному содержанию, которое для них запланировал Оле.

Фрау Нитнагель, до сих пор заправлявшая в деревенской библиотеке только красотами, вышедшими из-под пера писателей, вылезает исцарапанная и истерзанная из кустов крыжовника. Оле, стараясь поймать Буммелева петуха, перекувыркивается через голову, как заяц, в которого угодил заряд дроби. Петух взлетает на яблоню, бьет крыльями и гневно кукарекает на своего врага под деревом.

Подтягиваясь на руках, Оле лезет на дерево. Мимо проходит Мампе Горемыка.

— Что у тебя там с петухом вышло, Оле, голубчик?

Петух, снявшись с яблони, улетает в поле. Оле хочет соскочить, чтобы ринуться за ним, но его куртка зацепляется за сук. Он висит между небом и землей, загребая руками, наконец падает и остается лежать в некотором обалдении.

— Припадок кончился. Теперь он успокоится,— говорит себе самому Мампе Горемыка и идет дальше.

На другом конце деревни тоже орут куры. Это куры Яна Буллерта. Орут они потому, что Ян их ловит.

Весна манит несушек вдаль. Крестьяне обносят свои дворы заборами. Куры этих человеческих ограничений не признают. Искать червяков они хотят по всему свету.

Случается, что во время экскурсий по соседству курица чувствует, что приспела пора снести яйцо. Куры народ не щепетильный и кладут яйца там, где подвернется удобное местечко, нимало не заботясь о правах собственности своих владельцев.

Иозеф Барташ не охотник до свар. Он идет к своему соседу Буллерту.

— Гони-ка своих кур домой, дружище!

Ян Булерт волей-неволей отправляется к Барташу. Барташ, как человек вежливый и обходительный, помогает ему ловить кур. При этом ни слова упрека из-за разрытых грядок.

— Подумать только, птица, а друг за дружку как держатся, они, пожалуй, посмышленее нас будут.— Буллерт смотрит на соседа: уж не тронулся ли он в уме?

В саду Буллерта ухоженные плодовые деревья. Поля так чисты, словно сорняки с них метлой вымели. В большой семье много прилежных рук.

У Барташа земли и леса не больше и не меньше, чем у Буллерта, но бык у него медлителен, а лошадь стара.

По утрам соседи приветствуют друг друга через забор и прикладывают руку к козырькам.

— Как дела?

— Дела идут.

— Значит, идут дела.

Барташ смело мог бы попросить соседа немного помочь ему во время весенней страды, но он не любит просить. Слишком часто приходилось ему нарываться на отказы, а он до сих пор чувствует себя чужаком, которого разве что терпят в деревне.

Ну, а Ян Буллерт, предложил он свою помощь Барташу? Только когда Оле, председатель «Крестьянской помощи», на него насел:

— Помоги Барташу хоть немножко! Вспомни о временах, когда в деревне все решалось тем, богат ты или беден.

— Богат или беден, это нынче зависит от характера,— отвечал Ян Буллерт.

Они препирались точь-в-точь как в свое время на баронском пастбище, покуда Буллерт не вывел из конюшни своего коня и не отправился помогать Барташу.

А теперь Барташ помогает Яну Буллерту уносить пойманных кур. В воротах показывается Вильм Хольтен.

— Не найдется ли немного посадочной картошки?

Барташ охотно соглашается уступить часть своих запасов:

— Найдется, конечно.

Ян Буллерт уходит вместе со своими курами. Он уже не смеется над Оле, как несколько дней назад. Этот медный лоб — чтоб ему пусто было! — того и гляди, засадит всю общинную землю картошкой. Вправе ли партия позволять себе такие уклоны?

68

Улетевшая стомарковая кредитка уготовила Мампе Горемыке дальнейшие неприятности. Толстый Серно, как это ему ни грустно, вынужден отказаться от услуг Мампе в своем христианском доме и на поле. Не может он держать у себя помощника, который обошелся с деньгами своего брата во Христе, как с мусором.

— Вот тебе семь марок за проработанные дни. И катись!

У Мампе руки чешутся снести эти семь марок в кооперативную лавку и обменять на водку. Грешнику нелегко начинать новую жизнь. Он всю ночь размышляет и весь день тоже. К вечеру его мозг разъеден

мыслями, как дерево червоточиной. Не выдержав, он отправляется за бутылкой водки. Сначала он выпьет этого бесцветного и жидкого огня, потом пойдет к Рамшу и выскажет все, что о нем думает. Убийца — это будет еще самое мягкое наименование, которое от него услышит Рамш.

Затем Мампе принесет из сарая толстую веревку и повесится на орешнике, что растет над могилой его жены. Никто больше не станет к нему приставать, а любопытные будут шарахаться от его синего высунутого языка.

Сегодня суббота, и вечерний воздух легок и отраден. Пряно пахнет расцветающая бузина. Вечер, словно созданный для того, чтобы влюбиться в землю. Кажется, сам господь бог, измучившись на полях войны, прибыл к себе домой отдохнуть в воскресный день. Он хочет доставить себе праздничное удовольствие — исполнить желания маленьких людей. Вот он увидел, как зажегся красный огонек контрольной лампочки Мампе Горемыки, толстыми пальцами перебрал карточки в картотеке людских желаний, нашел желания Мампе и тотчас же направил к нему ангела-хранителя.

Ангел-хранитель в черном воскресном костюме идет по деревенской улице и, не доходя до кооперативной лавки, вовлекает в разговор Мампе Горемыку. Ангел, по земному зовущийся Германом Вейхельтом, направляется на субботнее чтение библии. Герман, божий человек, не в силах пропустить падшего Мампе, чтобы немного не поагитировать в пользу заоблачного рейха и его диктатора — господа бога.

— Куда ты идешь?

— Одному богу известно!

Да, богу это известно, но не хуже и его наместнику на земле Герману: Мампе Горемыка идет за субботней порцией водки.

— Я тебе советую опьяняться словом божиим!

Против ожидания, Мампе ему не возражает. Бывший портной Шливин считает небесполезным, перед тем как порешить себя, примириться с богом. Может быть, его обращение и раскаяние тронут сердце пастора и он не станет хоронить Мампе, как других самоубийц, без надгробной речи и прочих церемоний.

Мампе Горемыка идет вместе с Германом на чтение библии. Пастор слегка фантазирует на тему известного места из библии: «Если тебе досаждает твой глаз, вырви его...» Мампе Горемыка думает: только бы лавка не закрылась раньше, чем пастор управится с вырыванием глаза. Без водки он не найдет в себе сил повеситься: глаз это что, глаз, так сказать, находится на поверхности, а вот Мампе пришлось бы себе глотку вырывать. А это ведь все равно, что себя на куски разрезать. Самые подходящие мысли при чтении библии!

Но господь в тот день прямо-таки растранжиривает свою доброту. По окончании чтения Герман не отпускает от себя Мампе и устраивает так, что тот довольно спокойно проходит мимо лавки. Мампе Горемыке следует вступить в содружество справедливых, а это не что иное, как новое крестьянское содружество, изобретенное Оле. Там Мампе будет получать марку в час, если, конечно, рук не пожалеет. Целую марку, можно сказать, из божьего кармана.

Герман и Мампе ищут Оле. Его нет ни дома, ни у Эммы Дюрр, ни в поле, ни в сарае — утек, как вода из решета. Наконец они обнаруживают его в курятнике.

Герман недоволен: в святой субботний вечер директор святотатственно трудится!

Оле огрызается:

— Разве мы для того живем, чтобы брюхо нагуливать?

Герман тоном ученого толкователя библии:

— Ни один из пророков не высказывался против толстого брюха! — В библии говорится только о грехе чревоугодия. Оле тощает, потому что вечно торопится. А торопливый не дает богу времени угнездиться в нем. Торопыги упускают осмотрительное господне благословение. Членам нового крестьянского содружества плохо придется, когда будущей весной они станут взвешивать своего директора.— Какой в тебе будет вес? Не больше, чем в кузнечике. Мы еще будем таскать тебе шпик да колбасу, чтобы ты отъелся!

С улыбкой выслушивает Оле субботнюю проповедь Германа. Всему свое время. Зимой он жирку нагуляет, но чего надо Мампе Горемыке, который почтительно стоит в отдалении со смиренно открытым ртом? Мампе Горемыка хочет вступить в *содружество святых*. Герман готов за него поручиться, старый портной Шливин обрел спасение и возвращен в небесное лоно.

Оле знает, Мампе Горемыка будет не более как гастролером в новом содружестве, но ему смерть как хочется доставить себе такое развлечение и взбесить своего врага — лесопильщика.

Вот какими окольными путями вынужден идти господь бог, когда он всерьез намеревается спасти одно из своих созданий от неправедной смерти.

Итак, Оле были суждены не одни труды и заботы, но и маленькие радости. В воскресенье домой возвратился Франц Буммель. Свою корову он сменял на лошадь. Буммель добрался до самого Мекленбурга, и ему понадобилось немало времени, чтобы, ведя лошадь на поводу, вернуться домой.

Софи не запрыгала от радости. Что это за лошадь? Кожа да кости; на вертлюге можно шляпу вешать, не белая и не черная, а словно засиженная мухами кляча, лет эдак двадцати, не меньше. А Франц на что похож? Куда он подевал новый костюм?

— Да вот же он на мне!

Софи смотрит на лохмотья, едва прикрывающие ее супруга.

— Ты что, совсем ума решился?

Ладно, решился так решился. Он сделает все, что Софи хочет, но ни слова о лошади. Франц добыл ее превеликими трудами и лишениями. Чистокровная арабская кобыла, вот ее столетняя родословная.

Софи с горя плюет на бумагу. Все ложь и обман!

— Как бы не так! — Франц начинает злиться. Разве по нему не видно, какой черт сидит в этой лошади? Благородная кровь, такого коня никакими силами не удержишь, если он разойдется. Краса пустыни эта кобылка! А в конюшне до чего смирная и доверчивая! Пусть Софи ляжет на землю. Франц проведет над ней кобылу, а Софи встанет целехонька.— Ложись, Софи!

Вконец измученная Софи бросается на Франца, дает ему оплеуху, царапает лицо. Затем мчится к Бинкопу.

— Не сердись, Оле, прости его! Теперь все будет в порядке!

69

С восемнадцатилетнего возраста не выпадало на долю Аннгрет такой беспокойной весны. Но в ту пору дни были полны свиданиями с Юлианом на поросшем вереском холме, радостью и любовью, а теперь?

По ночам Аннгрет лежит без сна, думает, терзается и чувствует, что стареет.

Последнее время она держит вино и ликеры в бельевом шкафу. На всякий случай. И частенько прикладывается к этим ярким и сладким напиткам. Но тщетно. Опьянение не приносит ей ни сна, ни покоя: может быть, Юлиан уродился в отца, старого хозяина лесопильни, который за свое дело не побоялся бы и человека убить? Нет! Тысячу раз нет! За этим вечным ожиданием и одиночеством она просто позабыла, что Юлиан — это Юлиан, светский человек, кавалер, не борец.

Прошло немало времени, покуда любовный порошок матушки Себулы оказал свое действие. Рамш приходит ночью и влезает в окно. Разве же такое подобает благовоспитанному господину? Но Аннгрет об этом не думает. Он пришел. Она победила.

Юлиан сияет, он сама обходительность, джентльмен до мозга костей. Галантные ухаживания, кофе, печенье, милая болтовня, просвещенность, легкая словесная перепалка, переходящая в мимолетные прикосновения. Взаимное поддразнивание, как в молодости, игры.

Аннгрет уже не помнит о безутешных днях ожидания. Не помнит себя, ничего на свете не помнит.

Юлиан нежен, страстен и мечтателен. На нем шелковые подштанники. Он изящен, как в юности. Воспоминания о прежних днях.

Потом они сидят, словно вернувшись из путешествия по южным странам. Большие стоячие часы тикают. Луна расписывает узорами голубой велюровый ковер. Розы на обоях расплываются в синюю кашу.

Юлиан сидит на краешке кровати. Икры у него дряблые, бледные. Седые волосы в бороде поблескивают при лунном свете. Он, не стесняясь, чешет обнаженную грудь и шарит впотьмах, ища свои подштанники.

— So sorry, что мы тогда вместе не уехали в Америку!

Эти слова — свидетельство его любви. Сердце Аннгрет дрожит, как овечий хвост.

— Зачем нам Америка? Здесь тоже неплохо.— В то время многое стояло на их пути: старый хозяин и его деловые планы, дурацкая затея с изучением медицины. Теперь настали великие и счастливые дни! Аннгрет прельстительно смеется, как в ту весну на поросшем вереском холме.— Ничто больше не стоит нам поперек дороги. Ты можешь взять меня в жены, если захочешь!

О, Аннгрет многого не знает! Может быть, она все еще помнит о многообещающей фирме Рамша «Штакет, ящики и т. п.»? Все это прошлое, ушедшее навсегда, паруса в открытом море, окрашенные пурпуром вечерней зари.

Путь Аннгрет не был устлан розами, но представить себе, что ее Юлиан вынужден считать гроши? Толстые пачки денег, два центнера цветов на скромную свадьбу, два или три рояля для будущей жены — таков Рамш в ее представлении.

Юлиан искренне огорчен — после беспримерного любовного взлета говорить о таких материях! — но поскольку уж Аннгрет начала: sorry, so sorry, но прежде чем жениться, он, к сожалению, должен будет до некоторой степени поинтересоваться приданым своей невесты. Чистое вино — вот его идеал. Обидно, очень обидно! That's the matter *.

Слезы блестят в глазах Аннгрет: Юлиан и меркантильные расчеты? Нет, о нет! Теперь они взаправду с небес любовных утех свалились на жестко замешанную землю, на эту устарелую планету, где жизнь состоит из сплошных катастроф. Не успел господь бог снять с лесопильщика тяжкое подозрение в связи с нелепой смертью этого красного Дюрра, как Мампе, горемыка проклятый, вздумал вступить в колхоз спятившего Ханзена.

Аннгрет:

---

* Вот в чем дело *(англ.)*.

— Какое отношение к нам имеет Мампе Горемыка?

Разве он что-нибудь сказал о Мампе Горемыке? Наверно, случайно сорвалось с языка. Тем не менее Мампе, наследие отца, памятник былых времен, человек, на многое пригодный, был ему предан.

Аннгрет снова тянет лесопильщика в постель. Поцелуи — печать любви. Уже не полыхающее пламя, а вспыхивающие огоньки, ибо мысли Аннгрет блуждают далеко. Уж не рехнулась ли она? Сидит в своей комнате и ждет чего-то. А в один прекрасный день откроется дверь. Мампе Горемыка приложит руку к козырьку:

— Могу сообщить тебе новость!

Новость?

Аннгрет, ты разорена.

Как так?

Один человек по имени Оле тебя ограбил!

Странные времена! Аннгрет предалась течению жизни. Она жила беспутно, весело и вслепую.

Она гладит приумолкшего лесопильщика.

— Я все же не так бедна, чтобы меня отвергать!

— Боюсь, что так.

— Не надо бояться, тебе это не к лицу.

70

Оле Бинкоп поздно возвращается с птичьего двора. Нитнагельша выхаживает там двести пятьдесят цыплят. Прирост для нового крестьянского содружества, радость.

А тут новая неожиданность: его кровать опять выдвинута на середину комнаты, рваная рана не зияет в ее боку — рядом стоит вторая.

Немаловажное событие! Большая радость, возможно, предстоит Оле, нежданное цветение. Цветение? Да, но осеннее, безвременное. Оле срывает и топчет цветы. Неужто у Аннгрет все кончено с Рамшем? И теперь она хочет использовать его, Оле, потребность в тепле и на такой манер с ним примириться? Он медлит, не раздевается и не ложится в постель. Нет, вишни в его саду висят не так низко!

Ошалелые мысли Оле бродят вокруг да около. Возможно ли примирение с Аннгрет? Существует ли для них совместная дорога? И существовала ли когда-нибудь?

Голодным и оборванным сколотил он тогда свою пасеку, но испытывал ли он удовлетворение от меда и денег, приносимых этим медом? Он предоставил Аннгрет ходить за ульями, извлекать из них мед и прибыль, а сам уже пустился по другой дороге. Он сделал попытку вывести пчел с длинными хоботками, которые могли бы высасывать мед из глубоких чашечек клевера. Он порушил несколько роев, отобрал пчел с самыми длинными хоботками и подыскал для них соответствующую матку.

В те дни над тонким носом Аннгрет впервые залегла крутая складка.

— Что ты за человек? Только и знаешь, что потакать своим дурацким выдумкам, а до выгоды тебе и дела нет.

Потом Оле стал проделывать опыты с племенными свиноматками. Чтобы увеличить их плодовитость, он, когда приспело время случки, погрузил их на телегу и повез к хряку, которого выбрал для этой цели. А собственный его хряк безо всякой пользы сидел в хлеву.

Затея оказалась небезуспешной: во втором поколении свиноматки и вправду стали более плодовитыми. Бывали, конечно, и неудачи. Из очередного свадебного путешествия свиноматок Оле завез в свой хлев рожу. Несколько свиней околело. Упреки, которыми его осыпала Аннгрет, стали еще злее:

— В жизни не видела человека, до такой степени не способного беречь свое добро!

— Ладно, жизнь-то ведь не общество страхования от огня! — Оле продолжал экспериментировать со свиноматками и добился значительных успехов.

Аннгрет сидела на этих успехах, растопырившись, как наседка, готовая клюнуть каждого, кто на них посягнет.

Уже поздно. Оле прокрадывается обратно в спальню. Вторая кровать все еще пуста. Не раздеваясь, он на всякий случай садится на краешек.

Дверь отворяется. Сердце Оле трепещет. Напрасная трата сил! В дверях показывается Герман Вейхельт, божий человек, и похоже, что он хлебнул не только райского нектара. Герман улыбается, как облагодетворенный ребенок, пошатываясь, идет к кровати, нежно поглаживает подушки; затем он вешает свой черный костюм в платяной шкаф Оле, развязывает узелок и при этом без умолку болтает:

— Что за славная бабенка эта Аннгрет! Скотину не кормит, обед не варит, а все-таки выполняет свой христианский долг.— Оле обещал ему кровать, а сдержал он свое обещание? Вот Аннгрет, этот ангел в полуботинках, дала Герману кровать. Оле — торопыга, все это говорят. Господь не успевает угнездиться в нем.

Герман надевает свои артиллерийские очки, достает библию, с опозданием читает вечернюю молитву и поет:

— Жди, моя душа, жди господа!..

— Герман, ты водку пил?

— Водку? Нет! — Герман выпил с Аннгрет пять рюмочек церковного вина. Оле, надо бы помнить, что это вино — кровь господня.

— Когда все будет рушиться, господь тебя не оставит...—

Герман продолжает петь, покуда навзничь не валится на кровать.

Обильная пища для ночных размышлений Оле. Всю ночь он ворочается, принимая храп-парад своего нового ночного соседа. Засыпает он только под утро, но тут же его будит Вильм Хольтен:

— Воры, Оле, воры! Ночью из сарая увели быка и племенную корову.

Оле не поднимает шума. Он идет, как лунатик, не оглядываясь по сторонам, и стучит в двери Аннгрет. Сонная Аннгрет отворяет ему. Картинка для семейного календаря: бывшие супруги встречаются на заре в ночных костюмах. Знакомый запах Аннгрет туманит мозг изголодавшегося Оле.

— Что мне сделать, чтобы ты... ты украла быка и корову!

Аннгрет спокойно и с чувством превосходства:

— Чего ты трясешься? Это мой бык.

— Да, но ты берешь уже вторую корову.

— Половина хозяйства моя.

Оле отступает обратно в сени. Когда он затворяет дверь, ему кажется, что она весит много центнеров.

71

В кабинете бывшего районного секретаря Карла Крюгера переклеили обои. потом туда внесли кадки с лавром и фикусом. В каждом углу поставили по кадке. Когда комнату проветривают, растения шелестят, как в южном лесу.

Черный письменный стол Карла Крюгера притащили в районный секретариат коммунистической партии в тысяча девятьсот сорок пятом году из опустевшей виллы какого-то фабриканта. Теперь его заменили светлым с множеством ящиков. Времена стали светлее, но и сложнее тоже. Когда новый секретарь Вуншгетрей обнаружил, что длинный письменный стол тянется через всю комнату, как барьер, было слишком поздно. Не мог же он требовать, чтобы через какие-нибудь две недели для него снова приобретали дорогую мебель.

В том, что в его кабинет всунули высокое кресло с кожаной спинкой, Вуншгетрей тоже не был виноват. Высота письменного стола определила высоту кресла. О кресле для посетителей перед новомодным письменным столом можно было бы сказать только, что оно глубокое. Стена за креслом секретаря почти вся закрыта картиной, написанной масляными красками. Это работа самого прогрессивного художника во всем Майбергском районе; Вуншгетрей получил ее в подарок в день своего сорокалетия от партийных работников районного секретариата.

Собственно говоря, картина должна была висеть в квартире секретаря, но она оказалась слишком громоздкой и вступила в конфликт со шторами его жены. Вдобавок сам Вуншгетрей держался мнения, что произведения искусства принадлежат народу. Прошло время капиталистических собирателей коллекций.

Вуншгетрей был прежде маляром и сам копировал картины. Картину за своим креслом он не воспринимает как произведение искусства. На ней изображен литейный цех, и художник не поскупился на красную краску. Но несмотря на щедро написанный жар, зритель остается холодным. Лица литейщиков прикрыты козырьками. Художник изрядно облегчил себе задачу.

Так или иначе, эта картина — подарок и на районной выставке была расхвалена критиками. В конце концов критики специально изучали свое ремесло и, наверно, лучше знают, что такое искусство, нежели профан Вуншгетрей.

Так обстоит дело с живописью. С литературой товарищу Вуншгетрею приходится не легче, он терпеть не может окружать себя книгами, которых не читал. Между тем для чтения нужно время. А времени у Вуншгетрея в обрез: каждый день надо просмотреть газеты, вникнуть во множество проектов и циркуляров. Чтобы почитать классиков марксизма, Вуншгетрей иногда урывает у себя два-три часа воскресного отдыха. В ущерб семье.

Если случается, что окружной или центральный комитет требуют, чтобы он прочитал и *принял на вооружение* ту или иную книгу, Вуншгетрей велит принести ее из районной библиотеки.

По этой причине Вуншгетрей нередко испытывает угрызения совести. Он ведь обязан участвовать во всех дискуссиях и всегда говорить что-нибудь серьезно обоснованное, а у него не выбирается времени даже на то, чтобы прочитать писателей своего округа. Он не читал книг и обоих писателей своего района, но это угнетает его значительно меньше. Оба они беспартийные детские писатели. Вуншгетрей еще со времен партийной школы помнит изречение Горького о детских книгах: «Для детей надо писать, как для взрослых, только лучше!» А что эти люди умеют так писать, Вуншгетрей не верит. Иначе разве бы они торчали в Майберге? Разве «Нейес Дейчланд» хранила бы о них столь упорное молчание?

Часто, очень часто Вуншгетрей менял и улучшал свой стиль работы. Тем не менее ему не удалось изучить все те отрасли, в которых от него требовали специальных знаний.

Смеркается. В расцветших каштанах перед районным секретариатом шелестит теплый ветерок.

Сегодня у Вуншгетрея, против обыкновения, выдался свободный вечер. Перед ним лежат непрочитанные газеты, а в сторонке журнал «Эйнхейт». Ах ты господи, Вуншгетрей мог бы поехать домой, но дома с чтением уже ничего не выйдет. Придется помогать сыну делать уроки. Выслушивать сетования жены: «Просто стыдно, сыновья первого секретаря, а так плохо учатся!»

Вуншгетрей чувствует себя весьма неуверенно, когда приходится помогать сыну по математике. С детей сейчас столько требуют, а если он, Вуншгетрей, говорит о народном образовании, то обязан требовать еще больше и со школьников и с учителей. На самом деле ему самому следовало бы подучить математику.

В это самое время кто-то изо всей силы стучит в парадную дверь. Ночной сторож уже поставил чайник на огонь и не спешит вниз.

— Входи, кто там, открыто!

В вестибюле появляется краснощекий Ян Буллерт.

— Мне товарища Вуншгетрея!

— По вызову?

— А теперь что, обязательно нужен вызов?

Буллерт сидит напротив Вуншгетрея. Они знакомятся. Вуншгетрей не слишком словоохотлив.

— В чем дело, говори! — У Вуншгетрея на щеке шрам от осколка гранаты. Поэтому кажется, что с его лица не сходит высокомерная улыбка. Буллерт в низеньком кресле для посетителей чувствует себя, как Давид перед Саулом.

— Как у вас тут, курить разрешается?

— Да, разрешается.

Дело в следующем: Яну Буллерту нужна помощь партии. Его сын все равно что дезертировал. В самый разгар весенних работ. Этот малец, видите ли, желает на свой страх и риск учиться музыке.

— Согласуется ли это с нашей точкой зрения на поведение молодежи?

Вуншгетрей безразлично:

— Это все?

— Нет, собственно, не все. Я хотел поговорить еще о болезненной тяге к раздариванию.

— Раздариванию?

— Не совсем так. Речь идет о товарище Бинкопе, который втихомолку присвоил себе общественную землю.

— Бинкоп? — Необычное прозвище заставляет Вуншгетрея вспомнить о Фриде Симсон, приходившей к нему.— Где же доклад? Новый секретарь партгруппы уже выбран?

Новый секретарь — Ян Буллерт. Вот он сидит здесь. Еще неопытный руководитель. Хорошо бы, к ним приехали из района, инструктор или еще кто-нибудь.

Вечерний разговор между Буллертом и Вуншгетреем длится недолго, это не какое-нибудь торжественное заседание. Вуншгетрей думает: слабоватый товарищ. Семейные проблемы волнуют его больше, чем партийные. Видно, он здорово эксплуатировал сына.

— Инструктора я пришлю. Порядок?

— Порядок.

Через четверть часа Вуншгетрей уже едет домой в поселок на окраине. Шофер потягивается, разморенный весной. Ветер шелестит в липах

на Рыночной площади. Из радиоприемника в машине доносятся квакающие псевдоджазовые ритмы:

Весною женские глаза, га-га-га!

— Выключить? — спрашивает водитель.

— Ладно, пусть дудит!

Даже весна не препятствует памятнику мертвой королеве на Рыночной площади плакать над собой за чугунной оградой. «Здесь, ах, здесь лилися наши слезы...» Они едут по площади, мощенной булыжником. В радио что-то щелкает, пауза, потом раздается голос диктора: «Судьба шахини Сорейи остается неизвестной...» Вуншгетрей прислушивается.

— Какая у тебя там программа? — Шофер нажимает на клавишу, голос диктора теперь звучит глухо, как из погреба: «Первый колхоз в Восточной зоне...»

Вуншгетрей хватает шофера за плечо:

— Оставь!

«...организован в Блюменау, деревне района Майберг, по советско-русскому образцу. Организация такового происходила согласно указаниям высших коммунистических функционеров. Крестьян принудили согнать весь скот на общий скотный двор и работать, как русские мужики, за мизерную оплату...»

Вуншгетрей велит остановиться и выходит из машины на главной улице.

— Дай мне сигарету! — Секретарь торопливо затягивается, как все некурящие люди, и ходит взад и вперед по тротуару. Потом опять влезает в машину.— В районный секретариат! — Водитель включает газ.— Стой! Ты знаешь дорогу в Блюменау?

— Знаю.

На проселочной и еще по-весеннему топкой дороге они нагоняют Яна Буллерта. Районный секретарь, дрожа от гнева, направляется к одинокому велосипедисту.

— Вы что там в вашей дыре, с ума посходили, а?

72

Мальчонка-подпасок сует хворостину в муравейник и, охваченный любопытством, ворошит его. Муравьиная община приходит в движение. Полминуты, и уже кажется, что вся куча состоит из до крайности взволнованных муравьев.

То же самое происходит в Блюменау через день после разговора Вуншгетрея и Буллерта. Яну Буллерту недосуг работать в поле. Он носится взад и вперед по деревне. Рассыльный муниципалитета, тоже непрерывно названивая, гоняет туда и сюда на своем велосипеде. После школы еще и Антон Второй бегает в качестве курьера от одного товарища к другому: экстренное собрание партгруппы в присутствии районного секретаря Вуншгетрея.

Бургомистр Адам Нитнагель дрожит, как в лихорадке. Фрида Симсон шепнула ему «пару теплых слов», отнюдь не заимствованных из «Советов по демократическому обхождению с людьми».

— Ну, теперь ты хлебнешь горя, дорогой мой Адам!

Подвижный дух Фриды созидает специальный лозунг для украшения «зала заседаний». Товарищ Данке, барышня из кооперативной лавки, пишет его писарским почерком на красной материи: *Каждый удар молотка для плана — это гвоздь, забитый в крышку гроба поджигателей войны!!!* Три восклицательных знака.

Настал вечер. Теплый вечер. На деревенской лужайке, совсем рядом с машиной секретаря, квакают жабы. Коростели кричат в лугах, ухают сычи. Все созданья, за день не управившиеся с любовью, используют ночь.

В гостинице «Кривая сосна» освещены две комнаты: комната для приезжающих и помещение ферейна. В первой сидят: Серно, Тутен-Шульце, Ранка, Марандт, рыбак Анкен и все, чьи судьбы, на свой лад, переплетены с судьбами деревни. Рамш, конечно, тоже здесь.

В помещении ферейна собрались коммунисты. Никто не имеет права сюда входить, кроме хозяина гостиницы Мишера. Мишеру известно мнение коммунистов по определенным вопросам, равно как и мнение другой части крестьян, относительно некоторых событий, и прежде всего относительно *колхоза* Оле Бинкопа. Мишер мог бы составить себе полную картину, но не хочет. Его предприятие не терпит риска. Поэтому Мишер ни к одной из партий не принадлежит. Он платит членские взносы в «Крестьянскую помощь», так как в будние дни занимается еще и сельским хозяйством, и состоит в обществе «Народная солидарность». Хватит с него.

В помещении ферейна в люстре зажжена только одна лампа. Мишеру сперва надо узнать, что здесь будут заказывать. Все лица скрыты полутьмой. Лозунг, изобретение Фриды Симсон, освещен скудно.

За столом сидят гость, товарищ Вуншгетрей, Фрида Симсон, товарищ Данке, каменщик Келле, Эмма Дюрр, короче говоря — руководство партгруппы. Остальные расселись, как попало, на лавках вдоль стен.

Ян Буллерт открывает собрание. Прежде всего он приветствует гостя из района и благодарит за честь. Фрида Симсон поднимает руку:

— К порядку ведения: сначала мы споем, как это принято всюду.

Они поют — плохо, но поют.

Кто созвал собрание, тому и выступать в первую очередь. Ян Буллерт не оратор. На собрании он не умеет говорить свободно, бойко и с юмором, как говорит в деревне или в поле. Его речь вскарабкалась на ходули. Буллерт подражает присяжным ораторам. Все должно быть обоснованно, все чин чином.

— Товарищи, перед лицом великих задач, перед нами поставленных, в Берлине ведется подготовка к партийной конференции. Мы, со своей стороны, должны, по возможности, усилить работу нашей партгруппы... Критика и самокритика — это рычаги... А теперь коснемся вопроса партдисциплины. С партдисциплиной в нашей группе, к сожалению, не все обстоит благополучно...

Члены партгруппы начинают ерзать на своих скамейках вдоль стен. Вот оно самое! Ян Буллерт переводит дыхание, пожалуй, несколько дольше, чем нужно.

— Возьмем, к примеру, товарища Оле Ханзена по прозванию Бинкоп. Разве в прошлом за ним не числятся большие заслуги? Никто не вправе отрицать, что он активно поддерживал нашего покойного секретаря Антона Дюрра. Бинкоп был образцовым председателем «Крестьянской помощи»...

Оле кажется, что речь произносят над его могилой. Заметив дырку в своем резиновом сапоге, он не сводит с нее глаз.

— Бинкоп много сделал в качестве депутата районного собрания. Он всегда готов был прийти на помощь каждому из нас, конечно, в рамках крестьянских возможностей. Ну, а теперь, товарищи? Теперь он вышел из этих рамок. Вы знаете, что́ я имею в виду: Бинкоп удумал одну штуковину за спиной партии, так вот куда, спрашивается, это нас заведет?..

Хозяин Готхельф Мишер, потупя глаза, проходит по комнате и принимает заказы от многочисленных клиентов. Он притворяется человеком

с другой планеты, не понимающим ни единого слова. Ему заказывают пиво, сигареты и водку. Теперь можно включить еще две лампы в люстре.

В комнате для приезжающих все глаза устремляются на Мишера.

— Ну как там? Зажмут они Бинкопа между колен да накостыляют ему как следует?

— Они ему уже уши нарвали! — Мишер тут же прикусил язык. Как бы не повредить своему предприятию!

Его слова дают повод лесопильщику для небольшой речуги. Речуги с заигрыванием и подмигиванием.

— Колхозы? Это не было предусмотрено и так далее.— Он подмигивает слушателям.— Я ничего не хочу сказать против наших друзей, но Россия это Россия, много земли и мало прилежных людей. А Германия это Германия! Sorry, но немцы не сторонники машинного производства зерна и картошки. Мы стоим за разумный сельскохозяйственный труд!

Тутен-Шульце глотком пива ополаскивает свои одобрительные кивки. Готхельф Мишер такого вида одобрения себе не позволяет, но душа его пламенеет, присоединяясь к мнению оратора, и бородавка на подбородке наливается кровью.

Но вот начинает разглагольствовать Серно. Его жирный голос, кажется, идет из закупоренной граммофонной трубы.

— Господь наслал кару на Блюменау. Люди больше не хотят покорствовать ему, как прежде. Не успел господь прибрать к себе Дюрра, одержимого духом беспокойства,— так ведь? — как он уже наказует безумием почтенного человека Оле и натравливает его на нашу общину, так ведь?

В другом помещении Ян Буллерт уж вовсе распоясался. Он говорит, что на ум придет, он бранится, и такая форма речи, надо сказать, удается ему наилучшим образом.

— Всем известно, что товарища Бинкопа в свое время — уж не знаю, из ревности или еще по каким-либо причинам,— треснула по голове реакция, и довольно основательно треснула! К сожалению, Бинкоп, несмотря на настояния товарищей притянуть к ответу обидчика, этого не сделал, надо думать — из мужского самолюбия. Но удар, полученный им, не остался без последствий. Товарищ Бинкоп болен. Своими безумными затеями он поверг в смятение всю деревню. А началось все зимним вечером от удара палкой. Пусть теперь выступят те, кого это касается, в первую очередь, конечно, Бинкоп. Переходим к прениям!

Пауза, как и положено. Никто не хочет говорить первым. Адам Нитнагель боится замолвить доброе слово за Оле. Они сразу ткнут его носом в старый социал-демократизм.

Фрида Симсон, бледная от честолюбивых замыслов, лихорадочно подыскивает подходящую к случаю цитату из классиков. Кроме того, товарищ Вуншгетрей тоже еще ничего не сказал. Вон он сидит, слушает и будто высокомерно улыбается. Положение неясное и крайне щекотливое. Фриде кажется, что она балансирует на проволоке.

Вильм Хольтен за Оле и его колхоз, но сказать об этом он не смеет. Человек, обесчестивший девушку, уже не полноценен. К тому же Фрида ему пригрозила: «В деле Бинкопа придерживайся средней линии, не то тебя потащат в контрольную комиссию!»

Товарищ Данке соблюдает нейтралитет. Как бы там ни обрабатывалась земля — сообща или единолично,— крестьяне все равно будут покупать в кооперативной лавке. И на плане торгового оборота это не отразится.

Эмма Дюрр напыжилась, словно курочка, перед тем как занестись по весне:

— Оле, говорят, ты сумасшедший, слышал?

Ян Буллерт:

— Я этого не утверждал.

Все смотрят на Оле. Он бледен, как смерть. Мускулы на его лице подергиваются. Кажется, что он откусывает свои слова от огромной глыбы и выплевывает их:

— Я не болен. И я не сумасшедший. Возьмем хорошего крестьянина,— говорит Оле.— Он хозяйствует и работает, как черт. Не полагается ни на случай, ни на погоду. И добывает из своей земли все, что она в состоянии дать. Государство хорошо платит за продукты. Крестьянин богатеет. Возьмем плохого крестьянина. Он хозяйствует спустя рукава и в основном уповает на счастливый случай. Его земля дает половинный урожай. У него мало что остается для продажи государству, поэтому он непроизвольно вредит ему и сам не вылезает из бедности. Способности у людей не одинаковые. Недавняя крестьянка Аннгрет по воскресеньям разъезжает в шарабане. Крестьянка Софи поскорей улепетывает домой, потому что у нее нет праздничного платья, не говоря уже о шарабане. Крестьянин Серно велит за свой счет покрасить церковь; крестьянина Барташа лентяем не назовешь, но у него не хватает денег обнести забором свой палисадник. Я день и ночь думал над тем, как сгладить эту разницу. Я делаю опыт. Наседка три недели сидит на яйцах. Потом она вдруг чувствует: что-то под ней изменилось, что-то новое возникло под ее грудкой. Это цыплята. Вы поймите, они не хотят тихо сидеть, они хотят выбраться из гнезда в мир, искать червей, клевать, хлопать крылышками, радоваться. Наседка себя не обманывает. Она выходит из гнезда и ждет — что будет. Она идет следом за тем новым, что выкарабкивается из-под ее крыла. Она это новое стережет и защищает. Попробуйте-ка изловить цыпленка. Я бы вам не посоветовал этим заниматься. Руки у вас будут все в крови, и клевать она будет вас так, что вы взвоете, и вам, ей-богу, будет не до смеху. Мы, как наседка, сидим в гнезде, в нашем тепленьком сегодня. Застоялый воздух в теплой комнате начинает вонять. Будущее представляется нам сквозняком. Неужто же нам быть глупее обыкновенной наседки? Неужто же нашим внукам, указывая на наши могилы, говорить: «Здесь лежит мой дед»? Не лучше ли, если они скажут: «Вон пасется стадо — эту породу вывел мой дед. Взгляните на этот парк, мой дед и его товарищи его насадили, а они не были ни помещиками, ни рабами»? От вас зависит то, как о вас будут говорить! Новая дорога ведет через дремучий лес. Что подстерегает тебя впотьмах? Что бросается с дерева тебе на плечи? И все же мы будем валить деревья, расчищать лес, создавать цветущие луга. Звери будут резвиться на них с утра и до вечера. Рука человеческая прикоснется к дикой яблоне. Мелкие и кислые яблоки нальются золотым соком, станут большими и тяжелыми!

Суровая Эмма вытирает глаза. Как бы Антон порадовался этой речи! Кооперативной барышне Данке в этот момент уже не безразлично, как обрабатывается земля.

Земля кружится в мировом пространстве. Оле Бинкоп приволок кусок мирового пространства на душное собрание.

Районный секретарь поражен. Что-то чертовски правдивое кроется за словами этого крестьянина. Своеобразные взгляды. Вуншгетрей ничего против них не имеет, но, если протрубить о них на весь свет, не посеют ли они смятение? Сомнения одолевают его. Тем увереннее чувствуют себя Буллерт и Фрида Симсон. Фрида упивается великой минутой своего выступления.

— Товарищи, если мы, как партия, ничего не хотим знать о колхозах, с чем же мы, как партия, сталкиваемся, товарищи? Очевидно, мы сталкиваемся с национальными особенностями. Я спрашиваю товарища

Бинкопа: разве не терпим мы мелкой розничной торговли? И разве мы терпели бы ее, будь это ошибкой? Отвечай!

Оле Бинкоп Фриде не отвечает. Слово берет Буллерт. Беда в том, что Бинкоп стремится и других товарищей завербовать в свою секту. Общая земля? Фогт и управляющий, как у господина барона? Партия не должна попасть в смешное положение: неужто же Буллерту, например, поставить на карту свое образцовое хозяйство и продуть его в одночасье? Ну, какой урожай снимет эта секта с пресловутого пустыря? Банкротство — вот что вырастет на ихней земле. Бинкоп нас доведет до голодухи.

Вуншгетрей улыбается.

— Разреши мне один вопрос, товарищ Бинкоп: разве партия не протрубила бы давно сигнал «в поход», если бы считала желательным то, что ты делаешь?

Эмма Дюрр хочет сказать несколько слов:

— Заботы Оле не с неба свалились. Он их получил в наследство от Антона, моего мужа. До сих пор видел кто-нибудь вред от Оле?

Ян Буллерт:

— Цыплят по осени считают!

Эмма:

— Разве партия — это страховая компания? Коммунизм — величайший эксперимент со времен Адама. Так Антон говорил.

Фрида Симсон:

— Иди ты со своим Антоном!

Эмма живо:

— Ты вот попробуй найди себе такого!

Каменщик Келле, двухметровый верзила, стучит кулаком по столу:

— Новый капитализм не пройдет! Я за Антона и Оле Бинкопа!

— Да здравствует колхоз! — Это крикнул Вильм Хольтен. Фриде не удалось сдержать его пыл.— Да здравствует Оле Бинкоп!

Оле с виду спокоен, хотя дрожь пронизывает его до кончиков пальцев на ногах.

— Я все обдумал. Мне сдается, я ищу дорогу вперед, а не назад!

Вуншгетрей:

— Что значит вперед и что назад, пока еще устанавливает партия. Ты ее учить собрался?

Оле, весь дрожа:

— В моем представлении партия более скромна и больше выказывает готовности прислушиваться к тому, чего люди хотят и чего боятся. Партия — не самодовольное божество. Я тоже партия!

Многие лица передергиваются, головы втягиваются в плечи. Оле губит себя!

Симсон, пожелтев от злости:

— Он уж слишком далеко заходит!

Вуншгетрей:

— Это еще можно исправить. Хуже, что Бинкоп дает пищу врагу. Враг не дремлет. Он поливает нас грязью по радио! А какой вид мы имеем перед районным управлением?

Оле шарит в кармане. Вытаскивает свой партбилет и дрожащей рукою кладет его на стол перед Вуншгетреем.

— Если ты считаешь, что я помогаю врагу...— Вуншгетрей вскакивает и хватает Оле за рукав. Оле вырывается: — Нехорошо ты говоришь. Нет, партия не такая! — Он идет к двери.

Несмотря на то, что на Оле резиновые сапоги, товарищам слышен каждый его шаг. Дверь хлопает. Все сидят, оцепенев.

Оле проходит через комнату для приезжающих, не глядя на красные от выпитого вина лица. При его появлении разговоры умолкают.

Ему кажется, что Антон, как прежде, схватил его плечо: самое трудное — это переход!

Он уже собрался закрыть дверь, когда до него донесся ненавистный голос его врага:

— Наконец-то они решились слегка его проучить и так далее...

Оле задрожал весь — с головы до пят. Теперь ему уже все все равно: он прыгает на лесопильщика и швыряет его оземь. Звон, стук. От ярости Оле ослеп и оглох. Он таскает его за бороду и лупит так, что кулаки свистят. Лесопильщик орет:

— Help! Help!*

Никто не двигается с места, чтобы ему помочь. Подальше от этого болтуна! Здесь дело идет о женщинах и о политике!

73

На деревенской улице ни души. Сквозь светлую ночь Оле бредет к Коровьему озеру. Лес шумит. Дикие утки прорезают освещенное луною небо.

За последние теплые дни высоко поднялась трава на лугах. Оле погружает руку во влажную от росы зеленую стихию. На одной из лужаек он останавливается. Это земля его отца Пауля Ханзена, владельца карликового хозяйства.

Оле видит себя мальчиком, мальчик слушает, открыв рот. Отец посвящает его в тайну этого луга.

— Судьба бросает человека то туда, то сюда. Все ты можешь отдать, если надо будет — даже свою постель, но этот луг смотри зазря не отдавай!

Отец открыл ему тайну луга. Молодой Оле вырос за те минуты на три сантиметра. Он был наследником, он заслужил доверие отца. Он знал тайну.

Что надо Оле в ночное время на этом лугу? Может, и вправду у него больная голова, как утверждает Буллерт? Может, от лесопильщикова кнута у него мозг повредился? Оле снимает кожаную фуражку и хлопает себя по черепу. Да, если бы кто-нибудь сейчас его увидел!..

Отец толстого Серно по воскресеньям набивал себе карманы землей со своего поля. Во время богослужения он вытаскивал горсть высохшей земли и подставлял ее под благословение.

— Чем это у тебя карманы набиты, Готхольд?

— Кровью и почвой!

Потом со старым Серно стало уж вовсе неладно. Он пересыпал землей страницы своего молитвенника. Полоумный! Ему попытались было запретить подносить землю под благословение. Он возмутился. По его понятиям полоумным был тот, кто иначе относился к земле.

Предшественник нынешнего ночного сторожа, выходя вечером на работу, натягивал себе на голову одеяло. Для глаз он прорезал в нем две дырки. «Я вплотную подойду к любому грабителю, а он меня и не увидит»,— говаривал он. Деревенские жители, прежде всего женщины и дети, боялись этого привидения больше, чем воров и грабителей. Умалишенные ведь не знают, что лишились ума.

---

* Помогите *(англ.)*.

В полном разногласии с самим собой, Оле уже под утро добирается до своей кровати и ложится возле блаженно храпящего Германа. Он чувствует себя больным, настолько больным, что должен лежать в постели. Будь что будет! Он, видно, человек второго сорта.

Деревенский информационный аппарат работает без проводов и электричества. Были бы длинные языки да ушки на макушке — вот он уже и заработал. Настоящее perpetuum mobile, время от времени, конечно, нуждающееся в смазке, как всякая машина.

У деревенской службы связи имеются два агентства: пивная Георга Шабера и кооперативная лавка. Лавка к тому же обычно заменяет кафе для здешних женщин. Они грызут печенье или конфеты и оживленно болтают в ожидании, когда приедет кооперативная машина с продуктами.

Информационный аппарат сообщает: Оле Бинкоп вышел из партии.

Опровержение: не вышел, а его исключили.

Комментарий: выходить из партии не разрешается. Из партии всегда исключают, даже если ты сам выходишь.

Информационный аппарат сообщает: бургомистра Нитнагеля сняли с должности.

Опровержение: Нитнагеля уволили в отпуск за то, что он легкомысленно обошелся с общинной землей.

Комментарий: социал-демократы народ мягкотелый и неустойчивый. Обязанности бургомистра исполняет Фрида Симсон.

Информационный аппарат сообщает: Оле Бинкоп избил лесопильщика!

Опровержения не воспоследовало.

Комментарий: чаша переполнилась.

В Блюменау, как и всюду, самоновейшие сообщения через четверть часа становятся историей. Женщины ведут регистр беременностей в деревне.

Молодая лесничиха Штамм входит в лавку. Вежливо здоровается. Покупает булочки, четвертинку водки и бутылочку кармоля.

— Кармоль это полезно,— говорят женщины. Они рассматривают летнее пальто лесничихи и вглядываются в ее лицо.— Поздравляем, фрау Штамм. Давно пора. Видно, долго гнездышко вили.

Лесничиха краснеет.

— Это ошибка! Это совершеннейшая ошибка.— А с животом это у нее от парного молока.

Подъезжает новехонькая машина. Ей-богу, волшебная шкатулка этот грузовичок! Он привозит плоды широко разветвленной внутренней торговли: кипу теплых носков на лето, зимние шерстяные перчатки для уборки урожая, прехорошенькие спортивные санки для купанья и целый ящик маникюрных ножниц вместо ожидаемых зажимов для белья.

Фрау Штамм бредет по деревне. Она еще так мало успела осмотреть здесь. В каком стиле построена эта церковь? Нет, это не готика. Лесничиха приглядывается и к другим достопримечательностям: вот, например, пожарное депо, вон старая школа и гостиница «Кривая сосна». Из гостиницы выходит — подумать только, какое совпадение! — господин Мампе, приводивший ей корову. Лесничиха с удовольствием вспоминает, как это было. Прелесть, а не корову он привел ей. «Нанетт!» — звала лесничиха, и та отвечала: му-у!

— Ах, да ведь это же господин Мампе! Скажите, господин Мампе, вам не предстоит в ближайшее время встреча с господином Рамшем?

— По доброй воле не предстоит.

Молодая лесничиха не скряга. И случайно у нее в сумке оказывается бутылочка водки. Может быть, господин Мампе хочет немного освежиться? Пожалуйста, прошу вас!

Господин Мампе снисходит к ее просьбе, его адамово яблоко так и прыгает. Он берет письмецо для Рамша, подносит его к самому носу: все понятно!

— Вот чертов сын, этот Рамш!

— Как вы говорите?

— Говорю, что он в две дуды свистит.

Лесничиха не понимает. Мампе Горемыка сует письмо под шапку. Он передаст его Рамшу через кухарку.

— Пойдет так?

— Хорошо, очень хорошо, господин Мампе.

Деревенский информационный аппарат обслуживает и Аннгрет. Подкармливает ее тщеславие: Рамш и Оле подрались из-за нее. Правда, сомнения все-таки грызут ее: почему Рамш не подает о себе весточки? Она ведь не каменная!

Вечером Аннгрет ищет утешения в мятной настойке. В праздничном своем костюме она горделиво прохаживается перед зеркалом: разве парадный ужин откладывается, фрау Рамш?

Одному богу известно!

Осторожный стук в окно. Аннгрет в мгновение ока молодеет. Под окном стоит Мампе Горемыка.

— Go in *, небесный вестник! — Аннгрет жаждет весточки.

В прошлой жизни Мампе, наверно, был насекомым. Он чует спиртное через стены.

— Дай глоточек, Аннгрет!

Аннгрет ему наливает. Мампе для нее все равно что земляк, а общая их родина — лесопильня. Они чокаются.

— За то, что мы любим!

Мампе против этого тоста не возражает. Он любит водку.

— Что слышно на лесопильне?

— Особенного ничего. Письма приходят не так уж редко, а вот штакета и горбыля маловато.— Впрочем, Мампе с лесопильней теперь ничего общего не имеет.

Они выпивают еще по стаканчику. Почему Мампе покинул лесопильщика в беде?

Лесопильщик пригрозил ему судом и полицией. Мало того, он его лишил работы у Серно.

— Подумаешь, какой владетельный князь нашелся! Мы что, живем при *феоладистическом целибате,* что ли?

Аннгрет:

— Говори толком, а не лопочи ерунду! Что там было со стомарковой бумажкой?

Мампе:

— Заткнись и не приставай!

— Говори толком!

— Сто марок, сто марок, затвердила, как сорока! — Мампе за эти сто марок немало поработал.

Значит, он грузил налево длинномерный лес для Рамша, если Аннгрет его правильно поняла?

— Длинномерный лес? — Мампе один за другим торопливо опрокидывает в рот два стаканчика мятной настойки.— Дерево падает на

* Войдите *(англ.)*.

человека. Как, спрашивается, он под него угодил? Об этом надо молчать. Молчание тяжелый труд. Понятно тебе наконец?

Аннгрет берет в руки наполовину опустевшую бутылку и замахивается на Мампе:

— Перестань!

— Ты тоже хочешь мне рот заткнуть? Пока что ты еще не фрау Рамш.

— Я Аннгрет Анкен!

— Обыкновеннейшая шлюха! — Мампе пятится к двери и исчезает. Бутылку он прихватил с собой. В порядке самозащиты.

У Аннгрет дрожат губы. Она видит себя, подвыпившую пожилую женщину, в большом зеркале. Аннгрет ногой ударяет в зеркало. Звон стекла. Осколки, хихикая, сыплются на пол.

Аннгрет бежит на лесопильню. Она должна предостеречь возлюбленного. Рамша нет дома.

74

Вечер темно-синий и звездный. Лесопильщик пешком, а не на автомобиле — словом, без всякой помпы — отправляется в лесничество. Лесничий уже два дня как повышает свою квалификацию в районном городе. Молодая лесничиха, видимо, не ждет гостей, потому что Рамша она встречает — pardon mille fois * — в халате.

Они пьют рислинг из запасов лесничего, исчисляющихся в пять бутылок. Лесопильщик чувствует себя неуютно в комнате с оленьими рогами. Они, точно вилы, уставились на него со стен. Он явился сюда, потому что в письме лесничихи настойчиво говорилось о важных новостях. Что-нибудь касательно древесины?

Разговор теплеет.

— Что, собственно, произошло с коровой?

Корова была хорошая, но лесничиха не выносила, хоть что хочешь делай, не выносила запаха молока.

— В моем нынешнем положении...

Лесопильщик поднимает свой бокал.

— Be happy all the days! **

Они чокаются. После третьего стакана рислинга корова перестает фигурировать в их разговоре. Лесничиха мечтательно смотрит в отсутствующую даль.

— Насколько мне помнится, в последний раз мы вели себя не так официально...

— Благодарю тебя. The same opinion.*** Но эти... эти рога кругом! Камера пыток!

— О, можно уйти в другую комнату.— Рамш, надо надеяться, будет не против, если она проведет его в спальню?

Нет, на это Рамш не согласен. Что-то не слишком уверенно он себя чувствует, этот джентльмен.

Лесничиха выпивает четвертый стаканчик рислинга. Она склоняет головку, ищет нужного слова. Выпивает еще немножко и находит слово, но не произносит его. Наверно, Рамшу тяжело жить всегда в одиночестве, без детей?

— Без детей? — Ничего себе шуточка! Лесопильщик теребит свой синий галстук.— Жарко здесь!

Зачем же ему мучиться? Пусть снимет пиджак, жилетку — словом, устраивается, как ему приятнее.

---

* Тысяча извинений *(франц.)*.

** Будь счастлива всегда *(англ.)*.

*** Я того же мнения *(англ.)*.

Рамш снимает пиджак. Жилет — ни в коем случае. Он носит подтяжки. Его спортивный живот не терпит ремня. Всему свое время!

Лесопильщик ходит из угла в угол, потом вдруг останавливается и прислушивается:

— Там кто-то прошел под окном?

Собака бегает вокруг дома.

Сабельные шрамы на лице лесопильщика побледнели. Не лучше ли закрыть ставни? Лесничиха от возбуждения вконец одурела.

— Не тревожься. Сюда ни одна живая душа не заходит.— Она зарывается носом в пиджак лесопильщика, висящий на спинке стула. *Виргиния* — наконец-то слово произнесено. Save our souls! Нет, Рамшу не спастись!

Лесничиха прильнула к Рамшу.

— *Виргиния*!

— What means that? *

— У меня будет ребенок.

— Что? — Вот так штука! Дети — это то, чего Рамш в нынешнее ненадежное время при шатком положении своего дела никак не может себе позволить. Джентльменам круто приходится. Лесничиха в подробностях узнает, до какой степени крупный лес и горбыль, равно как и распределение пиломатериалов, влияют на деловое благополучие Рамша. Дело? А что такое дело в наши дни? Мученичество, Голгофа. Контролеры, как пиявки, сосут кровь из дельца.

Лесничиха его жалеет, так жалеет... Она пыталась кое-что сделать для него. Крупномерный лесоматериал. Даже с мужем из-за этого поссорилась.

В глазах лесопильщика блистают слезы. Возможно даже, что неподдельные.

Романтический герой, о котором грезила лесничиха, тает на ее глазах, как снежная баба под мартовским солнцем. Она сделает все от нее зависящее, чтобы никто ничего не узнал об отце будущего ребенка.

— Я буду петь тебе славу на небе и на земле! — Лесопильщик плачет настоящими слезами.— Помни: я до гроба верен и предан тебе!

— *Виргиния,*— шепчет лесничиха, и Рамш мало-помалу перестает существовать для нее. Слезливая мелодрама расцветает на кучах грязи и сора.

Рамш вытаскивает бумажник. Лесничиха морщит свой мадонистый носик.

— Что это значит?

— Детская колясочка! С тентом от солнца и фартуком от дождя. Хотя бы это!

Лесничихе кажется, что с Рамшем что-то неладно. Может, у него давление слишком высокое?

75

Аннгрет выслеживает возлюбленного. Следы ведут в лесничество. И вот она уже стоит там под окнами среди невинных цветов лета. Окна высокие. Заглянуть в них Аннгрет не может, но она слышит, как Юлиан болтает с лесничихой, смеется, о чем-то договаривается.

Тучи заволакивают небо. В квартире лесничего воцаряется тишина. Окно едва-едва освещено ночником. Шепот. Аннгрет, одинокая волчица, готова завыть.

* Что ты хочешь сказать? (Здесь, как и в некоторых репликах далее, Рамш искажает английскую речь.)

Полночи стоит она на улице под старым буком. Дождь пошел. Капли — холодные удары. Они мочат волосы Аннгрет, ее платье.

Занимается день. Улица оживает. Женщины идут в лес на работу. Аннгрет бредет к Коровьему озеру. Вода — отображение дождливого неба. Дождь шуршит в камышах. Тысячи мышей грызут нить жизни. Нет! Нет! Биение сердца Аннгрет заглушает шепот смерти.

Тоска и отчаяние! Оле все еще лежит в постели. Герман, его сосед по комнате, давно поднялся и задает корм скотине. Вейхельт преисполнен божественного спокойствия. Господь сделал его неуязвимым к взлетам и падениям человеческой жизни.

Дверь отворяется. Курочка Эмма, юркнув в полутемную комнату, сразу же заквохтала:

— И что тебе на ум взбрело? Лицо как у мученика, ночная рубашка — разве так выглядит борец? Что же нашему-то брату о тебе думать прикажешь? Будь рад, что хоть Антон тебя не видит!

Оле вяло отмахивается: зачем ему вставать? Не исключено ведь, что он сумасшедший, а может быть, враг, во всяком случае — человек без партбилета.

Эмма отодвигает занавески, открывает окно, в комнату врываются воздух и утреннее солнце.

— Антон тоже был сумасшедший, да?

— Нет.

— А врагом был?

— Нет.

Значит, и Оле не сумасшедший и не враг. А насчет партбилета, так в Советском Союзе есть и беспартийные коммунисты. Антон частенько это говорил. Господь видит, что у человека в сердце!

Эмма ушла с работы в лесу. С сегодняшнего дня она в полном распоряжении нового крестьянского содружества. Фрида Симсон небось не пойдет полоть общинную землю. Ни в коем случае! А дело ведь известное, замесил тесто — сажай его в печь!

Оле вскакивает с постели.

— Ох ты господи, до чего же ноги волосатые! — Эмма сплевывает.— Антон был не такой волосатый! — И курочка спешит к двери.

Оле кряхтя натягивает сапоги, ищет рабочую куртку, когда вдруг тихонько приоткрывается дверь: Аннгрет. Она не валится ему в ноги. Не покрывает поцелуями его руки. Просто стоит в дверях, подыскивая нужные слова. Трудное положение для обоих.

— Дует,— говорит Оле, весь дрожа.

Ответа нет. Мертвая тишина. Наконец Аннгрет говорит:

— Должна я просить у тебя прощения?

— Нет, не должна. И не смеешь. Что значат слова? Ветер...

— Но ты в свое время спас мне жизнь.

— Да. В свое время.

— Будет у нас с тобой все, как было?

Оле смотрит в утомленное лицо своего прошлого: сеть морщинок под глазами! Его знобит. «Что мне сделать...»

— Никогда, никогда не будет, как было!

— Благодарю! — Аннгрет высоко вскидывает голову. И идет, идет горделиво, не сгибаясь, Аннгрет Анкен прежних времен, чтобы за дверью комнаты с розами заплакать, как плачут все обманутые женщины на свете. Оле дрожит, но не двигается с места.

Фрау Аннгрет ходит взад и вперед по комнате, взад и вперед. Ходит по битому льду. Осколки разбитого зеркала все еще валяются под ногами. Звенят и потрескивают.

Аннгрет последнее время курит. Где-то она слыхала, что курение успокаивает. Она пьет мятную настойку и ходит взад и вперед: что ж, сказать лесопильщику прощай? Все получится печально и слащаво, как она читала в каком-то романе: «Прощай, все было сном...»

Я больше не Аннгрет. Он больше не Юлиан. Прошла юность. Прошла пора вереска. Последние мои слова будут горьки: чем ты лучше своего отца? Дела, только дела! Ты шагаешь по трупам. Поэтому прощай, прощай!

Но мятная настойка оказывает свое действие. Вольнолюбивая рыбацкая дочь просыпается в ней. Урожденная Анкен не поступается тем, что она любит!

Аннгрет вспоминает сумасбродные мечты поры вересковых холмов. Одна из них не оставляет ее и сейчас — мечта об острове.

Поздно ночью Аннгрет садится писать письмо — клеем, сваренным из ржаной муки, газетой и ножницами. Разрезав фразы, она добывает слова, рвет их в клочья и пожинает буквы, которые образуют новые слова. Так, например, из слова «социалистическая» у нее получается «ситоация». К утру после долгих трудов и большой порции клейстера письмо готово.

«Дорогой господин Рамш!

Некоторым людям не безразлична ваша судьба. Из достоверных источников нам известно, что сейчас снова начато расследование несчастного случая с Антоном Дюрром. Кто-то, видно, сболтнул, что это вы пододвинули его обед под то дерево. Если вам дорога ваша свобода, сделайте выводы из этой ситоации. Еще не поздно. С приветом от тех, кому все это должно знать».

76

Рабочие лесопильни, принадлежащей фирме Рамша «Штакет, ящики и т. п.», сидят на дворе в тени большого орешника. Они завтракают. Из вод Ласточкиного ручья выползает змея. Чернявый Шульц швыряет жестянкой из-под консервов в испуганную змею. Змея живо прячется в досках.

Завтрак окончен. Аппетит пропал. Рабочие разбрасывают сложенные штабелем доски. Змея притаилась под нижними и шипит. Спасения ей нет. Ее железы источают едкую вонь пресмыкающегося. Она шевелит и шевелит языком. Мужчины стоят наготове с палками и камнями.

— Видишь ядовитый зуб?

— Я слышу запах яда!

Три камня, удар палкой. Змея мертва. Они прибивают ее к шесту. Шест прислоняют к стене сарая.

Кухарка, припадая на ногу, ковыляет к ним через двор. Судорога пробегает по телу змеи. Она вдруг круто распрямляется в воздухе — бич, нацеленный прямо на дом Рамшей. Кухарка причитает. В дверях появляется старая хозяйка.

— Вы загубили змею, доброго нашего домового!

Женщины зарывают в землю невинного кольчатого ужа под окнами желтой комнаты с розами. Спаси господи от беды! Старая хозяйка ставит миску с парным молоком на змеиную могилку. Это должно умилостивить дух ужа.

Но беда уже засела в доме. Молодому хозяину пришло письмо. Толстое письмо, пахнущее кислым тестом. Оно заставило трепетать самые потаенные нервы лесопильщика. Проклятые лесовики опять пустились по его следам. Черт бы подрал эту бражку!

По деревенской улице проезжает машина. Лесопильщик прячется в погреб. Немного погодя он вылезает оттуда. Оказывается, это грузовик привез пиво хозяину гостиницы Мишеру. Минуту спустя лесопильщик, согнувшись в три погибели, уже опять сидит в подполье. Теперь он точно знает, сколько машин за день проезжает по деревне *отсталой Восточной зоны*. Ему бы быть министром автомобильного транспорта. И чего, спрашивается, понадобилось всем этим машинам в деревне? Сумасшедшая болтливость мысли при столь щекотливом положении!

Лесопильщику, видно, остается только нарушить слово, которое он дал умирающему отцу. Но разве он проиграл родные поля? Разве же нет никакого выхода? Разве отказал ему его изворотливый ум?

Он посылает кухарку за Мампе Горемыкой.

Смеркается. Наконец-то приходит Мампе; он пьян. Рамш прикидывается дружелюбным:

— Ты уже ел, пил? И вообще, как ты живешь?

Мампе живет хорошо. Ест у Эммы Дюрр. Зарабатывает марку в час в новом крестьянском содружестве Оле Бинкопа.

Разговор затихает. Рамш что-то подсчитывает. Мампе выжидает и пьет. В окно веет запахом древесины. На лесной опушке кричит олень.

— Кто-то о нас наболтал лишнего,— говорит лесопильщик.— Признавайся, это ты?

Мампе его не понимает.

— Я не говорю о зажуленной сотне. Можешь считать ее моим подарком.

Мампе денег не зажуливал. Он их заработал.

— Кое-кто хочет очень уж дешево отделаться.

— Сколько тебе нужно?

— Пять тысяч.

— I kill you.

Мампе пьет.

Лесопильщик пробует торговаться. Предлагает тысячу.

Мампе глух, как пень.

Лесопильщик пробует просить. Мампе приятно — хоть раз в жизни кто-то ему сапоги лижет. Он пьет.

— My dear *,— ноет лесопильщик,— вспомни о старом хозяине!

— Я что, по-твоему, дурак, что ли? — Бес алкоголя, засевший в Мампе, рвется наружу.— Ха-ха, старый хозяин! Сынок-то — халтурная работа. И половины старика не стоит. Зачат в венерической болезни, картонный паяц, дерьмо, жалкое подобие!

Лесопильщик вскакивает, опрокидывая стул, хватает большие ножницы, нацеливается и бросает ему вслед...

Мампе Горемыки уже нет в комнате. Ножницы вонзились в дверь. Они чуть-чуть звенят и подрагивают.

77

В последующие дни лесопильщик перебудоражен и возбужден — большой лесной муравей, которому отрезали путь к родимому муравейнику. Он устраивает свою судьбу. Посылает куда-то срочное письмо и ждет ответа. Ночует Рамш на сеновале, в любую минуту готовый спрыгнуть через люк на кучу опилок в саду, если ночью к воротам подъедет машина.

Через три дня приходит ответ — телеграмма из Динслакена в Рейнской области. Она адресована старой хозяйке: «Лизхен опасно больна».

---

* Дорогой мой *(англ.)*.

Нельзя, чтобы родная сестра старой хозяйки умерла, не уладив вопроса о наследстве. Старая хозяйка уезжает.

Толстый Серно удивлен. С тех пор как от него ушел Герман Вейхельт, ему приходится собственноручно работать в поле. Работа тяжелая. Он спадает с тела. Таскаться в город на велосипеде для него сущее мученье. А теперь ему предоставляется возможность обзавестись автомобилем. С чего это его другу Рамшу наскучило возиться с машиной?

Рамш больше не имеет возможности держать машину. Дела идут из рук вон плохо. Говоря откровенно, он хочет попытать счастья в другом мире.

— Но ни слова об этом! Никому!

Толстый Серно весь трясется от сочувствия. Значит, пришел черед и лесопильщику! Еще на одного брата во Христе меньше в общине. Жаль, очень, очень жаль. Но сочувствием сыт не будешь.

— Дороговато просишь за машину.

Не может же Рамш нищим отправляться в другой мир!

Серно не верит, что его текущий счет на острове так уж пуст.

— Есть на нем капиталец!

А-а, и здесь ловушка! Серно на него нажимает. Истинно христианская любовь к ближнему! Рамш бледнеет и отдает машину за бесценок. Надежды уносят его в *старый мир*. Мир солидной коммерческой честности. *Фирма Нейербург — цитадель солидного курения*. Мир корпоративного духа. Там студенческие рубцы заменят растрепанное удостоверение личности.

Уж не собрался ли Рамш в страну, где меж кисельных берегов текут молочные реки? Он ведь кладет в чемодан столовое серебро. Или он едет на банкет: мужчины в черных костюмах? Он упаковывает и смокинг с шелковыми отворотами. Рамш торопливо ходит по дому, вздыхает, присматривается к вещам. Снимает со стены написанный маслом портрет старого хозяина и, вынув его из рамы, сует в чемодан с серебром. Ощупывает венок, подаренный на серебряную свадьбу старой хозяйке. Старики привержены к мелочам! Как-никак эти юбилейные цветочки из чистого серебра.

Пестрая кошка трется о ножку стола. Рамш вешает замок на кладовку. Закрывает окна в желтой комнате с розами. На небе сверкают зарницы. Нелегко дается этот уход ему, старому американцу. Держись за землю! Она кормит своего владельца! Старческая мудрость, не ведающая о «потом».

Лесопильщик хитростью удалил свою мать из дому. Ее слезы подбавили бы горечи в его решение. Не исключено, что ей удалось бы уговорить его сидеть здесь и ждать невозможного, покуда за ним не захлопнулись бы ворота тюрьмы.

Разве он преступник? Он хотел предотвратить свое разорение и подыграл случаю. Акт самозащиты. Так ли уж близко было его разорение? Может быть, и нет. Но разве он был не вправе выровнять свои деловые дороги? И разве не все так поступают? Он видел людей, которые убирали со своих деловых дорог целые толпы местных жителей и простого народа.

Рамш идет на скотный двор. Прежде он заглядывал сюда, только чтобы выбрать скотину пожирней на продажу.

Коровы поднимаются на ноги. Уныло смотрят на искусственный свет. Дорожной шляпой Рамш задевает ласточкино гнездо. Птенцы

испуганно верещат. Старые ласточки издают пронзительные крики — предупреждают об опасности.

Лесопильщик видит себя ребенком. Он в саду играет в песке. Ласточки проносятся над его головой и исчезают в коровнике. Он отыскал гнездо. Покрытые легким пушком птенцы выглядывали из него. Он хотел достать их.

Взобрался по приставной лестнице. Сунулся в гнездо. Жадная рука выдавила хрупкую жизнь из крохотных телец. То, что он держал в руках, было не тем, чего он хотел.

Но оставались еще старые ласточки, отливающие синевой, быстрокрылые. Он научился стрелять. Выстрелил и попал. Комочек перьев затрепыхался у его ног. То, что он поднял с земли и держал в руках, было не тем, чего он хотел.

Всю жизнь в руках у него было не то, чего он хотел. Но желание иметь и желание стремиться к тому, чтобы иметь, не утихало, а, напротив, разгоралось.

Он хотел гордую рыбацкую дочь. Он держал ее в объятиях, но когда она покорно склонила голову, она была уже не той, которую он хотел.

Он нацелил падающее дерево на этого кляузника Дюрра... Результат был не тот, которого он хотел.

Ни тени мудрости или зрелости. Сейчас он хочет только свободы — такой, как он ее понимает.

Лесопильщик грузит свои чемоданы в машину. Выехав со двора, он выходит и закрывает ворота. Старый хозяин не терпел открытых ворот.

Он едет на машине до двора Серно, а там перегружает вещи на телегу. Серно велит загнать машину в амбар, а сам везет Рамша к ночному поезду. Сверкают молнии. Вдали погрохатывает гром. Мясистая рука Серно — последний кусочек родины, до которого дотрагивается Рамш.

78

Летнее солнце светит правому и виноватому. Ячмень созрел, рожь уже колосится. Пшеница волнуется, как обильное рыбой море у береговой полосы.

Ни малейшего упадка духа у людей из нового крестьянского содружества. Взгляните на капитана Оле! Как мужественно отстоял он свой корабль во время бури! Взгляните на весело-бранчливую Эмму, курочку, что не даст себя прогнать с места, где она разрывает землю! Взгляните на Вильма Хольтена, который предпочел покинуть невесту, но не Оле и его колхоз!

Прочие члены содружества тоже трудятся не покладая рук и делают все, что в их силах. Они не дожидаются машин с прокатной станции. Кто знает, когда их доставят! Усердие членов крестьянского содружества не пропадет даром. Урожай будет хорошим.

Мотоцикл Оле Бинкопа стоит перед дверью. Ему надо съездить в город за деньгами. Он забегает в дом — взять сберегательную книжку. Она лежит в картонке из-под цилиндра. Бесполезный свадебный цилиндр Оле подарил трубочисту. В этой же картонке лежал и партбилет Оле, когда он еще был коммунистом и полноценным человеком.

Оле сует руку в картонку — сберегательной книжки нет. Нет? В последнее время он пользовался ею не реже, чем Герман своим молитвенником.

Он выворачивает все карманы своей куртки. Неужели память ему изменила? Он ищет, не доверяя себе, даже шарит под шкафом. Воз-

можно ли, что Герман нечист на руку? Нет, господь бог не ворует. А Аннгрет? Книжка у Аннгрет!

Бинкоп осаждает Аннгрет в комнате с голубыми розами. Что она, вообще больше не выходит из дому?

Оле слегка подтачивает ключ, который ему удалось подобрать. Делает он это во дворе на точильном камне. Оттуда видно комнату Аннгрет. Аннгрет резко окликает его из окна:

— В чем дело?

— Ни в чем. Мне тут надо наточить одну штуку.

Смеркается. Коростель покрикивает во ржи. Заливается соловей. Аннгрет выходит из дому. Она идет к Коровьему озеру. Дикие утки крякают, кряхтит цапля. Аннгрет их не слышит. Вечер, перламутровая зыбь на озере, запах ржи с полей — все это уже не для нее. Она здесь чужая. С корнем вырванная водяная лилия. Игрушка ветра и волн.

В деревню Аннгрет возвращается затемно. У Ласточкиного ручья возле лесопильни квакают лягушки.

Она стоит под окном желтой комнаты с розами. Ждет, ждет. Ничто не шелохнется. Она стучит в окно, обходит вокруг дома, стучит то там, то здесь. В окно кухарки, в окно старой хозяйки. Ответа нет. Лягушки квакают. Звезды высоко стоят в небе. Земля кружится в мировом пространстве.

Камень запущен в окно. Стекла разлетаются вдребезги. Аннгрет залезает в дом. Как воровка, прокрадывается в желто-розовую комнату.

Почти в то же самое время звенят и бьются стекла в доме Бинкопа. Оле залезает в желто-голубую комнату. Ключ, который он подтачивал и шлифовал, все равно не подошел.

Ощупью бредет он по комнате. Какая-то ваза разлетается на куски, фотокарточка падает с ночного столика. Чья карточка? Конечно же его соперника. Он швыряет ее в угол, где печка.

Он шарит в ящиках, в коробках и шкатулках. Находит связку писем, цепочки, браслет, буквы, вырезанные из газеты, крем, духи и туалетную воду; их общей сберегательной книжки нет как нет.

Оле отворяет дверцу кафельной печки. Топка битком набита бумагой. Он вытаскивает ее, роется в золе. Потом зажигает спичку — посмотреть на фотографию в разбитой рамке: вот он, молодой, в свадебном цилиндре с гвоздикой в петлице. Аннгрет прильнула к его плечу. Лживое прошлое!

Растерянный, Оле сидит на краешке кровати, его вымазанные сажей руки болтаются в пустоте. Герман храпит во славу господа. Земля кружится в мировом пространстве.

Долго тянется эта ночь, но когда-нибудь должна же прийти Аннгрет. И что тогда? Ему нужна сберегательная книжка. Он слышит плачущий голос Софи Буммель: ни гроша в доме! Оле, дай немножко денег!

В деревне будут издеваться над ним: «секта» сидит на бобах!

Антон, что мне делать? Помириться с Аннгрет? Неужто ты этого потребуешь?

Горе валит его на постель. Аннгрет возвращается. Оле встает и идет к ней. Желто-голубая комната залита лунным светом. Аннгрет бледна. Совсем как в тот раз, когда она сидела на мешке с зерном.

— Дай мне книжку! Софи Буммель необходимы деньги. У Эммы Дюрр двое ребят, Аннгрет, дай мне книжку!

Аннгрет властно:

— Ни за что! Ты из меня дуру хочешь сделать! Слышишь, люди смеются!

Оле просыпается. Две куры квохчут под окном.

В разбитом окне желто-голубой комнаты развевается занавеска. Робкий прощальный привет. Дверь стоит нараспашку. У той, что вышла отсюда, обе руки были заняты, она не могла ее закрыть. На столе букет васильков. Цветы это или сорняк? Возле букета разбитая фотография. Она перечеркнута синим мелком. Одна черта пересекает лицо Оле.

Тяжело ступая, Оле идет к пианино. Ему чудится, что он в комнате покойницы. Он захлопывает крышку. Режущий ухо диссонанс взмывает к потолку.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Земля кружится в мировом пространстве. Тусклое солнце выходит из-за леса. Бледный свет разливается над землей. Развиднелось. Дальше ушел горизонт. Ранняя осень.

Сизую росную траву прошила цепочка крупных следов. Следы оставил человек. В высоких резиновых сапогах прошел он по заболоченным лугам.

Луч солнца разыскал озеро. Оно лениво приоткрыло один глаз. Человек приставляет ладонь ко лбу. Очень уж рассверкалась вода. Ранняя осень.

Цепочка следов тянется дальше, вокруг озера, и свидетельствует: здесь проходил председатель сельскохозяйственного кооператива «Цветущее поле». В воскресенье еще затемно пришел он к озеру за советом.

Несколько лет назад кооператив называли новым крестьянским содружеством. А Оле Бинкопа и его друзей дразнили сектантами и святошами. Но все это быльем поросло, стало историей.

Новый кооператив насчитывает сейчас двадцать пять голов — даже больше, потому что сам Оле о трех головах, и медный лоб в придачу. Нельзя, конечно, требовать, чтобы его любили такие люди, как толстый Серно, рыбак Анкен, бухгалтер-самоучка, или Тутен-Шульце, хитрец из хитрецов. Для них Оле словно рыжий бык в стаде черных коров, для них он — нарушитель добрых крестьянских нравов, нарушитель нравственности.

Не диво, что и у Яна Буллерта, друга детских лет, Оле тоже не в чести. Для Буллерта он вроде Ганса Дурачка: испытывает судьбу и, того гляди, загубит с трудом добытую славу нового крестьянства.

Удивительно другое: отнюдь не все члены кооператива горой стоят за Бинкопа.

— Разве «Цветущее поле» — не добровольное объединение? Разве не сулили всем, кто в него вступит, царствие небесное на земле? — спрашивают они.— А что вышло на деле? Что без труда на небо не попадешь, что работать надо много, а доходы пустячные. Хотя деньги, можно сказать, валяются на дороге.

— Сделайте заем, не позорьте деревню своей нищетой! — вещает государственный аппарат устами бургомистра Фриды Симсон.

А Оле, упрямый осел, сделал небольшой заем, да и то для почину, и решил избавиться от долгов при первой же возможности.

— Раз заем, два заем, без конца давать взаймы никто не может, а молодое государство и подавно,— возгласил он.

Куда делся горшок небесного меда, из которого думали полакомиться Франц Буммель и Мампе Горемыка? И куда делся тароватый председатель после того, как он принял в «Цветущее поле» Карла Крюгера, бывшего районного секретаря? Он стал вроде управляющего имением — вот как надо бы ответить на такой вопрос, если бы Оле хоть самую малость щадил себя. Рабочий конь этот Оле, иначе не скажешь.

Целый год уже в толчее замшелых сельских крыш сверкает красной черепицей новая кровля. Это новый коровник — краса и гордость кооператива. Памятник новейшей истории деревни Блюменау, независимо от того, все с этим согласны или нет. Для Мампе Горемыки новый хлев — это двести тридцать невыпитых бутылок водки, для Франца Буммеля — пятьсот восемьдесят несыгранных партий в карты, для толстого Серно и его собутыльников новый хлев — это вызов, богохульство, за которое господь до сих пор никого не покарал.

Но Оле так и не выучился самодовольно складывать руки на сытом брюхе. Он не ждет, когда жизнь доберется до него, а сам идет ей навстречу. А ну, выкладывай, что ты припасла для «Цветущего поля»?

Минувшей ночью он плохо спал. Жизнь припасла для него Коровье и Телячье озера. А что такое озеро?

Озеро — это кусок земли, покрытый водой. Какая выгода кооперативу от этого куска, если для его осушения потребуется не меньше сотни людей и множество машин? Оле, как в детстве, разговаривает с людьми и предметами:

— Ишь, как разлеглось, а проку-то с тебя что? — спрашивает он у напоенной солнцем воды.

Солнечные лучи нагревают воздух. Воздух тихо звенит. Камыш шелестит под утренним ветерком. Что ж, и это ответ.

Оле вступает в беседу с проснувшимися камышинками:

— Стоите тут да шелестите, загордились, толку от вас чуть, а ведь могли бы стать газетой, либо плакатом, либо циновкой.

Из озера вытекает ручей. Он не спеша пробирается по лугам, размывает и заболачивает их. На одном лугу Оле останавливается, срезает ивовый прут. Прут длинный — раза в два длинней, чем сам Оле. А в нем, слава тебе господи, метр восемьдесят — его призывная мерка в начале войны.

Оле сдвигает шапку на затылок, и волосы его рассыпаются. Сейчас они цвета прелых каштанов. Он втыкает прут в болотную землю, вытаскивает его и продергивает через сжатый кулак; потом с довольным видом кивает головой и опасливо озирается. Разве он сделал что-нибудь нехорошее? Да нет, это он по привычке. А привычка зародилась на этом лугу.

Ну как, ответило озеро Бинкопу? Должно быть, ответило. Недаром же он не вышагивает, как положено председателю, а скачет по кочкам, задрав голову, смотрит на небо, будто там летит невесть что — словом, ведет себя дурак дураком.

2

Еще с того времени, как Оле был подпаском, вынашивает он одну мечту. Мечты человеческие часто сплетены из паутины. Мечты Оле, как рыбацкие сети, сплетены из крепких нитей.

Видится ему, как он стоит под весенним небом. Высоко, над грядой облаков проносится птичья стая — птицы возвращаются с далекого юга к родным гнездовьям. Вожак издает трубный клич. Оле вздрагивает, и от этой сладостной дрожи в голове у него начинает звучать песенка. Чудеса, да и только! Нигде он ее раньше не слышал. Должно быть, он так, вместе с нею, и появился на свет. Оле насвистывает эту песенку.

Вожак отвечает с вышины: «Кря-а-а-а!» — и плавно опускается на луг, а стая — следом, к ногам Оле Ханзена. Мальчик кормит отощавших в дороге птиц. Они вытягивают шеи, жадно смотрят на его руки и крякают.

Но вот птицы насытились и улетают прочь. Поднявшись, они выстраиваются в две сходящиеся вереницы — клином. Загадочная клинопись начертана в небе. Один только Оле может ее прочесть.

Мечты без действия — пустоцвет. Опять настает воскресенье. Оле седлает свой астматический мотоцикл и едет к морю. Старая колымага пережевывает километры с трудом, как дряхлая бабка — сухую корку.

У одного рыбака Оле закупает уток: девяносто самок и десять селезней.

Он едет домой. Близится ночь. Мотоцикл тарахтит и грохочет, но фантазии председателя заглушают грохот. Под звездным небом ему видится косяк уток, который с гоготом и кряканьем летит прямиком в Блюменау.

Спустя три дня утки прибывают на станцию Обердорф. Оле подрезает у летунов крылья и запирает их в курятник. Утки целый день галдят в загончике — ладные птицы, проворные, как положено диким уткам, и доверчивые к тому же.

Уток надо приручить. На ближайшие дни дрессировка — самое важное дело. Оле рассыпает корм под кустом сирени и при этом насвистывает старую песенку времен своей юности.

— Можете поздравить: председатель играет с уточками,— ехидничает Мампе Горемыка. С божьей помощью Мампе уже одолел одну четвертинку.

И правда, странное поведение председателя смахивает на игру. Под волосами цвета прелых каштанов, словно веселый танец, угнездилась детская способность ко всяким выдумкам. Насвистывая пастушью песенку, он про себя твердит ее слова. Потом он напевает ее себе под нос и, наконец, во весь голос:

Ах, серый селезень, лети!
Пусть стужа спозаранок,
туман поднялся на пути
и не слыхать овсянок.
Пусть толща снега глубока
и туч зловещи тени...
Разрежь крылами облака —
и дунет ветр весенний!

Проходит неделя. Оле Бинкоп открывает двери загона. Утки робко выходят на широкий кооперативный двор. Крякают, завидев телеги и машины; гогочут, завидев лошадей и собак. А завидев воду, бегут к ней, склоняют головки и слушают, как она плещет.

Из цистерны в ведра бежит жидкая болтушка для телят. Уткам она напоминает воду, и они пытаются нырнуть в песок. Все смеются, а пуще всех Мампе Горемыка.

Птичница Нитнагель вступается за уток:

— Ну прямо как люди! Я вот одного знаю, так у него кадык ходуном ходит, если где звякнет бутылка.

Мампе Горемыка отворачивается с оскорбленным видом:

— Скажи спасибо, что у тебя не бывает запоев!

После осенней линьки у председателевых уток снова отросли крылья. Утром, когда ударили первые заморозки, они вылетели из загона и сделали круг над усадьбой. Две сотни крыльев плещут и свистят в воздухе. Вожаком у них черный селезень. Попутный ветер забирается

им под крылья. «Пережди, пережди!» — кричит вожак, когда стая проносится над высоким каштаном во дворе Оле. Утиный наставник относит этот призыв к себе. И улыбается, довольный.

Птицы находят большую воду — Коровье озеро. Они садятся на него.

Наступает полдень. Утки не вернулись. Улыбка у председателя уже не такая довольная. Вечереет. Оле грызет чубук своей трубки. А сам рыщет глазами по небу. Перед хлевом стоит Тео Тимпе, скотник, и смеется:

— Ну, какая будет завтра погода?

Смеркается. Приходит с работы полевая бригада. Оле рыщет глазами по небу. Люди из бригады останавливаются: «Чего это он?» — и помогают своему председателю смотреть в небо. Даже новый секретарь парторганизации Карл Крюгер и тот не считает ниже своего достоинства пялиться на небо... Оле сумел-таки показать свою силу. Достанется ли ему положенная награда? Куры давно уже сидят на насесте, когда наконец возвращаются утки. «Пережди, пережди!» Они кружат над сараями. Оле неуверенно улыбается. А сам так и водит глазами за стаей. Губы его высвистывают утиную песенку:

Ах, серый селезень, лети...

Тео Тимпе, Мампе Горемыка, Карл Крюгер и народ из полевой бригады смотрят во все глаза. Плещут крылья. Утки садятся. Оле их кормит. Вожак хватает куски хлеба прямо у него из рук. Карл Крюгер, сняв пропотевшую шапку, одобрительно кивает:

— Чисто сработано!

От гордости Оле становится еще выше ростом. Сбылась детская мечта: он — повелитель птиц.

3

Поздняя осень. Земля одевается туманом. Год не стоит на месте. И музыкальные утки председателя больше никому не в диковинку.

Коровы, племенной бык — словом, все, что имеет рога и умеет мычать, находится в ведении Тео Тимпе, скотника. Он приехал в «Цветущее поле» по объявлению.

«Исключительно живописные места, множество водоемов, прекрасное купание и близость к городу»,— гласило объявление, которое сдал в редакцию бухгалтер Бойхлер.

Тео Тимпе в ответ написал: «А мне нужна исключительно живописная квартира, иначе ноги моей у вас не будет. С товарищеским приветом. Тео Тимпе».

Просторных квартир в Блюменау раз-два и обчелся. Жилищная комиссия устраивает совещание.

— Наиболее просторная квартира у Бинкопа, а он одиночка,— изрекла Фрида Симсон; не исключено, что у нее были при этом свои соображения.

Не так легко уступить свой дом чужому человеку. Ведь мы-то знаем, что Оле поставил его своими руками и что небезызвестная фрау Аннгрет помогала ему при этом. Каждый кирпич побывал у него в руках. Цемент для кладки смешался с его потом. И в этих стенах он, как ни крути, все же провел несколько счастливых часов.

Оле попытался сопротивляться. Пошел к Яну Буллерту. Бывшие друзья-подпаски обменялись при встрече улыбками. Неужто старые нелады прощены и забыты?

Гость решил обойтись без долгих вступлений и без преамбулы.

— У меня беда. Ты мог бы мне помочь. «Цветущему полю» нужен квалифицированный скотник. Новый хлев. По последнему слову науки. Иди к нам. Не пожалеешь!

— Гм, кха-кха! — на Буллерта вдруг напал кашель, насморк и все прочие болезни.— Ну и погода, хороший хозяин собаки не выгонит.

Но Оле пришел толковать не о собаках, а о коровах.

И опять-таки погода погодой, но Буллерт — квалифицированный скотник или дояр, выражаясь по-современному.

— Хочешь быть у нас старшим зоотехником?

— Даже главным не хочу! — Буллерта еще не приперло, как других прочих, которые, боясь разорения, вступают в «Цветущее поле», и вообще Буллерт вам не спасательный круг. Ясное дело, Бинкоп хочет отстоять свой дом и не уступить его приезжему.— Правду я говорю?

Оле, сеятель будущего, чувствует себя уличенным. Он освободил дом для Тео Тимпе и перебрался к Эмме Дюрр, в лесную лачугу.

У Тео Тимпе славная жена. Эдакая белочка! Она выросла в городе, она обходительная, мягкосердечная и умеет себя вести. Ей захотелось немножко утешить председателя. Пусть не думает, что его выжили из дома какие-то изверги. Как-то в воскресенье она приглашает его на чашку кофе.

— Тебе что, приглянулся этот донжуан? — спрашивает Тимпе.

Эрна Тимпе знает, какой у нее ревнивый муж. Она не стала спорить. Оле пришел.

Разговор за столом вертелся все больше вокруг коров, мытья подойников и покупки сепаратора для кооператива. Тимпе человек энергичный, знает себе цену и рассматривает свое пребывание в «Цветущем поле», как великую милость, которую он, Тимпе, оказывает председателю. Молоко делает погоду.

Оле не против энергичных работников, но Тимпе, на его взгляд, чересчур уж энергичен. Он намерен увеличивать поголовье, так сказать, скоростным методом. Больше скота — больше ассигнований, больше молока — больше премий!

А Оле стоит за постепенное расширение поголовья и кормовой базы. Что представляет собой корова, когда ее нечем кормить? Энное количество обтянутых шкурой костей плюс вымя в виде бесплатного приложения.

Тимпе бьет кулаком по столу. Чашки подпрыгивают.

— Тогда покупай корма! Люди-то покупают!

С кормами всюду туго. Что ж, добиваться кредита и платить за корма, сколько запросят? Это не дело. Через два-три года «Цветущее поле» будет производить достаточно кормов. И в долги не залезет.

У Тимпе нос крючком. Во время дойки нос служит ему ту же службу, что шпора рыцарю. Коровы дают молоко галопом, как утверждает Мампе Горемыка. И для других целей пользуется Тимпе своим носом. Например, для споров. Тимпе иронически морщит его и тем подстрекает своих противников к необдуманным выпадам.

Какое дело Тимпе до кормов? С него требуют, чтоб были коровы. Чтоб было молоко. А у Оле реакционные взгляды.

Мужчины спорят. Мягкосердечная Эрна Тимпе с перепугу прихлебывает кофе из чашки Оле. Тимпе дико поводит глазами.

— Ах, ты уже вылизываешь его чашки?

Эрна, мать троих детей, краснеет, как школьница. Ее объяснения не имеют успеха. Тео Тимпе как с цепи сорвался, в его ревнивой голове мелькают подозрения одно другого страшней. Отныне и впредь председатель будет для него призовым племенным быком, которого время от времени не мешает оглоушить дубинкой промеж рогов.

4

Тимпе нацелил свой нос на Фриду Симсон — бургомистра.

— Неужто вы допустите, чтобы скотник, приехавший к вам издалека, подох с голоду?

Но с Фридой лучше даже не заговаривать про Оле. С чего бы это? Разве она не признала свои ошибки, разве не подвергла свои поступки здоровой самокритике?

Так-то так, но жизнь движется неисповедимыми путями, и Фрида Симсон не возлагает больше никаких надежд на Вильма Хольтена. На ее взгляд, он недостаточно повышает *квалификацию*. Правда, Хольтен— добрый дух «Цветущего поля», не хуже Бинкопа или Крюгера, он великий работяга, тракторист, передовик, но скажите на милость, много ли это значит для Фриды Симсон? Кто, как не Хольтен, позорно плелся в хвосте, когда они под руководством все той же Фриды изучали десятую главу краткого курса?

Зато Оле вдруг стал в глазах Фриды перспективным кадром. Ему вернули партбилет. Он заделался *активистом*, повысил свою *квалификацию*. Можно не сомневаться, что в свои одинокие ночи он проглотил бездну литературы, чтобы соответствовать занимаемой должности. Вот о таком мужчине всегда мечтала Фрида. А как он умеет всех увлекать за собой!

На собраниях она садилась теперь рядом с Оле, подливала ему сельтерской в стакан и держала про запас коробок спичек — вдруг да у него погаснет трубка! Всеми правдами и неправдами она старалась быть полезной и ласковой, как майское, чуть туманное утро. Она даже о его здоровье заботилась.

— Не стой на сквозняке! Не горячись, а то еще простуду схватишь. Сказано ведь: «В центре внимания стоит человек!» А кто тебе штопает драные носки?

Оле не знал, куда деваться от этой рассудочной заботы, но Фрида не отступала.

— Приноси-ка мне свои носки. Как-никак мы товарищи по партии.

В деревне от людей ничего не скроешь. Оле прекрасно знал, что Фрида и свои-то чулки не штопает.

— Скажешь, у твоей матери без моих носков работы не хватает?

Тогда Фрида решает опустить забрало. Что может быть слаще мести? При удобном случае, разумеется! Удобный случай не заставил себя ждать. Оле Бинкоп *оказался не на высоте в вопросе беспривязного содержания скота.* Из-за него и Фрида оказалась не на высоте. Неужто Блюменау останется единственной деревней, где нет открытого коровника? Оле стоял за капитальное строительство и увеличивал поголовье скота, руководствуясь принципом: поспешишь — людей насмешишь. Беда, да и только. Беспартийный Тимпе проявлял *стопроцентную инициативу,* а партийный консерватор подавлял таковую.

Фрида сочла своим долгом перейти на официальный тон. За подавление инициативы надо отвечать. Тем лучше!

В один прекрасный день во двор кооператива въехал грузовой автопоезд, до того длинный, что последний прицеп остался где-то за воротами. Балки, доски, стропила, брусья, всевозможный строительный материал громоздились на нем горой, как сено на возу.

— Куда сгружать эту петрушку?

Председателя на месте нет. Тимпе с видом знатока обнюхивает лес и велит разгружать машину за коровником.

Возвращается Оле. Он разглядывает беспорядочное нагромождение стройматериалов. Открытый коровник! Модные штучки! На кой ляд им это нужно?

Оле мрачно идет в правление. Кому понадобился открытый коровник, тот пусть его и строит. Общее собрание такого решения не принимало.

В дверях коровника стоит Тео Тимпе. Досада председателя доставляет ему истинное наслаждение.

Стройматериал остается лежать там, куда его свалили, и гниет потихоньку. Матерый заяц-русак преудобно устраивается под досками на зиму. Теперь уже никто не подумает, что вокруг проблемы открытого содержания скота когда-то кипели такие страсти.

5

Приходит зима. Деревню засыпало снегом. Тут бы и отдохнуть. Но при современном способе ведения хозяйства... Разве газеты не призывают во весь голос: *«Нельзя сидеть за печкой!»*? Минуточку терпения, товарищи, мы тоже не за безделье, но надо же дать людям хоть небольшую передышку. Надо же им все разведать, деревенские слухи обговорить. Плохи те времена, когда слухи иссякают и человек становится как камень и нет ему дела до другого человека.

И разве не нужно рассказать, почему Ян Буллерт, этот шутник, этот Уленшпигель, мало-помалу очерствел и не годится больше на роль секретаря парторганизации?

Было это шесть лет назад, летом, в самый разгар жатвы. Ян Буллерт собирался в Берлин. Его выбрали делегатом на партийную конференцию. А жена у него лежала дома больная — надорвалась.

В портфель, негнущийся, как доска, Ян Буллерт кинул ночную рубаху, две пачки табаку, каравай хлеба, фунт масла и полтора десятка крутых яиц, потом ворчливо чмокнул жену и сказал:

— Хоть бы какая нечистая сила меня выручила.

Дочерям он дал подробнейшие инструкции:

— Каждый день прогуливайте быка, не перекармливайте свиноматок, на ночь спускайте собаку, не давайте курам пшеницы, хорошенько поливайте огурцы и не путайтесь с парнями. Рано еще вам! Козлу подвяжите кожаный фартук. Все понятно?

— А за матерью ухаживать не надо?

— Ухаживайте, мне не жалко.

Буллерт помчался на станцию, успел вскочить в последний вагон, плюхнулся на жесткую скамью и уснул. Он храпел, и сопел, и пыхтел — до самой пересадки.

Зато после пересадки у Буллерта пропал сон, потому что чем ближе они подъезжали к Берлину, тем страшней ему казалась цель поездки. В ушах у него раздавался бесцветный голос Фриды Симсон:

— Партия в моем лице поручает тебе!..

В Берлине он должен выступать. Господи, твоя воля! Это же надо так расхрабриться! Говорить-то он вообще умеет, но только после пятой, а то и седьмой стопки. Еще вопрос, дают ли водку на таких высоких собраниях.

При второй пересадке Буллерт на всякий случай приобрел две бутылочки духовного топлива. И, запершись в неосвещенном купе, опробовал свою покупку. Страх как рукой сняло. Буллерт пропустил еще два глоточка, и духовный мотор заработал на полную мощность. Разрозненные мыслишки сливались в примерный текст речи: «Товарищи, собравшиеся в этом зале! Если правильно взглянуть на вещи, если, так сказать, хорошенько провентилировать вопросы, то надо будет признать, товарищи, что критиковать тоже надо. Лично я должен был кое-что покритиковать,

а покритиковать я должен был следующее. Товарищи! Есть еще такие богом обиженные товарищи, которые берут с такими трудностями поделенную землю помещиков и опять ее объединяют». Нет, «помещики» это слишком деликатно. «Землю юнкеров» — вот как он скажет. В этом слове больше политической сознательности. «Так вот, товарищи, вы меня спросите: кто же это объединяет юнкерскую землю? Могу вам на это ответить, что на это я ответить не могу. Имен я здесь не называю. Одно только могу сказать: в нормальных условиях того, кто считается полоумным, потому что он полоумный и есть, уже давно признали бы полоумным, а я так считаю своим долгом призвать всех вас — закройте перед ним лазейку, чтобы нам снова добиться единства в нашей деревне и таким путем единства нашего отечества и чтобы до конца наших дней».

Последние слова показались Буллерту особенно выразительными. Он уже видел, как делегаты встают со своих мест. Слышал бурные аплодисменты. Но вдруг кто-то пронзительно свистнул. Паровоз, как выяснилось.

Ян Буллерт сидел на партийной конференции. Слушал речи, но смысла их не улавливал. У него хватало своих забот. Он чувствовал себя как бы посреди луга, на котором вместо травы растут слова. И на этом лугу Буллерт срывал цветы для букета своей речи. Особенно удачные слова он даже записывал на ногтях, к примеру слово *обструкционист*. Чудо, что за слово, просто находка для такой речи. Товарищи, пора ударить по рукам зарвавшихся *обструкционистов* в вопросах свободы крестьянства!

Еще больше понравилось Буллерту слово *эклектицизм*. Не слово, а конфетка. Он решил, что *эклектицизм* очень здорово заменит слово «пачкотня». Красота, кто понимает. Это смачное слово Буллерт записал на ногте большого пальца.

Работка была дай бог. Поэтому в перерыве Буллерт ринулся к буфету. И выпил за свой счет три рюмки водки на случай, если дискуссия развернется раньше, чем предполагалось.

В одном из углов Буллерт обнаружил Вуншгетрея — районного секретаря. Наконец-то хоть одна близкая душа, так сказать, привет с далекой родины.

Буллерт хотел поздороваться с секретарем, но их разделяла целая толпа людей — и все говорили, говорили, и все корнями ушли в дискуссию, как деревья — в чернозем. Буфет гудел, словно улей. Буллерт и так и эдак пытался обратить на себя внимание, он даже поднял рюмку, будто надумал провозгласить тост.

Наконец Вуншгетрей увидел Буллерта и в свою очередь поднял стакан с сельтерской. Буллерт решительно протиснулся сквозь толпу. Водка прибавила ему храбрости.

— Эй, друг, я здесь выступать буду.

Вуншгетрей заслушал тезисы Буллертовой речи. Шрам на его лице, как брошь, скреплял презрительную усмешку.

Буллерт был в восторге от своих тезисов. Он даже показал секретарю звучные слова, записанные на ногтях.

Какой-то газетчик пожелал непременно сфотографировать их обоих. Вуншгетрей положил руку на плечо Буллерта.

— Ты бы погодил выступать, товарищ Буммерт.

— Буллерт, с вашего разрешения. Так мне же поручено.

Вуншгетрей тонко улыбнулся.

— Жизнь не стоит на месте. То, что вчера было ошибочно, может завтра оказаться правильным.

Буллерт покорно слушал. Хмельной задор улетучился. Вернулся прежний страх перед публичным выступлением. Фриды Симсон, этого дракона в юбке, ему, во всяком случае, бояться нечего. Он получил контрприказ от районного секретаря.

Словно щепка в водовороте, кружился Буллерт по залу, покуда наконец не добрался до своего места. И опять с трибуны сыпались новые выражения. В том числе одно, длинное-предлинное: товарищество по производству сельскохозяйственной продукции. Буллерт хотел докопаться до его смысла. Не может быть, чтобы такое длинное выражение имело хоть какое-нибудь касательство к тем делам, которые вот уже с зимы упорно вершит его — увы! — безумный друг Оле Бинкоп.

Буллерт послушал еще немножко, и ему стало ясно, что товарищество по производству, или сокращенно ТПСП, и впрямь не более как ученое название для нового крестьянского содружества.

— Да что они все, рехнулись, что ли? — спросил Буллерт громко, даже очень громко. Соседи зашикали. Буллерт скрючился. Сосед попытался выпрямить его.

— Что с тобой, товарищ?

— Мне надо выйти.

— Ну так выходи и не мешай людям.

Сосед Буллерта встал с места, сосед соседа встал с места и дальше, и дальше — и вот уже целый ряд стоял в почетном карауле по случаю того, что Буллерту надо выйти.

Что тут оставалось делать? Буллерт втянул живот и прошел по ряду. Мокрый от пота, выбрался он в коридор и проследовал по нему, не поднимая глаз. Поглядел на контролеров, что стояли у дверей. И скрылся — согласно своему заявлению — в туалете. Чем ему дальше заняться, он решительно не знал и, чтобы не совсем уж зря торчать там, подошел к зеркалу и вытер пот со лба.

(Продолжение следует)

РАССКАЗЫ

АНГОЛА

ЛУАНДИНУ ВИЕЙРА

КАК ЗАКОЛДОВАЛИ ПРЕДАТЕЛЯ

Жоан Санту умолк. В комнате воцарилась тишина. Только слышно было, как во дворе ветер шелестит листьями маниоковых кустов. Потом издалека, трудно было понять, откуда именно, из Самбизанги или из Рангела, послышались три выстрела.

Студент, маленький и толстый, сидел, нервно потирая руки, и смотрел на Каквижи, который продолжал курить. Последние слова мулата, казалось, еще звучали в комнате, освещенной лишь слабым огоньком светильника.

Ветер усилился, и время от времени с берега доносился шум машин и лязг металла. Не было еще и десяти часов, но по улицам двигались только желтые глаза фар. За тонкими стенами хижин просыпались испуганные люди, прислушиваясь к реву «джипов», шнырявших во мраке.

Студент перестал наконец тереть руки и тихо спросил:

— А ты уверен в этом, Жоан?

— Могу поклясться! Я стоял в тюремном дворе во время прогулки и видел, как он прошмыгнул.

Каквижи закашлялся, распахнул окно, выглянул на улицу и сплюнул.

— Вот дрянь! Но ты уверен, что именно он донес на тебя? — В голосе Каквижи слышалось сомнение.

Жоан Санту с негодованием воскликнул:

— Черт возьми, я ведь не маленький! А как же в полиции могли узнать о нашем разговоре с Манеку в тот день, когда мы требовали прибавки?

Каквижи пробормотал что-то и пожал плечами, вопросительно посмотрев на Студента. Но тот снова начал потирать руки, внимательно разглядывая их через очки. Тогда Каквижи обозлился:

— Негодяй! Вы думаете, что я его защищаю? Разве вы меня не знаете? Я только не хочу лишних неприятностей. А если это не он?

Жоан Санту громко расхохотался. Его резкий смех прозвучал в ночной тишине так неожиданно, что Студент вскочил.

— Не смейся так, Жоан! Не смейся, мы ведь знаем...— хотел было успокоить друга Каквижи. Но Жоан рассвирепел:

— Мы знаем только одно: Тонету действительно предатель. И нечего спорить об этом. Если бы не он, разве пришлось бы мне провести пять месяцев в тюрьме, ежедневно получая побои...

Каквижи не выдержал:

— Хорошо. Скажи, наконец, чего ты хочешь? Ты прав. Скажи, что ты предлагаешь сделать. Вели мне его убить — и я убью!

Жоан Санту снова захохотал:

— Зачем же его убивать? Этого типа надо только хорошенько проучить. Вы знаете, что я там перенес. Вы знаете также и опасность, которая нас всех подстерегает. Вы, мои друзья, тоже можете быть арестованы в любую минуту. Там, когда я не мог ни сесть, ни лечь, потому что все тело мое было избито, я думал только об одном: в этом виноват Тонету, негодяй, если его поймаю — убью...

— И это было бы лучше всего. Мерзавец предал уже многих.

Каквижи выпрямился во весь рост и прошелся по комнате. От его худой и длинной фигуры на стену падала тень, похожая на палку.

— Молчи, Каквижи: Пусть теперь он скажет,— Жоан показал на Студента.

— Я вполне согласен с вами, что этого подлеца надо проучить. Мне все время кажется, что он и на меня донесет... Но я ничего не могу доказать...

— Доказать? Что доказать? Да этого негодяя прикармливают в администрации, он вовсе и не механик никакой, просто на службе у них! Какие тебе еще нужны доказательства? — Каквижи сжал кулаки, жилы на шее у него натянулись, как струны.

Студент быстрым движением поднял очки на лоб и стал похож на летчика. Глазами, усталыми от чтения, он посмотрел на товарищей и заговорил, как всегда медленно, чтобы наконец разрешить все споры:

— Хватит, ребята. Довольно. Все ясно и так. Нам нужно только договориться о том, как поступить с этим негодяем. Больше ничего. Скажи ты, Каквижи, что́ ты считаешь нужным сделать? — Сверкнули белые зубы, и прищурились утомленные глаза.— Говори. Что ты предлагаешь?

Вопрос застал Каквижи врасплох. Он и сам еще не знал хорошенько, что сделать с подлецом, который зарабатывал деньги, предавая людей. Единственно, чего ему хотелось,— это подстеречь предателя где-нибудь за углом и убить одним ударом. Только этого он и хотел. Таких нужно убивать, как бешеных собак, чтобы они не заражали других.

Жоан Санту и Студент молча слушали, не перебивая, пока звучал голос механика, полный ненависти и презрения. Наконец мулат встал и подошел к окну. Прохладный ветер колебал слабый огонек светильника и обвевал лица друзей. Тени изломанными линиями перекрещивались на стенах и на потолке комнатушки.

— Я согласен. Надо отлупить негодяя.— Жоан сделал решительный жест рукой.

— Нет! — воскликнул Студент и вскочил.

Выражение лица его было очень серьезным. Быстрым движением он спрятал очки в карман рубашки. Его взгляд и голос, полный ненависти, испугали друзей. Редко приходилось им видеть товарища в таком состоянии.

Топнув ногой, как ребенок, Студент крикнул еще раз:

— Нет! Только не это!

Жоан Санту уселся на кровать. Опять начнется их вечный спор, подумал он. Каквижи, высокий и тощий, стоял рядом со Студентом, похожий на бутылку, поставленную рядом со стаканом.

И снова мысль о зависти Каквижи к Студенту сжала сердце Жоана, как бывало уже много раз. Всегда ему хотелось крикнуть, чтобы они больше не спорили, всегда ему хотелось, чтобы Студент хоть в чем-нибудь уступил Каквижи, чтобы тайный червь зависти не точил больше сердце друга. И сейчас механик почти плакал от злости и от стыда:

— Ладно, ладно! Я не хочу, я вовсе не хочу быть таким... Но вы знаете меня с детства, знаете, почему я перестал ходить в школу, почему перестал учиться...

Да, конечно, и Жоан, и Студент, и все товарищи прекрасно знали историю Каквижи, бездомного мальчишки из муссека, его сумасшедшую мать-нищенку, его отца, высланного в Тигровую бухту... Все знали об этом. А он, бедняга, всегда страдал от образованности Студента, он, бросивший школу, недоучившийся. А ведь он так хотел учиться, так хотел все знать, говорить такими же учеными словами, как Студент, уметь отвечать на все вопросы... И вот поэтому давняя зависть снова сдавила ему горло, Он только медленно и вызывающе произнес:

— Ну что ж! Может быть, пригласим его выпить с нами?

— Каквижи! — Жоан вскочил.

— Оставь, Санту. Я сам ему отвечу. Ты знаешь, Каквижи, что будет с Жоаном, если его снова арестуют?

Каквижи очень хотелось вызывающе взглянуть на Студента и ответить какой-нибудь дерзостью. Но это ему не удалось. Он тихо сказал:

— Знаю.

— А ты знаешь, что мы с тобой не попали туда только потому, что Жоан нас не выдал?

— Да, знаю, ну и что из этого?

— А то, Каквижи, что ты хочешь поймать этого типа в переулке и отколотить его, чтобы он тебя увидал, чтобы другие люди тебя увидали и потом...

— Что потом? Что? — В голосе Каквижи все еще звучал вызов.

— Черт возьми! И ты еще спрашиваешь? Ты что же, хочешь попасть в тюрьму и умереть там медленной смертью от голода и побоев? И все из-за этого предателя? А ты подумал о том, что нашей стране нужны такие люди, как ты, умеющие мыслить, умеющие работать... Отвечай, Каквижи!

В груди Каквижи бушевали противоположные чувства. И давняя зависть, которую он тщетно старался подавить, и внезапно вспыхнувшее желание обнять товарища, сказать ему, что он полностью согласен с ним, что он дурак, что все это просто не пришло ему в голову...

Но рука друга заставила его сесть на кровать рядом с Жоаном, и голос, звучавший тише, чем ветер за стенами хижины, стал объяснять, предлагать и спрашивать. И в темной комнатушке, где по стенам метались тени трех друзей, похожие на казумби *, рождался в эту ночь проект, как наказать Тонету Гомиша, механика и предателя, служившего в ПИДЕ **.

■

Ночь заглядывала в открытое окно. Ветер долетал с песчаного берега и прогуливался по обнаженному телу Студента. Каквижи, уткнувшись носом в циновку рядом с ним, храпел, как автобус, поднимающийся в гору.

* Злой дух.

** Португальская политическая полиция.

Студент недавно проснулся и, лежа на спине, смотрел в окно, изучая звездное небо над муссеком. Мощный храп друга пугал тараканов, ползавших по стенам. Порою казалось, что от этих звуков дрожит соломенная крыша хижины. А может быть, это только казалось Студенту. Он ничего не мог сказать с уверенностью. Голова отказывалась работать. Он чувствовал сейчас только необычную приятную сытость.

Здесь жил Жоан Санту, и поэтому для всех его товарищей тут, когда нужно, находилась еда — вареная фасоль с пальмовым маслом. И они наслаждались ею, весело беседуя. Только на одну тему они совсем не говорили, старательно ее избегая.

Эмилия, подруга Жоана, подозревала кое-что. Обвив полной рукой шею Студента, она пыталась выведать их тайну:

— Ну скажи мне, Студент, куда вы собираетесь?

— Клянусь, Эмилия, я не могу сказать!

По лицу женщины было видно, что такой ответ ее не удовлетворяет. А может быть, и ей уже было известно то, что было известно многим в квартале Самбизанга.

Сам Тонету Гомиш жаловался в лавке у Рафаэла Мансу, что его пугают колдовством, хотят убить... А он ведь человек порядочный, только и знает что дом да работу, никогда не связывается с этими парнями, которые говорят на запрещенные темы и обмениваются запрещенными бумажками... Верьте не верьте, а в мастерской ему говорили, что его собираются заколдовать. Кто? Он точно не знает, но люди говорят, что Каквижи. Есть у них на работе такой парень, живет в квартале Рангел, известный колдун! Ведь все в Амбришети — колдуны, а этот парень ему особенно не нравится.

Он говорит, что Тонету отправляет людей в полицию, что Тонету работает в ПИДЕ...

■

Уж месяц прошел с того дня, как Жоан Санту вышел из тюрьмы, и с той ночи, когда друзья договорились наказать Тонету Гомиша. Студент часто вспоминал ту ветреную ночь. Но теперь, когда настало время, это предприятие ему казалось опасным.

Каквижи долго упрямился, недели две не соглашался, говорил обо всех этих вещах, которые он с детства привык уважать. Студент злился на него и сказал однажды:

— Да знаешь ли ты, что все колдуны — просто мошенники! Они обманывают и дурачат народ. А ты веришь в это, Каквижи! Ты думаешь, что если человек, сидя у себя дома, побормочет что-нибудь непонятное, это может повредить другому человеку? Неужели ты веришь в эти вещи, в которых нет никакого смысла? Да, Каквижи?

И парень сдался. Ладно, он сделает все, что нужно. Больше не надо его убеждать. Но сегодня, когда уже сам Студент сомневался в необходимости выполнения плана, Каквижи все время думал о колдовстве.

Может быть, оттого, что его живот был набит фасолью с пальмовым маслом... Может быть, потому, что от жары болела голова... Но только он все время думал о своей бабушке, которая напутствовала в дальний путь умерших людей, вспоминал все истории, рассказанные матерью, о злых духах, о призраках и о других страшных вещах. И еще он вспоминал старого Камукуту, которого все звали колдуном, там, в муссеке Кабессы... Вспоминал и ту ночь, когда он сам увидал что-то похожее на козла возле хижины старой Фефы и потом услыхал, как этот козел чешется о стену хижины... И старая Фефа вскоре умерла... Все помнят это.

Почему сейчас в голову ему лезли такие мысли? Он прекрасно понимал, что этими делами люди занимаются, чтобы хорошо и сытно поесть в хижинах бедняков, для того, чтобы поспать с женщинами, которые дорого стоят... А может быть, Студент передумает, изменит свой план наказания Тонету?

Пот струился по телу Каквижи, как обильная роса. Вдруг открылась дверь, и тень Жоана Санту встала на пороге:

— Проснулись?

Студент сел, хлопнул Каквижи по спине и стал одеваться. Но тревожная мысль, которая не покидала его после ужина, снова завертелась в голове. А нужно ли браться за это дело?

Вошла заспанная Эмилия. Напомнила, что патрули все время разъезжают на «джипах» и нужно соблюдать осторожность. Три друга вышли из хижины в темноту ночи, безветренной и безлунной. Они зашагали по запутанным переулкам муссека, тихо, словно леопарды, приближаясь к хижине Тонету.

Вдруг Жоан почувствовал прикосновение руки Студента. Он наклонил голову, чтобы расслышать слова друга:

— Слушай. Я буду рядом. Если увидишь кого, свистни.

Тонету Гомиш жил у своей старой тетки, продавщицы сладостей. Хозяин лавчонки разрешил ей поселиться вместе с племянником в маленькой комнатушке деревянной хижины, где находилась лавка. Она стояла далеко от улицы, по которой носились «джипы». Только по макушке мулембы, росшей возле хижины, скользили порою снопы света.

Жоан Санту остался сторожить у входа в переулок, спрятавшись за досками. Студент потянул Каквижи к другому концу кривой улочки. Каквижи, с лицом, разрисованным белой краской, шел, прижимая к груди большую медную кастрюлю. Барабана достать ему не удалось. К поясу была привешена палка.

— Боишься, Каквижи?

— Нет, Студент, не боюсь... Но...

— Знаешь, Каквижи, даже мне страшно. Хоть я сам тебе рассказывал о жульничестве этих мошенников... Теперь, в темноте, когда настал решительный час, мне вспоминаются все страшные истории, которые я слышал в детстве...

— Значит, ты понимаешь меня... Клянусь, я сделаю все, о чем мы говорили... Но вот ты так много учился, а все-таки боишься... А Жоан не боится... Он меня не понимает. Мне все время кажется, что я действительно стал колдуном!

Послышался тихий смех Студента, и Каквижи почувствовал его горячую руку на своей голой спине.

— Колдовства не существует, Каквижи! Все это одни выдумки!

И Студент спрятался между деревьями.

Настал час, которого Каквижи так боялся. Но уговор есть уговор. Теперь отказываться поздно. Друзья верят, что он выполнит все, о чем условились. Сердце прыгало и стучало в груди... Пот струился по лицу, размывая краску. Но, увидев желтый свет далеких фар, он вдруг почувствовал, как его вновь охватила ненависть к предателю. И медленно, весь дрожа, как тростник, он направился к хижине Тонету.

Жоан Санту напряженно всматривался в темноту, словно надеясь увидеть Каквижи. Но он ничего не мог разглядеть. На другом конце переулка стоял Студент, повернувшись спиной, заткнув уши пальцами, ничего в эту минуту не желая видеть и слышать. Он думал только об одном: как бы Каквижи не испортил всю затею!

И вот из ночной темноты донеслись приглушенное блеянье козла и грохот медной кастрюли. Студент, похолодев от страха, еще крепче

заткнул уши. Но блеянье козла становилось громче, грохот кастрюли отдавался во всем теле. Кровь стучала в висках... И вдруг все стихло. Послышался шорох шагов по песку. Кто-то крался вдоль хижины... И еще раз измененный, устрашающий голос Каквижи произнес всем известное заклинание колдунов:

— Иду из ночи, я все вижу!

И еще громче раздались вопли козла, и загрохотала медная кастрюля... Голос обезумевшего Каквижи раскатывался над муссеком... А ведь он должен был делать все тихо, так, чтобы слышал только один Тонету... Теперь проснется весь муссек, и люди погонятся за ним, как за настоящим колдуном.

Жоан Санту понял опасность и бросился бежать со своего конца переулка. Уже кричали проснувшиеся петухи и лаяли собаки.

— Спасайся!

Студент перескочил через забор и скрылся, а Жоан Санту понесся туда, где неистовствовал Каквижи. Парень будто сошел с ума. Вытаращенные глаза его сверкали, рот открылся... Размазанная белая краска сделала его лицо неузнаваемым. Каквижи кричал и кричал, ударяя палкой в медную кастрюлю:

— Иду из ночи, я все вижу! Я все знаю!

Наконец он ударил задом в стену хижины.

Жоан Санту выхватил у него из рук кастрюлю и швырнул ее на крышу. Вслед за Студентом они побежали по переулку и скрылись в темноте.

Во всех хижинах зажигался свет, как во время полицейской облавы. Перепуганные люди успокаивали детей, проснувшихся от криков колдуна. Давно уже никто не слышал их в здешних местах!

■

Бродя, как безумный, по берегу, Тонету Гомиш размахивал руками и говорил все об одном и том же. Люди удивленно смотрели на него, выглядывая из дверей.

Прошла уже неделя с той ночи, но страх все еще не покинул его. Днем и ночью в его ушах звучало блеяние козла, нагоняя ужас... Механик вспоминал это и не мог заснуть. Каждую ночь он ждал повторения.

Его наверняка заколдовали. Этот ужасный колдун из Амбришети... И кусок не шел ему в горло, от всего тошнило, и обмякшее тело стремилось только лечь на циновку во дворике...

Испуганная тетка, как свойственно старым людям, давала ему советы.

— Мальчик. Сходи-ка ты к колдуну. Я знаю, только колдун может теперь расколдовать тебя!

Но тело горело и дрожало, как в лихорадке. Он уже не мог подняться... Ноги подламывались, он не мог даже поднять голову... И есть уже не хотел... Напрасно тетка готовила его любимые кушанья...

Нет. Это не была лихорадка, о которой он говорил. И тетка ему не верила. Нет. Это все натворил колдун... Конечно, все это сделал парень из Амбришети. Все люди в конторе говорили, что он колдун.

Восемь дней уж не ходил Тонету на работу, и сеньор Перейра, управляющий, предупредил, что с него вычтут за целый месяц... Тогда он решил подняться, но ноги не слушались. Нет, Каквижи заколдовал его, чтобы постепенно вымотать всю душу, и никто теперь не мог его спасти.

Наконец сегодня утром он почувствовал себя лучше. Он вспомнил о начальнике полиции: что, если сеньор Кошта ему поможет?.. Ведь он, То-

нету, уже на многих донес, многое сделал... Правда, ему платили за каждого 500 эшкуду, но, может быть, начальник согласится что-нибудь сделать для него!.. Пусть он заберет этого Каквижи! Пусть отправит его в Тигровую бухту или в Мосамедиш... Может быть, тогда Тонету освободится от колдовства.

Озираясь по сторонам, он приблизился к железным воротам и дернул колокольчик. Голова его работала лучше, только ноги были как свинцовые.

Начальник, сеньор Кошта, с гнилыми зубами, похожий на полевую крысу, встретил его своей страшной улыбкой, которая всегда пугала Тонету. Маленькие глаза сощурились за очками. Поглядев на своего помощника, большого и толстого, как буйвол, начальник спросил:

— Тебе чего надо, а?

Тонету попытался засмеяться, как делал обычно перед разговором, но на этот раз смех застрял у него в горле.

— Господин начальник, могу я поговорить с вами наедине?

Начальник улыбнулся удовлетворенно и злобно. Он хорошо изучил Тонету. Тот всегда начинал так, когда приходил с доносом.

— Говори...

— Господин начальник, честное слово, один парень заколдовал меня...

Тонету снова почувствовал жар в голове и понес какую-то околесицу, путая начало с концом и конец с началом... Выпучив глаза, он смотрел на помощника, который играл кнутом из бегемотовой кожи. Вдруг Тонету заметил, что лицо у начальника багровеет... Это смутило его окончательно, и он замолчал. Ему казалось, что уже ничего больше не может сказать... Что все кончено.

— И это все? У тебя лихорадка.

Никогда еще начальник не принимал его так! Надо постараться убедить его...

— Нет, господин начальник, это он, я хорошо знаю. Пусть господин начальник заберет его, иначе он меня убьет...

Помощник громко рассмеялся, смех его напоминал хохот гиены.

— Ты его собираешься продать, жулик! — рассердился начальник.— Думаешь, я не понимаю? — Он посмотрел на Тонету, словно тот был уже арестантом.— Доносишь на парней, а потом идешь к их родственникам, требуешь денег, говоришь, что попросишь меня выпустить их. Нет, ты меня больше не проведешь, я все знаю! Мне не нужны доносчики и плуты!

Маленькие глазки, притаившиеся за стеклами очков, снова повернулись к помощнику, игравшему с кнутом.

— Жалкий плут, мне такие не нужны,— снова сказал начальник.— Ты сказал мне, что Жоан Санту террорист, только затем, чтобы получить деньги... Пошел вон!

— Правда, господин начальник! И Каквижи такой. Клянусь вам. Заберите его, заберите! Я не могу жить с ним на одной улице! Он меня убьет, убьет, господин начальник!

В голове Тонету зазвенело, тело его обмякло, язык болтал невесть что... А в ушах снова зазвучал крик козла, сердце запрыгало и застучало, как молот, и он закричал...

Он кричал и, стоя на коленях перед начальником полиции, умолял:

— Простите меня, господин начальник, но возьмите этого человека, возьмите!

И Тонету уже не чувствовал, как его схватили за пояс, не чувствовал ударов кнута, не слышал смеха помощника... Только солнце, жестокое и строгое, пекло его голову, и ноги отказывались шагать по песку...

Он не чувствовал своих ног, ничего не чувствовал... Жизнь уходила от него, и он оставался пустой и бесчувственный... Только красный огонь жег его спину, руки, глаза, безумно смотрящие вдаль и не видящие ничего... А из широко открытого рта несся громкий крик, крик его жизни, потерянной вместе с душой, которую украл Каквижи:

— Я не служу в полиции! Я не служу в полиции!

Между тихими хижинами, озаренными утренним солнцем, бился крик человека. Выглядывали удивленные и испуганные люди.

— Я не служу в полиции!

И не было в муссеке ни одной стены, ни одной двери, которая с отвращением не оттолкнула бы от себя этот крик...

Даже маленькие листья мулемб, даже их сладкие плоды отталкивали его... Даже птицы... Они только крепче прижимались к ветвям, когда их освещали электрические глаза «джипов», которые в эту ночь шарили по улицам муссеков.

Перевод с португальского Л. НЕКРАСОВОЙ

ЯПОНИЯ

ЭЙСУКЭ НАКАДЗОНО

ДОБРОВОЛЕЦ КОРПУСА МИРА

Как только Н-кун заканчивает очередную книгу, он тут же становится безработным. А став безработным, с вытаращенными глазами начинает рыскать по страницам газет в поисках объявления о найме. И все потому, что ему неохота браться за новую книгу.

В этот день Н-кун прочитал одно объявление, которое показалось ему чрезвычайно интересным:

«Требуется человек на должность управляющего в четвертой группе промышленности. Заграничные командировки. Высокий оклад. Подданство безразлично».

Так, так. Промышленность первой группы — это сельское хозяйство, лесоводство, морские промыслы, то есть производство первичного сырья. Ко второй группе относятся: добыча полезных ископаемых, строительство и обрабатывающая промышленность. К третьей — оптовая и розничная торговля, финансы, транспорт, связь, иными словами, вся обслуживающая промышленность. О такой классификации Н-кун знал понаслышке, ее, кажется, ввел английский экономист Корин Кларк. Очевидно, следуя этой классификации, политики, служители культа и писательская мелюзга вроде Н-куна относились к обслуживающей промышленности.

А вот что это за четвертая промышленность, Н-кун не знал. Но ему надоело сидеть дома, укутавшись в одеяло, с электрической грелкой в ногах, с пером в руках — осточертело ему писательство. И решил Н-кун: поработаю-ка я в четвертой промышленности!

Контора, которую он искал, помещалась в небоскребе «Адзия», высившемся в самом центре Мару-но-ути.

С выражением отчаянной решимости, словно собираясь взорвать самого себя вместе с этой железобетонной громадой, Н-кун ринулся в лифт и взлетел на восьмой этаж. Навстречу ему вышла девушка с огромными, как у Риты Морено, глазами. Потом потянулось бесконечно долгое ожидание, и он уж начал было подумывать: а не плюнуть ли на новую работу, на предстоящее собеседование с боссом и не приволокнуться ли за секретаршей?

Размечтавшись о приятном знакомстве, Н-кун уже набрался было отваги и даже рот открыл, чтобы заговорить, но как раз в этот момент секретарша, с очаровательной улыбкой указывая на дверь кабинета босса, произнесла:

— Пройдите, пожалуйста!

■

За массивным столом красного дерева сидел высокий смуглый человек с острым подбородком. Национальность его трудно было определить. Он пронзительно смотрел прямо в глаза Н-куну.

— Явился все же!

— Что, что?

— А вот то самое. Больно уж ты размахиваешь в последнее время шпионскими романами! Вот я и решил сделать тебя шпионом.

— Да вы смеетесь? Мои романы — это же плод чистейшей фантазии. Как же так... надеюсь, эта самая ваша четвертая промышленность не шпионский трест? — Н-кун бросил подозрительный взгляд на золотую надпись, четко выделявшуюся на стеклянной двери: «Трест П2А».

— Ха-ха-ха! — босс покатился со смеху.— Ладно, не бойся, я пошутил. Дело в том, что всякие там тайные агенты, воздушная разведка — все это безнадежно устарело. Американский президент дал отставку шефу Центрального разведывательного управления Аллену Даллесу, а он был ведь «Номер один». А второй номер, инициатор полетов У-2, тоже отстранен. И третий — тоже! Тот самый Ричард Биссер, который погорел на кубинской авантюре. Так что теперь президент собирается потихонечку, без шума, реорганизовать это учреждение. На его месте я давным-давно вообще ликвидировал бы все эти органы.

— Вот именно! Я с вами полностью согласен. Шпионаж в стиле Грина и Аплера изжил себя. А мои рассказы... ну, это просто реквием.

— Выходит, тебе все ясно? А ну-ка, прочитай.

Босс протянул Н-куну газету на английском языке. Вспотев от напряжения, Н-кун с трудом прочитал отчеркнутую красным карандашом статью.

— Значит, так... Заместитель начальника ЦРУ заявил, что примерно триста тысяч человек, проникших в США, заняты разведывательной деятельностью при посредстве коммунистов, информационных агентств и органов государственной безопасности... так, так... В их задачу входит сбор сведений во время официальных совещаний деловых кругов, в которых принимают участие бизнесмены, ученые и инженеры-специалисты. За последний год должностные лица коммунистического блока тридцать шесть раз присутствовали на подобных заседаниях. Кроме того, источником полезной научной и технической информации для них являются газеты, правительственные бюллетени и специальная литература по различным вопросам...

— Ну, так что ты скажешь? — спросил босс.

— Какой же это шпионаж! — воскликнул Н-кун.— Фактически это признание ЦРУ в том, что ему нечего делать.

Босс легко опроверг вывод Н-куна:

— Положим, можно прикинуться, что делать нечего. Поплакаться, попросить увеличить бюджетные ассигнования. Кстати, как ты думаешь, кто такие эти триста тысяч человек?

— Должно быть, коммунисты.

— Ну и дурак! Это все сотрудники нашего треста.

— Гм... Вот как. Что же они у вас делают?

— Боже мой, какой тупица! Ну, ладно, иди сюда.

Босс подвел Н-куна к огромному, во всю стену, окну. Наверное, подумал писатель, из этого окна виден весь центр Токио: Мару-но-ути и императорский дворец тоже.

— Приступим к следующему испытанию,— сказал босс.

■

Посмотрев в окно, Н-кун ахнул. Перед ним окрылась панорама, которую он не раз описывал в своих книгах. Ничего похожего на Токио! По улицам с бешеной скоростью снуют малюсенькие велорикши «бэча». Широченные дороги плавятся под лучами палящего солнца. Ряды низких домов... Джакарта в разгаре лета! Внезапно движение на улицах замирает, появляется колонна демонстрантов — все в белых рубашках. Напрягая глаза, Н-кун с трудом разобрал маленькие, величиной с горошину, буквы лозунгов: «Долой голландских колонизаторов! Свободу Западному Ириану».

— Молодцы! Вот это здорово! — воскликнул Н-кун и оглянулся.

К своему удивлению, он заметил, что босс куда-то исчез. Вместо него стояла секретарша.

— Скажите, кто ваш босс?

— Энс Борт-младший,— важно произнесла она.

— Что-о?! Сын того самого Энса Борта из «Треста РЕ» по разрушению Европы?

— Прошу вас воздержаться от неуместных намеков! Приступаем к следующему испытанию. Вы за вооруженное освобождение Западного Ириана?

— Разумеется!

— Так-с,— она слегка нахмурила брови.— Значит, в аналогичных условиях в Японии вы готовы взять на себя ответственность за вооруженное восстание?

— Мне кажется, я бы смог решиться...

— Энс Борт-младший за освобождение... то есть за свободу. Свобода — величайший бизнес современности. Бизнес мира и созидания. Ради этого дела Энс Борт-младший отправляет в страны Азии и Африки представителей добровольческого Корпуса мира!

■

— Ах, вот оно что! Значит, «Трест П2А» — это по переустройству Азии и Африки, «Трест АЕ» — для Америки и Европы, а...

— Все это верно,— перебила его секретарша.— Но вы не выдержали испытания.

— Как это — не выдержал?

— Видите ли, вы, вероятно, считаете себя противником американского Корпуса мира, но ваши взгляды столь же примитивны, как у парней и девушек из этого Корпуса!

— Да погодите вы! — Н-кун даже перешел на крик, словно в этом было его спасение.— Если меня назначат управляющим джакартским отделением фирмы, то есть резидентом Джакартского района, я теле-

граммой вызову для Корпуса мира гениев...— и он начал торопливо перебирать в памяти своих друзей:— Вот, пожалуйста... Мой друг, поэт Х. С.... Фанатик! Непревзойденный мастер заклинаний! Очень даже вероятно, что если он произнесет: «Сгиньте, колонизаторы!», как они тут же сгинут. Или другой, Р. Х., тоже поэт. Видели бы вы, с каким мастерством он фабрикует «утки»! Жертвы его поклепов мгновенно оказываются в полной изоляции! Есть еще один писатель, С. Х. Он способен совершенно свободно перемещаться из стана своих в стан врагов и обратно... С легкостью ветерка! Да если эти трое будут со мной, мы поведем молниеносное наступление на врага. Атаку за атакой! Без передышки! Противник и моргнуть не успеет, как мы его положим на обе лопатки. А дружественной нам стране останется лишь подставить ладони, чтобы поймать Западный Ириан, как созревший плод, падающий с ветки.

— Ну, что ж. Запишу для сведения.

— Какая вы холодная. Просто лед, хоть и царица финикийская...— Н-кун, очевидно, уже начал бредить — он произнес имя возлюбленной Энса Борта-старшего.

— Боже! Это я-то — царица финикийская! — воскликнула девушка, бросив на Н-куна чарующий взгляд и соблазнительно изогнув стан.

— Конечно! Именно вы! Невиданная красавица, с именем которой на устах Энс Борт-старший испустил дух среди развалин Европы! Именно вы, воскресшая из пепла, как птица Феникс, на материках Азии и Африки...

— Ну, что вы!.. Не такая уж я...

— Счастье, что здесь нет Энса Борта-младшего! Не согласитесь ли вы пойти со мной в Богорский ботанический сад?

— Право, не знаю...

Но в тот самый момент, когда девушка уже была готова поддаться соблазну, с треском распахнулась дверь, и появился Энс Борт-младший.

■

— Я слышал все! Не выдержал испытаний и решил с помощью флирта устроиться на службу?!

— Да, нет... что вы...— пролепетал Н-кун в страшнейшем замешательстве.

— Так, значит, ты, японец, надумал завладеть «Трестом П2А»?

Взглянув на мрачное лицо босса, Н-кун вдруг решился — эх, была не была! — и выпалил:

— Вот именно! Угадали!

— Ну, что ж, это, пожалуй, становится интересным,— неожиданно сказал босс. Он вплотную приблизился к Н-куну, чуть не вонзив в его лицо свой острый подбородок, и одобрительно произнес: — Я тебя беру! В течение испытательного срока будешь работать дома. Вплоть до особого вызова.

— Но ведь мы в Инд...

Босс прервал его, молча указав на дверь. Секретарша с каменным лицом распахнула перед Н-куном дверцу лифта. Еле слышно, почти не размыкая губ, она прошептала: «В следующий раз». Это прозвучало загадочно, и сейчас она на самом деле показалась Н-куну царицей финикийской.

Когда Н-кун вышел на улицу, его охватило изумление. Здание, в котором он только что находился, было тем же небоскребом «Адзия» и по-прежнему стояло в центре Мару-но-ути.

Примерно через неделю Н-кун получил телеграмму: «Немедленно явитесь контору тчк Энс Борт-младший».

Писатель выполз из-под одеяла и, приплясывая от радости, направился в центр. Он шел, не оборачиваясь и нигде не задерживаясь. Наконец лифт вознес его на восьмой этаж. Однако двери с надписью «Трест П2А» нигде не было. То есть дверь находилась на прежнем месте, но на ней висела какая-то нелепая табличка «Отдел расследования акционерного общества Сакура».

Секретарша, нисколько не похожая на царицу финикийскую, сказала:

— Со дня постройки этого здания наш отдел находится в этой комнате — в комнате 813,— и захлопнула дверь перед самым носом Н-куна.

Откуда же телеграмма? Зажав в кулаке скомканный телеграфный бланк, Н-кун поднялся на плоскую крышу. Нет, он вовсе не собирался броситься вниз и покончить жизнь самоубийством! Просто ему захотелось немного остудить пылавшую голову.

Но тут произошло нечто страшное... Н-кун в ту же минуту бесследно исчез...

Исчез, и все. И никаких вестей от него не было. Впрочем... очень скоро редакции газет и журналов всего мира стали наводняться репортажами из Окинавы, Лаоса, Южного Вьетнама, Конго и Индонезии. В них сообщалось о грандиозных успехах Корпуса мира на пути освобождения народов. Подписи не было, но чувствовалась рука Н-куна...

Разумеется, все это может показаться странным и нелепым — ведь Н-кун не получал визы, никуда не вылетал из аэропорта Ханеда. Но недаром старая пословица гласит: «Великая тайна скрывается в городе». Что бы там ни говорили, а четвертая промышленность, которая дергает за ниточку Н-куна, все же существует. Не игнорируйте ее.

Перевод с японского З. РАХИМА

ИНДИЯ

Р. К. НАРАЙАН

ДЕНЬ АСТРОЛОГА

Ровно в полдень, как всегда, он открыл сумку и выложил свой реквизит: дюжину морских раковин, квадратный лоскут, на котором были начертаны какие-то магические таблицы, тетрадь и связку пальмовых листьев. Лоб его сверкал киноварью, щедро посыпанной священным пеплом, а глаза светились ярким, пронзительным огнем — результат неустанного выглядывания клиентов,— который те в простоте душевной принимали за пророческий свет. Впечатление от этого горячего взгляда усиливалось благодаря обрамлению: ярко раскрашенный лоб и черные, как ночь, бакенбарды, переходящие в густую бороду. В таком оформлении засверкали бы глаза даже идиота!

Цветовая гамма била без промаха. Люди слетались к нему, как пчелы к яркому соцветию. Он сидел в тени раскидистого тамариска, который рос у дорожки, ведущей через муниципальный парк. Место это было бойкое: по узкой дорожке день-деньской сновал народ. Кого тут только не было: продавцы лекарств и снадобий, торговцы краденой утварью и

скобяными товарами, фокусники, зазывала от магазина по дешевой распродаже тканей, голосивший с утра до вечера так зычно, что на его крик мог бы сбежаться весь город. Следующим за ним по громогласности шел продавец жареных земляных орехов. Что ни день, он придумывал все новые названия для своего товара. Сегодня он кричал: «Бомбейское мороженое!» — завтра: «Делийский миндаль!» — а на третий день: «Любимое блюдое царей!» — и покупатели сбегались к нему толпами. Многие из них останавливались поглазеть на астролога. Тот занимался своим делом, озаряемый светильником, который трещал и дымил над кучей земляных орехов. Место это нравилось ему еще и потому, что там не было обычного городского освещения. Свет падал лишь из расположенных поблизости лавок — в одной шипела газовая горелка, в другой на стенах были укреплены простые светильники, в третьей горел старый фонарик, снятый с велосипеда. Таинственные тени бегали и пересекались под старым тамариском, изредка озаряемые ярким лучом света. Все это очень устраивало астролога.

В юности он и не думал, что станет астрологом. Он не знал, что ждет других, и не имел ни малейшего понятия о том, что через минуту случится с ним самим. Язык звезд был так же непонятен ему, как и его клиентам. И все же он занимался этим делом, и то, что он говорил, внушало восторженное удивление его слушателям. Все это было, однако, результатом опыта, знания людей и сообразительности. Тем не менее труд его был так же нелегок, как и труд любого честного человека, и деньги, которые он приносил домой в конце каждого дня, были получены не даром.

Он покинул свою деревню внезапно, не задумываясь о будущем. Если бы он остался, то занимался бы тем же, что и его предки,— возделывал бы землю, женился и мирно состарился бы среди полей и пашен, где прожило не одно поколение земледельцев. Но этого не случилось. Он ушел из дома, не сказав никому ни слова, и вздохнул с облегчением, только когда позади осталась добрая сотня миль. Крестьянину, прожившему весь свой век в деревне, казалось, будто целый океан лег между ним и его домом.

Астролог хорошо представлял себе, что волнует людей: женитьба, деньги, житейские заботы. Долгие годы практики обострили его чутье. Пяти минут не проходило, а он уже знал, что у клиента на душе. Он брал три пайсы * за каждый вопрос и никогда не открывал рта, не дав клиенту поговорить минут десять, по меньшей мере. Того, что он узнавал за эти десять минут, хватило бы на сотню ответов.

— Ты не получаешь должного вознаграждения за свои труды,— говорил он, уставившись в ладонь сидящего перед ним клиента. И не было человека, который не согласился бы с астрологом.

Часто он вопрошал:

— Есть в твоей семье женщина, может быть, дальняя родственница, которая не расположена к тебе?

Или разъяснял:

— Беды твои объясняются твоим характером. Да разве может быть иначе? Посмотри, где стоит Сатурн! Характер у тебя порывистый, а нрав воинственный.

Это наполняло сердца слушателей благодарностью, ибо даже самым кротким из нас приятно думать, что вид у нас устрашающий.

Продавец орехов задул свой светильник и поднялся. Это послужило сигналом для астролога: пора и ему было уходить. Стало совсем темно, только откуда-то на землю возле его ног падал зеленый отблеск. Он

---

* Пайса — самая мелкая медная монета в Индии, по старой денежной системе $^1/_{12}$ аны. В рупии содержится 16 ан.

собрал свои раковины и прочий реквизит и принялся было складывать их в сумку, как вдруг зеленый свет закрыла чья-то тень. Астролог поднял глаза и увидел, что перед ним стоит какой-то мужчина. Почуяв добычу, астролог сказал:

— Ты чем-то встревожен... Садись и поболтай со мной немного, это тебе поможет.

Тот буркнул что-то в ответ.

Астролог повторил свое приглашение. Тогда мужчина сунул ему под нос свою ладонь и сказал:

— Ты, кажется, называешь себя астрологом?

Астрологу послышался вызов в этих словах. Повернув ладонь незнакомца к зеленому лучу света, он начал:

— Твой характер...

— А-а, перестань! — сказал нетерпеливо клиент.— Скажи мне что-нибудь стоящее...

Астролог в замешательстве пробормотал:

— Я беру всего три пайсы за вопрос. Мои ответы, конечно, стоят этих денег...

Незнакомец вынул из кармана ану и швырнул ее астрологу.

— Мне нужно получить ответ на несколько вопросов. Если я увижу, что ты меня надуваешь, я потребую, чтобы ты вернул мне эту ану с процентами.

— А ты, если будешь доволен моими ответами, дашь мне пять рупий.

— И не подумаю!

— Ну, хотя бы полрупии. Хорошо?

— Ладно. Но если ты ошибешься, заплатишь мне вдвое,— сказал незнакомец.

После недолгих споров на том и порешили. Астролог вознес небесам молитву, а незнакомец раскурил трубку. При свете спички астролог увидел лицо своего ночного клиента. Наступило молчание. Только слышно было, как на улице гудели машины да погонщики покрикивали на лошадей, а вдали, в полутьме парка, шумела толпа. Клиент сидел неподвижно и молча посасывал трубку, выпуская из носа клубы дыма. В его неподвижности было что-то беспощадное. Астролог заколебался.

— Послушай, вот тебе твоя ана. Я не привык, чтобы мне не доверяли. К тому же уже поздно...

И он принялся складывать свои вещи. Незнакомец схватил его за руку:

— Нет, ты так от меня не отделаешься. Ты сам меня остановил, когда я шел мимо.

Астролог затрепетал. Голос его задрожал и ослаб:

— Оставь меня. Я поговорю с тобой завтра.

Пришелец протянул ему ладонь и сказал:

— Уговор дороже денег. Ну?

Чувствуя, что горло ему сжимает страх, астролог произнес:

— В твоей семье есть женщина...

— Брось,— сказал клиент.— Мне эта чепуха не нужна. Увенчаются мои поиски успехом или нет? Ответь мне на этот вопрос и уходи. А не ответишь — так не уйдешь, пока не отдашь мне все свои деньги...

Астролог пробормотал какие-то заклинания и сказал:

— Ну, что ж, я отвечу тебе на твой вопрос. Только ты дашь мне рупию, если мой ответ будет убедительным. Хорошо? А не то я и рта не открою — можешь делать, что хочешь...

После долгих препирательств пришелец согласился. Астролог сказал:

— Тебя сочли за мертвого и бросили. Верно?

— Верно... Продолжай...

— Однажды тебя коснулся нож...— сказал астролог.

— Истинная правда.— Пришелец обнажил грудь и показал астрологу шрам.— Еще что?

— Тебя столкнули в колодец, вырытый в поле, и оставили там, решив, что ты умер...

— Я бы и умер, если б какой-то прохожий не заглянул в колодец,— воскликнул пришелец. И радостно добавил, сжав кулаки:— Когда я встречу своего врага?

— В будущей жизни,— ответил астролог.— Четыре месяца назад он умер в каком-то захолустном городишке, далеко отсюда. Ты больше его никогда не увидишь...

Клиент застонал от ярости. Астролог продолжал:

— Послушай, Гуру Найак...

— Ты знаешь мое имя?! — воскликнул в изумлении пришелец.

— Как и многое другое... Гуру Найак, слушай внимательно, что я тебе скажу. Твоя деревня находится на расстоянии двух дней пути к северу от этого города. Сядь в первый же поезд и отправляйся домой. Не отлучайся из дому. Не то твоей жизни будет грозить великая опасность...— Астролог взял щепоть священного пепла и протянул его клиенту.— Посыпь себе лоб этим священным пеплом и возвращайся домой. Не езди никуда в южном направлении — и ты проживешь до ста лет.

— К чему мне теперь уезжать из дому? — сказал пришелец в раздумье.— Я только пытался найти того человека. Если б я встретил его, я бы задушил его.— Клиент с грустью покачал головой.— Он выскользнул у меня из рук. Надеюсь, по крайней мере, что он умер нелегкой смертью. Он того заслужил.

— Да,— сказал астролог.— Его задавил грузовик.

При этих словах лицо клиента прояснилось.

К тому времени, когда астролог собрал свои вещи и сложил их в сумку, в парке уже не осталось ни души. Зеленый свет погас, и под развесистым тамариском царила тьма и молчание. Ночной гость давно уже исчез, оставив астрологу горсть монет.

Близилась полночь, когда астролог добрался наконец домой. Жена ждала его на пороге. Она засыпала его вопросами. Он швырнул ей монеты и сказал:

— Сосчитай. Мне дал их один человек...

— Двенадцать с половиной ан! — радостно воскликнула жена, пересчитав деньги.— Куплю завтра сахару и кокосовых орехов. Девочка давно уже просит чего-нибудь сладкого. Я приготовлю настоящее лакомство.

— Этот негодяй обманул меня! — вскричал астролог.— Он обещал мне рупию.

Жена подняла глаза:

— Что с тобой? Что-нибудь случилось?

— Нет, ничего.

Сидя на галерее после обеда, он сказал жене:

— Сегодня с моей души свалилась большая тяжесть. Все эти годы я думал, что на моих руках кровь одного человека. Из-за него я и убежал из дому, осел здесь и женился на тебе. Но он остался жив...

— Ты покушался на жизнь человека? — вскричала жена в ужасе.

— Да, в нашей деревне, когда я был еще совсем зеленым юнцом. Однажды мы играли в карты, напились и подрались... Впрочем, к чему вспоминать об этом сейчас... Пора спать,— сказал он, зевнув.

И тут же растянулся на циновке.

Перевод с английского Н. ДЕМУРОВОЙ

РИЧАРД РАЙВ

КАФЕ У ДОРОГИ

Собрание только что кончилось. Билл вспомнил, как долго ему придется добираться домой. На двух автобусах и электричке. От Грасси-парка чертовски далеко до Клифтона. Другой конец полуострова. Клифтон бывает красив ночью, когда иссиня-черное и словно светящееся море разбивается о его пляжи. А Грасси-парк уродлив и гол. Чахлые кустики да песок. Нужно выехать поездом десять сорок из Кейптауна, чтобы поспеть на автобус, отходящий в одиннадцать двадцать пять. Иначе придется три долгие мили тащиться пешком, мимо кладбища и дровяных складов, до самой Лейк-роуд.

Сегодня они собирались на квартире у Мервина. Мягкие ковры, на стенах картины Секото и Ирмы Стерн. И полки с книгами, множество книг, дешевые издания и тяжеленные тома. Казалось, они прозаседают до утра. Говорили о листовках, о тактике, в последний раз уточняли план. Увенчается ли стачка успехом? Выступят ли племена ланга и ньянга? Примут ли в ней участие цветные? Наконец, собрание окончилось, и люди начали расходиться. Голова у него раскалывалась. Очень хотелось побыть одному. В автобусе и в вагоне электрички он отдохнет. Только бы не встретить знакомых, чтобы не пришлось разговаривать.

— Билл, тебя подвезти?—Это была Вальда. О, черт, оставит его эта женщина когда-нибудь в покое?

— Не надо, я дождусь автобуса.

— Я бы могла тебя подбросить.

— Не стоит, спасибо.

Впервые он встретил Вальду на вечеринке в Сипойнте. Она буквально вешалась на него. Она была до отвращения прогрессивной. Во всяком случае, делала вид. Она обожала черных, «у них такое чувство ритма, такой джаз», зачитывалась Лэнгстоном Хьюзом, Ричардом Райтом и Каунти Калленом. Она считала, что «Кинг Конг» — величайшая после «Отелло» драма, и могла без умолку говорить о первобытной культуре туземцев. Билл терпеть ее не мог и все же сознавал, что за этим «фасадом» скрывается трогательная восприимчивость и даже патетичность. Вальда без устали твердила, что Биллу суждено стать великим руководителем цветных. Она ничуть не сомневалась в этом.

— Нам ведь по пути, Билл,— настаивала она.

Биллу всегда было не по себе в ее присутствии. Не потому, что Вальда белая, а потому, что она изо всех сил старалась вести себя как равная и все же никак не могла выйти из роли белой покровительницы. Долгие споры в прокуренной комнате утомили его. Он еще не отдохнул после бессонных ночей, когда они расклеивали листовки, разбрасывали брошюры, играли в кошки-мышки с полицией.

— Прости, но я спешу домой У меня был трудный день.

— Бедняжка, ты не щадишь себя,— не отставала Вальда.

Ему показалось, что кровь у него закипает в жилах.

— Всем нам приходится несладко, ведь верно?

— Так-то так, но ты и твои друзья особенно надрываетесь, и меня это умиляет.

— Правда? — Он подумал, что несправедливо строг к ней. Вальда еще молода, неопытна, прямо с университетской скамьи. Она преподает в школе для белых и не пропускает ни одного собрания. Но его раздражали ее чрезмерный пыл и навязчивое стремление стать членом их группы.

— Всем нам одинаково достается,— повторил он.

— Я знаю и просто удивляюсь, как вы еще не валитесь с ног. Днем вы тянете лямку на службе, а по ночам занимаетесь политической работой. Как вас только хватает на все?

— А разве тебе легче?

— Конечно. В два часа я уже свободна.

— И у тебя остается вдоволь времени на такие развлечения, как сегодняшнее собрание?

— О, Билл, ты ведь шутишь, правда?

— Увы, я не такой счастливчик, как ты. Мне приходится каждый день потеть до пяти тридцати да еще полдня по воскресеньям.

— Я знаю это. И все же вы просто очаровательны. Все, что связано с вами, очаровательно, восхитительно.

— Ты, вероятно, и в стачке находишь очарование, не так ли? — Он сожалел, что говорил с ней таким тоном, но не мог перебороть себя. Приходилось что-то отвечать на ее болтовню. Он понимал, что оскорбляет ее, но Вальда словно не замечала этого.

— Прости меня,— сказала она.

— За что?

— Если я обидела тебя.

— Ты ничего такого не сделала.

— Правда? Я так рада,— Вальда застенчиво улыбнулась.— Ну, что ж, я поеду. Так, значит, не хочешь, чтобы я тебя подвезла?

Ему хотелось домой. Остаться в комнате одному и заснуть. Он чертовски устал. Он не хотел ехать в ее машине.

— Садись. Мы сможем поговорить по дороге.

Какого черта она так настаивает? Неужели не чувствует его враждебности?

— Мне нужно в Пламстед.

— Я живу в Кенилуорфе, но могу завезти тебя.

— О'кей, спасибо.

В темноте она принялась искать ключи. Он зажег спичку, чтобы посветить ей. Она была некрасивой. Черные волосы собраны в тугой узел, карие глаза, безвольный подбородок. Он уселся в ее «остин».

— Хочешь повести? — спросила она.

— Я не умею,— резко ответил он.

■

Они проезжали через центр Кейптауна. Аддерли-стрит совсем опустела, только несколько забулдыг маячили у дверей вокзала. Продавцы цветов чистили луженые тазы; вышедшие с последнего сеанса зрители ринулись вдогонку уходящему автобусу. Билл почувствовал, что молчать неудобно, но что он мог сказать? Сейчас он меньше всего был расположен к светской беседе.

— Откуда ты родом? — спросил он без большого энтузиазма.

Вальда так и просияла. Она, очевидно, только и ждала, чтобы он первым заговорил.

— Ни за что не угадаешь!

Ему и не хотелось угадывать.

— Из Веринига в Трансваале,— выпалила она.

— Я прощаю тебе это обстоятельство.

— Спасибо,— сказала она.

Билл и теперь не был уверен, что она почувствовала его иронию.

— Я чистокровная южноафриканка.

— Напичканная либеральными идеями?

— Да,— ответила она.— Я уже в детстве стала такой. Под влиянием отца. Он учил меня уважать людей, всех людей.

— И поэтому ты присоединилась к нашей группе?

— Видишь ли, дорогой...

Его покоробило. Вот так она вечно обращается к нему.

— Видишь ли, дорогой,— повторила она,— я с детства, как ты сказал, была либералкой, а затем университет открыл мне глаза.

— Тебе очень жаль цветных?

— Пожалуй, нет. Я пока еще плохо разбираюсь в политике и хочу учиться у таких людей, как ты.

— Ты находишь в этом очарование?

Она уловила колкость и густо покраснела. Теперь они ехали по Солтривер.

— Здесь я работаю,— произнес он сухо.

— О, как великолепно!

— Что?

— Ничего. Я, кажется, просто сказала глупость.

Билл замолчал.

— Ты давно в группе? — спросила она, не спуская глаз с дороги.

— С начала Кампании неповиновения.

— У тебя опасное поручение?

— Всем нам иногда приходится рисковать. Свободу не подадут на блюдечке.

— Я знаю, дорогой.

Снова наступило молчание.

— Последние дни мне тоже кое-что поручали. Я распространяла стачечные листовки.

— В каком районе? — спросил он.

— В Афлоне, Саннисайде, Глимуре.

— Это опасно для белой девушки.

— Не беспокойся обо мне.

Вальда затормозила у светофора.

— Вот магазин моего дяди,— сказала она, когда они проезжали мимо ярко освещенной фруктовой лавки.

— Гм.

— Интересно, что бы он сказал, если бы увидел меня в одной машине с черным!

— Ты стесняешься этого?

— Нет. Мой отец ничего бы не сказал, но родственники переполошились бы.

— Зачем же ты сажаешь в машину черных?

— Все люди равны, не так ли?

— Мне кажется, ты чрезмерно чувствительна в вопросе цвета кожи. Это расизм, вывернутый наизнанку.— Билл ожидал и почти надеялся, что она рассердится.

— Я рада, что ты мне это сказал. Если это так, я буду следить за тем, что говорю, и в следующий раз буду осмотрительнее.

Билл почувствовал полную беспомощность. Что надо сказать или сделать, чтобы уязвить ее?

— Давай выпьем кофе,— предложила она беспечным голосом.

— Где?

— В первом попавшемся баре.

— Они не для черных.

— Перестань. Нам принесут кофе прямо в машину.

— Ты уверена?

— Абсолютно. Никто и слова не скажет. А скажут, так черт с ними.

Скорее бы очутиться дома. Нужно поспеть на автобус в одиннадцать двадцать пять. И зачем он связался с этой сумасшедшей бабой!

— О'кей,— согласился он.

— Два кофе, пожалуйста,— сказала Вальда черному официанту.— Хочешь бутерброд, Билл?

— Нет, спасибо. Только кофе.

Официант в нерешительности переминался с ноги на ногу.

— Мы не можем его обслужить, мадам.

— Почему?

У Билла не было никакого желания спорить. Он не мог понять, как это он согласился заехать в бар. Скорее бы добраться до дома.

— Послушай, Вальда, поехали отсюда!

— С какой стати мы должны уступать? Два кофе, да поживей!

— Весьма сожалею, мадам, но мы обслуживаем только европейцев,— повторил официант.

— Но почему?

Что за идиотский вопрос, подумал Билл.

— Таковы правила, мадам.

— Неужели угостить своего знакомого кофе — преступление?

Вальде казалось, будто во всем виноват официант. Дело начало принимать неприятный оборот.

— Послушай, Вальда. Мне совсем не хочется кофе.

— А мне хочется. И я настаиваю, чтобы обслужили нас обоих.

— Мадам, это не разрешается.

— Не разрешается обслуживать посетителей?

— Вальда, это не его вина. Он на работе. Давай уедем отсюда.

— С места не двинусь, пока нас не обслужат!

Официант пошел за управляющим.

— Поедем.

— Зачем? Ведь он пошел за кофе!

— Мы сами нарываемся на неприятности.

— Какие неприятности? Все, что мне нужно,— это чашка кофе. Неужто и этого нельзя?

— В Южной Африке нельзя!

Официант вернулся вместе с управляющим. Это был здоровенный грек, который, очевидно, впервые проникся сознанием своего величия, когда эмигрировал в Южную Африку.

— Ну, в чем здесь дело? — заговорил он с сильным акцентом.

— Ничего особенного. Я заказала две чашки кофе, для себя и для моего друга.

— Этот черномазый — ваш друг?

— Как вы смеете так выражаться?

— Послушайте, мисс. Или вы сейчас же уберетесь отсюда, или я вызову полицию.

— Черта с два!

— Итак, вы хотите, чтобы я вызвал полицию?

— Можете делать, что угодно. Вы меня не испугаете!

Билл понимал, что добром это не кончится. Ему захотелось выйти из машины и пересесть в автобус или электричку.

— Вальда, мне кажется, мы должны уехать,— сказал он, когда управляющий отошел.

— Не вижу причины.

— Глупо так вести себя!

— Я отстаиваю свои права!

— Забудь об этом. Опомнись!

— Если ты струсил, я останусь здесь одна.

Ему захотелось ударить ее. Она совсем с ума спятила. Трусость здесь ни при чем. Незачем лезть на рожон. Но он промолчал.

Скрипнули тормоза полицейского автобуса. Водитель выключил зажигание и фары и сидел неподвижно, молча глядя перед собой.

— Поедем,— сказал Билл.

— Послушай своего дружка и не нарывайся на скандал,— проворчал вернувшийся управляющий. Полицейские сидели неподвижно.

— И не подумаю,— ответила Вальда.

— Ты уедешь или нет? — оскалился управляющий.

— Поедем же, черт возьми! — в отчаянии закричал Билл.

— Я отстаиваю свои права!

Сука, грязная сука! — подумал Билл.

Констебль распахнул дверцу полицейского автобуса и заковылял к ним чересчур уж небрежной походкой. Его рука лежала на кобуре.

— Что-нибудь случилось?

Вальда сидела молча, всем своим видом выказывая негодование. Билл нервно теребил ремешок часов.

— Она требует кофе для своего черномазого дружка,— ухмыльнулся управляющий.

Полисмен поставил ногу на бампер «остина».

— Как ты очутился в одной машине с белой женщиной?

Билл не ответил. Он молил бога, чтобы Вальда не сморозила чего-нибудь еще.

— Ты что, оглох?

— Вот так и очутился! — спокойно сказал Билл.

— Откуда вы едете?

— С собрания.

— С какого собрания?

Билл решил не отвечать.

— Распахни свою черную пасть! С какого собрания? Небось насилуете белых девушек на этих собраниях?

— Не ваше дело! — взвилась Вальда.

— Вылезай из машины. Живо!

Билл не шелохнулся.

— Ты слышишь меня?!

Билл невольно ухватился за сиденье. Полисмен распахнул дверцу.

— Вылезай! — закричал он, хватая своими загрубелыми руками Билла. Сопротивляться было бесполезно.

— Ладно,— сказал Билл.

Констебль повел его к полицейскому автобусу.

— Полезай!

Вальда выскочила из «остина».

— А ты поезжай за нами,— приказал ей констебль, закрывая на автобусе засов.— В тюрьме еще наласкаешься с этой образиной!

Перевод с английского В. РАМЗЕСА

КАРЛОС ФУЭНТЕС

СМЕРТЬ АРТЕМИО КРУСА

РОМАН

Перевод с испанского
М. БЫЛИНКИНОЙ

(11 сентября 1947 г.)

Он поднял жалюзи и глубоко вдохнул чистый воздух. Утренний ветерок, ворвавшийся в комнату, игриво качнул шторы. Он выглянул наружу. Эти ясные рассветные часы не сравнимы ни с чем: весна дня. Их скоро задушат цепкие лучи солнца. Но в семь утра морской пляж перед балконом объят прохладной дремотной тишиной. Чуть урчит прибой, поглаживая песок; голоса редких купальщиков не мешают молчаливой встрече восходящего солнца с умиротворенным океаном. Он поднял жалюзи и вдохнул чистый воздух. Трое мальчишек идут вдоль берега с ведерками, собирая сокровища, которые разбросала ночь: морские звезды, ракушки, отполированные кусочки дерева. Невдалеке покачивается на волнах парусник. Прозрачное небо освещает землю, словно сквозь зеленоватое стекло. По дороге от отеля до пляжа не видно еще ни одной автомашины.

Он снова опустил жалюзи и направился в ванну, выложенную мавританскими изразцами. Увидел в зеркале свое лицо, опухшее от сна, короткого и беспокойного. Мягко прикрыл за собой дверь. Открыл краны и заткнул затычкой отверстие в раковине. Бросил пижаму на крышку унитаза. Взял новое лезвие, снял с него восковую обертку и вставил в золоченую бритву; положил бритву в горячую воду, смочил полотенце и похлопал им себя по лицу. Пар затуманил зеркало. Он протер рукой стекло и зажег торчавшую над ним неоновую лампу-трубочку. Выдавил из тюбика крем для бритья — новое североамериканское изобретение — и обмазал белой прохладной массой щеки, подбородок и шею. Вытаскивая бритву из воды, обжег пальцы. Сморщился от боли и, растягивая щеку левой рукой, начал бриться — снизу вверх, старательно скобля подбородок, кривя рот. От пара стало жарко, по ребрам поползли капли пота. Он медленно водил бритвой по лицу, время от времени нежно потрагивая кожу — не колется ли. Снова открыл краны, смочил полотенце, прижал к щекам. Промыл уши и обдал лицо освежающим лосьоном, крякнув от удовольствия. Сполоснул лезвие, снова вставил в бритву и спрятал ее в кожаный футляр. Вынул затычку в раковине и минуту смотрел на водоворот, круживший серые хлопья мыла и волоски. Потом испытующе обозрел свое лицо: хотелось видеть себя все таким же. Но,

Окончание. Начало в № 7.

снова протерев запотевшее зеркало, невольно подумал, что, хотя и смотрел на свою физиономию каждое утро, уже очень-очень давно не видел себя. Этот вот четырехугольник из покрытого ртутью стекла — единственный правдивый портрет лица с зелеными глазами и энергичным ртом, широким лбом и большими скулами. Он открыл рот и высунул обложенный язык; скосил глаза на зияющие в зубах прогалины. Открыл аптечку и взял протезы, покоившиеся на дне стакана с водой. Быстро вытер их и, повернувшись к зеркалу спиной, вставил в рот. Намазал на щетку зеленоватую пасту и почистил зубы. Пополоскал горло и скинул пижамные брюки. Открыл кран душа, попробовал рукой воду — не холодна ли. Душевой дождь щекотал затылок, пока Он намыливал свое тощее тело с выпирающими ребрами и обвислым животом. Мускулы еще не утратили способности нервно напрягаться, но так и норовили расслабиться, обмякнуть — противно, до смешного! — если Он не заставлял себя подтягиваться и приосаниваться. А это хотелось делать лишь тогда, когда его нагло оглядывали, как теперь в отеле и на пляже. Он подставил лицо под душ, закрыл кран и растерся полотенцем. Протерев лавандовой водой грудь и под мышками, снова пришел в хорошее расположение духа и пригладил гребешком завитки волос. Надел голубые шорты, белую спортивную рубашку и итальянские парусиновые туфли на мягкой подошве и тихо открыл дверь ванной комнаты.

Ветерок продолжал шевелить шторы, а солнце еще не разгорелось. Жаль, очень жаль, если день испортится. Сентябрь страшно неустойчив. Он обернулся к супружескому ложу. Лилия все еще спала в непринужденной свободной позе: голова на вытянутой вдоль подушки руке, спина обнажена, коленка согнутой ноги выглядывает из-под простыни. Он подошел к юному телу, по которому легко скользил первый солнечный луч, освещая золотистый пушок рук и рыжие волосы под мышкой, влажные уголки глаз, губы. Он склонился, чтобы ближе увидеть капельки пота над губой и ощутить тепло, исходящее от этого спящего зверька, маленького животного, потемневшего от солнца, с бессознательным бесстыдством распластавшегося на постели. Он протянул руки, охваченный желанием перевернуть ее на спину и посмотреть на тело спереди. Полуоткрытые губы сомкнулись, и девушка вздохнула во сне. Он пошел завтракать.

Выпив кофе, Он вытер губы салфеткой и огляделся вокруг. В эти часы, по-видимому, всегда завтракают дети вместе со своими нянями. У многих мокрые прилизанные волосы — у тех, кто не устоял перед искушением поплескаться до завтрака в море. А теперь они снова возвращаются, захватив мокрые купальники, на берег моря, где теряется всякий счет времени, которое в своем беге — быстром или медленном — подчиняется только прихоти малышей, строящих песочные замки, затевающих веселые похороны, шлепающих по воде, резвящихся и без конца жарящихся на солнце, визжащих в живых пеленках моря. Странно смотреть на них — такие еще дети, а каждый уже ищет в этом приволье убежище только для себя одного: в игрушечной могиле или в песочном дворце. Но вот дети уходят, и пляж заполняют взрослые обитатели отеля.

Он зажег сигарету, закурил и почувствовал легкое головокружение, которое уже несколько месяцев вдруг появляется у него после первой утренней затяжки. Взгляд его устремился далеко за пределы ресторана, к извилистым очертаниям берега, змеившегося пенистой полоской прибоя от самого горизонта сюда, к крутому изгибу бухты. Вся бухта усеяна парусами. На пляже нарастает шум. Мимо идет знакомая чета. В ответ на приветствие Он наклонил голову и снова затянулся дымом.

В ресторане заметно возросло оживление. Звякали ножи и вилки, звенели ложечки в чашках, с треском вылетали пробки из бутылок, и

минеральная вода, шипя и булькая, лилась в стаканы. Гремели стулья, разговаривали парочки и многочисленные туристы. И все сильнее погрохатывал прибой, не желавший уступать шумам человеческим. Из-за столика была видна вся эспланада нового модернизированного фасада курорта Акапулько, спешно перестроенного для привлечения североамериканских туристов, которых война лишила Биаррица, Уайки или Портофино. Надо было загородить невзрачный, грязный пригород — нищие рыбацкие хижины, кишащие рахитичными детьми и облезлыми собаками, канавы с мутной водой, с отбросами и всякой заразой. В современном обществе, похожем на двуликого Януса, всегда сочетаются два времени — очень далекое от того, что было, и очень далекое от того, что должно быть.

Он сидел и курил, а ноги сводило легкой судорогой — уже трудно, даже в одиннадцать утра, красоваться в такой легкой одежде. Он незаметно потер коленку. Это, наверное, от внутреннего холода, потому что утро залило все вокруг ярким светом и солнечный череп украсился жарким оранжевым плюмажем. Вошла Лилия, спрятав глаза за темными очками. Он встал и подвинул ей стул. Подозвал официанта. И уловил шепоток знакомой четы. Лилия попросила принести папайю и кофе.

— Хорошо спала?

Девушка кивнула, улыбнулась, не размыкая губ, и ласково погладила темневшую на скатерти руку мужчины.

— Газеты из Мехико еще не пришли? — спросила она, разламывая на кусочки ломтик папайи.— Почему ты не читаешь?

— Нет еще. Поторопись, в двенадцать нас ждет яхта.

— Где мы будем обедать?

— В клубе.

Он зашел к администратору за газетами. Да, нынешний день будет подобен вчерашнему — вымученные разговоры, пустые вопросы и ответы. Вот ночь, безмолвная,— другое дело. Но, впрочем, надо ли искать большего? Молчаливо заключенный договор не требует настоящей любви, ни даже видимости личного интереса. Ему нужна девочка на время отпуска. Он ее имеет. В понедельник все кончится, и Он ее никогда не увидит. Кто будет просить большего? Он купил газеты и поднялся в номер надеть фланелевые брюки.

В машине Лилия уткнулась в газеты и прокомментировала вслух последние новости кино. Она сидела, закинув одну бронзовую ножку на другую,— туфелька свободно покачивалась на пальцах. Он зажег третью за утро сигарету и, умолчав, что эта газета принадлежит ему, стал развлекаться чтением рекламных объявлений на новых домах. Потом обратил внимание на забавно контрастный переход от ресторана (с чудесными бифштексами) и отеля-небоскреба к голой горе, навесившей над шоссе свое розоватое брюхо, распоротое сбоку экскаватором.

Когда Лилия грациозно прыгнула на палубу маленькой яхты и Он, осторожно переставив ноги и пытаясь обрести устойчивость на качающемся трапе, последовал за ней, их встретили руки третьего человека.

— Хавьер Адаме.

Почти голый — в коротких купальных трусах. Темное лицо, голубые глаза под густыми подвижными бровями. Протянул руку — обаятельный волк: храбрый, добродушный и коварный.

— Дон Родриго сказал, что вы не возражаете.

Он кивнул головой и устроился в тени каюты. Адаме говорил Лилии:

— ...старик сдал мне ее еще неделю назад, а потом забыл...

Лилия улыбнулась и расстелила полотенце на залитой солнцем корме.

— Тебе ничего не хочется? — спросил Он Лилию, когда к ним приблизился бой с подносом, уставленным бутылками и снедью.

Лилия, лежа, чуть шевельнула пальцем — нет. Он подошел к подносу и поклевал миндаля, пока бой готовил ему gin-and-tonic *. Хавьер Адаме исчез на крыше каюты. Были слышны его твердые шаги, короткий разговор с кем-то на молу, потом шуршание ложившегося тела.

Яхта медленно выходила из бухты. Он надел кепи с прозрачным козырьком и нагнулся к стакану с gin-and-tonic.

А рядом с ним жара лоснила Лилию. Девушка развязала бюстгальтер и подставила спину солнцу. Тело вытянулось в какой-то радостной неге. Она подняла руки, собрала распущенные волосы и свернула их на затылке в пучок, золотисто-медный. Тончайшие струйки пота — одна за другой — текли по шее, оставляя влажные дорожки на нежной коже округлых плеч и гладкой спины. Он смотрел на нее из глубины каюты. Сейчас она уснет в той же позе, что и утром. Подложив руку под голову, согнув коленку. Заметил, что волосы под мышкой сбриты. Двигатель затарахтел громче, и волны двумя гребнями раздались перед суденышком, оросив мелким соленым дождем Лилию. Морская вода смочила купальные трусики, бедра, ягодицы. Над суденышком, визгливо крича, кружились чайки, а Он медленно потягивал через соломинку коктейль. Это молодое тело не кружило ему голову, не сводило с ума, а ввергало в состояние напряженного ожидания. Злонамеренное самоистязание. Полулежа в шезлонге в глубине каюты, Он забавлял себя тем, что конденсировал свое желание, приберегая его для ночи, безмолвной и безлюдной, когда тела растворяются во тьме и не могут быть предметом для сравнений. Ночью к ней придут его опытные пальцы, любящие неторопливость и внезапность. Он перевел глаза на свои смуглые руки с выпуклыми синими жилами, возмещающие силу и нетерпение былых лет.

Бухта осталась далеко позади. Пустынный берег, ощетинившийся колючими кустами и остриями скал, отсвечивал красным маревом. Яхта круто развернулась, и теплая, парная волна обрушилась на Лилию. Она весело вскрикнула и чуть приподнялась — выше не пустили розовые стерженьки, словно ввинтившиеся в ее твердые груди. Снова легла. На палубе появился бой с подносом — запахло черносливом, персиками, очищенными апельсинами. Он закрыл глаза и невесело усмехнулся своим мыслям: это чувственное тело, эта осиная талия, эти полные бедра тоже подтачивались — где-то глубоко внутри — пока еще незримой бедой, раком времени. Эфемерное диво, чем ты будешь отличаться через десяток-другой лет от этого, другого тела, которое тобой обладает? Труп под солнцем, истекающий потом и расплавленным кремом. Быстро испаряется молодость, улетает в мгновение ока и оставляет усохшую плоть, увядшие от родов и абортов чресла, тоскливое пребывание на земле с ее пошлой и нудной повседневностью, лишенной всякого интереса. Он открыл глаза. Посмотрел на нее.

Сверху спускался Хавьер. Сначала Он увидел его волосатые ноги, потом провисшие вниз трусы и, наконец, докрасна раскаленную грудь. Да, настоящий волк: крадучись скользнул в каюту и взял два персика из ведерка, погруженного в ледяную воду. Улыбнулся и вышел с фруктами в руках на палубу. Сел на корточки возле Лилии, растопырив коленки перед самым ее лицом. Потрогал девушку за плечо. Лилия улыбнулась и взяла один из предложенных персиков, что-то сказав,— Он не разобрал слов, заглушенных стуком двигателя, шумом ветра и волн. Вот они одновременно задвигали челюстями, и сок потек по губам. Хотя бы уж... Наконец-то. Юноша сел, прислонившись к борту

---

* Джин с тонизирующей водой *(англ.)*.

и вытянув ноги. Поднял улыбающиеся сощуренные глаза к белому полуденному небу. Лилия посмотрела на него, губы ее зашевелились. Хавьер что-то ответил и взмахнул рукой, указав на берег. Лилия вытянула шею, прикрывая грудь рукой. Хавьер нагнулся над ней, и оба весело смеялись, когда он завязывал ей тесемки бюстгальтера, мокрого, почти прозрачного. Она поднялась, приставив руку козырьком ко лбу, чтобы разглядеть то, что показывал юноша — заливчик, желтую раковину в далеком, заросшем кустарником береге. Хавьер вскочил на ноги и отдал рулевому какое-то распоряжение. Яхта снова резко повернула и устремилась к берегу. Девушка села, прислонившись к борту, и подвинула сумку, предлагая Хавьеру сигарету. Завязался разговор.

Он смотрел на них обоих, сидевших бок о бок, одинаково смуглых и одинаково гладких, скульптурно гармоничных с головы до вытянутых ног. Неподвижные, но напряженные тела, замершие в уверенном ожидании, являющие друг для друга нечто неизведанное, едва скрывающие свое стремление познать друг друга, проявить себя.

Он пожевал соломинку и надел черные очки, скрывавшие — вместе с широким козырьком — всю верхнюю часть лица. Разговор на палубе продолжался. Они обсосали персиковые косточки и, должно быть, сказали:

«Недурно»,

или даже

«...Чудесно...»,

или что-то такое, о чем до сих пор не говорилось,— сказали телом, всем видом. Персонажи нового спектакля жизни. Должно быть, сказали...

— Почему мы раньше не встречались? Я часто бываю в клубе...

— А я нет... Ну-ка, давай бросим косточки. Раз, два...

Он увидел, как они вместе бросили косточки со смехом, не долетевшим до него, увидел силу напрягшихся рук.

— Я — дальше! — сказал Хавьер, когда косточки беззвучно шлепнулись в воду далеко от яхты. Она засмеялась. Они снова удобно устроились около борта.

— Ты любишь морские лыжи?

— Не знаю.

— Погоди, я тебя научу...

О чем они могли говорить? Он кашлянул и придвинул поднос с напитками, чтобы приготовить еще один коктейль. Хавьер, видимо, допытывается: что за пара — Он и она? Она, наверное, рассказывает краткую и грязную историю их знакомства. Парень пожмет плечами и заставит ее предпочесть волчью страсть, хотя бы на одну ночь, для разнообразия. Но любить... Любить...

— Главное, не сгибать локти, понимаешь? Держаться на вытянутых руках...

— Я сначала посмотрю, как у тебя получается...

— Конечно. Вот войдем в залив...

Да! Быть молодым и богатым.

Яхта остановилась в заливчике у самого берега и закачалась, усталая, отфыркиваясь бензиновым перегаром, мутя стеклянно-зеленую воду и белое дно. Хавьер бросил лыжи в воду, нырнул, потом показался, улыбаясь, на поверхности и надел их.

— Кинь мне веревку!

Девушка нашла канат и спустила за борт. Яхта снова рванулась в открытое море, и Хавьер, поднявшись на ноги, летел по воде в кильватере суденышка, махая одной рукой. Лилия смотрела на Хавьера. А Он пил gin-and-tonic. Полоска моря, разделявшая молодых людей, каким-то таинственным образом сближала их, единила больше, чем самое тесное объятие, и запечатлевала эту окаменевшую близость.

Казалось, яхта замерла на море, Хавьер стал статуей, прикованной к корме, а Лилия застыла на одной из волн, которые бесплотными тенями взлетали вверх, рушились, умирали и вновь сливались. Волны. Те же самые и другие, всегда мятущиеся и всегда одинаковые — нечто вне времени, свое собственное отражение и отражение первозданных вод, зеркало ушедших тысячелетий, ушедших и грядущих.

Он совсем утонул в низком удобном шезлонге. Что она теперь сделает? Избежит ли соблазна, рожденного влечением, которое не подчиняется воле?

Ближе к берегу Хавьер отпустил канат и упал в воду. Лилия нырнула, не взглянув в сторону черных очков ни разу. Но объяснение будет. Какое же? Лилия станет давать объяснения ему? Или Хавьер объяснится с Лилией? Или Лилия с Хавьером? Когда голова Лилии — вся в ярких брызгах солнца и моря — показалась в воде рядом с головой юноши, Он уже знал, что никто, кроме него самого, не решится требовать слов. Там, внизу, в спокойной воде прозрачного залива никто не будет обращаться к доводам рассудка или противиться фатальному стечению обстоятельств, никто не отступит от того, что есть, что должно быть. Какая преграда может встать между молодыми людьми? Не это ли тело, утонувшее в кресле, одетое в спортивную рубашку, фланелевые брюки и кепи с козырьком? Или этот беспомощный взгляд? Там, внизу, они молча плавали, и борт мешал ему видеть, что происходит. Хавьер свистнул. Яхта рванула с места, Лилия на мгновение показалась на поверхности моря и упала. Яхта остановилась. Смех, звонкий, заливистый, прорвался сквозь шум двигателя. Он никогда не слышал, чтобы она так смеялась. Словно только на свет народилась, словно не катится все ниже и ниже с грузом скабрезных историй на шее, с балластом позора, со всем тем, что совершено ею, им.

И совершается всеми. Всеми. Вот она — мерзость. Все это совершается... всеми. Невеселая усмешка сопроводила последнее слово. Слово, которое подрывает основы власти и вины, безраздельного господства над другими, над кем-то одним, над девочкой, принадлежащей ему и купленной им, и заставляет вступить в обширный мир общих деяний, сходных судеб, нерегламентированных взглядов на обладание. Значит, эта женщина не опозорена навсегда? Значит, никому нет дела, что она побывала в его руках? И его временная власть над нею не будет ее предопределением и ее судьбой? Лилия может любить, словно его никогда и на свете не было?

Он встал, подошел к корме и крикнул:

— Уже поздно. Пора возвращаться в клуб, чтобы успеть пообедать.

Он как бы со стороны увидел свое лицо и всю свою фигуру, прямую, словно осыпанную крахмалом, когда понял, что его зов не услышан — едва ли могли что-нибудь слышать два легких тела, которые скользили рядом в опаловой воде, не касаясь друг друга, словно летели в самом нижнем слое воздуха.

Хавьер Адаме распрощался с ними на молу и вернулся на яхту — хотел еще покататься на лыжах. С кормы помахал им рубашкой. В его глазах не было того, что Он хотел бы увидеть. И во время обеда на берегу под навесом из пальмовых листьев Он не нашел в карих глазах Лилии того, что хотел бы найти. Значит, Хавьер ни о чем не спрашивал. И Лилия не рассказывала о своей грустной истории — мелодраме, которую Он втайне смаковал, вдыхая ароматы соусов. Обычный мещанский брак с прохвостом, хулиганом, волокитой, забулдыгой, развод и проституция. Вот бы рассказать — да, следовало бы рассказать про это — Хавьеру. Однако при воспоминании о ее истории стало тяжело на сердце, ибо сегодня, сейчас Он уже не существовал для Лилии, так же как поутру для женщины уже не существует ее прошлое.

Но настоящее не могло не существовать, потому что они жили в настоящем, сидя на соломенных стульях и механически пережевывая заранее заказанный обед: соус «Виши», лангуста, отбивные по-ронски, омлет «Аляска». Она сидела напротив. Оплаченная им. Медленно подносила ко рту вилочку. Оплаченная, но ускользавшая. Он не мог ее удержать. Скоро, сегодня же вечером она найдет Хавьера, они тайно свидятся, они уже назначили свиданье. А глаза Лилии, устремленные к стае парусников на дремлющей воде, не говорили ни о чем. Но можно было бы заставить ее заговорить, можно устроить сцену... Он чувствовал себя неудобно, фальшиво и продолжал есть лангусту... Каким же теперь путем... Фатальная встреча, отметающая его волю... Эх, все равно в понедельник все кончится. Он ее больше не увидит, не станет, обнаженный, искать в темноте, зная, что найдет тепло, завернутое в простыню. Больше не увидит...

— Тебя не клонит ко сну? — прошептала Лилия, когда принесли сладкое.— Не разморило от вина?

— Да. Немного. Положи себе...

— Нет, мне не хочется мороженого... Пойду вздремну после обеда.

У отеля Лилия помахала ему на прощание пальчиками, а Он пересек аллею и попросил мальчика поставить шезлонг под тенью пальм. Сигарета никак не зажигалась: мягкий ветерок взбалтывал жаркий вечер и гасил спичку. Несколько молодых пар отдыхали неподалеку, одни — обнявшись и сплетясь ногами, другие — накрыв головы полотенцем. Ему захотелось, чтобы Лилия спустилась вниз и положила свою голову ему на колени, укутанные фланелью, худые, жесткие. Он страдал или чувствовал себя уязвленным, обиженным, неуверенным в себе. Страдал при мысли о таинстве любви, к которому не мог приобщиться. Страдал при воспоминании о быстром и безмолвном сговоре, в который они вступили на его глазах, не делая ничего предосудительного, если говорить вообще, но в присутствии этого человека, человека, забившегося в кресло, затаившегося под козырьком, под темными очками...

Негр, выдававший напрокат шезлонги, начал их собирать.

Он встал и пошел к отелю. До того как подняться к себе, решил освежиться в бассейне. Вошел в гардеробную рядом с душевой кабиной и, сев на скамейку, стал снимать туфли. Железные шкафы, где хранилась одежда купальщиков, скрывали его от любопытных взоров. Сзади послышалось шлепанье мокрых ног по резиновым коврикам, смеющиеся голоса, шорох полотенец, растирающих тело. Он скинул рубашку. Из соседнего отсека доносился крепкий запах пота, черного табака и одеколона. К потолку поднимались кольца дыма.

— Что-то не видно сегодня красавицы с морским чудищем.

— Да, не видно.

— А хороша девчонка...

— М-да. Но старый хрыч едва ли ей в удовольствие.

— Я думаю. Ну, поторапливайся.

Они ушли. Он надел туфли и, натянув рубашку, вышел. Поднялся по лестнице к номеру. Открыл дверь. Удивляться нечему. Смятая после сиесты постель, а Лилии и след простыл. Он стоял посреди комнаты. Конвульсивно дергались крылья вентилятора — как у пойманного сопилоте *. Снаружи, на террасе,— опять ночь, с цикадами и светлячками. Опять ночь. Он прикрыл окно, чтобы не улетел аромат. Вдохнул еще стоявший в комнате живой запах: духи, крем, пот, мокрое полотенце. Нет, пахнет не это. Слегка вдавленная подушка — вот что пахнет: садом, фруктами, влажной землей, морем. Он медленно подошел к шкафу, откуда она... Взял в руки шелковую сорочку, приложил к щеке. Отросшая

* Хищная птица.

за день борода скребла шелк. Надо привести себя в порядок. Надо принять душ, еще раз побриться. Для этой ночи. Он отшвырнул сорочку и, снова в хорошем настроении, направился бодрыми шагами к ванной.

Зажег свет. Отвернув кран, пустил горячую воду. Бросил рубашку на крышку унитаза. Открыл походную аптечку. Вот они, эти штуки, их общие вещи. Тюбики с зубной пастой, мятный крем для бритья, черепаховые гребни, кольдкрем, тюбик с аспирином, таблетки от изжоги, гигиенические тампоны, лавандовая вода, голубые лезвия для бритья, бриолин, румяна, сосудорасширяющие препараты, пузырек с желтым раствором для полоскания горла, презервативы, порошки горькой соли, липкий пластырь, пузырек с йодом, флакон шампуня, щипчики, ножницы для ногтей, губная помада, капли для глаз, эвкалиптовая мазь от насморка, микстура от кашля, дезодоратор.

Он взял бритву. Из нее торчали жесткие рыжеватые волоски, набившиеся под лезвие. Он застыл на минуту с бритвой в руках. Поднес ее к губам и невольно закрыл глаза. Когда открыл их снова, ему ответно ухмыльнулся из зеркала старец с покрасневшими глазами, серыми скулами, синюшными губами — нет, уже не то, издавна знакомое отражение.

■

Я их вижу. Они вошли. Открылась и захлопнулась дверь красного дерева, шаги глохнут в топком ковре. Они закрыли окна. Шелестя, сдвинулись серые портьеры. Мне хотелось бы попросить их раскрыть, раскрыть окна. Там, снаружи,— весь мир. Там — ветер с высокого плоскогорья, треплющий черные тонкие деревца. Надо дышать... Они вошли.

— Подойди ближе, девочка, чтобы он тебя узнал. Скажи свое имя.

Хорошо пахнет. От нее хорошо пахнет. Да, я еще могу разглядеть пылающие щеки, яркие глаза, юную гибкую фигурку, мелкими шажками идущую к моей постели.

— Я... Я — Глория...

— Сегодня утром я ждал его с радостью. Мы переправились через реку на лошадях.

— Видишь, чем это кончается? Видишь? Тем же, чем у брата. Один конец.

— Тебе от этого легче? Ну и хорошо.

— Ego te absolvo...

Звонко и сладко хрустят новые банкноты и боны в руках такого человека, как я. Плавно трогается роскошный лимузин, сделанный по специальному заказу,— с термостатным устройством для кондиционирования воздуха, с миниатюрным баром, с телефоном, с подушками под спину и скамеечками для ног... Ну-с, ваше преподобие, каково? Там, наверху, тоже так? Небо — это власть над людьми, над бесчисленными массами людей, чьих лиц не различить, имен не запомнить: тысячи их фамилий в списках на рудниках, на фабриках, в газете. Неизвестные люди, присылающие мне поздравление в день именин, прячущие глаза под козырьком каски во время моего посещения шахт, сгибающие шеи в поклоне во время моего визита в поместья, рисующие на меня карикатуры в оппозиционных журналах. Не так ли? Да, такое небо существует; да, и оно — мое. И это значит — быть богом. Быть тем, кого боятся и ненавидят. Да, это значит — быть настоящим богом. Теперь скажите, как мне спасти все это, и я позволю вам проделать все церемонии, буду бить себя в грудь, доползу на коленках до святых мест, выпью уксус и надену терновый венок. Скажите мне, как все это спасти, потому что во имя...

— ...сына и святого духа, аминь...

Знай бубнит свое. Его преподобие. Хочу повернуться к нему спиной. Боль под ребром не дает. О-ох. Пройдет. Отпустит. Хочется спать. Опять подкатывает боль. Опять. О-хо-хо. И женщины. Нет, не эти. Женщины. Любящие. Что? Да. Нет. Не знаю. Забыл лицо. Забыл. Оно было моим, как можно забыть.

«— Падилья... Падилья... Вызовите ко мне шефа информационного отдела и репортера по светской хронике».

Твой голос, Падилья; гулкий отзвук твоего голоса сквозь шипенье...

«— Сейчас, дон Артемио. Дон Артемио, есть дело, весьма срочное. Индейцы не работают. Требуют, чтобы им уплатили деньги за рубку вашего леса.

— Да? И сколько же?

— Полмиллиона.

— И все? Передайте эхидальному комиссару, чтобы навел мне там порядок,— за то и плачу ему. Этого еще не хватало...

— Там, в приемной,— Мена. Что ему сказать?

— Пусть войдет».

Эх, Падилья, не могу я открыть глаза и увидеть тебя, но могу разглядеть твои думы под скорбной маской: мол, корчится в агонии человек, зовущийся Артемио Крусом, только и всего. Артемио Крус. Умирает один человек, да? Вот и все. Удар судьбы, дающий отсрочку другим смертям. Сейчас умирает только Артемио Крус. И эта смерть отодвинула чью-то другую, может, твою, Падилья... Хм. Нет. У меня еще есть тут дела. Не торопитесь, нет...

— Я говорила тебе, он притворяется.

— Оставь его в покое.

— Говорю — он просто издевается!

Я вижу их, издали. Их пальцы поспешно вскрывают двойное дно, с благоговением шарят внутри. Ничего нет. Но я уже шевелю рукой, указывая на дубовую громаду, на длинный гардероб, занимающий всю левую стену спальни. Они кидаются туда, распахивают дверцы, ощупывают все висящие на вешалках костюмы — голубые, в полоску, с двумя пуговицами, из ирландской шерсти,— забыв, что это не моя одежда, что мои вещи остались в моем доме. Передвигают впопыхах все вешалки. А я в это время даю им понять, с великим трудом приподняв обе руки, что документ, наверное, лежит в одном из внутренних правых карманов какого-нибудь костюма. Волнение Каталины и Тересы доходит до предела. Они в исступлении переворачивают все вверх дном, швыряют на ковер один пиджак за другим, пока, наконец, не завершают обыск и не оборачиваются ко мне. Я придаю лицу самое серьезное выражение. С трудом дышу, опершись на баррикаду подушек, но не теряю из виду ни одной мелочи. Взгляд мой, должно быть, остер и алчен. Рукой подзываю их к себе:

— Вспоминаю... В ботинке... Да, да, там...

Стоит посмотреть на них, елозящих на четвереньках возле груды пиджаков и брюк, трясущих толстыми бедрами, нацеливающих на меня свои зады, непристойно сопящих над моими башмаками. Горькое довольство влагой застилает мне глаза. Кладу руки на грудь и опускаю веки.

— Рехина...

Возмущенный шепот и возня обеих женщин теряются где-то во тьме. Двигаю губами, чтобы произнести то имя. Уже недолго осталось вспоминать, вспоминать то, что люблю... Рехина...

«— Падилья... Послушайте, Падилья... Хотелось бы съесть что-нибудь легкое... Желудок побаливает. Пойдемте со мной, когда закончите...»

Нет, не закончишь: отберешь, создашь, сделаешь, сохранишь, продолжишь — только и всего... Я уже не...

«— Да, до скорого свидания. Мое почтение.

— Вы ловко распорядились, сеньор. Их легко приструнить.

— Нет, Падилья, не так легко. Подайте мне то блюдо... То, с сандвичами... Я видел процессии этих людей. Если они решатся, их трудно остановить...»

Как это поется? Всю землю отобрали, отняли землю власти, и я потопал к югу; но без тебя нет счастья, и не к отцу, не к другу — к тебе вернулся, к счастью...

«— ...поэтому и надо действовать теперь, когда недовольство против нас только рождается. Надо подрубить их под самый корень. Берите, берите сандвич, хватит на двоих...

— Зря они лезут...»

У меня есть пара пистолетов с рукоятками из слоновой кости, чтобы всадить пулю в тех, с железной дороги... Как это поется... Мой Хуан, например: если имеет он пару сапог, думаешь — он офицер? Никак нет — он бедняга, рабочий с железных дорог.

«— Нет, не зря, если знают зачем. Но они не знают. Впрочем, вы ведь когда-то, в младенчестве были марксистом, должны лучше знать. Вам-то не мешает побаиваться нынешних событий. Мне уже нечего...

— Там ждет Кампанела».

Что они сказали? Кровоизлияние? Грыжа? Кишечная непроходимость? Прободение? Заворот? Колики?

А, Падилья, мне надо схватиться за пуговицу — ты тут как тут, Падилья. Но я тебя не вижу, потому что глаза мои закрыты, закрыты, потому что я уже не доверяю этой трухлявой штуке — своей глазной сетчатке: вдруг веки поднимутся, а глаза уже ничего не воспримут, ничего не передадут в мозг? Что тогда?

— Откройте окно.

— Я во всем обвиняю тебя. Как и мой брат.

— Да.

■

ТЫ не поймешь, не сможешь понять, зачем Каталине, сидящей возле тебя, надо вмешиваться в это воспоминание, в это твое воспоминание, оттесняющее все остальные. Что ей приходит в голову? Почему, мол, Ты — здесь, а Лоренсо — там? Почему Ты вышел из тюрьмы без Гонсало? Почему Лоренсо был там, в чужих горах без тебя? И Ты не поймешь, не сможешь ясно представить себе, кто был кем в тот, последний день его жизни: был ли Ты — Лоренсо или Лоренсо был тобой, прожил ли Ты тот день с ним, без него, вместо него или он — вместо тебя? Станешь вспоминать. Да, в день его отъезда Ты был с ним рядом. И тогда еще не возникал вопрос — кто вместо кого. Вы были вместе. Сын спросил тебя, не поехать ли вам вместе к морю верхом; он спросит тебя, не поехать ли вместе верхом на лошадях к морю. Спросит, где будет привал на обед, и сказал тебе... скажет тебе: «Айда, отец», улыбнется, взмахнет рукой и пустит коня вброд через реку, выпрямив голую спину, держа над головой ружье и брезентовый ранец. А ее там не будет. Каталина не сможет вспомнить об этом. Именно потому об этом будешь вспоминать Ты, чтобы забыть то, о чем она сейчас хочет тебе напомнить. Она будет жить уединенно и очень взволнуется, узнав, что сын заедет на несколько дней в Мехико, проститься. Только бы заехал проститься. Она верит — сын не сделает этого. Не сядет на пароход в Веракрусе, не уедет. Не должен уехать. Она станет думать о своей спальне, где царит сонливость, хотя весенний воздух вливается сюда через открытые двери балкона. Она станет вспоминать о раздельном ложе, о раздельных комна-

тах, о шелковых подушках, о скомканных простынях в раздельных комнатах, о примятых перинах, хранящих силуэты тех, кто спит в этих постелях. Но она не сможет вспомнить о лоснящемся конском круше, похожем на черный алмаз, омытый мутной рекой. А Ты сможешь. Переправляясь через реку, вы с сыном увидите впереди призрачный берег в клубящихся парах утреннего тумана. Все предметы расколются пополам, странно раздвоятся в сырой мгле, пронизанной светлыми лучами, в битве разгоревшегося солнца с темной чащобой. Запахнет бананами. Это—Кокуйя. Каталина никогда не узнает, что такое Кокуйя, чем была и чем останется. Она будет сидеть в ожиданье сына на краю кровати с зеркалом в одной руке и щеткой—в другой, ощущая во рту горький привкус, устремив глаза в пустоту, не шевелясь, решив, что вот так, в этой прострации ее навсегда оставят тревожные видения. Да, только вы с сыном услышите, как зачавкает под копытами рыхлая прибрежная земля. Выбравшись из воды, ощутите свежесть и жаркое дыхание сельвы и оглянетесь: медленная река будет мягко шевелить осоку у другого берега. А дальше, в самом конце тропинки, обрамленной красными розетками табачинов, на затененной лужайке — свежевыкрашенный дом, асьенда Кокуйя. Каталина будет повторять: «Господи боже, за что ты меня...» — посмотрится в зеркало и спросит, неужели ее такою увидит Лоренсо, когда приедет, если приедет: обвислые щеки, складки на шее. Заметит ли он отвратительные морщины, которые начинают бороздить ее веки и шею? Она увидит в зеркале седой волосок и выдернет его. А Ты вместе с Лоренсо углубишься в сельву. Будешь глядеть на голую спину своего сына, то сливающуюся с тенью магнолий, то снова рассекаемую яркими лучами солнца, которое пробивается сквозь густую кровлю ветвей. На тропке, которую вам придется прокладывать с помощью мачете, обнажатся вспоровшие землю корни деревьев, узловатые, корявые, страшные. И почти вслед за всадниками тропка снова исчезнет под сплетением лиан. Лоренсо будет ехать вперед и вперед, не поворачивая головы, похлестывая коня, чтобы отогнать жужжащих мух. Каталина не перестанет повторять, что не поверит ему, все равно не поверит, если он не найдет ее такою, как прежде, когда был мальчиком. И со стоном, со слезами на глазах, раскинув руки, упадет на кровать. Шелковые туфли соскользнут на пол, а она будет думать о своем сыне, который так похож на отца, так строен, так смугл. Под копытами коней захрустят сухие ветки, и впереди откроется белая равнина — волнующееся море тростниковых метелочек. Лоренсо пришпорит коня. Обернет к тебе лицо, а губы раскроются в улыбке — Ты увидишь улыбку и услышишь радостный вопль. Мускулистые руки, оливковая кожа, белозубая улыбка — как в твоей молодости. Сын и эти места вернут тебе молодость, но Ты не захочешь сказать Лоренсо, как много связано у тебя с этой землей,— наверное, потому, что не захочется нарушать очарования: Ты вспомнишь об этом потом, вспоминая о минувших днях. А Каталина, лежа на кровати, станет вспоминать ласки маленького Лоренсо в тяжелые дни после смерти старого Гамалиэля; вспоминать малыша, прижавшегося к ней, уткнувшего голову в материнские колени,— она назвала его тогда радостью своей жизни. До рождения же нет, никогда не звала сына так: потому что очень страдала, но никому не могла пожаловаться, потому что выполняла свой святой долг. А ребенок смотрел на нее и ничего не понимал: «потому что, потому что, потому что...» Ты привезешь Лоренсо жить в Кокуйю, чтобы он сам научился любить эту землю — без всякого к тому побуждения с твоей стороны, без объяснения причин того любовного старания, с каким Ты заново отстроил для него сгоревшую асьенду и обработал степные земли. Без всякого «потому что, потому что». Вы поскачете по озаренной солнцем равнине. Ты надвинешь на брови широкополую шляпу. Лошадиный галоп взвихрит тихий искрящийся воздух, и ветер ворвется тебе в рот,

в уши, в голову. Лоренсо будет мчаться впереди, поднимая белую пыль, по прямой дороге сквозь заросли сахарного тростника. За ним — Ты, уверенный в том, что вы оба переживаете одно и то же: скачка будоражит, волнует кровь, острит зрение, заставляет зорко смотреть на всю эту землю, обширную и жизнеобильную, такую разную — со знакомыми тебе степями и плоскогорьями, разделенную на большие квадраты, красные, зеленые, черные, украшенную высокими пальмами, взбаламученную и глубокую, пахнущую навозом и гнилыми фруктами, волнующую своей разворошенной душой ваши души, вас обоих, летящих во весь опор, напрягающих каждый свой дремлющий нерв, каждый забытый мускул. Твои шпоры будут вонзаться в брюхо буланого: Ты знаешь, Лоренсо любит быструю езду. Его вопросительный взгляд заставит Каталину умолкнуть. Она остановится на полуслове, упрекнет себя за несдержанность, скажет себе, что это — вопрос времени, что надо объяснить маленькому сыну причины своих терзаний потом, когда он сможет понять все так, как надо. Она — в кресле, сын — у ее ног, положив руки ей на колени. Земля будет гудеть под копытами. Ты пригнешь голову к самому уху коня, словно желая подстегнуть его словом, но индеец-яки * очень тяжел, очень тяжел яки, перекинутый сзади тебя — лицом книзу — через круп твоего коня, яки, цепляющийся руками за твой пояс. Ты же не будешь чувствовать боли, хотя твоя рука и нога повиснут, как плети, а яки все будет хватать тебя за пояс и стонать, страшно кривя лицо. На вашем пути возникнут нагромождения скал, и вы, укрытые их тенью, спуститесь в горное ущелье, поедете по каменным лощинам, по глубоким карьерам вдоль высохших ручьев, по тропам, заросшим чертополохом и репейником. Кто будет вспоминать с тобой вместе? Лоренсо без тебя, там, в горах? Или Гонсало с тобою в этой тюрьме?:

■

(22 октября 1915 г.)

ОН плотнее закутался в синее сарапе **. Леденящий ветер, шурша травой, изгонял в ночные часы всякое воспоминание о дневном неподвижном зное. Всю ночь провели они на открытой равнине, голодные и промерзшие. Впереди, километрах в двух, темнели базальтовые вершины сьерры, выраставшей из суровой бесплодной степи. Три дня ехали разведчики по бездорожью, полагаясь на чутье капитана, который, кажется, хорошо знал повадки и путь следования разбитых и спасавшихся бегством отрядов Франсиско Вильи ***. Позади — километрах в шестидесяти от группы разведчиков — двигалась армия, лишь ожидавшая гонца на взмыленной лошади, чтобы тут же атаковать остатки отрядов Вильи и помешать ему соединиться со свежими силами в штате Чиуауа. Но где же эти бродяги со своим главарем? Он не сомневался: на какой-нибудь горной дороге, где сам черт ногу сломит. К исходу четвертого дня — того, что наступал,— группа должна была углубиться в сьерру, а армия Каррансы — подойти к месту этого их привала. Он со своими людьми уйдет отсюда на рассвете. Еще вчера истощились запасы кукурузной муки. А сержант, отправившийся верхом со всеми фляжками к ручью, который раньше пробивался где-то там, между скалами, и пересыхал на сухой равнине, ручья не нашел. Правда, увидел русло — все в красных прожилках, чистое, морщинистое, пустое. Два года назад пришлось про-

---

* Яки — индейцы севера Мексики.

** Шерстяная накидка мексиканских индейцев.

*** Франсиско (уменьшительное имя — Панчо) Вилья (1877—1923) — герой мексиканского народа, активный участник мексиканской революции. К исходу 1915 года партизанская Северная дивизия, которой командовал Вилья, потерпела ряд поражений в боях с правительственными войсками, возглавлявшимися президентом Каррансой.

ходить по этим местам как раз в период дождей, а теперь только одна круглая звезда дрожала на разгоравшемся востоке, над истомленными жаждой солдатами. Они расположились на привал, не зажигая огня,— мог заприметить с гор вражеский лазутчик. Кроме того, незачем. Варить было нечего, а на бескрайней равнине у костра не согреешься. Закутавшись в сарапе, Он поглаживал свое худощавое лицо: черные дужки усов срослись с бородкой за эти дни; в губы, в брови, в морщины над переносицей въелась пыль. Двадцать восемь человек отдыхали в нескольких метрах от капитана. Он спал или нес дозор всегда один, поодаль от своих людей. Рядом развевались на ветру хвосты коней, их черные тени укорачивались на желтой коже степи. Ему хотелось в горы: где-то там, наверху, рождается сиротливая речушка и оставляет меж камней свою недолговечную прохладу. Ему хотелось в горы: враг не должен уйти далеко. Всю ночь тело было напряжено, как струна. Голод и жажда еще глубже вдвинули, шире раскрыли глаза, зеленые глаза, смотревшие прямо и холодно.

Маска его лица, припорошенная пылью, была неподвижна и настороженна. Он ждал первого проблеска зари, чтобы двинуться в путь — с наступлением четвертого дня, как было условлено. Почти никто не спал, люди издали посматривали на него. Он сидел, охватив руками колени, завернувшись в сарапе, не шевелясь. Тот, кто смыкал веки, не мог уснуть от жажды, голода, усталости. Тот, кто не глядел на капитана, глядел на лошадиные морды с раздвоенными челками. Поводья были привязаны к коренастому дереву меските, торчавшему из земли, как большой оторванный палец. Усталые лошади понурили головы. Из-за горы скоро должно было показаться солнце. Час наступал.

Все ждали, и, наконец, пришла минута, когда капитан встал, сбросил синее сарапе — открылась грудь, перехлестнутая патронташами; блестящая пряжка офицерского мундира, гетры из свиной кожи. Не говоря ни слова, солдаты поднялись и направились к лошадям. Капитан прав: красный веер уже раскрылся над низкими вершинами, а там, выше, рос светлый полукруг, встречаемый хором птиц, невидимых, далеких, но целиком заполнивших бескрайнюю равнину. Он поманил к себе индейца-яки Тобиаса и сказал ему по-индейски:

— Ты поедешь последним. Как заприметим врага, тут же поскачешь к нашим.

Яки молча кивнул и надел плоскую шляпу с круглой тульей, которую украшало красное перо, заткнутое за ленту. Капитан вскочил в седло, и цепочка всадников легкой рысцой поехала к «воротам» сьерры — к узкому желтоватому каньону.

На правом склоне каньона выступали три каменных карниза. Отряд направился ко второму: он не слишком широк, но гуськом лошади могли здесь пройти. К тому же по этому карнизу можно было попасть прямо к источнику. Пустые фляжки гулко хлопали по ногам всадников. Камни, срывавшиеся из-под копыт в пропасть, эхом повторяли гулкую и сухую дробь, которая замирала на дне каньона,— как далекий трескучий бой барабана. С высоты казалось, что короткая цепочка пригнувшихся к коням всадников крадется на ощупь. Только Он один не склонял головы, поглядывая на вершины гор, щуря глаза на солнце и полностью полагаясь на свою лошадь. Возглавляя отряд, Он не чувствовал ни страха, ни гордости. Страх остался позади — если не в первых, то в многочисленных схватках, благодаря которым опасность стала частью жизни, а покой — довольно странным мироощущением. Поэтому мертвая тишина каньона тревожила его и заставляла крепко сжимать поводья; невольно напряглась рука, готовая одним рывком выхватить револьвер. Тщеславие его тоже не терзало. Сначала страх, а затем привычка приглушили это чувство. Ему было не до гордости, когда первые

пули свистели мимо ушей, и эта странная жизнь заставляла свыкаться с собой — благо, пули не попадали в цель. Он только удивлялся слепому инстинкту, заставлявшему его то бросаться в сторону, то выпрямляться, то приседать, то прятать голову за дерево; удивлялся и презирал свое тело, думая, с каким упорством, быстрее рассудка, оно защищает себя. Ему было не до гордости и позже, когда Он слышал ставший привычным назойливый посвист пуль. Но Он не мог отделаться от беспокойства, сверлящего и неуемного, в такие вот моменты, когда вокруг царит нежданная тишь. Его нижняя челюсть тревожно выпятилась.

Предостерегающий свист солдата за спиной мгновенно подтвердил его опасения — не так тих каньон. И свист тут же был прерван внезапным выстрелом и хорошо знакомыми воплями: солдаты Панчо Вильи бросили своих коней с вершины каньона вниз по головоломно крутому склону и стали с верхнего карниза поливать ружейным огнем разведчиков. Окровавленные взбесившиеся кони катились под громыханье выстрелов в пропасть, увлекая с собой раненых, разбиваясь об острые камни. Он успел повернуть голову назад и увидеть, как Тобиас бросился, подражая вильистам, вниз по отвесному косогору. Но выполнить приказ индейцу не удалось: его конь споткнулся и секунду летел по воздуху, затем грохнулся на дно ущелья и придавил своим телом всадника. Вопли усиливались, ружейная пальба учащалась. Он быстро перегнулся на левый бок лошади и ринулся с седла вниз, стараясь затормозить падение, цепляясь за выступы горы. На какое-то мгновенье перед его глазами мелькнули животы взвившихся на дыбы коней и дымки выстрелов — напрасно тратили порох его солдаты, застигнутые врагом на узком скалистом карнизе; они не могли ни укрыться, ни повернуть коней. Он катился вниз, обдирая руки о камни, а люди Вильи прыгали на второй карниз, чтобы схватиться с разведчиками врукопашную. Снова загрохотал страшный обвал — падали сплетенные тела и обезумевшие кони. А Он в это время на темном дне каньона ощупывал себя окровавленными руками и старался вытащить револьвер. Снова его окутала тишина. Отряд уничтожен. Он растянулся под огромной скалой. Болело плечо, ныла нога.

— Выходите, капитан Крус. Сдавайтесь, хватит...

Из пересохшего горла прозвучал ответ:

— Чтобы меня расстреляли? Здесь обожду.

Но пальцы, парализованные болью, едва держали револьвер. С усилием приподняв правую руку, Он вдруг почувствовал резкую и глубокую боль в животе. Стрелял не глядя — не было сил прицелиться; стрелял, пока спусковой крючок не защелкал вхолостую — металл о металл. Он швырнул револьвер за скалу, а сверху снова послышался голос:

— Руки на затылок и выходите.

С той стороны скалы громоздилось около трех десятков лошадей, мертвых или умиравших. Одни пытались поднять голову, другие судорожно дергали передними ногами, у многих — на лбу, на шее, на животе — пестрели красные бляхи. На лошадях или под ними в самых разных позах лежали люди из обоих отрядов: лицом вверх, словно подставляя рот под струю незримой воды; лицом вниз, обнимая камни. Все были мертвы, кроме одного стонавшего человека, придавленного гнедой кобылой.

— Дайте мне его вытащить,— крикнул Он тем, наверху.— Может, это кто из ваших.

Но как? Чем? Откуда взять силы? Едва Он нагнулся, чтобы схватить под мышки распростертое под лошадью тело Тобиаса, как в воздухе свистнула пуля и ударилась о камень. Он поднял глаза. Начальник победителей — в высокой шляпе, белевшей на фоне горы,— утихомирил стрелка угрожающим жестом. Липкий грязный пот тек по рукам; пра-

вая кисть почти не чувствовалась, но левая мертвой хваткой вцепилась в грудь Тобиаса.

За спиной Он услышал дробный цокот копыт. Вильисты цепочкой спускались в ущелье, чтобы взять его. Они уже стояли над ним, когда разбитые ноги индейца-яки показались из-под брюха лошади. Руки вильистов содрали с капитана патронташи.

Было семь часов утра.

Добравшись до тюрьмы в Пералесе, Он едва мог представить себе, как за девять часов проехали они — два пленника и вильисты под командой полковника Сагаля — по головоломным тропам сьерры и спустились к поселку в районе Чиуауа. В голове, кружившейся от боли, смутно запечатлелся пройденный путь. Очень трудный, как ему показалось. Очень легкий, как полагали те, кто, подобно Сагалю, сопровождал Панчо Вилью с первых его отступлений и за двадцать лет изъездил все эти горы, наизусть знал все их заповедные места, проходы, каньоны, тропки.

Белая шляпа в форме гриба скрывала пол-лица Сагаля, но его длинные крепкие зубы, окаймленные черными усами и бородкой, всегда сверкали в улыбке. Сверкали, когда Он с трудом влез на лошадь, а разбитое тело яки было перекинуто сзади, лицом книзу, через круп его лошади. Сверкали, когда Тобиас протянул руку и схватился за пояс капитана. Сверкали, когда отряд тронулся в путь и, направившись к темной зияющей дыре в горах, вошел в настоящий тоннель, не известный ни ему, ни другим каррансистам и позволявший пройти за час расстояние, которое наземными тропами не пройти и за четыре часа. Но Он почти не думал об этом. Он знал, что обе стороны в этой бандитской войне расстреливали на месте вражеских офицеров, и спрашивал себя, почему полковник Сагаль уготовил ему другую судьбу.

Надежда убаюкивала. Рука и нога, отбитые при падении, висели, как плети, а яки тянул его за пояс и стонал, страшно кривя лицо. Один горный склеп сменялся другим. Они ехали, укрытые тенью, во чреве сьерры, оставляя позади каменные коридоры, глубокие ущелья, почти смыкавшие свои стены над высохшими руслами ручьев, и тропы в зарослях чертополоха и кустарника, сплетавшего колючую кровлю над головами всадников. Наверное, только люди Панчо Вильи побывали в этих местах, думалось ему, и поэтому им удалось в свое время сделать четки из зерен партизанских побед и задушить диктатуру. Они здорово умеют наносить внезапные удары, окружать и быстро отходить после атаки. Полная противоположность его тактике, военной тактике генерала Альваро Обрегона *, который предпочитал обычные сражения — в открытом поле, боевым строем, с маневрами на хорошо известной местности.

— Держать равнение. Не отделяться! — слышался голос полковника Сагаля, который вдруг поворачивал назад и скакал к хвосту колонны, скаля зубы и сплевывая пыль.— Скоро выйдем из гор, а там черт знает, что нас ждет. Всем быть начеку, головы не поднимать, глядеть в оба — не запылит ли где дорога. Всем вместе видней, чем одному...

Громады скал раздвинулись. Отряд выехал на плоскогорье, и равнина Чиуауа, волнистая, пестревшая деревцами мескитe, раскинулась у их ног. Жару рассеивал горный ветер: прохладная завеса, никогда не ложащаяся на горячую корку земли.

— Сворачивай к руднику, там путь короче! — крикнул Сагаль.— Крепче держите своего товарища, Крус, спуск очень тяжелый.

---

* Альваро Обрегон (1880—1928) — военный и политический деятель Мексики, активный участник мексиканской революции, был сторонником президента Каррансы, однако впоследствии, в 1920 году, участвовал в перевороте, приведшем к отстранению от власти и к гибели Каррансы. Был дважды президентом республики (1920—1924 и 1927—1928).

Рука яки рванула Артемио за пояс. Ему показалось, что это не просто рывок, а сигнал, возможно, попытка привлечь его внимание. Он нагнулся и стал ласково похлопывать лошадь по шее, а затем повернул голову к сведенному судорогой лицу Тобиаса.

Индеец прошептал на своем языке:

— Мы будем проходить мимо рудника, давно заброшенного. Когда пойдем мимо одного из входов, прыгай с лошади и беги в рудник, там много ходов и тебя не найдут...

Он, не переставая, поглаживал лошадиную гриву. Поднял, наконец, голову и попытался разглядеть во время спуска на равнину тот вход в рудник, о котором сказал Тобиас.

Яки бормотал:

— Обо мне не думай. У меня сломаны ноги.

Двенадцать? Или час? Солнце жарило все сильнее.

На одном из утесов показались косули. Кто-то из солдат выстрелил. Одна косуля исчезла, другая скатилась со своего пьедестала. Вильист спрыгнул с лошади и взвалил ее себе на плечи.

— Больше не сметь охотиться! — раздался резкий голос Сагаля, скалившего зубы в улыбке.— Тебе дорого могут обойтись выстрелы, капрал Паян.

Приподнявшись на стременах, полковник обратился к отряду:

— Поймите одну вещь, дурачье: карранклаиы* наступают нам на пятки. Нечего зря тратить порох. Или вы думаете, что мы, как раньше, идем с победой на юг? Совсем наоборот. Мы разбиты и идем на север — откуда пришли.

— Но ведь, мой полковник,— послышался глуховатый голос капрала,— теперь хоть будет что пожрать.

— Тут пожрать на твою мать! — взревел Сагаль.

Отряд загоготал, а Паян привязал убитую косулю к седлу своей лошади.

— Не трогать ни воду, ни пищу, пока не сойдем вниз,— распорядился Сагаль.

А Он не сводил глаз с обрывистой тропки. Там, за поворотом, зияет пасть рудника.

Под копытами лошади Сагаля зазвякали узкие рельсы, на полметра выступавшие из входа в рудник. И Крус бросился вниз с коня, кубарем покатился по чуть наклонному стволу шахты. Огорошенные солдаты едва успели схватиться за ружья, а Он уже грянулся в темноте на колени. Прогрохотали первые выстрелы, послышались голоса вильистов. Прохлада подземелья освежила лицо, но от темноты закружилась голова. Вперед, только вперед: ноги, не чувствуя боли, несли его, пока тело не наткнулось на груду камней. Растопырив руки в стороны, понял: слева и справа штольни. Из одной тянуло свежим ветерком, из другой — спертым жарким воздухом. Кончики пальцев его распростертых рук ощутили разницу температур. Он снова побежал туда, где жарко, где штрек, видимо, шел вглубь. Сзади, звеня шпорами, бежали вильисты. Оранжевым огоньком вспыхнула спичка. А Он, в этот самый миг потеряв под ногами почву, свалился в вертикальный колодец, услышал глухой удар собственного тела о гнилую рудничную крепь. Наверху приближался звон шпор; стены шахты отзывались эхом негромких голосов. Беглец с трудом поднялся, попробовал определить размеры ямы, в которую упал, нащупать выход, куда бежать дальше.

«Лучше переждать здесь...»

---

* Карранклан — прозвище сторонников Венустиано Каррансы (под таким названием известна дешевая хлопчатобумажная ткань).

Голоса наверху стали громче, словно шел спор. Он ясно расслышал хохот полковника Сагаля. Голоса стали удаляться. Вдали кто-то свистнул: резкий предостерегающий свист. Затем до его убежища донесся непонятный, тяжелый грохот, продолжавшийся несколько минут. И — полнейшая тишина. Глаза привыкли ко тьме.

«Кажется, ушли. А может, ловушка. Лучше переждать здесь».

В духоте заброшенного штрека Он потрогал грудь, ощупал бок, нывший от удара. Колодец не имел выхода: наверное, рудничный тупик. Рядом валялось несколько прогнивших крепежных свай, другие подпирали зыбкий слой глины. Он удостоверился в надежности одной из свай и сел, прислонившись к ней, решив набраться терпения на несколько часов. Эта свая поднималась к бреши, через которую Он сюда попал. Было не трудно вскарабкаться по бревну и снова добраться до выхода. Потрогал дыры в штанах и в кителе — золотые галуны содрались. Одолевали усталость, голод, сон. Молодое тело обмякло, ноги расслабились. Тьма и покой, учащенное дыхание и закрытые глаза. Стал думать о женщинах, которых хотел иметь: тела тех, что имел, не занимали воображение. Последняя была во Фреснильо. Разряженная проститутка. Из тех, которые плачут, когда их спрашиваешь: «Ты откуда? Зачем здесь ошиваешься?» Обычный вопрос, чтобы завязать разговор. Да и им нравится рассказывать сказки. А эта — нет, не рассказывала, только плакала. И война никак не кончается. Ясно, идут последние бои. Он скрестил руки на груди и попытался дышать ровно. Захватить бы разбитое войско Панчо Вильи — и будет мир. Мир.

«А что буду делать, когда все кончится? Да и зачем думать, что все кончится? Незачем об этом думать».

Может, и в мирное время найдется, что делать. Он прошел всю Мексику — крест-накрест — и участвовал только в разрушении. Но ведь заброшенные поля можно снова засеять. Как-то в Бахío ему попалось на глаза прекрасное поле, около которого можно было бы построить дом с аркадой и патио, развести цветы и заняться земледелием. Смотреть на прорастающее семя, орошать посевы, оберегать цветущие растения, собирать плоды. Славная жизнь могла бы наступить, славная...

«Эй, не спать, быть начеку...»

Он ущипнул себя за ляжку. Затылок тяжелел, тянул голову назад.

Сверху не доносилось ни звука. Можно идти на разведку. Он оперся плечом о вертикальную сваю и нащупал ногой бугорчатые выступы на стенке колодца. Полез вверх, обхватив здоровой рукой бревно и переступая ногами с выступа на выступ; лез, пока не заскреб ногтями по полу верхнего штрека. Но теперь здесь, казалось, стало еще более душно и темно. Побрел к главной штольне и скоро почувствовал, что добрался до цели, потому что напротив душного штрека начинался штрек сквозной. Но там, дальше, где находился вход, не было видно света. Или уже стемнело? Может, Он потерял счет часам?

Ощупью добрался до входа в штольню. Нет, не ночь закрыла вход, а баррикада из тяжелых обломков скал, сложенная вильистами перед отъездом. Они замуровали его в этом склепе — пустом руднике.

Прихлопнули. От этой мысли замутило в желудке. Невольно расширились ноздри, ловившие воздух. Пальцы прикоснулись ко лбу, потерли виски. Но был ведь и другой штрек, сквозной. Ведь в него врывался воздух снаружи, с равнины, вместе с солнцем! Он бросился ко второму проходу. Да, сладкое свежее дуновение. Он шел, спотыкаясь в темноте, ощупывая руками стены. Вот пальцы раздавили каплю воды. Он прижался открытым ртом к стене, ища источник влаги. От потолка медленно катились холодные жемчужинки, одна за другой. Слизнул языком вторую, дождался третьей, четвертой. Опустил голову. Штрек, кажется, кончился. Он повел носом. Воздух шел откуда-то снизу, овевал щико-

лотки. Он опустился на колени, пошарил руками. Да, из какого-то невидимого заваленного прохода несло свежестью. Надежда придала сил: завал был непрочным. Он начал раскидывать камни, отверстие ширилось и, наконец, открылось. Оно вело в новую подземную галерею, в которой слабо мерцали серебристые прожилки. Он протиснулся в проход и только тогда понял, что во весь рост идти нельзя — можно только на четвереньках. И Он пополз на коленях, скорчившись, не зная, куда выведет его этот звериный лаз. Серебристо-серые прожилки да тусклые отблески золотых галунов — вот и все, что Он видел, продвигаясь ползком, как полумертвое пресмыкающееся. Глаза напряженно сверлили мглу, струйка слюны текла по подбородку. Рот, казалось, был полон тамариндов: от невольного воспоминания об этих фруктах била слюна. А может, это настоящий запах, который вырвался из какого-то далекого сада и вместе с ленивым воздухом равнины проник в этот тесный коридор? Да, обостренное чутье уловило свежее дуновение. Глубокий вдох. Полной грудью. Да, аромат близкой земли, который ни с чем не спутать,— особенно человеку, столько времени запертому в недрах гор. Узкая галерея шла все ниже и ниже и вдруг оборвалась отвесным срезом. Внизу темнело нечто вроде патио, покрытого песком. Он оторвался от скалы и упал на мягкую белую насыпь. Сюда уже добрались щупальца каких-то растений. Куда теперь?

«Надо вылезать. Вон свет! Это не отблеск песка, это свет!»

Он бежал, глубоко дыша, к выходу, залитому солнцем.

Он бежал, ничего не слыша и не видя. Не слыша ни треньканья гитары, ни пения, разливистого и надрывного пения отдыхающего солдата:

Там, в Дуранго, все девчонки носят платья голубые
и зеле-о-оные,
Приласкал их, а красотки расцарапали мне щеки,
разозле-о-онные...

Он не замечал ни маленького костра, над которым покачивалась тушка убитой косули, ни рук, отрывавших от нее кусок за куском.

Он упал, ничего не видя и не слыша, едва ступил на горячую землю. Разве что-нибудь увидишь при дневном палящем солнце, под которым, как меловой гриб, белела высокая шляпа человека, скалившего зубы в улыбке и протягивавшего ему руку:

— Поживей, капитан, вы нас задерживаете. Глядите-ка, ваш яки уже набил брюхо. Сейчас можно и глотку смочить.

В Чиууа девчонки все тоскуют и хиреют,
богу мо-о-лятся,
Чтоб послал он им парней, да по-сильнее,
по-задо-о-ристей...

Пленник поднял лицо и, не глядя на прикорнувших солдат Сагаля, устремил взор вперед: суровые зубцы скал и колючие заросли, путь долгий и медленный, безмолвный и головоломный. Он встал и дотащился до маленького бивуака. Его встретил твердый взгляд индейца-яки. Он протянул руку, оторвал обжигающий кусок мяса от хребта косули и стал есть.

Пералес.

Деревня с глинобитными домишками, мало чем отличавшаяся от других деревень. Только небольшая часть дороги — перед муниципалитетом — замощена булыжником. Дальше — сплошная пыль, которую толкли босые ноги детей, лапы кичливых индюков да бродячих собак, дремавших на солнце или с лаем гонявших по деревне. Всего один или два солидных дома — с большими дверями, железной крышей и жестяными сточными трубами. Обычно они принадлежали лавочнику-спекулянту и представителю власти (если тот и другой не были одним лицом), которые бежали теперь от скорой расправы Панчо Вильи. Войска заня-

ли обе усадьбы и заполонили конями и фуражом, боеприпасами и оружием все патио, отгороженные от улицы высокими, словно крепостными, стенами. Здесь было все, что удалось спасти разбитой и отступавшей Северной дивизии.

Вся деревня казалась бурой. Только фасад муниципалитета отсвечивал розовым, но цвет этот на боковых стенах и в патио тускнел и приобретал тот же серовато-бурый оттенок. Неподалеку был водоем; поэтому здесь и выросло поселение, все богатство которого ограничивалось несколькими дюжинами кур и уток, сухими маисовыми полями рядом с пыльными улочками, двумя кузницами, одной плотницкой мастерской, лавкой с разными товарами, а также всякими домашними промыслами. Деревушка жила каким-то чудом. Жила тихо. Как и большинство мексиканских деревень, казалась вымершей. Разве что утром или вечером, вечером или ночью услышишь частый стук молотка или плач новорожденного, но очень редко встретишь на жарких улицах человека. Только дети иной раз выскочат — крохотные, босые. Солдаты тоже не покидали занятых домов, отсиживались в патио муниципалитета, куда и направлялся усталый отряд. Когда всадники спешились, к ним приблизился сторожевой пикет. Полковник Сагаль кивнул на индейца-яки:

— Этого в каталажку. А вы, Крус, пойдете со мной.

Полковник больше не улыбался. Распахнул дверь побеленной комнаты и рукавом вытер пот со лба. Расстегнул пояс и сел. Пленный стоял и смотрел на него.

— Берите стул, капитан, и давайте поболтаем по душам. Хотите сигару?

Пленный взял; огонек на секунду сблизил оба лица.

— Так,— снова оскалился в улыбке Сагаль.— Дело-то простое. Вы сообщили бы нам планы наших преследователей, а мы выпустили бы вас на свободу. Говорю вам прямо. Мы знаем, что нам конец, но все-таки хотим защищаться. Вы — настоящий солдат и должны понять.

— Да. Потому-то я и не скажу ничего.

— Хорошо. Но нам надо знать очень немного. Вы и мертвецы, оставшиеся в каньоне,— отряд разведчиков, это ясно. Значит, основные части идут следом. Можно сказать, вынюхали путь, каким мы идем на север. Но раз вы не знаете дорогу через горы, то, понятно, вашим придется пересечь равнину, а это отнимет несколько дней. Так вот: сколько вас? Не отправлены ли вперед эшелоны по железной дороге? Сколько, по-вашему, у вас боеприпасов? Сколько пушек? Какова тактика? Где соединятся отдельные бригады, которые нас преследуют? Очень просто: вы мне все расскажете и будете свободны. Даю слово.

— Где гарантия, что это так?

— Карамба, капитан! Нам же все равно крышка. Говорю вам откровенно. Дивизия распалась. Она разбилась на отряды, которые теряют связь друг с другом и рассеиваются в горах, потому что люди остаются в своих деревнях. Мы устали. С тех пор как мы поднялись против дона Порфирио *, мы провели в боях немало лет. Дрались с Мадеро, воевали с сопляками Уэрты **, а потом с вами, с карранклапами Каррансы. Немало лет. И мы устали. Наши люди как ящерицы: они меняют кожу под цвет земли, прячутся в своих хижинах, снова обряжаются в тряпье пеонов и ждут часа, чтобы опять идти в бой, хотя бы ждать пришлось

* Имеется в виду диктатор Мексики генерал Порфирио Диас, свергнутый мексиканской революцией 1910 года.

** Франсиско Мадеро (1873—1913) — первый президент Мексики, пришедший к власти в результате мексиканской революции. Был впоследствии убит. Викториано Уэрта (1854—1916), мексиканский генерал, захватил власть после убийства Мадеро, осуществленного с участием Уэрты.

сто лет. Вы знаете, что на сей раз мы побеждены, как и сапатисты * на юге. Победили вы. Зачем же вам умирать, если война выиграна вашими? А нам дайте проиграть с оружием в руках. Я прошу только одного. Дайте проиграть нам с честью.

— Панчо Вильи нет в этой деревне?

— Нету. Он идет впереди. И люди уходят. Нас осталось уже немного.

— Что вы мне обещаете?

— Мы оставим вас живым тут, в тюрьме, и ваши друзья вас освободят.

— Да, если наши победят. Если нет...

— Если мы их разобьем, я даю вам коня, и вы бежите.

— А вы стреляете мне в спину.

— Значит, не?..

— Нет. Нечего мне вам сказать.

— В каталажке — ваш приятель яки и лиценциат Берналь, посланец Каррансы. Вместе с ними будете ждать приказа о расстреле.

Сагаль встал.

Ни один из них не испытывал никаких чувств. Чувства каждого — на той, на этой ли стороне — были парализованы, раздавлены повседневным напряжением, непрестанной клепкой упорных боев. Они разговаривали автоматически, выключив эмоции. Полковник хотел получить сведения и давал возможность выбирать между свободой и расстрелом; пленный отказывался сообщить сведения: не Сагаль и Крус, а две сцепившиеся шестерни разных военных машин. Поэтому известие о расстреле было встречено пленным с абсолютным спокойствием. Правда, это спокойствие заставляло его осознать чудовищное равнодушие, с каким Он обрекал себя на смерть. И вот Он тоже встал, выпятил челюсть:

— Полковник Сагаль, мы долгое время подчинялись приказам, не имея возможности что-то сделать... такое, что позволило бы сказать: это делаю я, Артемио Крус; делаю по своей воле, не как офицер. Если вам надо убить, убейте меня как Артемио Круса. Вы уже говорили — все это кончается, мы устали. Я не хочу умирать как последняя жертва победы, и вы тоже, наверное, не хотите умирать как последняя жертва поражения. Я предлагаю вам драться на револьверах. Проведите черту посреди патио и выйдем навстречу друг другу с оружием в руках. Если вам удастся ранить меня до того, как я перейду черту, вы добьете меня. Если я перешагну черту и вы не попадете, вы меня отпустите.

— Капрал Паян! — крикнул Сагаль, сверкнув глазами.— Отведите его в камеру.

Потом повернулся лицом к пленному:

— Я не сообщу вам час казни, сидите и ждите. Может, это будет через час, а может, завтра или послезавтра. И все же подумайте про то, что я вам сказал.

Лучи заходившего солнца, проникавшие сквозь решетку, золотили силуэты двух узников. Один из них ходил, другой лежал на полу. Тобиас попытался прошептать что-то в знак приветствия; тот, что шагал по камере, повернулся к вновь вошедшему, едва только закрылась дверь и ключи капрала звякнули в замочной скважине.

— Вы — капитан Артемио Крус? Я Гонсало Берналь, парламентер главнокомандующего Венустиано Каррансы.

Берналь был в гражданском платье — в кашемировой куртке кофейного цвета с хлястиком на спине. И капитан взглянул на него так, как

---

* Сапатисты — сторонники героя мексиканского народа, руководителя крестьянского движения на юге Мексики в годы мексиканской революции Эмилиано Сапаты (1877—1919). Сапата был предательски убит реакционерами.

глядел на всех штатских, которые лезли в мясорубку войны: нехотя, с презрительным равнодушием. Но Берналь продолжал, вытерев платком свой широкий лоб и рыжеватые усы:

— Индеец совсем плох. У него сломана нога.

Капитан пожал плечами:

— Терпеть недолго.

— Что там слышно? — спросил Берналь, задержав платок у самых губ; слова прозвучали глухо.

— Всем нам всыплют свинца. Но когда — не говорят. Не пришлось помереть от простуды.

— И нет надежды, что наши подоспеют?

Он перестал ходить по камере. Глаза, инстинктивно сверлившие потолок, стены, решетчатое окно, земляной пол в поисках лазейки, остановились на этом новом враге, на лишнем соглядатае в камере.

— Воды тут нет?

— Яки всю выпил.

Индеец стонал. Он подошел к изголовью каменной скамьи, служившей кроватью, нагнулся к медному лицу. Его щека почти коснулась щеки Тобиаса, и впервые — так явственно, что Он невольно отпрянул назад,— перед ним возникло это лицо, которое всегда было только темным пятном, частью гибкого и быстрого тела войны, частью войска. А теперь оно, просветленное и страдальческое, казалось откровением. У Тобиаса было лицо, и Он видел это лицо. Сотни белых морщинок — от смеха, от гнева и от солнца — бороздили уголки век, исчерчивали широкие скулы. Толстые, выступающие вперед губы добро улыбнулись, а черные суженные глаза словно осветились мрачной и вдохновенной радостью.

— Значит, ты пришел,— сказал Тобиас на своем наречии; капитан научился его понимать, командуя солдатами-индейцами с гор Синалоа.

Он пожал нервно подрагивавшую руку яки:

— Да, Тобиас. Но сейчас важнее другое: нас расстреляют.

— Так должно быть. Так сделал бы и ты.

— Да.

Наступила тишина, солнце исчезло. Три человека должны были вместе провести ночь. Берналь бродил по камере. Капитан опустился на землю и что-то рисовал в пыли. Снаружи, в коридоре, зажглась керосиновая лампа и зачавкал стражник-капрал. С равнины потянуло холодом.

Снова поднявшись, Он подошел к двери: толстые доски из нестроганой сосны и маленькое оконце на высоте глаз. За оконцем поднимался дымок самокрутки, которую раскуривал капрал. Капитан ухватился руками за ржавые прутья решетки и смотрел на приплюснутый профиль своего стража. Черные клоки волос торчали из-под брезентовой фуражки, щекотали скулы, голые и квадратные. Пленный ждал ответного взгляда; капрал ответил молчаливым кивком головы: «Чего надо?» — и взмахом руки. Другая рука по привычке сжала карабин.

— Уже есть приказ на завтра?

Капрал глядел на него желтыми узкими глазами. И не отвечал.

— Я нездешний. А ты?

— Сверху, с гор,— проговорил капрал.

— А что это за место?

— Какое?

— Где нас расстреляют. Что видно-то оттуда?

— Что видно?

Только сейчас вспомнил Он, что всегда смотрел вперед, с той самой ночи, когда пересек горы, бросив старый дом под Веракрусом. С тех пор назад не оглядывался. С тех пор полагался только на себя, только на свои собственные силы... А сейчас... не смог удержаться от глупого во-

проса — что за место, что там видно? Наверное, просто для того, чтобы избавить себя от подступавших воспоминаний, от внезапной тоски по тенистым папоротникам и медленным рекам, по вьюнкам над хижиной, по накрахмаленной юбке и мягким волосам, пахнущим айвой.

— Вас отведут в задний патио,— говорил капрал,— а видно... Чего там видать? Стенка, голая, высокая, вся пулями исковырянная — кто сюда попадет, всех...

— А горы? Горы видно?

— Правду сказать — не помню.

— И многих ты тут... видел?..

— У-ух...

— Небось кто стреляет, больше видит, чем тот, кого...

— А сам ты разве никогда не расстреливал?

(«Да, но никогда не представлял себе, не задумывался о том, что можно что-то чувствовать, что можно тоже когда-нибудь влипнуть... Поэтому нечего тебя расспрашивать, верно? Ты убивал, как и я, не оглядываясь. Поэтому никто не знает, что тут чувствуют, и никто ничего не расскажет. Вот если бы можно было вернуться оттуда, рассказать, что́ значит услышать залп, ощутить удары пуль в грудь, в лицо. Если бы рассказать всю правду, может, мы больше не стали бы убивать, никогда. Или, наоборот, каждый стал бы плевать на смерть... Может, это страшно... А может, так же просто, как родиться... Что знаем мы с тобой оба?»)

— Слышь, капитан, галуны тебе более не понадобятся. Отдай мне.

Капрал просунул руку сквозь решетку, а Он повернулся к двери спиной. Стражник засмеялся, хрипло и глухо.

Яки стал что-то нашептывать на своем языке, и Он медленно пошел к каменному ложу, потрогал горячий лоб индейца, прислушался. Речь лилась плавно, как песня.

— О чем он?

— Рассказывает. Как правительство отняло у них вековечные земли. Как они дрались, чтобы их отстоять. Тогда пришла федеральная армия и стала рубить руки мужчинам, ловить их в горах. Как привели всех вождей-яки на высокую гору и сбросили в море с камнем на шее.

Яки говорил с закрытыми глазами:

— Тех, кто остался в живых, погнали длинным-предлинным караваном, погнали в чужие края, погнали на Юкатан, погнали из Синалоа.

— Как шли они к Юкатану, как женщины, старики и дети их племени падали замертво на дороге. Те, кому удалось дойти до хенекеновых плантаций, продавались, словно рабы, разлучались с женами. Как заставляли женщин жить с китайцами, чтобы они забыли свой язык и нарожали побольше работников...

— Но я вернулся, вернулся. Как только узнал, что война, я вернулся с моими братьями, вернулся воевать за правду.— Яки тихо засмеялся.

Берналь, скрестив руки на груди, казалось, выискивал в темной и холодной ночи, там, за высокой решеткой, отсвет луны. Иногда до них долетал из деревни монотонный стук молотка. Выли собаки. За стеной слышались приглушенные голоса. Он стряхнул с кителя пыль и подошел к молодому лиценциату.

— Сигары есть?

— Да... Вроде... Вот.

— Дай индейцу.

— Я давал Мои ему не по вкусу.

— А свои у него есть?

— Кажется, кончились.

— Наверное, у солдат есть карты.

— Нет, я, пожалуй, не смогу отвлечься. Едва ли...

— Спать хочешь?
— Нет.
— Ты прав. Нечего время терять.
— Думаешь — пожалеешь?
— О чем?
— О том, что сейчас время терял...
— Да, смешно.
— Вот именно. Лучше вспоминать. Говорят, это приятно — вспоминать.
— Не так много прожито.
— Согласен. Тут в выигрышном положении яки. Поэтому, значит, ты и не склонен разговаривать.
— Да. Нет, не совсем тебя понял...
— Я говорю, у яки есть много, о чем вспомнить.
— Может, по-ихнему и немного.
— Хотя бы об этом пути, из Синалоа. О чем он только что рассказывал.
— Да.
— ...
— Рехина...
— А?
— Нет, я так. Перебираю имена.
— Тебе сколько лет?
— Скоро двадцать шесть. А тебе?
— Двадцать девять. Мне тоже в общем нечего вспомнить. А ведь жизнь в последние годы была такой сумбурной, такой переменчивой...
— Интересно, когда люди начинают вспоминать свое детство, а?
— Детство... Нет, это тяжело.
— Знаешь? Мы тут разговариваем...
— Ну?
— Ну, я припомнил какие-то имена. А они меня уже не волнуют, ничего не говорят...
— Скоро рассвет.
— Не стоит думать.
— Спина вся мокрая, от пота.
— Дай-ка сигару. Эй, слышишь?
— Прости. Вот. Может, ничего и не почувствуем.
— Так говорят.
— Кто говорит, Крус?
— Понятное дело — кого убивают.
— Ты-то — как?
— Хм...
— Почему ты не думаешь о?..
— О чем? О том, что все пойдет по-старому, хоть нас и не будет?
— Нет — ты не хочешь думать о прошлом. Я думаю сейчас о всех тех, кто уже умер в революцию.
— Почему же. Я помню Буле. Апарисио, Гомеса, капитана Тибурсио, Амариньяса... Других тоже.
— Готов держать пари, что не назовешь и двадцати имен. И не только своих. А как звали всех убитых? Нет, не только в эту революцию — во всех революциях, во всех войнах. И даже умерших в своей постели. Кто о них помнит?
— Дай-ка спичку. Слышишь?
— Прости.
— Вот и луна.
— Хочешь взглянуть на нее? Если встанешь мне на плечи, сможешь...

— Нет. Не к чему.

— Пожалуй, это хорошо, что у меня забрали часы.

— Да.

— Я хочу сказать — чтобы не смотреть на них.

— Понимаю.

— Ночь мне всегда казалась... казалась длиннее...

— Проклятая вонючая дыра.

— Погляди на яки. Уснул. Хорошо, что никто из нас не трусил.

— Пошел второй день, как мы тут.

— Кто знает. Могут войти с минуты на минуту.

— Нет. Им нравится эта игра. Всем известно, что расстреливают на рассвете. А им хочется поиграть с нами.

— Значит, он не такой скорый на решения?

— Вилья — да. Сагаль — нет.

— Крус... Все-таки разве это не абсурд?

— Что?

— Умереть от руки одного из каудильо и не верить ни в кого из них...

— Интересно, возьмут нас сразу всех или поодиночке?

— Проще одним махом, не так ли? Ты ведь военный.

— А тебя как сюда занесло?

— Я тебе расскажу сейчас одну вещь. Ей-богу, умрешь со смеху.

— Какую вещь?

— Я бы не рассказал, если бы не был уверен, что отсюда не выйду. Карранса послал меня парламентером с единственной целью — чтобы они схватили меня и были виновны в моей смерти. Он вбил себе в голову, что мертвый герой ценнее живого предателя.

— Ты — предатель?

— Смотря как это понимать. Ты, например, воевал, не думая. Исполнял приказы и никогда не сомневался в своих вождях.

— Ясно. Главное — выиграть войну. А ты разве не за Обрегона и Каррансу?

— С таким же успехом я мог быть за Сапату или за Вилью. Я не верю ни в кого.

— Ну и как же?

— В этом вся драма. Кроме них никого нет. Не знаю, помнишь ли ты, как было в начале, совсем недавно. Это кажется уже таким далеким..... Тогда речь шла не о вождях. Тогда все вершилось, чтобы возвеличить всех, а не кого-то одного.

— Ты хочешь, чтобы я хаял воинскую верность наших людей? Нет, революция — это верность вождям.

— Вот именно. Даже яки, который сначала шел воевать за свои земли, теперь сражается только за генерала Обрегона и против генерала Вильи. Нет, раньше было иначе — до того, как благое дело выродилось в войну группировок. В деревне, по которой прокатывалась революция, крестьяне освобождались от долговой кабалы, богатеев-спекулянтов экспроприировали, политические заключенные выходили на волю, а старые касики * лишались своих привилегий. Теперь посмотри, что творит тот, кто сам верил в революцию для освобождения народа, а не для размножения вождей.

— Еще будет время...

— Нет, не будет. Революция начинается на полях сражений, но как только она изменяет своим принципам — ей конец, если она даже будет еще выигрывать сражения. Мы все в ответе за это. Мы позволили расколоть себя и увлечь людям алчным, властолюбивым, посредственным.

---

* Местные вожди в индейских селениях. Здесь — помещики-феодалы.

Те, кто хочет настоящей революции, снизу доверху, без всяких скидок,— люди, к сожалению, невежественные и кровожадные. А интеллигенты хотят революцию половинчатую, совместимую с тем, что их больше всего интересует, а именно: благоденствовать, жить в свое удовольствие, заменить собою элиту дона Порфирио. В этом драма Мексики. Вот я, например. Всю жизнь читал Кропоткина, Бакунина, старика Плеханова, с детских лет возился с книгами, спорил, дискутировал. А настал час, и я пошел за Каррансой, потому что он показался мне человеком разумным, которого можно не бояться. Видишь, какой я слизняк? Я боюсь голодранцев, боюсь Вилью и Сапату...— «Всегда я буду человеком неприемлемым, тогда как люди, ныне приемлемые, таковыми останутся навсегда...» — Да. Вот именно.

— Душу перед смертью выворачиваешь...

— «Мой основной недостаток — это любовь к фантазиям, к невиданным авантюрам, к свершениям, которые открывают бескрайний и удивительный горизонт...» — Да. Вот именно.

— Почему ты никогда не говорил обо всем этом там, на воле?

— Я говорил об этом с тридцатого года и Лусио Бланко, и Итурбе, и Буэльне, и всем честным военным, которые никогда не стремились стать каудильо. Поэтому они не сумели помешать козням старика Каррансы, который всю свою жизнь только и знал, что сеял раздоры и плел интриги. А иначе у него у самого вырвали бы кусок изо рта. Потому этот старый вахлак и возвеличивал всякую шушеру, всяких Пабло Гонсалесов, которые не могли его затмить. Так он расколол и революцию, превратил ее в войну группировок.

— Из-за этого тебя послали в Пералес?

— С поручением убедить вильистов сдаться. Будто мы не знаем, что они разбиты и бегут и что в панике хватаются за оружие при виде первого встречного карранклана. Старик не любит пачкать руки. Предпочитает поручать грязную работу своим врагам. Эх, Артемио, такие люди не под стать своему народу и своей революции.

— Почему ты не переходишь к Вилье?

— К другому каудильо? Побыть, поглядеть, сколько он протянет, а потом перебежать к следующему и так далее, пока не очутишься у какой-нибудь другой стенки под другим ружьем?

— Но на этот раз ты спасся бы...

— Нет... Поверь мне, Крус, мне хотелось бы спастись, вернуться в Пуэблу. Увидеть жену, сына — Луису и Панчолина. И сестренку Каталину — она такая беспомощная. Увидеть бы отца, моего старого дона Гамалиэля — он такой благородный и такой слепой. Попытаться бы объяснить ему, зачем я ввязался во всю эту историю. Отец никогда не понимал, что существует моральный долг, который необходимо выполнить, хотя и знаешь заранее, что ждать нечего. Отец признавал раз и навсегда заведенный порядок: усадьба, завуалированный грабеж, все такое... Хоть бы нашелся кто-нибудь, кого можно было бы попросить пойти к ним и передать что-нибудь от меня. Но отсюда никто не выйдет живым, я знаю. Нет. Все играют в жуткую игру «кто кого». Мы ведь живем среди убийц и пигмеев, потому что каудильо покрупнее милует лишь мелюзгу, чтобы удержать место под солнцем, а каудильо помельче должен угробить крупного, чтобы пролезть вперед. Эх, жаль, Артемио. Как нам нужно то, чего мы лишаемся, и как ненужно это губить. Не того мы хотели, когда делали революцию со всем народом в тринадцатом... А ты смотри, решай. Когда уберут Сапату и Вилью, останутся только два вождя — твои теперешние начальники. С кем пойдешь?

— Мой командир — генерал Обрегон.

— Уже выбрал, тем лучше. Видно, дорожишь жизнью. Видно...

— Ты забываешь, что мы будем расстреляны.

Берналь от неожиданности рассмеялся — мол, рванулся в небо и забыл, что прикован. Сжав плечо товарища по камере, сказал:

— Проклятые политические влечения! Или, может быть, тут интуиция? Почему, скажем, не идешь с Вильей ты?

Он не мог разглядеть в темноте выражение лица Гонсало Берналя, но ему чудились насмешливые глаза, самоуверенная поза этого ученого лиценциатика, из тех, что и воевать-то не воевали — только язык чешут, в то время как они, солдаты, выигрывают сражения. Он резко отстранился от Берналя.

— Что с тобой? — улыбнулся лиценциат.

Капитан угрюмо хмыкнул и раскурил потухшую сигарету.

— Нечего зря болтать,— процедил Он сквозь зубы.— Хм. Сказать тебе по правде? Меня тошнит от слюнтяев, которые раскупориваются, когда их никто не просит, а тем более — в свой смертный час. Помолчите-ка, уважаемый, или говорите про себя, сколько влезет, а я не хочу распускать слюни перед смертью.

В голосе Гонсало зазвенели металлические нотки:

— Видишь ли, приятель, мы — трое обреченных. Яки рассказал нам свою жизнь...

И поперхнулся от гнева, от гнева на самого себя: незачем было позволять себе исповедоваться и философствовать, открывать душу человеку, который того не стоит.

— Яки прожил жизнь мужчины. Имеет право.

— А ты?

— Воевал — и все. Если и было что-то еще, не помню.

— Любил ведь женщину...

Он сжал кулаки.

— ...имел родителей; может быть, у тебя даже есть сын. Нет? А у меня есть, Крус. И я верю, что прожил жизнь по-настоящему, и хотел бы выйти на свободу и продолжать жить. А ты — нет? Разве не хотелось бы тебе сейчас ласкать...

Голос Берналя сорвался, когда Он набросился на него в темноте, вцепился обеими руками в лацканы кашемировой куртки и, не говоря ни слова, с глухим рычанием стал бить об стену своего нового врага, вооруженного идеями и добрыми словами, всего-навсего повторявшего тайную мысль его самого, узника, капитана Круса: что будет после нашей смерти? А Берналь, невзирая на жестокую тряску, повторял:

— ...если бы нас не убили? Нам нет и тридцати... Что стало бы с нами? Мне еще столько хочется сделать...

Пока, наконец, Он, обливаясь потом, тоже не зашептал прямо в лицо Берналя:

— ...все пойдет по-старому, понял? Будет всходить солнце, будут рождаться мальчишки, хотя и ты и я будем трупами, понял?

Мужчины выпустили друг друга из жестких объятий. Берналь рухнул на пол, а Он шагнул к двери, приняв решение — дать Сагалю фальшивые сведения, попытаться спасти жизнь яки, предоставить Берналя его собственной судьбе.

Когда капрал, мурлыча себе что-то под нос, вел его к полковнику, Он чувствовал, как поднимается в нем утихшая было тоска по Рехине, сладкое и горестное воспоминание, которое таилось где-то на самом дне души, а теперь подступало к сердцу, требуя, чтобы Он остался жив,— будто умершая женщина взывала к памяти живого человека, чтобы не быть ей только источенным червями телом в безвестной могиле, в безымянной деревне.

— Вам будет трудновато одурачить нас,— оскалился в своей вечной улыбке полковник Сагаль.— Мы тут же вышлем два отряда проверить — так ли вы говорите или нет. И если нас атакуют с другой стороны, вам

придется отправиться прямиком на тот свет, да при этом понять, что вы выиграли несколько часов жизни, но ценой своей чести.

Сагаль вытянул ноги в носках и пошевелил пальцами — от мизинца к большому, еще раз и еще. Сапоги, уставшие, без шпор, стояли на столе.

— А яки?

— О нем разговора не было. Да, ночь что-то затянулась. Зачем тешить бедняг мечтой о новом солнце? Капрал Паян! Давайте отправим тех пленных в лучший мир. Возьмите их из камеры и отведите туда, в патио.

— Яки не может идти,— заметил капрал.

— Дайте ему марихуаны *,— осклабился Сагаль.— Да притащите на носилках, а там прислоните как-нибудь к стенке.

Что видели Тобиас и Гонсало Берналь? То же самое, что и капитан, хотя Он стоял рядом с Сагалем над ними, на плоской крыше муниципалитета. Там, внизу, пронесли яки на носилках, прошел, опустив голову, Берналь — обоих поставили у стены между двух керосиновых ламп.

В эту ночь запаздывала утренняя заря. Не вырвала из тьмы силуэты гор и красноватая вспышка громкого ружейного залпа — Берналь едва успел дотронуться рукой до плеча яки, Тобиас так и остался полулежать на прислоненных к стене носилках. Лампы освещали его искаженное лицо, разбитое пулями, и ноги убитого Гонсало Берналя, по которым текли струйки крови.

— Вот вам ваши покойнички,— сказал Сагаль.

Его слова покрыл другой залп, далекий и дробный, к которому тотчас присоединился хриплый орудийный выстрел, угол муниципалитета рухнул. Панические крики вильистов донеслись до плоской белой кровли, где дико взревел Сагаль:

— Уже пришли?! Догнали нас?! Карранклаиы?!

И в этот же миг пленник сбил полковника с ног и схватил — чудом ожившей, обретшей силу рукой — его кобуру. Пальцы ощутили сухой холод оружия. Он приставил револьвер к спине Сагаля, а здоровой рукой стиснул шею полковника и прижал его голову к крыше — от напряжения побелели скулы, на губах показалась пена. Взглянув за карниз, Он увидел, что внизу, в просторном патио, где свершилась казнь, царит паника. Солдаты карательного взвода бежали, опрокинув керосиновые лампы, топча тела Тобиаса и Берналя. По всей деревне Пералес слышались разрывы снарядов и выстрелы вперемежку с воплями, треском пылавших построек, цокотом копыт и конским ржанием. Но вот вильисты снова показались в патио, застегивая рубахи, подпоясывая брюки. В свете факелов бронзой отсвечивали лица, пуговицы, пряжки. Руки хватали ружья и патронташи. Быстро распахнулись двери конюшни; солдаты вывели ржущих коней, оседлали их и выскочили в открытые ворота. Несколько отставших всадников бросились вслед за отрядом, и патио опустел. Только трупы — Берналя и яки. И две разбитые керосиновые лампы. Вопли удалялись в сторону атаковавшего неприятеля. Пленный отпустил Сагаля. Полковник поднялся на колени, откашлялся, потер посиневшую шею. И прохрипел с трудом:

— Не сдаваться! Я здесь!

Утро приподняло, наконец, свое голубое веко над равниной.

Шум сражения удалялся. По улицам скакали вильисты на защиту деревни. Их белые рубахи окрашивались в синее. Из патио не доносилось ни звука. Сагаль встал на ноги и начал расстегивать свой сероватый китель, чтобы обнажить грудь. Капитан шагнул к нему с револьвером в руке.

---

* Наркотик, добываемый из растения того же названия.

— Мои условия остаются в силе,— бесстрастно сказал Он полковнику.

— Пойдемте вниз,— сказал Сагаль, опуская руки.

В комнате Сагаль вынул кольт из ящика стола.

И они, оба вооруженные, пошли через холодный коридор в патио. Определили середину четырехугольного двора. Полковник пнул ногой голову Берналя, отшвырнул в сторону керосиновые лампы.

Они разошлись по своим углам. Затем начали сближаться.

Сагаль выстрелил первым — пуля еще раз пробила голову яки Тобиаса,— выстрелил и замедлил шаги; его черные глаза осветились надеждой: капитан наступал, не стреляя. Этот поединок — просто акт чести. Секунда, две, три... Надежда перерастала в уверенность, что противник оценит его мужество, что оба встретятся на середине патио без второго выстрела.

Оба остановились посреди патио.

Улыбка снова раздвинула губы полковника. Капитан перешагнул невидимую линию. Сагаль, сверкая зубами, дружески махнул рукой, но в это мгновение два выстрела — один за другим, в упор, в живот — переломили его пополам, бросили наземь, головой к ногам Круса. Тот уронил револьвер на потный затылок полковника и продолжал стоять, неподвижно, тихо.

Ветер с равнины шевелил жесткие завитки волос на лбу, рваные полы пропотевшего кителя, обрывки завязок на кожаных гетрах. Пятидневная бородка вилась по щекам, зеленые глаза в запыленных ресницах блестели сухими слезами.

Он стоит, одинокий герой, на поле боя среди мертвецов. Стоит, окруженный безмолвием, а где-то, за деревней, кипит сражение под дробный бой барабанов.

Он взглянул перед собой. Мертвая рука полковника Сагаля тянулась к мертвой голове Гонсало. Яки сидел у стены, вдавливая спиной брезент носилок.

Он нагнулся и закрыл полковнику глаза. Затем быстро выпрямился и полной грудью вдохнул воздух, охваченный желанием кого-нибудь увидеть, поблагодарить, позвать на крестины своей жизни и своей свободы. Но Он был один. Ни друзей. Ни свидетелей. Глухое рычание слилось с далеким разрывом шрапнели.

«Я свободен, я свободен».

Он прижал кулаки к желудку, и лицо его исказилось от боли. Поднял глаза вверх и наконец увидел то, что видят пленные перед казнью на рассвете: длинную цепь гор, белесое небо, кирпичные стены патио. Услышал то, что слышат пленные перед казнью на рассвете: чириканье каких-то птиц, крики голодного ребенка, стук молотка неведомого деревенского труженика, странно звучащий на фоне монотонного, бессмысленного погрохатывания пушек и ружейной пальбы где-то сзади. Безымянный труд, заглушающий выстрелы, внушающий уверенность в то, что и после битв, смертей и побед солнце снова будет светить, всегда...

■

Я не в силах желать. Пусть делают, что хотят. Трогаю свой живот. Веду пальцем от пупа вниз. Округлый. Рыхлый. Черт его знает. Доктор ушел. Сказал, пойдет за другими врачами. Не хочет один отвечать за меня. Черт его знает. А вот и они. Вошли. Открылась и захлопнулась дверь красного дерева, шаги глохнут в топком ковре Закрыли окна. Шелестя, сдвинулись серые портьеры. Они тут.

— Пойди ближе, детка... Чтобы он тебя узнал... Скажи свое имя.

Хорошо пахнет. От нее хорошо пахнет. Да, я еще могу разглядеть пылающие щеки, яркие глаза, юную гибкую фигурку, мелкими шажками идущую к моей постели.

— Я... Я — Глория...

Пытаюсь повторить ее имя. Знаю, что моих слов не разобрать. Хоть за это спасибо Тересе — дала мне побыть рядом с молодостью, рядом со своей дочкой. Если бы только поближе увидеть ее лицо. Увидеть ее улыбку. Она, наверное, чувствует запах мертвеющей плоти, рвоты и крови; наверное, видит эту впалую грудь, серую бороду, восковые уши, нескончаемую струйку из носа, пузырьки слюны на губах и подбородке, блуждающие глаза, которым надо смотреть прямо...

Ее уводят.

— Бедняжка... Она разволновалась...

— А?

— Нет, ничего, папа; лежи спокойно.

Говорят, она невеста сына Падильи. Как он должен ее целовать, шептать всякие глупости. Да. Все чепуха. Входят и уходят. Трогают меня за плечо, кивают головами, бормочут ободряющие слова. Да, они не знают, что я их слышу, вопреки всему. Я слышу самые тихие разговоры, болтовню в дальних углах комнаты, слова у своего изголовья.

— Как вы его находите, сеньор Падилья?

— Плохо, очень плохо.

— Целая империя остается.

— Да.

— А вы — столько лет управляете всеми его делами!

— Трудно будет заменить его.

— Я думаю, после дона Артемио никто, кроме вас, не справится.

— Да, я в курсе всего...

— А кто в таком случае займет ваше место?

— Знающих людей много.

— Следовательно, предвидятся повышения?

— Конечно. Уже намечено новое распределение постов.

А, Падилья, подойди. Принес магнитофон?

— Вы берете на себя ответственность?

— Дон Артемио... Вот, я принес...

«— Да, патрон.

— Держитесь наготове. Правительство железной рукой наведет порядок, а вы будьте готовы возглавить руководство профсоюза.

— Хорошо, патрон.

— Хочу предупредить вас — кое-кто из старых пройдох тоже на это метит. Но я намекнул властям, что именно вы пользуетесь нашим доверием. Угощайтесь.

— Спасибо, я уже ел. Недавно ел.

— Смотрите, чтобы вас самого не съели. Сворачивайте, пока не поздно, на другую дорожку — к министерству труда, к КТМ*, к нам...

— Понятно, патрон. Можете на меня рассчитывать.

— Всего лучшего, Кампанела. Темните, но осторожно. Глядите в оба. Ну, Падилья...»

Вот и кончилось. Да. Это и все. Все. Кто его знает. Не помню. Я уже давно не слушаю магнитофон. Но делаю вид, что слушаю. Кто тут меня трогает? Кто тут возле меня? Не нужно, Каталина. Повторяю про себя: не нужно, напрасная нежность. Спрашиваю себя: что ты мне можешь сказать? Думаешь, нашла наконец слова, которые всегда страшилась произнести? Ты меня любила? Вот оно что. Почему же об этом не

* КТМ — Конфедерация трудящихся Мексики, основная профсоюзная организация, находящаяся под контролем правящих кругов мексиканской буржуазии.

говорилось? Я любил тебя. Уже не помню. Твоя ласка заставляет меня взглянуть на тебя, но я не знаю, не могу понять, зачем тебе надо теперь, тут, делить со мной воспоминание о сыне и почему на этот раз нет упрека в твоих глазах. Гордость или спесь. Это нас спасло. Это нас погубило.

— ...за ничтожное жалованье, а он позорит нас своей связью с этой женщиной, тычет нам в нос нашим комфортом, дает нам то, что захочет, словно мы нищие...

Они ничего не понимают. Я делал так не им во зло. Они для меня — нуль. Я делал так для себя. Меня не интересует их болтовня. Меня не интересует жизнь Тересы и Херардо. Черт с ними.

— Почему ты не требуешь, чтобы он дал тебе хорошее место, Херардо? На тебе лежит такая же ответственность, как и на нем...

Наплевать на них.

— Успокойся, Тересита, и пойми меня, я ни на что не претендую.

— Хоть бы капля характера, даже этого нет...

— Тише, не тревожьте его.

— Тоже защитница! Тебя-то он больше всех заставил страдать...

Я выжил, Рехина. Как тебя звали? Нет. Ты — Рехина. Как звали тебя, безымянный солдат? Гонсало. Гонсало Берналь. Индеец-яки. Бедняга яки. Я выжил. Вы умерли.

— ...И меня тоже. Я ему никогда не забуду — даже на свадьбу, на свадьбу своей дочери...

Никогда они ничего не понимали. Они мне не были нужны. Я пробивался один. Солдат. Яки. Рехина. Гонсало.

— Даже то, что любил, он уничтожил, мама, ты же знаешь.

— Молчи. Ради бога молчи...

Завещание? Не беспокойтесь. Существует письменный документ, с печатью, заверенный нотариусом. Я никого не забыл. Зачем мне забывать их, ненавидеть? Разве они не отблагодарят меня, сами того не ведая? И разве сами не получат удовольствия при мысли, что до последнего вздоха я думал о них, хотя бы для того, чтоб пошутить над ними? Нет, я вспоминаю о вас с безразличием трезвого закона, дорогая моя Каталина, любимая дочь, внучка, зять. Я наделяю вас удивительным богатством, а вы публично будете оправдывать его, восхвалять мой труд, мое упорство, мое чувство ответственности, мои личные достоинства. Так и сделайте. И спите спокойно. Забудьте, что богатство я накопил, невольно рискуя собственной шкурой в борьбе, в суть которой не хотел вникать, потому что меня не устраивало понимать ее, потому что понимать ее и разбираться в ней мог только тот, кто ничего не ждал взамен принесенной жертвы. Ведь это самопожертвование — верно? — дать все в обмен на ничего. А как называется — дать все в обмен на все? Но они не предложили мне всего. А она предложила мне все. Я не взял. Не умел взять. Как это называется?..

«— O. K. The picture's clear enough. Say, the old boy at the Embassy wants to make a speech comparing this Cuban mess with the old-time Mexican revolution. Why don't you prepare the climate with an editorial?...*

— Хорошо. Можно. Тысяч за двадцать.

— Seems fair enough. Any ideas?**

— Да. Скажите ему, чтобы он провел резкую грань между анархическим и кровавым движением, которое хоронит частную собственность вместе с правами человека, и революцией — упорядоченной, мирной и легальной, то есть революцией мексиканской, которую направляли

---

* О'кей. Картина в общем ясна. Видите ли, наш старина посол хочет толкнуть речь, сравнив кубинскую заваруху с прошлым мексиканской революции. Что, если бы вам подготовить почву хорошей передовой?.. *(Англ.)*.

** Ну что ж, подходяще. Есть какие-нибудь мысли? *(Англ.)*

средние слои и вдохновляли идеи Джефферсона. В конечном итоге, у народа короткая память. Скажите ему, чтобы нас похвалил.

— Fine. So long, Mr. Cruz, it's always... *»

Ох, как долбят мою усталую голову слова, определения, намеки. Какая тоска, какая тарабарщина. Нет, они не поймут моего жеста, я еле могу шевельнуть пальцем: хоть бы уж выключили. Надоело мне. Не нужно и нудно, нудно...

— Именем отца, сына...

— Тем утром я ждал его с радостью. Мы переправились через реку на лошадях.

— Почему ты отнял его у меня?

Я завещаю вам никому не нужные смерти, мертвые имена, имена Рехины, яки... Тобиаса... Вспомнил, его звали Тобиас... Гонсало Берналя, безымянного солдата. А как же та, другая?

— Откройте окна.

— Нет. Можешь простудиться, и будет хуже.

Лаура. Почему? Почему все так произошло? Почему?

■

ТЫ многих переживешь. Будешь лежать в постели и знать, что выжил, вопреки течению времени, которое каждый миг укорачивает нить твоей судьбы. А линия жизни — где-то между параличом и вакханалией. Сплошной риск. Ты станешь думать, что лучший способ выжить — не двигаться. Ты сочтешь неподвижность лучшей защитой от опасностей, от случайностей, от сомнений. Но твое спокойствие не остановит время, бегущее помимо твоей воли, хотя Ты сам его придумал и ведешь ему счет. Не остановится время, отрицающее твою неподвижность, грозящее тебе своим собственным истечением.

Человек-фантазер, Ты станешь измерять ход своей жизни временем, временем, которое Ты выдумаешь, чтобы жить дольше, чтобы создать иллюзию более длительного пребывания на земле. Время будет порождено твоим разумом, который сможет постигнуть чередование света и тьмы в квадранте сна; сможет зафиксировать очередность бегущих образов: огромных черных туч — предвестников грома, сверкающей молнии, грохочущего ливня, недвижной радуги; сможет распознавать звуки времени: вопли годов войны, стоны месяцев траура, крики дней праздника, весенние призывы лесных зверей. Разум сможет, наконец, наградить время способностью говорить, вещать, приказывать — несуществующее время вселенной, которая не знает времени, потому что оно никогда не начиналось и никогда не кончится, не имеет ни конца, ни начала — изобретенная тобой мера бесконечности, ухищрение здравого смысла. Ты придумаешь и станешь отсчитывать несуществующее время.

Ты многое узнаешь, изведаешь, оценишь, подсчитаешь, представишь себе, предусмотришь и в конце концов вообразишь, что не существует никакой другой действительности, кроме той, которая создана тобою; Ты научишься управлять своей силой, чтобы подавлять силу врагов; Ты научишься высекать искры из камней, потому что тебе надо будет кидать горящие головни ко входу своей пещеры и отгонять хищников, которые не станут разбираться, кто Ты таков и чем твое мясо отличается от мяса других животных; Ты должен будешь построить тысячи крепостей, издать тысячи законов, написать тысячи книг, поклоняться тысячам богов, нарисовать тысячи картин, создать тысячи механизмов, покорить тысячи народов, расщепить тысячи атомов, чтобы снова и снова кидать горящие головни ко входу пещеры.

* Отлично. Пока, мистер Крус, всегда рад... *(Англ.)*.

И Ты сделаешь все это, ибо Ты мыслишь, ибо нервный импульс посылает ток крови в твой мозг, в эту плотную сеть с несметным числом ячеек, способную воспринимать информацию и посылать ее обратно. Ты выживешь не из-за своей силы, а по неведомой прихоти природы: в условиях страшного холода выживут только те организмы, которые смогут сохранять постоянную температуру тела независимо от влияния среды; те, у кого разовьется мозг и кто сумеет оберегать себя от опасности, находить пищу, соразмерять свои движения и плавать в океане, ограниченном берегами и кишащем всякого рода живыми существами. Много их, не выживших и погибших, останется на дне морском — твои собратья, миллионы твоих собратьев так и не вынырнут на поверхность со своими пятью звездчатыми щупальцами, со своими пятью пальцами, хватающимися за берег, за твердую землю, за острова утренней зари. Ты выживешь — амеба, рептилия, птица. Ты будешь карабкаться по деревьям, сохраняя постоянную температуру тела, и будешь развиваться дальше — со своими дифференцированными мозговыми клетками, со своими непроизвольными жизненными функциями, со своими изначальными элементами: водородом, сахаром, кальцием, водой, кислородом. Ты научишься мыслить свободно и независимо от неуемных желаний и жизненных потребностей. Ты претерпишь процесс дальнейшей эволюции и станешь — со всеми своими десятью миллиардами мозговых клеток, с целой электрической батареей в голове, чуткой и переменчивой,— что-то искать, удовлетворять свое любопытство, ставить перед собой задачи, разрешать их с наименьшей затратой сил, избегать трудностей, предугадывать, изучать, забывать, вспоминать, сопоставлять идеи, признавать определенные формы, определять то, что остается за пределами необходимости, пресекать свои сексуальные желания и влечения, искать благоприятные для себя условия, предъявлять к реальности минимальные требования, втайне желая для себя максимальных благ и стараясь избежать при этом досадной трепки нервов:

Ты приучишь себя приноравливаться к общепринятым канонам жизни;

Ты будешь желать, чтобы желаемое и желанное стали для тебя одним и тем же; мечтать о немедленном достижении цели, о полном совпадении желаемого и желанного;

Ты призна́ешь самого себя;

Ты признаешь других и захочешь, чтобы они признавали тебя; постигнешь, что каждый человек — твой потенциальный недруг, ибо каждый — препятствие на пути твоих желаний;

Ты будешь выбирать, чтобы выжить, Ты будешь выбирать и выберешь среди бесконечных зеркал одно-единственное, одно зеркало, которое раз и навсегда отобразит тебя и накинет черную тень на другие зеркала, и Ты отбросишь, даже не взглянув, эти другие бесконечные пути, открытые перед тобой;

Ты решишь и выберешь один путь, жертвуя остальными; Ты пожертвуешь собой при выборе и больше никогда не сможешь стать ни одним из тех, кем бы Ты мог быть; захочешь, чтобы другие люди — другой человек — прожили за тебя другую жизнь, не ту, что Ты искалечил, выбрав: выбрав или допустив, чтобы не твое желание, означающее твою свободу, повело тебя, а твой расчет, твой страх, твоя ложная гордость;

Ты испугаешься любви в тот день;

Но Ты сможешь возместить утрату: будешь лежать с закрытыми глазами и не перестанешь видеть, не перестанешь желать, потому что только так желанное станет твоим.

Воспоминание — это исполненное желание...

...теперь, когда твоя жизнь и твоя судьба — одно и то же.

■

(12 августа 1934 г.)

ОН взял спичку, чиркнул ею о шершавую поверхность коробка, посмотрел на пламя и поднес его к кончику сигареты. Закрыл глаза. Затянулся дымом. Откинулся на спинку бархатного кресла, вытянув ноги; взъерошил свободной рукой бархат и вдохнул аромат хризантем, стоявших на столе в хрустальной вазе за его спиной. Прислушался к неторопливой мелодии, лившейся из патефона,— тоже за спиной.

— Я уже почти готова.

Он нащупал свободной рукою открытый альбом с пластинками, лежавший на маленьком ореховом столике, справа от него. Взглянул на картонный переплет, прочитал надпись «Deutsche Grammophon-Gesellschaft» * и снова прислушался: торжественно зазвучала виолончель — все отчетливее, все мощнее; голос ее почти заглушил аккомпанемент скрипок, которые совсем стушевались. Он перестал слушать. Поправил галстук и несколько секунд поглаживал шероховатый шелк, чуть скрипевший под пальцами.

— Тебе приготовить что-нибудь?

Он подошел к низкому столику на колесах, где стояло множество бутылок и бокалов, взял бутылку шотландского виски и бокал из толстого богемского стекла, налил четверть бокала виски, бросил кусочек льда и добавил воды.

— То же, что себе.

Он повторил ту же операцию и, взяв в руки два бокала, чокнул один о другой, взболтал содержимое и подошел к двери спальни.

— Одну минуту.

— Ты поставила это для меня?

— Да. Ты помнишь?

— Да.

— Прости, что я так долго.

Он опять сел в кресло. Снова взял альбом и положил себе на колени. «Werke von Georg Friedrich Händel» **. Тогда они слушали концерт Генделя в сильно натопленном зале. Случайно их места оказались рядом, и она услышала, как Он жаловался — по-испански — своему приятелю на то, что в зале слишком жарко. Он попросил у нее — по-английски — программку, а она улыбнулась и ответила по-испански: «С удовольствием». Оба улыбнулись. «Concerti Grossi, opus 6».

Они условились встретиться в следующем месяце — когда оба опять вернутся в этот город — в кафе на Рю Комартэн, возле бульвара Капуцинов. Он затем посетил это кафе через несколько лет, но уже без нее и без всякой уверенности, что это именно оно. А ему так хотелось снова выпить того же самого ликера, снова увидеть то кафе — в красно-коричневых тонах, с римскими креслами и длинной стойкой из красноватого дерева; не совсем открытое, но просторное, без дверей. Они выпили мятного ликера с водой. Он заказал еще. Она сказала, что сентябрь — лучший месяц, особенно конец сентября и начало октября. Бабье лето. Возвращение из отпуска. Он расплатился. Она взяла его под руку, смеясь, часто дыша. Они прошли через дворики Пале Ройяля, бродили по галереям, наступая на первые мертвые листья, вспугивая голубей. А потом зашли в ресторан с маленькими столиками, бархатными креслицами и зеркальными разрисованными стенами — древняя роспись, старинная глазурь с золотом, синью и сепией...

— Я готова.

---

* «Немецкая граммофонная компания» *(нем.)*.

** «Сочинения Георга Фридриха Генделя» *(нем.)*.

Он посмотрел через плечо — она выходила из спальни, прикрепляя серьги к мочкам ушей, поправляя рукой гладкие волосы темно-медового цвета. Он протянул ей приготовленный виски, она сделала маленький глоток, поморщилась и села в красное кресло, закинув ногу на ногу и подняв бокал до уровня глаз. Он сделал то же самое и улыбнулся ей; она смахнула пылинку с отворота своего черного платья. Клавесин, сопровождаемый скрипками, вел основной мотив в музыкальном «спуске»: Он воспринимал это именно как спуск с высоты, а не как движение вперед — легкий, неуловимый спуск, который, закончившись на земле, превращался в ликование контрапунктов вместе с басистым и визгливым пением скрипок. Клавесин как бы служил лишь крыльями, чтобы спуститься на землю. Теперь, на земле, музыка танцевала. Они смотрели друг на друга.

— Лаура...

Она погрозила пальцем, и оба продолжали слушать: она — сидя с бокалом в руках, Он — стоя, вращая вокруг оси астрономический глобус. Иногда Он придерживал глобус, чтобы рассмотреть фигуры, нарисованные серебряным пунктиром над условными изображениями созвездий: Тельца, Девы, Льва, Рыб, Весов и Козерога...

Игла закружилась по онемевшему диску; Он подошел к граммофону, остановил пластинку.

— У тебя хорошая квартира.

— Да. Очень мила. Только не удалось разместить все вещи.

— Хорошая квартира.

— Пришлось снять помещение для лишней мебели.

— Если бы ты хотела, ты могла бы...

— Спасибо,— сказала она смеясь.— Если бы я только этого хотела — жить в большом доме,— я бы из него не уехала.

— Хочешь еще послушать музыку или пойдем?

— Нет. Сначала допьем.

Они как-то остановились у одной картины; она сказала, что картина ей очень нравится и что она часто приходит посмотреть на нее, потому что эти замершие поезда, этот голубой дым, эти огромные сине-охровые дома в глубине, эта ужасная — из железа и матовых стекол — крыша вокзала Сен-Лазэр, эти неясные, едва намеченные фигуры, написанные Моне, ей очень нравятся в этом городе, отдельные детали которого, пожалуй, не очень красивы, но в целом—неотразимы. Он заметил, что это— мысль, а она засмеялась, ласково погладила его по руке и сказала, что Он прав, что ей просто все нравится, все тут нравится, все радует. А несколько лет спустя Он снова увидел ту же самую картину, выставленную в салоне Жё-де-Пом, и гид-специалист сказал ему, что стоит обратить на нее внимание: за тридцать лет картина стала в четыре раза дороже и оценена теперь в несколько тысяч долларов; стоит обратить внимание...

Он подошел, стал позади Лауры, погладил спинку кресла и положил руки ей на плечи. Она склонила голову набок и потерлась щекой о его пальцы. Усмехнулась, чуть подалась вперед и пригубила виски. Закрыв глаза, откинула голову назад, на мгновение задержала виски между языком и небом и проглотила.

— Мы могли бы снова съездить туда в будущем году. Не правда ли?

— Да, могли бы.

— Я часто вспоминаю, как мы бродили по улицам.

— Я тоже.

— Ты никогда не был в Вилледже, а я тебя туда привела.

— Да, могли бы снова съездить.

— Есть что-то свое, живое в этом городе. Помнишь? Ты не мог отличить запах реки от запаха моря, когда они доносились вместе. Ты их не различал. Мы шли к Гудзону и закрывали глаза, чтобы что-то уловить.

Он взял руку Лауры, стал целовать пальцы. Зазвонил телефон. Он шагнул к трубке, поднял ее и услышал голос, повторявший: *«Алло... Алло... Лаура?»*

Он прикрыл трубку рукой и передал Лауре. Она поставила стакан на столик и подошла к телефону.

— Да?

— *Лаура, это я, Каталина.*

— Да. Как поживаешь?

— *Я тебе не помешала?*

— Я собиралась уйти.

— *Ничего, я не отниму у тебя много времени.*

— Слушаю.

— *Я тебя не задерживаю?*

— Нет, нет, пожалуйста.

— *Кажется, я натворила глупостей. Я должна была позвонить тебе.*

— Да?

— *Да, да. Я должна была купить у тебя софу. Я поняла это только сейчас, когда надо обставлять новый дом. Помнишь, софу с вышивкой? Знаешь, она очень подошла бы к моей гостиной — я купила гобелены, чтобы украсить гостиную, и думаю, что туда может подойти только твоя софа с ручной вышивкой...*

— Не знаю. Кажется, слишком много вышивки.

— *Нет, нет, нет. Мои гобелены темного цвета, а твоя софа — светлого. Чудесный контраст.*

— Но, видишь ли, эту софу я поставила здесь, в квартире.

— *Ах, не будь такой... У тебя и так слишком много мебели. Ты сама мне сказала, что поставила больше половины в сарай. Ты ведь говорила мне, правда?*

— Да, но я так обставила будуар, что...

— *Ну, все-таки подумай. Когда придешь посмотреть наш дом?*

— Когда хочешь.

— *Нет, нет, более определенно. Назови день — выпьем вместе чая и поболтаем.*

— В пятницу?

— *Нет, в пятницу я не могу, лучше в четверг.*

— Значит, в четверг.

— *Но я тебе говорю, что без твоей софы пропадет вся гостиная. Лучше вообще не иметь никакой гостиной — знаешь? — совсем пропадет. Квартиру-то легче обставить. Увидишь.*

— Значит, в четверг.

— *Да, я видела на улице твоего мужа. Он очень любезно со мной поздоровался. Лаура, грех, просто грех, что вы собираетесь разводиться. По-моему, он необычайно красив. И, видно, тебя любит. Как же так, Лаура, как же так?*

— Это уже позади.

— *Значит, в четверг. Мы будем одни, наговоримся вдоволь.*

— Да, Каталина. До четверга.

— *Будь здорова.*

Он как-то пригласил ее потанцевать, и они направились через все уставленные пальмами салоны отеля Пласа в зал. Он обнял ее, а она сжала большие мужские пальцы и, ощутив тепло его ладони, склонила голову к плечу партнера. Потом чуть отстранилась и глядела на него, не отрываясь,— так же, как и Он на нее: прямо в глаза, друг другу пря-

мо в глаза, она — в зеленые, Он — в ее серые. Глядели и глядели, одни в танцевальном зале, наедине с оркестром, игравшим медленный блюз, глядели, обнявшись за талию, сплетя пальцы, медленно кружась,— только чуть волнилась ее юбка, тонкая, тонкая юбка...

Она положила трубку, посмотрела на него, секунду помедлила. Потом подошла к вышитой софе, провела рукой по изголовью и снова посмотрела на него.

— Будь добр, зажги свет. Там, около тебя. Спасибо.

— Она ничего не знает.

Лаура отошла от софы и снова посмотрела на него.

— Нет, так слишком ярко. Я еще не нашла правильного освещения. Одно дело освещать большой дом, а другое...

Она вдруг почувствовала усталость, села на софу, взяла с соседнего столика маленькую книжку в кожаном переплете и стала ее перелистывать. Откинув в сторону копну медовых волос, закрывших половину лица, приблизила страницу к свету лампы и начала тихо читать вслух, высоко подняв брови и скорбно шевеля губами. Прочитала, закрыла книгу и сказала:

— Кальдерон де ла Барка,— повторила на память, глядя на него: — Или уже никогда не наступит день счастья? Боже, скажи, для чего сотворил ты цветы, если нельзя насладиться их сладостным запахом, их ароматом...

Она вытянулась на софе, закрыв руками глаза, машинально повторяя упавшим голосом, не вникая в слова:

— Если нельзя их услышать?.. Если нельзя их увидеть?..— и почувствовала на своей шее его руку, трогавшую жемчуга, живые и теплые.

— Я тебя не принуждал...

— Нет, ты тут ни при чем. Все началось гораздо раньше.

— Почему же так вышло?

— Может быть, потому, что я слишком высокого мнения о себе... Мне кажется, я имею право на иное отношение... на то, чтобы считаться не предметом, а человеком...

— А со мной как?..

— Не знаю. Мне тридцать пять лет. Трудно начинать заново, если не на кого опереться... Мы в тот вечер говорили об этом. Помнишь?

— В Нью-Йорке.

— Да. Мы говорили о том, что должны узнать друг друга... что опаснее закрывать двери, чем открывать их... Разве ты еще не узнал меня?

— Ты никогда ничего не говоришь. Никогда ни о чем не просишь.

— А я должна была, да? Почему же?

— Не знаю.

— Не знаешь. И будешь знать, только если я тебе растолкую...

— Возможно.

— Я люблю тебя. Ты сказал, что любишь меня. Нет, ты не хочешь понять... Дай сигарету.

Он достал из кармана пиджака портсигар. Вынул спичку, зажег. Лаура взяла сигарету и, ощутив на губах бумагу, смочила ее, сняла двумя пальцами приставший к губе бумажный кусочек, скрутила катышком, тихонько отбросила и выжидающе помолчала. Он смотрел на нее.

— Теперь я, наверное, возобновлю свои занятия. Еще в юности я хотела стать художницей. Потом все забросила.

— Мы никуда не пойдем?

Она сняла туфли, положила голову на подушку. Кверху полетели мягкие колечки дыма.

— Нет, уже никуда не пойдем.

— Хочешь еще виски?

— Да, налей.

Он взял со стола пустой бокал, посмотрел на красное пятно губной помады, послушал, как звенит кубик льда, ударяясь о хрустальные стенки бокала, подошел к низкому столику, снова налил виски, взял еще один кубик льда серебряными щипцами...

— Пожалуйста, без воды.

Она как-то спросила его, неужели ему не интересно, куда, на кого или на что смотрит эта стоящая на качелях девушка в белом платье — в белом с тенями,— украшенном голубыми лентами. Она сказала, что всегда что-то остается за рамкой, потому что мир, изображенный на картине, продолжается дальше, простирается вокруг и полон других красок, других людей, других стремлений, благодаря которым картина создавалась и существует. Они вышли на улицу, всю в сентябрьском солнце. Бродили, смеясь, под арками улицы Риволи, и она сказала, что ему надо побывать на Вогезской площади — это, пожалуй, самое красивое место. Они остановили такси. Он развернул на коленях карту метро, а она, держа его под руку, чувствуя на своей щеке его дыхание, водила пальцем по красной линии, по зеленой. И говорила, что ее приводят в восторг эти имена, которые все время повторяла: Ришар Ленуар, Ледрю-Роллэн, Фий дю Кальвэр...

Он передал ей стакан и снова принялся вращать астрономический глобус, читать названия знаков: Лев, Водолей, Рыбы, Весы, Скорпион, Телец. Он крутил шар, скользя пальцем по поверхности, касаясь холодных далеких звезд.

— Что ты делаешь?

— Смотрю на мир.

— А...

Он встал на колени и поцеловал ее распущенные волосы; она кивнула головой, улыбнулась.

— Твоя жена хочет эту софу.

— Я слышал.

— Как ты посоветуешь? Быть великодушной?

— Как хочешь.

— Или эгоистичной? Забыть, что она мне звонила? Я предпочитаю быть эгоистичной. Великодушие иногда похоже на грязное оскорбление, к тому же бессмысленное, не правда ли?

— Я тебя не понимаю.

— Поставь еще пластинку.

— Какую теперь хочешь?

— Ту же самую. Поставь ту же самую, пожалуйста.

Он посмотрел номера на обеих сторонах пластинок. Поставил их по порядку, нажал кнопку, и первая пластинка, глухо стукнувшись, упала на замшевую поверхность диска. Он почувствовал смешанный запах воска, разогретого механизма и полированного дерева и снова стал слушать — взлет клавесина, мягкое скольжение к радости, отрешение от клавесина, отрешение от неба, чтобы вместе со скрипками коснуться твердой земли, опоры, спины гиганта.

— Так достаточно громко? — спросил он.

— Немного громче. Артемио...

— Да?

— Я больше не могу, мой любимый. Ты должен сделать выбор.

— Потерпи, Лаура. Подумай...

— О чем?

— Не надо принуждать меня.

— Принуждать? Ты меня боишься?

— А так разве нам плохо? Чего-нибудь не хватает?

— Кто знает. Может быть, всего хватает.

— Я тебя плохо слышу.
— Нет, не приглушай. Музыка не мешает. Я начинаю уставать.
— Я тебя не обманывал. Не вынуждал.
— Я тебя не переделала, отнюдь нет. Ты не хочешь.
— А я люблю тебя такой, какая ты была и есть.
— Как в первый день?
— Да, так.
— Но сейчас не первый день. Теперь ты узнал меня. Скажи.
— Пойми же, Лаура, пожалуйста. Об этом трудно говорить. Надо уметь сохранять...
— Видимость? Или ты боишься? Ведь ничего не случится. Будь уверен, что ничего не случится.
— Мы собирались идти.
— Нет, не стоит. Уже не стоит. Сделай громче.

Ликующие скрипки зазвенели стеклом: радость и отрешение. Веселость искусственной улыбки, блеск ясных глаз. Он взял со стула шляпу. Пошел к выходу. Остановился, коснувшись двери. Оглянулся. Лаура, сжавшись в комок и обхватив подушки, сидела спиной к нему. Он вышел. Осторожно прикрыл за собою дверь.

■

Я вновь просыпаюсь, но на этот раз с криком: кто-то воткнул мне в желудок холодный и длинный клинок. Не я, а кто-то другой — сам я не могу покушаться на собственную жизнь. Кто-то другой воткнул стальной клинок в мое нутро. Я протягиваю руки, стараюсь привстать, но чужие пальцы и руки удерживают меня; чьи-то голоса успокаивают, говорят, что я должен лежать неподвижно, и чей-то палец поспешно набирает номер телефона, срывается с диска, снова набирает и опять срывается; наконец, правильно — вызывают доктора: скорее... скорее... потому что я хочу подняться, чтобы заглушить боль, но они меня не пускают. Кто это «они»? Кто? А спазмы усиливаются, как кольца змеи, сжимают меня — выше и выше, грудь, горло. Язык, рот заливает горькая несваренная масса — какая-то давняя, уже позабытая мною пища, которую я сейчас срыгиваю, лежа лицом вниз, напрасно ища глазами какой-нибудь фарфоровый сосуд. Но здесь только ковер, забрызганный густой и зловонной жижей из моего желудка. Рвота не прекращается, горечь обжигает грудь, страшно щекочет горло, я захлебываюсь, как от смеха, а рвота не прекращается — на ковер льется густой кровавый поток. Мне не надо себя видеть, чтобы ощущать бледность лица, синеватость губ, ускоренное биение сердца, исчезающий пульс. Мне вонзили кинжал в пуп, через который в меня когда-то вливалась жизнь. Когда-то. Я не могу поверить тому, о чем говорят мои пальцы, ощупывающие прищлепнутый к моему телу живот, потому что это не мой живот: огромный, распухший, вздутый от газов, которые в нем бурлят, от которых я никак не могу избавиться — они распирают меня, а я не могу от них избавиться и чувствую вонь во рту. Вот, наконец, я смог лечь удобнее. Рядом со мной поспешно чистят ковер, я улавливаю запах мыльной воды и мокрой тряпки, перебивающий запах рвоты. Но мне хочется встать: если я пройду по комнате, боль исчезнет, я знаю, что исчезнет.
— Откройте окна.
— Ты же знаешь, мама, он уничтожил даже то, что любил.
— Молчи, ради бога, молчи.
— Разве не он убил Лоренсо, а?
— Замолчи, Тереса! Я запрещаю тебе говорить, ты меня мучишь.

Лоренсо? Все равно. Мне все равно. Пусть говорят, что хотят. Я уже давно знаю, о чем они шепчутся, не смея сказать вслух. Теперь пусть

говорят. Пусть. Я противился. Они не поняли. Они, как болваны, глядят на меня, а священник смазывает мне маслами веки, уши, губы, руки, ноги, в паху. Включи магнитофон, Падилья.

— Мы переправились через реку...

И тут она хватает меня, она, Тереса, и на этот раз я вижу страх в ее глазах, ужас в перекосе ненакрашенных губ, а в руках Каталины ощущаю давящую тяжесть невысказанных слов, которые я не даю ей произнести. Им удается уложить меня. Я не могу, я больше не могу, боль сгибает меня пополам, я дотрагиваюсь пальцами руки до ног, чтоб убедиться, что ноги целы, не исчезли, но они уже мертвые, холодные, а-а-а-а-а!.. Уже мертвые. Только сейчас я отдаю себе отчет в том, что всегда, всю жизнь мой кишечник был в каком-то движении, все время в движении — это я заметил только сейчас, когда вдруг оно прекратилось. Сейчас я его не чувствую, не чувствую глубинного движения внутри себя и смотрю на свои ногти, когда протягиваю руки, чтоб дотронуться до холодных омертвевших ног, смотрю на незнакомо синие, потемневшие, как перед смертью, ногти... О-хо-хо... Нет, это пройдет, я не хочу этой синей кожи, кожи цвета мертвой крови, нет, нет, не хочу. Синим должно быть другое: синее небо, синие воспоминания, синие кони, переходящие вброд через реки, синие лоснящиеся кони и зеленое море, синие цветы, синий — я, нет, нет, нет... О-хо-хо-хо. И я снова падаю на спину, потому что не знаю, куда направиться, как двигаться, не знаю, куда деть руки и омертвелые ноги, не знаю, на что мне смотреть. Я уже не хочу вставать, потому что не знаю, куда идти. Чувствую только боль возле пупа, боль в животе, боль под ребрами, боль в прямой кишке... И слышу рыдания Тересы, чувствую руку Каталины на своей спине.

Не знаю, не понимаю, почему, сидя возле меня, ты наконец-то разделяешь со мной это воспоминание и сейчас в твоих глазах нет упрека. Эх, если бы ты понимала. Если б мы понимали друг друга. Наверное, перед зрачками есть какая-то преграда, и только теперь мы разрушим ее, что-то увидим. Каждый человек может дать столько, сколько сам получит от чьей-то ласки, взгляда. Ты дотрагиваешься до меня, до моей руки, и я чувствую твою руку, не ощущая своей. Твоя рука трогает меня. Каталина гладит мою руку. Возможно, это любовь? — спрашиваю я себя. И не понимаю. Может быть, это любовь? Мы уж так привыкли. Если я предлагал любовь, она отвечала упреком; если она предлагала любовь, я отвечал высокомерием. Может, это — две стороны одного чувства, может быть. Она прикасается ко мне. Хочет вспоминать вместе со мной только об этом, хочет понять.

— Почему?

— Мы переправились через реку верхом...

Я выжил. Рехина. Как тебя звали? Нет. Ты—Рехина. Как звали тебя, тебя, безымянный солдат? Я выжил. Вы умерли. Я выжил.

— Подойди, детка... Пусть он тебя узнает... Скажи ему свое имя...

Но я чувствую руку Каталины на своей спине и слышу рыдания Тересы, скрип чьих-то быстрых шагов. Кто-то щупает мне желудок, пульс, насильно открывает веки и смотрит в глаза, зажигая какую-то лампу — свет то вспыхивает, то потухает, вспыхивает и потухает. Кто-то снова щупает мой желудок, сует палец в задний проход, вставляет в рот теплый, пахнущий спиртом термометр. Остальные голоса затихают, а вновь пришедший что-то говорит, издалека, словно из глубины туннеля.

— Невозможно определить. Может быть, ущемленная грыжа. Может быть, перитонит. А может быть, и почечные колики. Я склоняюсь к тому, что это почечные колики. В таком случае следовало бы ввести ему два кубика морфина. Но это небезопасно. Я считаю, что нужно посоветоваться еще с одним врачом.

Ох, какая самопожирающая боль; ох, боль режущая до тех пор, пока ее уже не замечаешь, пока она не становится привычной. Ох, боль, я бы уже сдох без тебя, я уже привыкаю к тебе, ах ты, боль, ах ты...

— Скажите что-нибудь, дон Артемио, поговорите, пожалуйста. Поговорите.

— ...я ее не помню, я ее уже не помню, да, но как я мог ее забыть...

— Смотрите, когда он говорит, пульс совсем замирает.

— Доктор, сделайте ему укол, чтобы он больше не страдал...

— Еще один врач должен посмотреть. Это опасно.

— ...как я мог забыть...

— Отдохните, пожалуйста. Не говорите ничего. Вот так. Когда он мочился в последний раз?

— Сегодня утром... Нет, часа два тому назад, непроизвольно.

— Вы ее не сохранили?

— Нет... нет.

— Поставьте ему утку. Сохраните, нужно сделать анализ.

— ...Но ведь меня там не было. Как я могу все это вспомнить?..

Приступ. Приступ может свалить любого старика моего возраста, но приступ — это еще не тот свет. Пройдет, должно пройти, но времени мало. Почему мне не дают вспоминать?.. Да, о том, когда тело было молодым; когда-то оно было молодым, было молодым... Тело гибнет от боли, а мозг наполняется светом: они разделяются, я знаю, они разделяются. Потому что теперь я вспоминаю его лицо.

— Вам надо исповедаться.

У меня есть сын, я его произвел, и теперь я вижу это лицо, но как его удержать, как сделать, чтобы оно не ушло, как удержать, ради бога, как его удержать...

■

ТЫ вызовешь видение из глубин своей памяти: приникнешь головой к самому уху лошади, словно желая пришпорить ее словами. Ты почувствуешь — и твой сын должен чувствовать то же самое — жар яростного храпа, мокрые бока и напряженные, как струна, нервы; ветер, бьющий в глаза. Сквозь стук копыт прорвутся голоса, он крикнет: «Ты никогда не мог управиться с кобылой, папа!» — «А кто учил тебя ездить верхом?» — «Все равно тебе не управиться с кобылой!» — «Посмотрим!»

«Ты должен мне все рассказывать, Лоренсо, как раньше, совсем, совсем как раньше... Ты ничего не должен утаивать, если говоришь со своей матерью, нет, нет, пусть тебя никогда не смущает мое присутствие; я твой лучший друг, может быть, единственный...» Она будет повторять это тем утром, тем весенним утром, лежа в кровати, будет повторять все то, что с детских лет вдалбливала сыну, отняв его у тебя, не спуская с него глаз ни днем, ни ночью, отказавшись от няньки и заперев дочь с шести лет в монастырский пансион, чтобы посвятить свое время только Лоренсо, приучить его к роскошной, бездумной жизни.

От быстрой скачки у тебя на глазах выступят слезы. Ты сожмешь ногами бока лошади, припадешь к гриве, но его черная кобыла все равно опередит твою на три корпуса. Ты выпрямишься, устав, и выровняешь галоп. Тебе будет гораздо приятнее смотреть, как бесшумно удаляется молодой всадник на кобыле — цокот ее копыт тонет в крике попугаев и блеянии овец. Тебе придется прищуриться, чтобы не потерять из виду Лоренсо, который теперь свернет с тропки и поскачет в чащу леса, наперерез течению реки.

Нет, надо уберечь его от сложных задач, от мучительной необходимости принимать решения, скажет себе Каталина, думая о том, что Ты вначале сам невольно помог ей своим невмешательством. Ты ведь при-

надлежал к другому миру, миру труда и силы, с чем она впервые столкнулась, когда Ты завладел землями дона Гамалиэля, позволив ребенку остаться в мире полутемных спален, во власти почти неощутимых ограничений и нежных наставлений, в тепличной обстановке, которую она создала своим молитвенным шепотом и ханжеским смирением.

Кобыла Лоренсо свернет с тропинки и поскачет в чащу леса, наперерез течению реки. Поднятая рука юноши укажет на восток, где показалось солнце, на лагуну, отделенную от моря песчаной отмелью. Ты закроешь глаза, снова почувствовав, как горячий пар конского дыхания овевает лицо, а прохладная тень ложится на голову. Ты опустишь поводья и будешь тихо покачиваться во влажном от пота седле. Под твоими сомкнутыми веками свет и тень сольются в радужное пятно, из которого вырастет синий силуэт молодой и сильной фигуры. В то утро Ты проснешься, как всегда, с чувством радостного ожидания. «Я всегда подставляла вторую щеку,— будет повторять, обняв ребенка, Каталина.— Всегда, всегда я все терпела только ради тебя», а Ты будешь любить эти удивленные детские глаза, которые вопросительно взглянут на мать. «Когда-нибудь я тебе расскажу...» Нет, Ты не совершишь ошибки, отправив Лоренсо в Кокуйю с двенадцати лет; нет, не совершишь. Только для него Ты купишь землю, перестроишь асьенду и оставишь его там. Юный хозяин, для которого главное — заботы об урожае, верховая езда и охота, плавание и рыбная ловля. Ты увидишь его издали верхом на лошади и скажешь: это живой образ твоей молодости. Стройный, сильный, смуглый юноша с зелеными глазами над широкими скулами. Ты вдохнешь гнилостный запах речного ила. «Когда-нибудь я тебе расскажу... Твой отец, твой отец, Лоренсо...» Вы вместе спешитесь среди колышащихся трав морского берега. Лошади, почувствовав свободу, опустят головы, лизнут воду, лизнут друг друга мокрыми языками. А потом неторопливо потрусят куда-то, раздвигая высокие травы, потряхивая гривами и раскидывая хлопья морской пены, золотясь в блеске солнца и воды. Лоренсо положит руку тебе на плечо. «Твой отец, твой отец, Лоренсо... Лоренсо, ты действительно любишь нашего господа бога? Ты веришь тому, чему я тебя учила? Ты знаешь, что церковь — это воплощение господне на земле, а священники — посланцы божии? Ты веришь?» Лоренсо положит руку тебе на плечо. Вы посмотрите друг другу в глаза и улыбнетесь. Ты обнимешь Лоренсо за шею, сын легонько толкнет тебя в бок; Ты, смеясь, взъерошишь ему волосы; вы схватитесь, шутливо, но яростно и самозабвенно; покатитесь по траве, задыхаясь и смеясь... «Боже мой! Почему я спрашиваю об этом у тебя? Ведь я не имею права, не имею никакого права... Я не знаю, святые угодники... святые мученики... Ты думаешь, что можно простить?.. Не знаю, зачем я тебя спрашиваю...» Вернутся лошади, усталые, как и вы сами, и вы поведете их, взяв под уздцы, по песчаной косе, уходящей в море, в открытое море, Лоренсо, Артемио, в открытое море, куда ринется смелый Лоренсо — прямо на волны, пляшущие вокруг него, в зеленое тропическое море, которое не оставит на нем сухой нитки. Вот оно — море, оберегаемое низко парящими чайками, лениво лижущее берег; море, которое Ты зачерпнешь в ладони и поднесешь к губам; море, имеющее вкус горького пива, пахнущее дыней, гуанабаной, гуайябой, айвой и земляникой. Рыбаки потащат свои тяжелые сети по песку, вы подойдете к ним, станете вместе с ними вскрывать раковинки устриц и лакомиться крабами и креветками. А Каталина, одна, будет стараться сомкнуть глаза и заснуть, будет ждать возвращения мальчика, которого она не видит уже два года — с тех пор, как ему исполнилось пятнадцать. А Лоренсо, взломав множество маленьких розовых панцирей креветок и поблагодарив рыбаков за ломтики лимона, спросит тебя, не знаешь ли Ты, какова земля там, за морем; ведь земля, наверное, всюду одинакова и только

море — разное. Ты ему расскажешь про острова. Лоренсо скажет, что на море бывает очень много удивительного и, если мы живем возле него, мы сами должны стать сильнее, лучше. А Ты, лежа на песке и слушая бренчание рыбаков на самодельной гитаре, очень захочешь объяснить ему, что прожитые годы слишком изломали тебя, чтобы начинать все сначала или, напротив, чтобы мешать чему-то совсем новому и молодому. Под дымчатым солнцем рассвета, под расплавленным солнцем полудня, на черных тропах, рядом с этим, таким спокойным морем, гладким и зеленым, перед тобой маячил хотя и нереальный, но зримый призрак... Нет, не истина потерянных возможностей тебя так встревожит и заставит вернуться в Кокуйю, держа Лоренсо за руку, а нечто более тяжелое — скажешь Ты себе, закрыв глаза, ощущая вкус креветок во рту и еще слыша звуки веракрусской гитары, терявшиеся в величии вечера. Нечто более тяжелое: желание высказать свои мысли, свои молчаливые думы. Но хотя тебе захочется многое рассказать сыну, Ты не решишься: он должен все понять сам. И Ты услышишь, как он поймет: он встанет на колени лицом к морю, протянет растопыренные пальцы рук к сумрачному, внезапно потемневшему небу и скажет: «Через десять дней отплывает судно, я уже купил билет». Только небо да руки Лоренсо, подставленные под первые капли дождя, словно просящие милостыню: «Разве ты, папа, не сделал бы то же самое? Ты ведь не остался дома. Верю ли я в бога? Не знаю. Ты привез меня сюда и научил всему этому. Я как будто снова переживаю твою жизнь, ты меня понимаешь?» — «Да».— «Существует фронт. Сейчас, наверное, это единственный фронт. Я поеду туда... в Испанию...»

Ох, какая боль, ох... Как захочется подняться, убежать, забыть боль в движении, в работе, в криках, в распоряжениях. Но тебя не пустят, схватят за руки, заставят лежать спокойно, заставят продолжать воспоминания, а Ты не захочешь, ох, не захочешь. Ты ведь вспоминал только свои дни и не хочешь думать об одном дне, который более принадлежит тебе, чем какой-либо другой, потому что это единственный день, когда кто-то будет жить для тебя, единственный, который Ты вспомнишь во имя кого-то, короткий день и страшный, день белых тополей, Артемио,— день твоего сына, и твой день, и твоя жизнь... ох...

■

(3 февраля 1939 г.)

ОН стоял на плоской крыше, держа в руках винтовку, и вспоминал, как с отцом ездил охотиться к лагуне. А эта вот винтовка ржавая и для охоты не годится. С крыши был виден фасад монастыря. Сохранились лишь стены — как пустая скорлупа: ни полов, ни потолков. Нутро разворотили бомбы. В развалинах кое-где торчали обломки старинной мебели.

По улице шли гуськом две одетые в черное женщины с узлами в руках и мужчина в белоснежном воротничке. Шли они, крадучись, переглядываясь, прижимаясь к стене. Сразу видно — не наши.

— Эй вы! На другой тротуар!

Он окликнул их с крыши. Мужчина поднял голову и зажмурился: ослепило солнце, вспыхнувшее в стеклах очков. Он махнул прохожим рукой, веля пересечь улицу — фасад мог рухнуть в любую минуту. Те перешли на противоположную сторону. Издали было слышно, как била фашистская артиллерия — глухие взрывы в черных ущельях чередовались со свистом рассекавших воздух снарядов. Он сел на мешок с песком. Рядом был Мигель, не отрывавшийся от пулемета. С крыши виднелись пустынные улицы городка, изрытые воронками, заваленные упав-

шими телеграфными столбами с обрывками проводов; доносилось несмолкаемое эхо орудийной стрельбы и одиночных — трах-тах! — ружейных выстрелов. Поблескивали сухие холодные плиты мостовой. Только фасад древнего храма стоял во весь рост на этой улице.

— У нас осталась одна пулеметная лента,— сказал Он Мигелю, и Мигель ответил: — Подождем до вечера. А тогда...

Они прислонились к стене и закурили. Мигель закутался шарфом по самую рыжую бороду. Там, вдали — заснеженные горы. Хотя светило солнце, снега навалило много. Утром сьерра видна отчетливо и словно приближается. А к вечеру — опять отступает и уже не различить тропы и сосны на ее склонах. С наступлением темноты горы превратятся в далекую лиловую кайму.

Был полдень; Мигель взглянул на солнце, сощурился и сказал:

— Если бы не пушки и не ружейная трескотня, можно подумать, что сейчас мирное время. Хороши зимние деньки. Посмотри-ка, сколько снега.

Он поглядел на глубокие белые морщинки, сбегавшие с век Мигеля на небритые щеки. Эти морщинки — как снежные тропки на загорелом лице друга. Он их никогда не забудет, потому что научился читать в них радость, отвагу, ярость, успокоение. Иногда приходили победы, хотя потом враг снова наступал. Иногда бывали сплошные поражения. Но перед победой или поражением на лице Мигеля всегда отражались чувства, позже овладевавшие и другими. Он многое видел на лице Мигеля. Но слез не пришлось увидеть.

Он притушил каблуком окурок — с пола веером взметнулись искры — и спросил у Мигеля, почему они терпят поражение, а тот указал на пограничные горы и сказал:

— Потому что наши пулеметы там не прошли.

Мигель тоже потушил папиросу и стал тихо напевать:

Четыре генерала, четыре генерала,
Эх, мама, моя мама,
Тут подняли мятеж...

А Он, откинувшись на мешки с песком, подхватил:

К сочельнику повесят, к сочельнику повесят,
Да, мама, моя мама,
На дереве их всех...

Они долго пели, чтобы убить время. Часто бывало как сейчас — они стояли на часах, а ничего не случалось, и тогда они пели. Они заранее не договаривались, что будут петь. И не стеснялись петь громко. Совсем так, как там, на берегу моря около Кокуйи, где они смеялись без причины, шутливо боролись и тоже пели вместе с рыбаками. Только сейчас они пели, чтобы подбодрить себя, хотя слова песни звучали как насмешка, потому что четыре генерала не были повешены, а сами окружили республиканцев в этом городке, прижатом к пограничной сьерре, и идти было некуда.

Солнце пряталось теперь рано, часа в четыре. Он нежно погладил свое огромное старое ружье с прикладом ярко-желтого цвета и надел шапку. Повязался шарфом, как Мигель. Вот уже несколько дней, как ему хотелось предложить другу свои сапоги — они потрепаны, но еще держатся. А вот Мигель ходит в совсем ветхих альпаргатах, обмотанных тряпками и обвязанных бечевкой. Он хотел ему сказать, что сапоги можно носить по очереди: «Один день ты, а другой — я». Но не решался. Морщинки на лице Мигеля говорили ему, что не надо этого делать. Сейчас они подули на руки, ибо хорошо понимали, что́ значит провести зимнюю ночь на крыше В этот момент в глубине улицы, точно выскочив из какой-то воронки, показался бегущий солдат, наш, республиканец. Он

махал руками, а потом вдруг упал ничком. Вслед за ним, громыхая сапогами по разбитому тротуару, бежало еще несколько солдат-республиканцев. Гул орудий, казавшийся таким далеким, вдруг сразу приблизился. Один из солдат крикнул им:

— Оружие! Дайте оружие!

— Не отставай! — заорал человек, бежавший впереди наших солдат.— В укрытие! Убьют!

Солдаты пробежали внизу мимо них, а они навели пулемет на улицу, чтобы прикрыть отступление товарищей.

— Наверное, где-то близко,— сказал Он Мигелю.

— Цельсь, мексиканец, цельсь лучше! — крикнул Мигель и сжал в ладонях последнюю пулеметную ленту.

Но их опередил другой пулемет. В двух или трех кварталах от них еще одно замаскированное пулеметное гнездо — фашистское — дожидалось нашего отступления, и теперь пули осыпали улицу, убивая наших солдат. Командир бросился наземь, гаркнув:

— На брюхо! Никак не научишь!

Он развернул пулемет и повел огонь по вражьему гнезду, а солнце тем временем уползло за горы. Пулеметные очереди отдавались в руках, сотрясали тело. Мигель пробормотал:

— Одной смелостью не возьмешь. У этих рыжих бандитов амуниция получше.

Эти слова адресовались небу: над их головами загудели моторы.

— Опять «капрони» налетели.

Они сражались бок о бок, но в темноте уже не видели друг друга. Мигель протянул руку и тронул его за плечо. Второй раз за день итальянские самолеты бомбили городок.

— Пошли, Лоренсо. «Капрони» опять тут.

— Куда идти-то? А как же пулемет?

— Черт с ним. Все равно стрелять нечем.

Вражеский пулемет тоже смолк. Внизу, по улице, шло несколько женщин. Их можно было опознать, потому что, вопреки всему, они громко пели:

С Листером и Карлосом,
С Галаном и Модесто,
Боец, забудь о страхе...

Странно звучали эти голоса в грохоте взрывов — громче бомб, потому что бомбы падали с интервалами, а пение не прерывалось. «И знаешь, папа, это были не очень воинственные голоса, это были голоса влюбленных девушек. Они пели воинам Республики, как своим любимым. А мы с Мигелем еще наверху, у пулемета, случайно коснулись друг друга руками и подумали об одном и том же — что девушки пели нам, Мигелю и Лоренсо, и что они нас любят...»

Потом рухнул фасад храма, и они оба прильнули к крыше, засыпанные пылью, и ему вспомнился Мадрид, впервые увиденный; вспомнились кафе, переполненные людьми, где до двух, до трех часов ночи говорили только о войне, говорили весело, с уверенностью в победе. Он подумал о том, что Мадрид все еще держится, а женщины мастерят там себе бигуди из пустых патронов... Они поползли к лестнице. Мигель еле двигался. А Он с трудом волочил свое огромное ружье—бросать нельзя, потому что на каждые пять бойцов приходится по одной винтовке.

Они спускались вниз по винтовой лестнице.

«Казалось, тут, в доме, плачет ребенок. Трудно сказать, может, это был не плач, а завывание сирены, воздушная тревога».

Но ему виделся покинутый ребенок. Они спускались ощупью, в полной темноте. Когда вышли на улицу, им почудилось, что там день.

Мигель сказал: «No pasarán!» * И женщины ответили ему: «No pasarán!» Тьма, наверное, сбила юношей с пути, потому что одна из женщин, догнав их, сказала:

— Туда нельзя, идемте с нами.

Когда глаза привыкли к ночному сумраку, они увидели, что лежат ничком на тротуаре. Взрыв отгородил их от вражеских пулеметов. Улица была завалена. Он вдохнул пыль и запах пота лежавших рядом женщин. Повернул голову, чтобы увидеть их лица, но увидел только берет и вязаную шапочку. Наконец, девушка, упавшая неподалеку, подняла лицо, тряхнула каштановыми волосами, запорошенными известковой пылью, и сказала:

— Я — Долорес.

— Я — Лоренсо, а это Мигель.

— Я — Мигель.

— Мы отстали от части.

— А мы были в четвертом корпусе.

— Как нам выбраться отсюда?

— Надо сделать крюк и перейти через мост.

— Вы знаете эти места?

— Мигель знает.

— Да, я знаю.

— А ты откуда?

— Я — мексиканец.

— Ну, тогда мы запросто поймем друг друга.

Самолеты улетели, и все встали. Девушки — в берете и вязаной шапочке — назвали свои имена: Нури и Мария, а они повторили свои. Долорес была в брюках и куртке, а обе ее подруги — в пальто, с мешками за спиной. Они пошли гуськом по пустынной улице вдоль стен высоких домов, под балконами, под темными окнами, раскрытыми, как в летний день. Они слышали непрерывную пальбу, но не знали, в какой стороне стреляют. Иногда под ногами хрустели битые стекла; по временам Мигель, шедший впереди, предупреждал их, чтобы не запутались в проводах. У перекрестка на них залаяла собака, и Мигель швырнул в нее камнем. На одном из балконов сидел в качалке старик, который не обернул к ним свою обмотанную желтым шарфом голову, и они так и не поняли, что он там делает: ждет ли кого или встречает восход солнца. Старик даже не взглянул на них.

Он глубоко вздохнул. Городок остался позади; они вышли на поле, окаймленное голыми тополями. Этой осенью никто не собирал опавшие листья, прелые, шуршавшие под ногами. Он посмотрел на альпаргаты Мигеля, обмотанные мокрыми тряпками, и опять хотел было предложить ему свои сапоги. Но друг так уверенно ступал по земле своими крепкими стройными ногами, что Он понял — незачем предлагать то, что не требуется. Вон там, вдали, темнели горные склоны. Может быть, тогда сапоги Мигелю понадобятся. А сейчас — нет. Сейчас перед ними был мост, под которым бежала бурливая глубокая река, и все остановились, глядя на нее.

— Я думал, она замерзла.— Он с досады махнул рукой.

— Реки Испании никогда не замерзают,— тихо проговорил Мигель,— они всегда шумят.

— Ну и что? — спросила у Лоренсо Долорес.

— А то, что тогда можно было бы не идти по мосту.

— Почему? — спросила Мария, и все три — с широко раскрытыми глазами — стали похожи на девочек.

Мигель сказал:

---

* Не пройдут *(исп.)*

— Потому что мосты обычно заминированы.

Они стояли, не шевелясь. Их околдовала быстрая белая река, шумевшая внизу. Они замерли. Наконец, Мигель поднял лицо, посмотрел на горы и сказал:

— Если мы перейдем мост, то сможем дойти до гор, а оттуда — до границы. Если не перейдем, нас расстреляют...

— Значит?..— сказала Мария, едва сдерживая рыдания. И в первый раз мужчины увидели ее остекленевшие, усталые глаза.

— Значит, мы проиграли! — вскричал Мигель, сжав кулаки и качнувшись к земле, словно искал винтовку в грудах черных листьев.— Значит, назад нам некуда! Значит, нет у нас ни авиации, ни артиллерии, ничего!

Он не шевелился. И все глядел на Мигеля, пока Долорес, пока горячая рука Долорес, пять пальцев, согревшихся под мышкой, не коснулись пяти пальцев юноши, и Он понял. Она посмотрела ему в глаза, и Он — тоже впервые — заглянул в ее глаза. Она прищурилась и увидела зеленые зрачки, зеленые, как море у наших берегов. А Он увидел разметавшиеся волосы, покрасневшие от холода щеки и пухлые пересохшие губы. Трое остальных не смотрели друг на друга.

Взявшись за руки, они — Он и она — пошли к мосту. Он на мгновение заколебался, она — нет. Их согревали десять переплетенных пальцев — первое тепло, которое Он ощутил за все эти месяцы.

«...Первое тепло, которое я ощутил за все эти месяцы медленного отступления к Каталонии и Пиренеям...»

Они слышали шум реки под собой и скрип деревянных досок моста. Мигель и девушки кричали им что-то с берега, но голоса тонули в реке. Мост становился длиннее и длиннее, словно вел не через бурливую речку, а через океан.

«Сердце мое колотилось. Это, наверное, отдавалось в моей руке, потому что Лола * подняла ее к своей груди и я почувствовал удары ее сердца...»

Тогда они пошли бок о бок без страха, и мост сразу стал короче.

На другом берегу реки перед ними предстало то, что до сих пор им не было видно. Огромный голый вяз, белый и прекрасный. Не снег его покрывал, а сверкавший иней, сверкавший, как бриллианты. Он чувствовал тяжесть ружья на плече, тяжесть в ногах, свинцовую тяжесть, которая припаивала ноги к мосту. И каким легким, искристым и белым показался ему этот ожидавший их вяз. Он сжал руку Долорес. Их слепил ледяной ветер. Он закрыл глаза.

«Я закрыл глаза, папа, и тут же открыл, страшась, что дерева уже нет...»

Вот ноги ступили наконец на землю. Оба остановились на секунду и, не оглядываясь, вместе устремились к вязу, не слыша криков Мигеля и девушек, не видя, как те перебегали мост. Они обняли белый, покрытый инеем голый ствол. Они трясли его, а ледяные жемчужины падали им на головы. Их руки, обнимавшие дерево, встретились, и они отпрянули от ствола, чтобы броситься в объятия друг другу. Он нежно гладил лоб Долорес, а она ласкала его затылок. Она откинула голову, чтобы Он увидел ее влажные глаза и приоткрытые губы; уткнулась лицом в грудь юноши, снова подняла глаза и отдала ему свои губы прежде, чем их окружили спутники, которые не стали обнимать дерева, как это сделали они...

«...какая она теплая, Лола, какая теплая и как я ее уже люблю».

Они сделали привал на склоне хребта, у самой кромки снежного

---

* Уменьшительное от Долорес.

покрывала. Парни принесли хворост и разожгли костер. Он сел рядом с Лолой и снова взял ее за руку. Мария вынула из рюкзака разбитую миску, наполнила снегом и поставила на огонь; затем достала кусок козьего сыра. Нури, смеясь, вытащила из-за пазухи смятые пакетики чая «Липтон», и всем тоже стало смешно при виде физиономии английского капитана, глядевшего с этикетки.

Нури рассказала, что до падения Барселоны американцы прислали туда табак, чай и сгущенное молоко.

Нури, веселая толстушка, до войны работала на текстильной фабрике. А Мария вспоминала те дни, когда она училась в Мадриде и жила в студенческом общежитии, рассказывала о том, как участвовала в демонстрациях против Примо де Риверы, как плакала на пьесах Гарсиа Лорки.

«Я тебе пишу, положив бумагу на колени, и слушаю их разговоры, и самому хочется рассказать им, как сильно я люблю Испанию. Первое, что приходит в голову,— мое знакомство с Толедо. Я представлял себе этот город таким, каким его изобразил Эль Греко,— под зеленовато-серыми тучами, среди молний, на берегах широкого Тахо; город, как бы воюющий сам с собой. А я увидел город, залитый солнцем, город солнца и тишины и разбитую бомбами крепость. Ведь картина Греко — я постараюсь объяснить им свою мысль — это вся Испания. И если Тахо в Толедо вовсе не такой широкий, то «тахо» * на теле Испании проходит от моря до моря. Я сам это видел, папа. И хочу сказать им об этом...»

Он сказал им об этом, а потом Мигель стал рассказывать о том, как его включили в бригаду полковника Асенсио и как трудно было научиться воевать. Все бойцы республиканской армии — смелый народ, но этого недостаточно, чтобы победить. Надо еще и уметь воевать. А новоиспеченные солдаты не сразу поняли, что существуют правила самообороны и что надо беречь себя, чтобы продолжать борьбу. Но, научившись защищаться, они еще не умели нападать. А когда они освоили и то и другое, еще оставалась нерешенной самая трудная задача: научиться побеждать в самой жестокой борьбе — в борьбе с самим собою, со своими привычками и удобствами. Мигель плохо отзывался об анархистах, которые, по его словам,— пораженцы, и ругал коммерсантов, обещавших Республике оружие, уже запроданное генералу Франко. Мигель сказал, что самое большое горе, горе всей его жизни в том, что ему никогда не понять, почему трудящиеся всего мира не поднялись с оружием в руках, чтобы защитить нас в Испании, потому что поражение Испании — это поражение всех наших, всех вместе. Сказав это, испанец разломил сигарету и отдал половину мексиканцу, и они оба закурили. Он — рядом с Долорес. Затянулся и отдал ей, чтобы она тоже покурила.

Вдали слышался грохот ожесточенной бомбардировки. На фоне темного неба вспыхивали зарницы, клубами вздымалась желтая пыль.

— Это Фигерас,— сказал Мигель.— Бомбят Фигерас.

Они смотрели в сторону Фигераса. Лола — рядом с ним. Она говорила не всем. Говорила только ему одному, очень тихо, пока они смотрели на пыль, на далекие взрывы бомб. Она сказала, что ей двадцать два года — на три года больше, чем ему,— а он прибавил себе пять лет, сказав, что ему исполнилось двадцать четыре. Она сообщила, что жила в Альбасете и пошла на войну за своим женихом. Они вместе учились — на химическом факультете,— и она пошла за ним, но его расстреляли марокканцы в Овиедо. Он ей рассказал, что приехал из Мексики, что жил там неподалеку от моря, где очень тепло и много фруктов. Она попросила его рассказать о тропических фруктах и очень смеялась над их

* Игра слов: Тахо — река, на которой стоит Толедо; tajo *(исп.)* — разрез, рана.

странными названиями, которых раньше никогда не слышала. По ее мнению, слово «мамэй» больше подходит для яда, а «гуанабана» — для птицы. Он сказал, что любит лошадей и что сначала был зачислен в кавалерию, а сейчас нет лошадей и вообще ничего нет. Она сказала, что никогда не ездила верхом, и Он старался объяснить ей, как это здорово — мчаться на коне рано утром по берегу моря, когда воздух пахнет йодом и солонит губы, когда северный ветер уже сдает, но дождик еще стегает голую грудь и смешивается с пеной, летящей из-под копыт. Ей понравилось. Она сказала, что, может быть, соль еще не смылась, и поцеловала его. Остальные заснули у костра. Пламя угасало. Он поднялся, чтобы раздуть огонь, ощущая на губах вкус Лолы. Увидев, что все трое уже спят, прижавшись друг к другу, чтобы согреться, Он вернулся к Лоле. Она распахнула куртку, стеганную овечьей шерстью, и Он соединил руки на спине девушки, на жесткой бумажной блузке, а она прикрыла его спину своей курткой. Сказала ему на ухо, что им надо назначить место для встречи, если они потеряют друг друга. Он сказал, что можно встретиться в известном кафе около Сибелес, «когда мы освободим Мадрид», а она ответила, что лучше увидеться в Мексике, и Он согласился: на портовой площади в Веракрусе, под аркадами в кафе Ла Паррокиа. Они будут пить кофе и есть крабов.

Она улыбнулась, Он — тоже и сказал, что ему хочется растрепать ее кудри и поцеловать, а она, придвинувшись, сняла с него фуражку и взлохматила волосы. Он, просунув руки под бумажную блузку, гладил ее спину, ласкал ничем не стесненные груди и уже больше ни о чем не думал, и она, наверное, тоже, потому что не было слов в ее бессвязном шепоте, в котором изливалась душа, слышалось и спасибо, и люблю тебя, и не забудь, и приди...

Они плетутся в гору, и впервые Мигель захромал, но не из-за трудного подъема. Холод впивается в ноги, зубастый холод, кусающий лица. Долорес держит под руку своего возлюбленного. Когда Он поглядывает на нее искоса, она мрачнеет, а когда повертывается лицом — расцветает в улыбке. Он думает только об одном — и все думают об этом,— чтобы не было бури. Только у него одного есть ружье, а в ружье — только две пули. Мигель сказал, что не надо бояться.

«Я и не боюсь. По ту сторону лежит граница, и сегодняшнюю ночь мы уже проведем во Франции, в кровати, под крышей. Хорошо поужинаем. Я помню о тебе и думаю, что тебе не было бы стыдно за меня, что ты сделал бы то же самое. Ты тоже воевал, и, наверное, тебя порадует известие, что кто-то продолжает борьбу. Я знаю, что порадует. Но сейчас эта борьба кончается. Когда мы перейдем границу, окончит существование последняя часть Интернациональных бригад и начнется что-то другое. Я никогда не забуду эту жизнь, папа, потому что она научила меня всему, что я знаю. А все — очень просто. Я расскажу тебе, когда вернусь. Сейчас трудно подыскать слова».

Он потрогал пальцем письмо, спрятанное в кармане рубахи. Трудно было рот открыть в таком холоде. Дышалось тяжело — сквозь стиснутые зубы вырывались струйки белого пара. Шли они медленно-медленно. Веренице беженцев не было видно конца. Впереди колонны тащились повозки с фуражом и пшеницей, которую крестьяне везли во Францию. Шли женщины, навьючив на себя матрацы и одеяла, а иные — даже картины и стулья, тазы и зеркала. Крестьяне говорили, что они будут сеять и во Франции. Подвигались вперед еле-еле. Шли дети. На руках матерей спали младенцы. Горная дорога была каменистая, неровная, обросшая по бокам колючим кустарником. Они шли, словно вспахивая гору ногами. Кулачок Долорес прижимался к его боку, и Он чувствовал, что должен уберечь ее, спасти. Сейчас Он любил ее больше, чем вчера. И знал, что завтра будет любить больше, чем сегодня. Она его

тоже любила. К чему говорить об этом? Им было хорошо вместе. Да, да. Нам было хорошо. Они умели смеяться вместе. Всегда находилось, что рассказать друг другу.

Долорес вдруг оторвалась от него и побежала к Марии. Девушка стояла около скалы, прижимая руку ко лбу. И сказала, что нет, ничего. Просто страшно устала. Им пришлось отойти в сторону, чтобы пропустить багровые лица, ледяные руки, тяжелые повозки. Мария сказала, что немного кружится голова. Лола взяла ее под руку, и обе пошли дальше. И вот тогда-то, тогда они и услышали над собою грохот мотора и застыли на месте. Но самолета не было видно. Все его искали, но молочный туман завесил небо. Мигель первый увидел черные крылья, фашистскую свастику и первый крикнул всем остальным: «Ложись! На землю!»

Все бросились на землю около скал, среди повозок. Все, кроме того ружья, в котором оставались две пули. И не стреляет проклятая дубина, проклятая ржавая метла, не стреляет, как Он ни рвет курок, стоя во весь рост. А грохот уже над их головами, уже проносится над ними быстрая тень, и пули осыпают дорогу, дробно щелкают по камням...

— Ложись, Лоренсо! Ложись, мексиканец!

Ложись, ложись на землю, Лоренсо; и крепкие сапоги — на твердую землю, Лоренсо; и твое ружье — на землю, мексиканец; и тошнота у самого горла, как если бы океан переполнил твое нутро; и уже на земле твое лицо с широко раскрытыми зелеными глазами, и ты — в полутьме между солнцем и ночью, а она кричит. И ты знаешь, что сапоги попадут наконец к бедняге Мигелю... Светлая борода, белые морщинки... Через минуту Долорес рухнет на тебя, Лоренсо, а Мигель, впервые заплакав, скажет ей, что это не поможет, что надо продолжать путь, что жизнь продолжится по ту сторону гор, жизнь и свобода — да, именно эти слова Он написал. Они взяли письмо, вынули из окровавленной рубахи; она сжала бумажку в ладонях: какая горячая! Если выпадет снег, он будет погребен. И ты снова поцеловала его, Долорес, припав к мертвому телу, а Он хотел увезти тебя к морю, умчать на коне — до того, как пролилась его кровь, и в глазах его застыло твое отражение, в глазах... в зеленых... не забывай...

■

Я сказал бы себе всю правду, если бы не кусал свои посеревшие губы, если бы не корчился от боли, не имея сил терпеть, если бы мог скинуть тяжесть одеяла, если бы не ерзал на животе, чтобы вырвать эту слизь, эту желчь; я сказал бы себе, что мало воскресить время и место его гибели — это еще не так важно. Я сказал бы себе, что нечто большее — одно желание, которое я никогда не высказывал,— побудило меня отнять его у матери, ох, не знаю, уже не могу себе ничего уяснить... да... и заставить его соединить концы той нити, которую я порвал, заставить заново начать мою жизнь, пройти до конца тот, другой, предначертанный мне путь, который сам я не смог избрать. А она, сидя у моего изголовья, все спрашивает меня и спрашивает:

— Почему так случилось? Скажи мне, почему? Я его воспитала для иного. Зачем ты его взял?

— Разве он не послал на смерть своего любимого сына? Разве не разлучил с тобою и со мною, чтобы испортить его? Разве не так?

— Тереса, твой отец тебя не слышит...

— Он притворяется. Закрывает глаза и притворяется.

— Замолчи.

Я ничего не знаю. Но их вижу. Вошли. Открылась и захлопнулась дверь красного дерева, шаги глохнут в топком ковре. Закрыли окна. Шелестя, сдвинулись серые портьеры. Они тут.

— Я... я — Глория...

Звонко и сладко хрустят новые банкноты и боны в руках такого человека, как я. Плавно трогается роскошный лимузин, сделанный по специальному заказу,— с кондиционированным воздухом, миниатюрным баром, телефоном, с подушками под спину и скамеечками для ног. Ну, ваше преподобие, каково? А там, наверху, тоже так?

— Я хочу вернуться туда — на землю...

— Почему так случилось, скажи мне, почему? Я его воспитала для другой жизни, зачем ты его увез?..

И она не понимает, что есть нечто более страшное, чем труп на дороге, чем могила из льда и солнца, чем навсегда раскрытые глаза, склеванные птицами. Каталина перестает протирать ваткой мои виски, отодвигается и, может быть, плачет. Я стараюсь поднять руку, чтобы достать до нее, но от усилия по руке к груди, по груди к животу пробегает острая боль. Есть нечто более страшное, чем труп на дороге, чем могила из льда и солнца, чем навсегда раскрытые глаза, склеванные птицами: невозможность унять боль во всем теле, нащупать пульс на руке, согреть свои ноги, сознание, что кровь заливает нутро, да, заливает, захлестывает. Я-то знаю, а они — нет, и я не могу убедить их в этом. Они не видят, как кровь течет у меня изо рта; они не верят и только твердят, что у меня уже нет температуры,— ох, какая там температура,— твердят «коллапс, коллапс», подозревают водянку, твердят одно и то же, когда удерживают меня и ощупывают. Они говорят о мраморном рисунке, я слышу,— о лиловом мраморном рисунке на животе, который я уже не чувствую, уже не вижу. Есть нечто похуже, чем труп на дороге, чем могила из льда и солнца, чем навсегда раскрытые глаза, склеванные птицами,— это когда не можешь его вспомнить и вспоминаешь только по фотографиям, по вещам, оставшимся в спальне, по заметкам на полях книг. Но разве это пахнет его потом? Разве напоминает цвет его кожи? Нет, не могу о нем думать, если не могу видеть и чувствовать его,

я ехал верхом в то утро...

это я помню: я получил письмо с заграничными марками...

но думать о нем...

Ох, я все представил себе, узнал имена его друзей, вспомнил песни, ох, спасибо, но знать — как я могу все знать? Я не знаю, не знаю, какова была эта война, с кем он говорил перед смертью, как звали тех мужчин и женщин, которые шли с ним до конца; не знаю, что он сказал, о чем подумал, как был одет, что ел в тот день,— не знаю. Я придумываю пейзажи, придумываю города, придумываю имена и уже не могу их запомнить: Мигель, Хосе, Федерико, Луис? Консуэло, Долорес, Мария, Эсперанса, Мерседес, Нури, Гвадалупе, Эстебан, Мануэль, Аурора? Гвадаррама, Пиренеи, Фигерас, Толедо, Теруэль, Эбро, Герника, Гвадалахара? Труп на дороге, раскрытые глаза, склеванные птицами...

Ох, спасибо, что ты показал мне, какой могла быть моя жизнь,

ох, спасибо, что ты пережил этот день за меня,

ибо есть нечто более страшное:

а? Что? Оно-то существует, и оно — мое. Это и значит быть богом, да? Быть тем, кого боятся и ненавидят? Это и значит быть богом, да? Скажите мне, ваше преподобие, как мне спасти все это, и я позволю проделать все ваши церемонии, буду бить себя в грудь, проползу на коленях до святых мест, выпью уксус и надену терновый венец. Скажите мне, как все это спасти, потому что во имя...

— ...сына и святого духа, аминь.

Есть более страшное...

— Нет, в этом случае прощупалась бы опухоль, да и, кроме того, было бы смещение или частичное омертвение какого-нибудь органа.

— Повторяю: такую боль может причинить только заворот кишок; отсюда — непроходимость...

— Тогда следовало бы оперировать...

— Может быть, началась гангрена; это тоже надо учитывать...

— Цианоз налицо...

— Гипотермия...

— Липотемия...

Замолчите... Замолчите!

— Откройте окна.

Я не могу пошевелиться, не знаю, куда смотреть, куда повернуться. Никакой температуры, только холод идет от ног; но не такой холод или жар, как у других, как в других. Я это впервые...

— Бедняжка... Она разволновалась...

... молчите... я знаю, какой у меня вид, не говорите ничего... знаю, что ногти почернели, кожа посинела... молчите...

— Аппендицит?

— Надо оперировать.

— Рискованно.

— Повторяю: почечные колики. Два кубика морфина, и он успокоится.

— Рискованно.

— Кровотечения нет...

Спасибо. Я мог умереть в Пералесе. Я мог умереть с тем солдатом. Я мог умереть в той синей комнате рядом с толстяком. Я выжил. А ты умер. Спасибо.

— Держите его. Судно.

— Видишь, чем кончает? Видишь? Тем же, чем и мой брат. Один конец.

— Держите его. Судно.

Держите его. Он уходит. Держите... Они кричат. Они обе кричат. Я их не слышу, но им надо кричать. Нет, ничего. Еще не случилось. Им надо кричать, чтобы этого не случилось. Меня держат, меня не пускают. Но нет. Уходит, уходит без ничего, голый. Без своего добра. Держите его. Уходит...

■

ТЫ будешь читать письмо, написанное в концентрационном лагере, письмо с заграничной маркой, подписанное: «Мигель». В него будет вложено другое, написанное наспех. Ты возьмешь это письмо, прочтешь: «Я не боюсь... Я помню о тебе... Тебе не было бы стыдно... Я никогда не забуду эту жизнь, папа, потому что она научила меня всему, что я знаю... Я расскажу тебе, когда вернусь. Лоренсо». Ты прочтешь и заново сделаешь выбор; Ты изберешь другую жизнь:

Ты предпочтешь оставить его с Каталиной, не увезешь в Кокуйю, не позволишь ему самому выбрать свой путь, не толкнешь его к ранней смерти, которая могла бы стать твоим уделом; не заставишь его сделать то, чего сам не сделал,— заплатить за твою пропащую жизнь; не позволишь, чтобы на скалистой тропе вместе с ним скончался бы и Ты, а она спасла бы свою душу.

Ты предпочтешь обнять того раненого солдата, случайно попавшего в лес, уложить его, промыть простреленную руку водой из ручейка, перевязать его, остаться с ним, вдохнуть в него жизнь и ждать, ждать, пока вас найдут, арестуют и расстреляют в какой-нибудь безымянной деревушке — как та, пыльная, сложенная из кирпича, крытая листьями:

казнят неизвестных, раздетых догола; похоронят в общей могиле, без всякого надгробия. Умрешь двадцати четырех лет — и более никаких раздумий, поисков, колебаний: умрешь, держа за руку безымянного солдата, спасенного тобою; умрешь.

Ты скажешь Лауре: да.

Ты скажешь толстому человеку в комнате с голыми синими стенами: нет.

Ты предпочтешь остаться в камере с Берналем и Тобиасом, разделить их судьбу; не пойдешь в залитое кровью патио, чтобы оправдать себя; не станешь думать, что смертью Сагаля Ты отомстишь за товарищей.

Ты не отправишься к старому Гамалиэлю в Пуэблу.

Ты не возьмешь Лилию, когда она вернется той ночью; Ты не будешь думать, что никогда уже не сможешь обладать другой женщиной.

Ты нарушишь молчание в тот вечер и заговоришь с Каталиной, испросишь у нее прощения, расскажешь ей о тех, кто умер за тебя, попросишь, чтобы она приняла тебя таким, каков Ты есть, со всем тем, что сделал; попросишь ее, чтобы она тебя не презирала и приняла таким, каков Ты есть.

Ты не оставишь учителя Себастьяна, будешь тем, кем был; не пойдешь в революцию, на север.

Ты будешь пеоном.

Ты будешь кузнецом.

Ты останешься внизу, со всеми теми, кто остался внизу.

Ты не будешь Артемио Крусом, семидесяти одного года от роду, семидесяти девяти килограммов весом, метра восьмидесяти двух сантиметров ростом; у тебя не будет вставных зубов, Ты не будешь курить черные сигареты и носить рубашки из итальянского шелка, не будешь коллекционировать запонки, выписывать галстуки из Нью-Йорка, шить эти синие костюмы с тремя пуговицами — предпочтительно из ирландского кашемира,— не будешь пить тонкие вина, не станешь ездить на таких машинах, как «вольво», «кадиллак» и «рамблер». Ты не будешь помнить и любить ту картину Ренуара, не будешь есть на завтрак яйца всмятку и тосты с вареньем «Blackwell», не будешь по утрам читать свою собственную газету и перелистывать «Life» и «Paris Match» по вечерам, не будешь терпеть возле себя это словоблудие, этот хор, эту ненависть, которая хочет раньше времени похоронить тебя и принуждает, принуждает думать о том, о чем Ты еще недавно мог говорить улыбаясь и что сейчас с ужасом гонишь прочь:

De profundis clamavi...
De profundis clamavi...

Молитвы и кремация, речи и погребение. Ты представишь себе — в тайниках своего сознания — эти ритуалы, эти церемонии, эти последние заботы: похороны, кремацию, бальзамирование. Тебя возложат на высокий постамент, чтобы не земля, а воздух разрушал твой прах; тебя заточат в гробницу рядом с твоими мертвыми рабами, тебя будут оплакивать наемные плакальщицы, с тобою похоронят твои самые дорогие вещи, твоих спутников, твои черные драгоценности: бессонные ночи.

Requiem aeternam, dona eis Domine
de profundis clamavi, Domine...

Об этом говорит голос Лауры... Она сидит на полу, обхватив колени и держа в руках маленькую переплетенную книжечку... Она говорит, что все может оказаться смертельным для нас, даже то, что дает нам жизнь... говорит, что, раз мы не можем излечивать смерть, нищету, неве-

жество, лучше не думать об этом для своего счастья... говорит, что страшна лишь внезапная смерть и поэтому в домах власть имущих живут исповедники... Она говорит: будь человеком, бойся смерти не в опасности, а вне опасности... говорит, что неизбежность смерти — это неизбежность свободы... говорит, что неслышно подкрадывается холодная смерть... говорит: не пощадят тебя часы, часы, которые съедают твои дни... говорит, давая понять мне, что мы — чужие друг другу... говорит: напрасно стучаться в твои двойные чугунные двери... говорит: не миновать мне ста смертей, потому что я жду чего-то всю жизнь... говорит, что человек хочет жить, а богу угодно, чтобы он умирал... говорит: зачем все эти сокровища, вассалы, слуги?..

Зачем? Чтобы над тобой пели и голосили, чтобы тебя оплакивали. И никому не достанутся эти роскошные скульптуры, великолепные инкрустации, золотые и гипсовые статуэтки, костяные и черепаховые шкатулки, узорные задвижки и ручки, сундуки с филенками и железными кольцами, скамьи из душистой древесины аякауите, старинные стулья, барочные лепные украшения, кресла с изогнутыми спинками, потолочные резные балки, многоцветные ростры, медные гвозди, выделанные шкуры, мебель на тонких гнутых ножках, тканные серебром гобелены, обитые шелком кресла, обтянутые бархатом оттоманки, огромные обеденные столы, кубки и амфоры, ломберные столики, кровати под балдахинами с тончайшим льняным бельем, гербы и виньетки, пушистые ковры, железные замки, старые потрескавшиеся картины, шелк и кашемир, шерсть и парча, хрусталь, канделябры, посуда ручной росписи, перекрытия красного дерева — нет, до этого они не дотронутся, это останется твоим.

Ты будешь любоваться своими сокровищами. Всегда. Но в один прекрасный день Ты увидишь их в совсем ином свете. Три или четыре года тому назад — уже трудно вспомнить когда. Однако Ты вспомнишь невольно об этом дне; может быть, не желая того. Да, Ты вспомнишь потому, что этот день сам придет тебе вдруг на память — особый день, торжественный день, отмеченный в календаре красной цифрой. Это будет такой день — Ты об этом подумаешь,— когда люди, имена, слова, дела ушедшего времени снова ворвутся в твою жизнь, взламывая земную кору. В тот вечер Ты будешь встречать Новый год. Ты с трудом ухватишься подагрическими пальцами за железные перила лестницы. Другую руку уронишь на дно кармана своего домашнего халата и, тяжело ступая, пойдешь вниз по лестнице, любуясь своими сокровищами:

■

(31 декабря 1955 г.)

ОН с трудом ухватился за железные перила лестницы. Другую руку уронил на дно кармана своего домашнего халата и, тяжело ступая, пошел вниз, поглядывая на ниши, в которых красовались мексиканские святые девы — Гвадалупе, Сапопан, Ремедиос. Лучи заходящего солнца, проникая сквозь витражи, золотым пламенем обдавали парчу, серебрили пышные юбки, напоминавшие паруса, зажигали мореное дерево толстых балок, освещали старческий профиль. В халате, накинутом поверх рубашки с бабочкой, без смокинга, Он походил на старого усталого фокусника. Он думал о том, что в этот вечер повторится представление, некогда таившее в себе особую прелесть. Сегодня же придется заставлять себя смотреть на те же самые лица, слышать те же речи, что из года в год звучат на празднике святого Сильвестра в этом огромном доме в Койоакане.

Шаги гулко раздавались на каменном полу. Уже трудно было скрывать дрожь в ногах, тяжело тащившихся в тесных черных лаковых туф-

лях. Высокий старик с широкой грудью и висевшими, как плети, нервными руками, изборожденными толстыми венами, медленно и неуверенно брел по светлым коридорам, приминая ворсистые ковры, глядясь в блестящие зеркала и в стекла старинных, еще колониальных времен комодов, мимоходом поглаживая узорные задвижки и ручки, резные сундуки с железными замками, скамьи из душистой древесины аякауите, великолепные инкрустации.

Слуга распахнул перед ним дверь в большую гостиную. Старик в последний раз остановился перед зеркалом и поправил бабочку. Пригладил ладонью редкие завитки седых волос над высоким лбом, сжал челюсти, чтобы посадить зубной протез на место, и вошел в гостиную — огромный зал, где блестел пол, освобожденный от ковров, и сверкали стены из полированного кедра, украшенные средневековыми картинами, изображениями святых: св. Себастьян, св. Лусия, св. Херонимо, св. Мигель.

В глубине зала его ждали фотографы, окружившие кресло, обитое зеленым дамассе, кресло под огромным канделябром, который поддерживался цепью с потолка. Часы на камине пробили семь. Огонь, зажженный в эти холодные дни, освещал придвинутые к очагу кожаные пуфы. Он кивнул головой в знак приветствия и сел в кресло, поправив накрахмаленную манишку и пикейные манжеты. Другой слуга подвел к нему двух серых псов с розовыми деснами и печальными глазами; гладкие поводки оказались в руках хозяина. Украшенные бронзой ошейники отсвечивали желтыми и белыми огоньками. Он поднял голову и снова сжал челюсти. Отблески пламени осыпали известью большую седую голову. Фотографы просили его позировать, а Он старался пригладить волосы и размять пальцами две тяжелые складки, сбегавшие от ноздрей к шее. Только на широких скулах кожа сохраняла упругость, хотя и там морщины ткали свою сеть, начиная с век, которые все глубже проваливались в глазницы, где притаились глаза, не то насмешливые, не то горестные — зеленоватые ирисы в дряблых наплывах кожи.

Один из псов залаял, рванулся вперед. Вспышка блица осветила суровое, недовольное лицо хозяина в тот момент, когда рывок собаки заставил его резко приподняться в кресле. Остальные фотографы строго посмотрели на того, кто сделал снимок. Виновный вынул черный прямоугольник из камеры и молча отдал другому фотографу.

Когда фотографы вышли, Он протянул дрожащую руку к столику кустарной работы и взял из серебряной шкатулки сигарету с фильтром. С трудом раскурил ее и медленно обозрел, одобрительно покачивая головой, старинные образы святых, написанные маслом и покрытые лаком,— на них падали слепящие пятна прямого света, смазывая основные детали, но зато смягчая желтые тона и красноватые тени. Он погладил шелковую ручку кресла и вдохнул отфильтрованный дым. Бесшумно приблизился слуга и спросил, не подать ли ему чего-нибудь. Он кивнул и попросил самого сухого «мартини». Слуга раздвинул в стене дверцы из полированного кедра и открыл застекленный шкафчик. На бутылках с напитками — опаловыми, изумрудно-зелеными, красными, кристально-белыми — красовались разноцветные этикетки: «шартрез», «перминт», «аквавит», «вермут», «курвуазье», «лонг-джон», «кальвадос», «арманьяк», «перно». Тут же — ряды хрустальных бокалов, толстых и граненых, тонких и звенящих. Ему подали бокал. Он распорядился, чтобы слуга принес из винного погреба три марки вина для ужина. Затем вытянул ноги и стал думать, с какой тщательностью Он перестроил свое жилище и предусмотрел все удобства в этом, своем доме. Пусть Каталина живет в огромном особняке в Лас Ломас, лишенном, как и все жилища миллионеров, всякой индивидуальности. Он предпочитал эти старые, двух-

вековые стены из обтесанного тесонтле *, таинственным образом приближавшие его к событиям прошлого, к земле, с которой не хотелось расставаться. Да, конечно, во всем этом была какая-то подмена, магический пасс. И все же дерево, камень, решетки, лепные украшения, инкрустации, карнизы и простенки, резные стулья и массивные столы словно сговорились своим видом напоминать ему сцены, ощущения, переживания молодости, окутывая их легкой дымкой грусти.

Лилия была недовольна, но Лилия никогда этого не поймет. Что может сказать молодой девушке потолок из старых витых балок? А оконная решетка, потускневшая от ржавчины? А великолепный гобелен над камином, тканный золотом и вышитый серебряными нитями? А запах, исходивший от деревянных сундуков? А блеск вымытых деревенских изразцов на кухне? А стулья в столовой, которые под стать креслу самого епископа? Было что-то захватывающее, плотское, изумительное в обладании такими вещами — как и деньгами и всем тем, что дает богатство. О, какое удовольствие, полное и чувственное, могут доставить неодушевленные предметы, какую радость, какое тонкое наслаждение... Только один раз в год любовались всем этим люди, приглашенные на знаменитый прием в канун Нового года... Этот день вдвойне веселил ему душу, потому что гости видели здесь его настоящий дом и вспоминали об одинокой Каталине, которая вместе с теми — с Тересой, с идиотом Херардо — ужинала в это самое время в особняке на Лас Ломас... А Он мог представлять Лилию в качестве хозяйки и открывать двери в голубую столовую с голубой посудой, с голубыми льняными скатертями, с голубыми стенами... где льются вина и плывут огромные блюда, переполненные нежным мясом, красной рыбой, аппетитными креветками, неведомым гарниром, грудами сладостей...

Какого черта надо нарушать его покой? Послышалось вялое шарканье шлепанцев. Это — Лилия. Ее рука с бледными — без лака — ногтями приоткрыла дверь гостиной. Лицо лоснится от крема. Она хочет знать, подойдет ли ее розовое платье для праздничного вечера. Она не хочет вносит диссонанс, как это было в прошлом году, и становиться предметом насмешек. А, Он уже пьет! Почему Он не предложит и ей бокал? Ох, как надоело это недоверие, эта запертая на замок буфетная, этот нахальный слуга, не признающий за нею права входить в винный погреб. Скучно ли ей? Будто бы Он не знает. Она хотела бы скорее стать старой и уродливой, чтобы Он ее выгнал в шею и не мешал жить в свое удовольствие. Никто ее не держит? И как же, мол, без денег, без роскоши, без большого дома? Да, много денег, много роскоши, но нет радости, нет развлечений, нет права даже рюмочку выпить. Конечно, она его очень любит. Она ему тысячу раз об этом говорила. Женщины ко всему привыкают, если к ним относиться ласково. Их может привязать и пылкая страсть, и отеческая любовь. Конечно, она его любит, еще бы... Скоро уже восемь лет, как они живут вместе, а Он никогда не устраивал сцен, не бранил... Правда, Он ее принуждает... А? Не плохо было бы ей еще с кем-нибудь завести романчик? Ну да. Он думает, она такая дура. Да, конечно, она никогда не понимала шуток. Пусть так, но она прекрасно понимает, что к чему... Никто не вечен... Уже и гусиные лапки вокруг глаз... И фигура... Но Он тоже к ней привык, правда? В его возрасте трудно было бы начинать все снова. Несмотря на миллионы... Не так-то просто найти женщину, ее поискать надо... Они, подлюги, знают сотни уловок, умеют выделывать такие штучки... всю душу измотают... Тут вам и да, и нет, и поманят, и за нос поводят, и все такое!.. В общем, знают, как старика дураком выставить... Ясное дело, она-то поудобнее... И не жалуется — уж куда там. Ей даже льстят новогодние приемы и

* Каменистая порода вулканического происхождения.

поздравления. Да и любит его, да, ей-богу,— уж очень привыкла к нему... Но все же ужасно скучно!.. Ну что тут плохого, если иметь несколько близких подруг, если поехать в кои веки поразвлечься... выпить по рюмочке?..

Он сидел неподвижно. Ей никто не давал права болтать всю эту оскорбительную чепуху, но какая-то вялость, расслабленность... совершенно не свойственная его характеру... заставляла его сидеть с бокалом «мартини» в одеревеневших пальцах... слушать глупости этой женщины, становившейся с каждым днем все более вульгарной и... впрочем, нет, она еще аппетитна, хотя и невыносима... Что же с ней делать?..

Все, над чем Он властвовал, подчинялось ему теперь только по инерции, благодаря какой-то видимости... видимой силе былых лет... Лилия могла уйти... У него сжалось сердце... трудно преодолеть себя... этот страх... Едва ли найдется что-либо другое... остаться одному... Он с трудом пошевелил пальцами, кистью, локтем, и на ковер упала пепельница, рассыпались мокрые окурки с желтыми кончиками, разлетелся пепел — белая пыль, черно-серые чешуйки.

Он нагнулся, тяжело дыша.

— Не нагибайся. Одну минутку, я позову Серафина.

— Да.

Возможно... Ей скучно с ним. Но не боязно, не противно... Вечно лезут в голову какие-то сомнения... Невольный прилив нежности заставил его повернуть голову и посмотреть на нее..

Она наблюдала за ним с порога... Обиженная, милая. Крашеные волосы светло-пепельного цвета, смуглая кожа... Ей тоже некуда отступать... не вернуть былого. И это их уравнивает, хотя возраст и характер разделяют... К чему сцены? Он почувствовал усталость. Вот и все. Так решили воля и судьба... Вот и все... К черту воспоминания. Надо думать лишь об окружающих вещах, примелькавшихся именах. Он снова погладил шелковую ручку кресла. Окурки и рассыпанный пепел плохо пахли. А Лилия стояла, обратив к нему лицо, намазанное кремом.

Она — у двери. Он — в кресле, обитом дамассе.

Вздохнув, она пошла, шаркая шлепанцами, в спальню, а Он сидел в кресле, ни о чем не думая, до тех пор, пока не стемнело и в стеклянной двери, ведущей в сад, не появилось его поразительно отчетливое отражение.

Слуга принес смокинг, платок и флакон одеколона. Старик приподнялся и позволил себя одеть, затем развернул платок, который слуга обрызгал ароматической жидкостью. Когда Он засовывал платок в кармашек на груди, их взгляды встретились, слуга опустил глаза. Не надо. К чему думать о том, что мог видеть этот человек?

— Серафин, живо окурки...

Он встал, опираясь обеими руками на кресло. Сделал несколько шагов по направлению к камину, погладил щипцы толедского железа и почувствовал на лице и руках дыхание огня. Потом пошел к дверям, услышав гул голосов — восторженных, восхищенных,— доносившийся из вестибюля. Серафин подбирал последние окурки.

Он приказал усилить огонь, и семья Рэгулес вошла в ту минуту, когда слуга размешивал щипцами угли и огромное пламя взвилось к дымоходу. В дверях столовой показался другой слуга с лакированным подносом в руках. Роберто Рэгулес потянулся за бокалом, а молодожены — Бетина и ее супруг, молодой Себальос,— взявшись за руки, обежали гостиную, восторгаясь старинными картинами, золотыми и гипсовыми статуэтками, роскошной резьбой по дереву, лепными барочными украшениями, точеными балками, многоцветными рострами.

Он стоял спиной к двери, когда раздался звон разбитого стакана — как треск лопнувшего колокола — и прозвучал насмешливый голос

Лилии. Старик и гости увидели растрепанную женщину, которая заглядывала в гостиную, держась за ручку двери, и выкрикивала:

— Дурак, идиот!.. Это мой Новый год! ...Не беспокойся, старикашка, через час я отойду и явлюсь... ни в одном глазу... Я только хотела тебе сказать, что решила провести весь новый год очень приятно, просто даже... ужасно приятно!..

Он направился к ней нетвердой, тяжелой походкой, а она продолжала кричать:

— Мне надоело целые дни смотреть телевизор... У, старикашка!

С каждым его шагом голос Лилии становился все более визгливым.

— Я уже наизусть знаю все истории с ковбоями... бах-бах... Маршал из Аризоны... лагерь краснокожих... бах-бах... Мне уже снятся эти крики... У, старикашка!.. Пейте «пепси»... одно и то же... Старикашка... Удобно и спокойно... Страхуй жизнь...

Сучковатые пальцы ударили по лоснящейся от крема щеке, и крашеные локоны упали на глаза Лилии. Она замерла. Повернулась и медленно пошла, схватившись рукою за щеку. Он вернулся к Рэгулесам и Хайме Себальосу. Высоко подняв голову, несколько мгновений пристально смотрел в глаза каждого из них. Рэгулес пил виски, погрузив взор в бокал. Бетина улыбнулась и подошла к хозяину дома с сигаретой в руках, как бы прося огня.

— Где вы достали этот ларец?

Старик отвернулся, а слуга Серафин зажег спичку у самого лица девушки, и ей пришлось отстранить голову от груди старика и отойти. Из холла, где скрылась Лилия, выходили музыканты, закутанные в шарфы, дрожащие от холода. Хайме Себальос защелкал пальцами и повернулся на каблуках, как испанский танцор.

На столе с ножками в форме дельфинов, под бронзовыми канделябрами громоздились куропатки в соусе из свиного сала, бутыли старого вина, мерланы в листьях таррагонской горчицы, дикие утки в апельсиновых корках, разбухшие от икры карпы, каталонское заливное с маслинами, жареные цыплята в вине, фаршированные голуби с пюре из артишоков, розовые лангусты в ожерельях очищенных лимонов, шампиньоны с томатами, байонская ветчина, жаркое в винном соусе, гусиные шеи, начиненные свиным паштетом; пюре из каштанов, подливки из печеных яблок с орехами, соусы — луковые, апельсиновые, чесночные и фисташковые, с миндалем и креветками.

И когда открылась резная дверь — с рогами изобилия и толстозадыми ангелочками,— сделанная в монастыре Керетаро, в глазах старика блеснул неуловимый огонек, а потом всякий раз, когда слуга — под звон вилок и ножей о голубую посуду — подносил дрезденское блюдо к кому-либо из ста приглашенных, у него вырывался резкий хриплый смешок. Хрустальные бокалы тянулись к бутылям в руках лакеев. Он приказал открыть портьеры, которые драпировали витраж, отделявший зал от сада,— за стеклом торчали оголенные и ломкие сливовые деревца, белые статуи из монастырского камня: львы, ангелы, монахи, переселившиеся сюда из дворцов и монастырей времен вице-королевства. Вспыхнул фейерверк: огромный огненный замок на зимнем небосводе, ясном и далеком; белая искрящаяся молния на фоне красной вуали и желтого веера зигзагов, фонтан, забрызгавший ночь кровоточащими ранами; пир монархов, рассыпавших свои золотые ордена на черном сукне тьмы и устремивших свои сверкающие кареты к светилам в ночном трауре. Он засмеялся, не размыкая губ, и смех его походил на рычание.

Опустевшие блюда снова и снова наполнялись дичью, креветками и крабами, сочными кусками мяса. Голые руки плыли вокруг старика, утонувшего в глубоком старом кресле, роскошно инкрустированном.

покрытом замысловатой резьбой. Он улавливал аромат надушенных женщин, смотрел на их округлые декольте, на сбритую тайну подмышек, на отягченные брильянтами мочки ушей, на белые шеи и тонкие талии, от которых взметывались волны шелка, золотой парчи, тафты; вдыхал знакомый запах лаванды и дымящих сигарет, губной помады и пудры, женских туфель и пролитого коньяка, дурного пищеварения и лака для ногтей.

Он поднял бокал и встал; слуга дал ему в руку поводки — псы не расставались с ним весь остаток вечера. Стали провозглашаться новогодние тосты. Бокалы разбивались об пол, а руки обменивались нежными или крепкими пожатиями, вздымались вверх во славу празднества истекшего времени, этого погребения, этого сожжения памяти; во славу новых всходов на почве, удобренной прошлогодними делами... — оркестр в это время исполнял традиционный прощальный вальс «Ласточки»,— делами, словами и людьми, умершими вместе с прошлым годом; во славу продления жизни этих ста мужчин и женщин, которые сейчас ни о чем друг друга не спрашивали, а лишь говорили — иногда просто влажными взглядами,— что нельзя упускать время, настоящее время, искусственно продленное в эту минуту вспышкой ракет и звоном колоколов.

Лилия робко погладила ему шею, как бы прося прощения. Он-то знал, конечно, что много разных побуждений, много мелких желаний надо подавить, чтобы иметь возможность в один какой-то момент насладиться полным счастьем, не давая от себя ничего,— и она должна быть ему благодарна. Так надо было понимать его невнятное бормотание.

Когда скрипки в зале снова заиграли «Бедный люд Парижа», она с обычной гримаской взяла его под руку, но Он отрицательно качнул белой головой и, сопровождаемый псами, пошел к креслу, где намеревался провести остаток ночи, глядя на танцующих... Он неплохо развлечется, разглядывая физиономии — фальшивые, сладкие, лукавые, ехидные, тупые, умные,— думая о судьбе, о судьбе их всех и о своей собственной... Лица, тела свободных, как и Он, людей успокаивают его... Эти люди, скользящие в танце по натертому полу под сверкающими канделябрами, побуждают его освободиться от воспоминаний, постараться изгнать воспоминания... заставляют вовсю использовать это двуединство... свободу и власть... Он не один... с ним танцующие... От этой мысли тепло разливается по нутру, становится приятнее на душе... Черный карнавальный эскорт могущественной старости, седовласого, подагрического, согбенного существа... Эхо не сходящей с губ хриплой усмешки, которая отражается в запавших зеленых глазах... Короткие родословные, как и у него... иногда еще более короткие... Кружатся и кружатся... Он их знает... промышленники... коммерсанты... шакалы... лизоблюды... биржевики... министры... депутаты... журналисты... жены... невесты... куртизанки... любовницы... Кружатся обрывки фраз... отдельные слова вместе с плывущими парами:

— Да...— Потом пойдем...— ...но мой папа...— Люблю тебя...— ...свободны?..— Мне рассказывали...— ...времени у нас достаточно...— Тогда, значит...— ...так...— ...мне хотелось бы...— Где? — ...Скажи мне...— ...я больше не вернусь...— ...тебе нравилось? — ...трудно...— Это пропало...— проказница...— чудесный...— исчез...— ...так ему и надо... — ...гм!..

Гм!.. Он умел угадывать по глазам, по движению губ, плеч... Он мог бы им сказать, что о них думал... Мог бы им сказать, кто они... мог напомнить их настоящие имена... подстроенные банкротства... жульнически использованные денежные девальвации... спекуляции с ценами... банковские махинации... новые латифундии... фальсифицированные публикации... скупки государственного имущества за бесценок... политиче-

ские инсинуации... разбазаривание отцовского наследия... взяточничество в министерствах... подделанные имена: Артуро Кандевила, Хуан Фелипе Коуто, Себастиан Ибаргуэн, Висенте Кастаньеда, Педро Касо, Хенаро Арриага, Хайме Себальос, Пепито Ибаргуэн, Роберто Рэгулес... А скрипки поют, кружатся юбки и фалды фраков... Они не будут говорить обо всем этом... Они говорят о путешествиях и любви, о домах и автомобилях, об отпусках и праздниках, о драгоценностях и слугах, о болезнях и священниках... Но они тут, тут, перед ним... перед самым могущественным... Можно уничтожить или возвеличить их одной фразой в газете... Можно заставить их терпеть присутствие Лилии... Можно одним магическим словом вынудить их танцевать, есть, пить... Вот они приближаются...

— Я привезла мужа только для того, чтобы он посмотрел на это изображение архангела. Великолепная картина...

— Да, я всегда говорил: только со вкусом дона Артемио...

— Как мы сможем отблагодарить вас?

— Но вы правильно делаете, что не принимаете приглашений...

— Все здесь так грандиозно, я просто немею от восторга, дон Артемио, немею, немею. Какие вина! А эти утки с дивной приправой!

...Отвернуться и сделать вид, что не слышишь... хватит одного шума... не к чему сосредоточиваться... Приятно улавливать только невнятный говор окружающих... звуки, ароматы, запахи, образы... Пусть называют его, хихикая и шушукаясь, мумией из Койоакана... пусть насмехаются исподтишка над Лилией... Все они здесь и пляшут перед ним...

Он поднял руку — сигнал дирижеру. Музыка смолкла, танец прервался, и пары остановились. Зазвучали гитары — восточное попурри. Гости расступились: в проходе от двери к центру гостиной, плавно покачивая бедрами и руками, двигалась полуголая женщина. Раздались радостные крики. Танцовщица опустилась на колени и стала извиваться под стрекот барабанов: лоснящееся от масел тело, апельсиновые губы, белые веки, синие брови. Она встала и поплыла по кругу, конвульсивно вращая животом, все быстрее и быстрее. Выбрав старого Ибаргуэна, вытащила его за руку на середину, заставила сесть на пол и принять позу бога Вишну. Танец живота продолжался. Ибаргуэн старался имитировать ее телодвижения. Все улыбались. Она приблизилась к Кандевиле, заставила его снять пиджак и плясать вокруг Ибаргуэна. Хозяин дома смеялся, утонув в кресле, обитом шелком, поглаживая собачьи поводки. Танцовщица вскочила на спину Коуто и призвала женщин последовать ее примеру. Все смеялись до упаду. У амазонок растрепались прически от этой скачки на закорках, залились потом пылающие лица. Юбки — под общий хохот — задрались выше колен, измялись бальные платья. Некоторые молодые люди — под взрывы смеха — давали подножку красным от натуги «коням», которые наскакивали друг на друга возле двух пляшущих стариков и девицы с голыми чреслами.

Он поднял взор кверху — словно вынырнул из воды, освободившись от балласта. Над растрепанными волосами и голыми плечами — светлое небо перекрытий и белых стен, картины XVII века, ангелы на золотом фоне... А в голове будто отдавался глухой топот крысиных полчищ, крыс — черные усики, острые мордочки,— крыс, обитавших на чердаках и в подвалах этого древнего иеронимского монастыря. Порой они без всякого стеснения шныряют по углам зала, а теперь, там, во тьме, над головами и под ногами веселящихся гостей тысячи и тысячи крыс ждут... наверное... ждут, чтобы броситься вдруг на всех этих людей... заразить... заставить их корчиться от жара и головной боли... от тошноты и озноба... от долгой и страшной рези между ног и под мышками... сдыхать от черных пятен на теле... от кровавой рвоты... Если бы махнуть сейчас рукой...

чтобы слуги железными засовами заперли двери... все выходы из этого дома с амфорами и кубками... ломберными столиками... кроватями под балдахинами... коваными замками... сундуками и креслами... двойными чугунными дверями... статуями львов и монахов... И весь фарс был бы здесь похоронен... никто не ушел бы с корабля... Облить тела уксусом... зажечь костры из ароматной древесины... повесить себе на шею четки из тимьяна... и тихонько отгонять зеленых жужжащих мух... А вот — приказываешь им танцевать, жить, лакать вина...

Он отыскал глазами Лилию в этом взбаламученном море людском. Она, одинокая и молчаливая, с безмятежной улыбкой на лице что-то пила в своем углу, повернувшись спиной к разгульной пляске и «рыцарскому» турниру... Кое-кто из мужчин уже направился к выходу... поднося руку к ширинке... Некоторые женщины уже стали пудрить носы... открыв сумочки... Он жестко усмехнулся... вот — единственный результат безудержного веселья и обжорства... Тихо хрюкнул... представляя себе... их всех и каждого в очереди у двух туалетов в бельэтаже... всех, избавляющихся от чудесных вин... всех, освобождающихся от остатков обеда, который готовился в течение двух суток — скрупулезно, умело, обдуманно... и вот вам печальный конец этих уток и крабов, пюре и подливок... Хе-хе, самый смехотворный трюк этого вечера...

Все быстро устали. Танцовщица кончила танец, и ее окружило полное безразличие. Гости снова стали разговаривать, просить шампанского, рассаживаться на мягкие диваны. Кое-кто возвращался из мест не столь отдаленных, застегивая брюки или пряча пудреницы в бальные сумочки. Вот и кончилась... заранее подготовленная недолгая оргия... запланированная вакханалия... Снова тихо и нараспев стали плестись разговоры... Снова — притворство мексиканского плоскогорья... снова заботы и хлопоты... словно люди хотят искупить эти минуты, это промелькнувшее мгновение...

— ...нет, от кортизона у меня появляется сыпь...

— ...ты не представляешь себе, как облегчает душу отец Мартинес...

— ...скажите, пожалуйста, кто бы о ней подумал такое. Говорят, они были...

— ...мне пришлось перенести....

— ...Луис так устает, что ему хочется только...

— ...нет, Хайме, Он этого не любит...

— ...она слишком задается...

— ...посмотрела немного телевизор и...

— ...теперешняя прислуга просто невыносима...

— ...уже лет двадцать, как они близки...

— ...неужели дадут право голоса этим грязным индейцам?

— ...а жена одна дома; никогда...

— ...это вопросы высокой политики; мы уже знаем...

— ...что ПРИ* с трудом выплывает; пора ей...

— ... приказ сеньора президента в палате...

— ... да, я осмелюсь...

— ... Лаура, кажется, ее зовут Лаура...

— ... поработаем вместе...

— ... если разговор опять пойдет об «income tax...»**

— ... для тридцати миллионов бездельников...

— ... я тут же размещу свои сбережения в Швейцарии...

— ... коммунисты только и знают, что...

---

* Конституционно-революционная партия (Партидо революсионарио институсиональ) — правящая партия в Мексике.

** Подоходный налог *(англ.)*.

— ... нет, Хайме, не надо его беспокоить...
— ... это будет сказочное дельце...
— ... по-идиотски...
— ... надо вложить сто миллионов...
— ... это превосходный Дали...
— ... и мы всё с лихвой окупим в два года...
— ... мне прислали его агенты для моей галереи...
— ... или, по меньшей мере...
— ... в Нью-Йорке...
— ... много лет жила во Франции. Говорят... разочарование...
— ... давайте соберемся — только одни дамы...
— ... Париж — это просто блеск...
— ... повеселимся без мужчин...
— ... если хочешь, поедем завтра в Акапулько...
— ... смех, да и только,— колеса швейцарской промышленности...
— ... мне позвонил американский посол, чтобы предупредить...
— ... крутятся на десяти миллиардах долларов...
— ... Лаура, Лаура Ривьер, она там снова вышла замуж...
— ... в авионетке...
— ... которые мы, латиноамериканцы, там разместили...
— ... ни одна страна не может уберечься от подрывной деятельности...
— ... как же, как же, я сам читал в «Эксельсиоре»...
— ... говорю тебе: танцует чудесно...
— ... Рим — это, конечно, вечный город...
— ... но не имеет за душой и пятака...
— ... я трудился в поте лица, чтобы реализовать всю свою шерсть...
— ... гляди: сидит и боится шевельнуться, как божество в яичной скорлупе...
— ... и почему же я должен еще платить налоги этому нищенскому правительству?..
— ... его называют мумией, мумией из Койоакана...
— ... просто чудесный портной, милочка...
— ... кредиты для сельского хозяйства?..
— ... говорю тебе — лучше не ввязывайся...
— ... бедная Каталина...
— ... и потом — от кого зависит засуха или морозы?..
— ... никуда не денешься: без американских капиталовложений...
— ... говорят, это была его большая любовь, но...
— ... Мадрид — божествен, Севилья — прелестна...
— ... мы никогда не вылезем из болота...
— ... но такая, как Мексика...
— ... они могли дать больше? Ты узнавал?..
— ... да, хозяйка дома, если бы не...
— ... я получил по сорок сентаво на каждый песо...
— ... дают нам свои деньги и свои «know-how»...*
— ... еще до того, как дал...
— ... а мы еще жалуемся...
— ... лет двадцать тому назад...
— ... согласен: касики, продажные лидеры и всё, что хочешь...
— ... представляешь себе — сплошь белое с золотом. Изумительно!..
— ... но хороший политик не старается изменить действительность.
— ... сеньор президент удостоил меня своей дружбой...
— ... а стремится использовать ее и работать сообразно с нею...
— ... из-за тех дел, которые у него с Хуаном Фелипе. И не скрывая...

---

* Технические знания *(англ.)*.

— ... и он делает столько добра, но никогда об этом не говорит...
— ... я ему сказал: незачем...
— ... все мы должны делать добро, не правда ли?..
— ... сколько бы я дал, чтобы бросить это!..
— ... право, жаль ее. Бедная Каталина!
— ... перепродал им, но выручил не меньше десяти тысяч долларов...
— ... Лаура, мне кажется, ее звали Лаура; она была очень красива...
— ... но что ты хочешь: это участь слабых женщин...

Они то набегали, то откатывались — волны разговоров и танцующих. Но вот девушка с открытой улыбкой и светлыми волосами присела на корточки около старика и, покачивая бокалом шампанского, облокотилась на ручку его кресла... А молодой человек спросил, не помешает ли он хозяину, на что старик ответил:

— Вы весь вечер только это и делаете, сеньор Себальос...

... Даже не взглянул на юношу... и продолжал пристально смотреть в гущу танцующих... Неписаное правило... Гости не должны приближаться к нему — разве только для того, чтобы в кратких словах похвалить дом и ужин... Следует соблюдать расстояние... Можно поблагодарить за гостеприимство и развлечения.... Сцена и партер... Юный Хайме Себальос, наверное, не отдавал себе отчета...— «Вы знаете? Я вами восхищаюсь...»

Он пошарил в кармане смокинга и достал смятую пачку сигарет... не спеша закурил... не глядя на юношу, который говорил ему, что только король мог смотреть с таким презрением, с каким Он смотрел на них, когда... А Он спросил, не в первый ли раз молодой Себальос присутствует на... Юноша ответил, что да...— И ваш тесть вам ничего не?..—«Как же, конечно...» — Следовательно...— «Эти правила придумали, не посоветовавшись со мною, дон Артемио...» Он не удержался... поднял усталые глаза... за кольцами дыма... повернул лицо к Хайме, а тот, не моргая, глядел на него... Во взгляде лукавство... подрагивают губы и желваки на щеках... у старика... у юноши... Он узнал в нем себя, ох... Этот парень вывел его из душевного равновесия, ох...— Значит, так, сеньор Себальос?.. Вот чем пришлось пожертвовать...— «Я вас не понимаю...»

Ах, не понимает, говорит, что не понимает... Он насмешливо фыркнул... Трудно изменять себе, но придется... Известно ли вам, юноша, с кем вы разговариваете? Или вам кажется, я неправильно поступаю?..

Хайме протянул ему пепельницу... Да, переправились через реку на лошадях в то утро...—...в свое оправдание?.. Наблюдал, никому не мешая...— Наверное, ваш тесть и другие ваши знакомые... переехали реку в то утро...—...что под наше богатство не подкопаться, что мы потрудились, чтобы его заработать...— наше вознаграждение, не так ли?.. сын спросил, поедут ли они вместе к морю...— Знаете ли вы, почему я выше всех этих людишек... и держу их в руках?..— Хайме протянул ему пепельницу; Он стряхнул пепел... переехал реку, сняв рубашку...— Да, вы подошли, а я ведь вас не звал... Хайме сощурил глаза и пригубил шампанское...— Вы теряете свои иллюзии?.. она повторяла: «Боже мой, я этого не заслужила», поднимая к лицу зеркало и спрашивая себя: неужели сын увидит ее такою, когда вернется?.. Бедная Каталина... Да, я поступаю правильно... они увидят на том берегу все цвета земли, все цвета, да...— Как вам нравится этот вечер?.. «...покрутимся, повертимся, чудесно, ча-ча-ча!..» Пахло бананами. Кокуйя... Мне все равно... сын пришпорил коня, обернулся и засмеялся...—...моими картинами, моими винами, моей мебелью я владею так же, как вами...— «Вам так кажется?..» Ты вспоминал свою молодость, глядя на него и на те места...

— Власть хороша сама по себе, об этом нечего говорить, и надо сделать все, чтобы взять ее... но Ты не хотел тогда сказать, как много она значила для тебя, чтобы не потерять любовь сына...—...так сделал это я,

и ваш тесть, и все те, кто танцует перед нами... тем утром я ждал его с радостью...— так должны будете сделать и вы, если захотите...— «Работать с вами, дон Артемио; хорошо бы в одном из ваших предприятий, если бы вы...» поднятая рука сына указывала на восток, туда, где восходит солнце, на лагуну...— Хм, обычно это делается иначе... лошади неторопливо трусили, раздвигая высокие травы, потряхивая гривами, раскидывая морскую пену...—...тесть мне звонит и намекает, что зять... они посмотрели друг другу в глаза и улыбнулись...— Но вы видите, у меня другие идеалы... в море, в открытое море, туда, куда ринулся Лоренсо, прямо на волны, плещущие вокруг него... Ему все виделось без прикрас, он понимал действительность...— «Вот именно. Точь-в-точь, как вы, дон Артемио...» Сын спросил тогда, какова земля там, за морем; ведь земля, наверное, всюду одинакова и только море разное... Точь-в-точь, как я!.. Он сказал ему, что есть острова... боролся за революцию, рисковал своей шкурой, чуть было не расстреляли?.. у моря был вкус горького пива, запах дыни, айвы, земляники...— А?..— Нет... я... через десять дней отходит судно. Я уже взял билет...— Вы пришли к концу банкета, приятель. Спешите подобрать крошки...— Разве ты не сделал бы то же самое, папа?..—...сорок лет вверх и вверх, потому что нас крестили в славе...— Да...— а вы, юноша? Вы думаете, что это передается по наследству? Какими делами вы продолжите?..— Существует этот фронт. Сейчас, наверное, это единственный фронт...— Да...—...наша власть?..— Я поеду туда...— «Вы учили нас, как...» — Да, вы пришли поздно, говорю вам... тем утром я ждал его с радостью...— Пусть другие пытаются обмануть меня; я никогда себя не обманывал. Поэтому я здесь... переправились через реку на лошадях...—...спешите... насыщайтесь... потому что вам дают... спросил его, поедут ли они вместе к морю...— Какое мне дело... море оберегали низко парящие чайки...— Я умру, смешно подумать... море лениво лизало берег...—...смешно подумать... прямо в волны, бурлившие вокруг него...—...поддерживать в мире жизнь для тех, кто ничего не значит...

Старик склонил голову к уху Себальоса... море, имеющее вкус горького пива...— Хотите, я открою вам один секрет?.. море, пахнущее дыней и гуаябой... Он ткнул указательным пальцем в бокал молодого человека... рыбаки, тащившие сети по песку...—... подлинную силу рождает мятежный дух... верю ли я в бога? Не знаю. Ты привез меня сюда, обучил всем этим вещам...— А в вас... в вас... протянет, лицом к морю, растопыренные пальцы рук к сумрачному небу...— а в вас, молодой человек, уже нет того, что нужно...

Он снова стал смотреть в зал.

— Но,— пробормотал Хайме,— могу я все же зайти к вам... на этих днях?

— Поговорите с Падильей. Спокойной ночи.

Часы пробили три раза. Старик вздохнул и подергал за поводки; задремавшие псы навострили уши и встали. Он с усилием поднялся, опираясь на ручки кресла. Музыка умолкла.

Он пересек гостиную под шепот гостей, благодаривших, склонявших перед ним головы. Лилия пробралась к нему.— Разрешите... и взяла негнущуюся руку. Они шли сквозь живой коридор расступившихся гостей: Он с высоко поднятой головой (Лаура, Лаура), она — с опущенными глазами, искоса поглядывая по сторонам. Они шли мимо роскошных скульптур, великолепных инкрустаций, золотых и гипсовых статуэток, костяных и черепаховых шкатулок, узорных задвижек и ручек, сундуков с филенками и железными кольцами, скамей из душистой древесины аякауите, старинных стульев, барочных лепных украшений, изогнутых кресельных спинок, многоцветных ростров, медных гвоздиков, выделанных шкур, мебели на гнутых ножках, тканных серебром гобеле-

нов, обитых шелком кресел, обтянутых бархатом оттоманок, кубков и амфор, ломберных столиков, потрескавшихся картин; шли по пушистым коврам, под резными балками и перекрытиями красного дерева, под хрустальными канделябрами.

У первой ступеньки лестницы Он погладил руку Лилии, а она взяла его под локоть и повела наверх, согнувшись от напряжения. Улыбнулась:

— Ты не очень устал?

Он покачал головой и снова ласково погладил ей руку.

■

Я проснулся... опять... но на этот раз... да... в автомобиле, в этом фургоне... Не... не знаю... едет бесшумно... Еще не совсем пришел в себя... открываю глаза, но не могу различить их... предметы, лица... белые, сверкающие яйца катятся перед моими глазами... молочная стена отделяет меня от мира... от осязаемых вещей, от чужих голосов... я отделен... я умираю... отделяюсь... Нет, это просто приступ... приступ всегда может быть у старика моего возраста... смерть — нет... расставание — нет... не хочу говорить про это... хочу спросить об этом... но я говорю... если сделать усилие... да... уже слышу сдвоенный вопль сирены... санитарная машина... вопль сирены и свой собственный... из своего горла, зажатого, стиснутого... по нему катится... слюна в бездонный колодец... расставаться... завещание?.. Ах, пусть не волнуются... есть такая бумага с печатью, заверенная у нотариуса... я никого не забыл... чего ради мне забывать, ненавидеть?.. Разве я не доставил вам удовольствие предположением, что до последнего мгновения помнил о вас, хотя бы для того, чтоб посмеяться?.. Ах, как смешно... Ах, как весело... нет... я вспоминаю о вас с полнейшим безразличием... я наделяю вас богатством, которое вы публично оправдаете, будете восхвалять мое старание... упорство, чувство ответственности... мои личные качества... так и делайте... живите спокойно... забудьте, что богатство я выигрывал, бросал в игру и снова выигрывал... Давать все, взамен ничего... это и есть правда?.. а как это называется, когда отдают все в обмен на все?.. называйте, как хотите... они вернулись, не сдались... да, я думаю об этом и улыбаюсь... смеюсь над самим собою, над вами... смеюсь над собственной жизнью... Разве это не привилегия моя?.. Разве сейчас не единственный момент, когда это можно сделать?.. Я не мог смеяться над собой, когда жил... а сейчас — да... моя привилегия... оставлю вам завещание... завещаю вам эти мертвые имена... Рехина... Тобиас... Паэс... Гонсало... Сагаль... Лаура, Лаура.... Лоренсо... чтобы меня не забыли... ушедшего... я могу думать об этом и спрашивать себя самого.... не ведая, как... потому что эти последние мысли... я знаю... думают, притворяюсь... не подчиняются моей воле, ох, да... как будто мозг, сам мозг... спрашивает... и ответ приходит раньше, чем вопрос... наверное... и то и другое — это одно и то же... жизнь — тоже разлука... с сыном... с Каталиной... если бы мы поговорили... там, в патио, в то утро... не уезжай за море, островов нет, это неправда, я тебя обманул... с учителем... Эстебан?.. Себастьян?.. не помню... он научил меня многому... не помню... я его оставил и пошел на север... ох, да... да... да... жизнь была бы другой... а теперь так... другой... но не эта жизнь... человека в агонии... нет, нет, не в агонии... говорю вам, нет, нет... просто припадок... старик и припадок... выздоровлю, да... была бы другой... другой у другого... но тоже в разлуке... какая ерунда... ни жизнь, ни смерть... какая ерунда... в человеческом мире... жизнь молчком... смерть молчком... роковой срок... бессмысленный... Боже мой... а, это может быть последним выгодным делом... Кто там хватает меня за плечи?.. Верить в бога... да, выгодное капиталовложение, еще бы... Кто там держит меня, словно я хочу встать?.. Значит, есть возможность думать, что все продолжается, даже если не веришь в это?..

Бог, бог, бог... Достаточно повторить одно слово тысячу раз, чтобы оно потеряло всякий смысл и стало просто четками... из слогов... из пустых... Бог, бог... Как пересохли губы...

Бог, бог... просвети тех, кто остается... пусть они думают обо мне... иногда... пусть не забудут... совсем... я думаю.... но их не различаю... не вижу... мужчины и женщины в горе... рвется черная завеса... перед глазами, и я вижу... что они продолжают жить... возвращаются к своим делам... безделью... интригам... не вспоминают... покойника... который слышит, как лопаты кидают землю... сырую... ему на лицо... лезут... лезут... да... кишат... черви... в горле... у меня в горле клокочет море... захлебывается голос... он хочет пробиться... воскреснуть... опять жить... продолжать жизнь оттуда, где ее пресекла другая... смерть... нет, начать все с начала... воскреснуть... снова родиться... воскреснуть... снова все решить... воскреснуть... заново выбрать... нет... холод в висках... ногти... синие... живот... вздутый... тошнота... отвратная... не смей умирать без толку... нет, нет... ах, вы... старые гусыни... у вас есть все... богатство... а в голове... пустота... хоть бы... понимали, для чего они служат... и куда их девать... эти вещи... ни черта... а я изведал все... имел все... слышите?.. все, что можно купить и нельзя... Я имел Рехину... слышите?.. я любил Рехину... ее звали Рехина... и она любила меня... любила не за деньги... пошла за мной... отдала мне жизнь... там внизу... Рехина, Рехина... как я люблю тебя... как я люблю тебя сейчас... когда мне не нужна твоя близость... ты наполняешь меня радостью... горячей... погружаешь меня в свой аромат... в тот, уже забытый... Рехина... я вспомнил тебя, видишь?.. Смотри хорошенько... раньше я тебя вспоминал... я мог вспоминать тебя... такою, какою ты была... как ты меня любишь... как я любил тебя... никто нас не может разлучить... Рехина, тебя и меня... я несу это и берегу... охраняю обеими руками... как пламя, маленькое и живое... которое ты мне подарила... которое мне дала... ты мне дала... Рехина, Рехина, опять эта боль, Рехина, я просыпаюсь, я, кажется, забылся после снотворного... я просыпаюсь... боль... где-то в самой середине... в глубине... Рехина, дай мне руку, не уходи, я не хочу просыпаться, если тебя тут нет, любимая моя, Лаура, дорогая моя, ты мое воспоминание, мое спасение, моя Рехина, мне больно... моя самая нежная, моя хорошая, мне больно, Рехина, я знаю, почему мне больно, Рехина, приди, чтобы я опять выжил; Рехина, отдай еще раз свою жизнь за мою; Рехина, умри опять, чтобы я жил, Рехина. Солдат. Рехина. Обнимите меня. Лоренсо. Лилия. Лаура. Каталина. Обнимите меня. Нет. Какой холод в висках... Мозг, не умирай... смысл... я хочу найти его... хочу... хочу... земля... страна... я любил тебя... я хотел вернуться... смысл бессмысленности... смотреть откуда-то с высоты на прожитую жизнь и ничего не видеть... а если ничего не вижу... к чему умирать... зачем умирать... умирать в страданиях... почему не жить... мертвой жизнью... зачем переходить... из живого ничто в мертвое ничто... все исчерпывается... иссякает... лай сирены... свора собак... санитарная машина останавливается... устал... сильнее устать не... земля... какой-то свет перед глазами... какой-то голос...

— Будет оперировать доктор Сабинес.

Смысл? Где смысл?

Носилки скользят по рельсам из машины. Где же смысл? Кто живет? Кто же живет?

■

ТЫ не сможешь сильнее устать, нет, не сможешь. Потому что Ты очень много пройдешь пешком, проедешь верхом и на старых поездах, а стране не видно конца. Запомнишь ли Ты страну? Да, запомнишь, хотя она многолика: тысячи стран под одним названием. Это Ты узнаешь. Ты бу-

дешь нести в себе красные земли, степи с агавами и смоковницами, мир кактусов, ледяные кратеры в поясе лавы, стены с золотыми куполами и каменными бойницами, города из щебня и извести, города из туфа, селения из кирпича, деревни из камыша, черные топкие тропы, сухие жаркие дороги, влажные губы моря, непроходимые дремучие чащи, дивные долины пшеницы и маиса, зеленые луга севера, озера в Бахио, высокие стройные леса, огромные копны сена, снежные вершины гор, долины с озокеритом, порты с борделями и малярией, поля белоголового хенекена, никуда не впадающие быстрые реки, россыпи золота и серебра. В тебе — все: индейцы, говорящие на разных наречиях, на языках кора, яки, уичоль, пима, сери, чонталь, тепеуана, уастек, тотонак, науа, майя; индейские танцы, свирель и барабан, виуэла и гитара, украшения из перьев, тонкие ноги Мичоакана, гибкие тела Тласкалы, светлые глаза Синалоа, белые зубы Чиапаса, вышитые сорочки индейских женщин, гребни из Веракруса, косы мистеков, пояса тсотсилей, шали из Санта Марии, красочная деревенская утварь из Пуэблы, стекло из Халиско, яшма из Оахаки, руины Змеи, Черной Головы, Большого Носа, святилища и алтари, краски и барельефы, идолы Тонантсинтлы и Тлакочагуайи, древние имена Теотиуакана и Папантлы, Тулы и Ушмаля. Ты несешь их в себе и на себе, и они давят на тебя — эти могильные плиты слишком тяжелы для одного человека; они вечны и неподвижны, а Ты несешь их на себе, сгибаешься под тяжестью: они в твоем нутре — твои микробы, твои бациллы, твои вирусы...

Твоя земля. Природа, которая не хочет, чтобы ее делили и насиловали, которая желает жить в тиши и покое. Она подарила людям всего несколько долин и несколько рек, чтобы они там жили — на берегах и равнинах. Она остается суровой хозяйкой крутых и неприступных гор, пустынь, лесов и необжитых побережий. И люди, зачарованные ее надменной мощью, не будут сводить с нее глаз. Но если нерадушная природа повернулась спиной к человеку, то сам человек повернулся спиной к необъятному и забытому океану, разлагаясь на жаркой плодородной земле, перегорая вместе с гибнущими богатствами.

Ты оставишь в наследство землю.

Ты больше никогда не увидишь лица людей, которых знал в Соноре и в Чиуауа. Ты видел их сонливыми и покорными, а потом — яростными: они бросились, не рассуждая, в жестокую борьбу; они кинулись в объятия подобных себе людей, своих братьев, с которыми их потом разлучили, они сказали: «Я здесь с тобой, и с тобой, и с тобою тоже», — и пошли все вместе, а потом стали врагами друг другу. Любовь, чудесная братская любовь, сама изжившая себя. Ты скажешь об этом себе самому, потому что Ты видел ее и, видя, не понял. Лишь умирая, Ты осознаешь ее и признаешься, что даже не понимая, боялся ее днем и ночью с тех пор, как стал у власти. Ты будешь бояться, что снова вспыхнет народный пожар братской любви. А теперь Ты умрешь, и тебе нечего бояться, потому что Ты ничего подобного уже не увидишь. Но Ты скажешь тем, кто этого боится: страшитесь ложного спокойствия, которое Ты им завещаешь; страшитесь видимого согласия, славословия с его волшебной силой, узаконенного стяжательства; страшитесь всей этой несправедливости, которая черт знает к чему приведет.

Они примут твое наследство. Ты дал им респектабельность. Они будут благодарить деревенского парня Артемио Круса за то, что он сделал их уважаемыми людьми. Будут благодарить его за то, что он не захотел жить и умереть в лачуге матери-мулатки; будут благодарить его за то, что он не побоялся бросить вызов жизни. Они сами оправдают тебя, потому что у них уже не будет твоего оправдания: они уже не смогут говорить, как Ты, о битвах и военачальниках и прикрываться ими, чтобы оправдать грабежи именем революции и прославление самого

себя во имя революции. Ты будешь думать и удивляться: какое они найдут тебе оправдание? Какую пирамиду воздвигнут? Нет, они не станут ломать себе над этим голову и будут наслаждаться, пока смогут, тем, что Ты им оставляешь; будут счастливы, а на людях притворятся опечаленными и благодарными — и то хорошо. А Ты будешь ждать. Под слоем земли толщиной в метр. Будешь ждать, когда снова послышится топот над твоим мертвым лицом, и тогда скажешь: «Вернулись. Не сдались»,— и улыбнешься, посмеешься над себе подобными, посмеешься над самим собою — это твоя привилегия. Тебя будет терзать тоска по родине, захочется приукрасить прошлое, но Ты этого не сделаешь.

Ты оставишь в наследство ненужные смерти, мертвые имена; имена тех, кто погиб, чтобы не погибло твое имя; имена людей, лишенных всего, чтобы всем обладало твое имя; имена людей, забытых для того, чтобы никогда не было забыто твое имя.

Ты оставишь в наследство эту страну, оставишь свою газету, шепоток и лесть; совесть, убаюканную лживыми речами сереньких людишек; оставишь закладные, разложившийся класс, власть без величия, обожествляемую тупость, плебейское тщеславие, шутовское понятие о долге, пустое краснобайство, боязнь перемен, мелкий эгоизм.

Ты оставишь в наследство политиканов-воров, синдикаты на службе предпринимателей, новые латифундии, американские капиталовложения, рабочих в тюрьмах, большую прессу, спекулянтов и батраков, скотоводов и тайных агентов, заграничные вклады, продажных биржевиков, депутатов-подхалимов, министров-стяжателей, элегантное политиканство, национальные юбилеи и памятные дни, грязь и червивые лепешки, неграмотных индейцев, безработных мужчин и женщин, толстобрюхов, вооруженных аквалангами и акциями; голодающих, вооруженных ногтями. Пусть берут свою Мексику, пусть берут твое завещание.

Ты оставишь в наследство людей, обыкновенных, незнакомых; людей без завтрашнего дня, потому что всё они делают сегодня, все говорят сегодня, существуют только в настоящем и сами они — сегодняшний день. Они говорят: «завтра», но им нет дела до завтра. Ты будешь грядущим, не будучи им; Ты сгоришь сегодня, думая о завтрашнем дне. Они будут жить завтра, потому что живут только сегодняшним днем.

Твой народ.

Твоя смерть: Ты — животное, предвидящее свою смерть. Ты воспеваешь свою смерть, говоришь о ней, изображаешь в танце, рисуешь ее, вспоминаешь ее до того, как умрешь.

Твоя земля.

Ты не умрешь безвозвратно.

Ты обернешься ребенком, который придет на эту землю, найдет эту землю, станет ее плотью и кровью, выберет себе свой собственный путь.

■

(9 апреля 1889 г.)

ОН — крошечный-крошечный детеныш. Голова измазана кровью матери, с которой Он связан очень слабыми узами. Впереди жизнь — наконец-то.

Лунеро крепко сжал руки Исабель Крус — или Крус Исабель — своей сестры, и закрыл глаза, чтобы не видеть того, что происходило. Потом спросил ее, отвернувшись: «А ты считала дни?» Но она не смогла ответить, потому что кричала, кричала куда-то в себя, сжав губы, стиснув челюсти, чувствуя, что головка уже показалась, уже идет. А Лунеро держал ее руки. Рядом один только Лунеро и миска с кипящей на огне водой, и нож, и тряпки наготове, и Он, выходивший из нее, под-

талкиваемый сокращениями живота, все более и более частыми. Лунеро должен был отпустить руки Исабель Крус, Крус Исабель, встать перед ней на колени и принять в свои ладони эту мокрую темную голову, взять маленькое беспомощное тело, привязанное к Исабель Крус, Крус Исабель. Вот тельце совсем отделилось от матери — женщина перестала стонать, глубоко вздохнула, вытерла светлыми ладонями пот со смуглого лица и стала искать, искать его, вскидывая руки. Лунеро перерезал пуповину, завязал пупок, вымыл ребенка, протер ему личико, погладил его, поцеловал и протянул сестре. Но Исабель Крус, Крус Исабель опять застонала от последней схватки, а снаружи послышался скрип сухой земли под сапогами, которые приближались к хижине, где на голом полу под кровлей из пальмовых веток лежала женщина. Шаги приближались, а Лунеро опустил малыша вниз головою и хлопал, хлопал его ладонью, чтобы тот заплакал, заплакал, пока не приблизятся шаги. И Он заплакал. Заплакал и начал жить..

■

Я не знаю... не знаю... Он — это Я?.. Ты — это был Он?.. или Я — это все трое?.. Ты... Я несу тебя в себе, и Ты умрешь со мною... Господи, боже... Он... Я нес его в себе, и Он умрет со мною... все трое... те, что говорили... Я... унесу себя в себе и умру... один...

■

ТЫ уже ничего не узнаешь: не увидишь твое вскрытое этой ночью сердце, твое вскрытое сердце... Говорят: «Скальпель, скальпель»... Я-то слышу, потому что я еще продолжаю слышать, а Ты уже не услышишь, не узнаешь... Я — это был Он, буду — Ты... Я слушаю, среди стекла, под лампой, в глубине, внизу, над тобой и над ним... «Скальпель»... тебя вскрывают... делают прижигание... вскрывают брюшную полость... ее вспарывает точный, тонкий, холодный нож... В животе видят жидкость... проникают глубже... видят клубок набухших воспаленных внутренностей под твоей твердой, налитой кровью брыжейкой... Находят плошку циркулярной гангрены... залитую зловонной жидкостью... Говорят, повторяют... «инфаркт»... «инфаркт мезентерия»... они смотрят на твой открытый кишечник, ярко-красный, почти черный... говорят... повторяют... «пульс»... «температура»... «точечное прободение»... ест, гложет... кровянистая жидкость течет из твоего вскрытого живота... говорят, повторяют... «бесполезно»... «бесполезно»... трое... вот сгусток отделяется, отделится от черной крови... поплывет, остановится... остановился... твое молчание... твои открытые глаза... не видят... твои ледяные пальцы... не чувствуют... твои черно-синие ногти... твои вздрагивающие челюсти... Артемио Крус... только имя... «бесполезно»... «сердце»... «массаж»... «бесполезно»... Ты уже знать не будешь... Я нес тебя в себе и умру с тобою... все трое... умрем... Ты... умираешь... умер... умру.

ДЖОН Б. ПРИСТЛИ

Сэр Майкл и сэр Джордж

РОМАН

Перевод с английского
Р. РАЙТ-КОВАЛЕВОЙ и В. ХИНКИС.

I

Сэр Джордж ненадолго задержал взгляд на высоких окнах, выходивших на Рассел-сквер. Там в сверканье дождя куролесил апрельский день. Надеясь, что его американский гость не заметит, с какой неохотой с ним разговаривают,— сэр Джордж верил в учтивость и до сих пор стойко сражался под ее изрешеченным в боях бархатным стягом,— он сказал:

— Простите, мистер Бэкон. Как вы сказали?

Мистер Фрэнклин Бэкон был послан в Европу как стипендиат Общества имени Линкольна Эпплбаума — писать исследование о государственном содействии развитию искусства. Это был высокий, ширококостый юноша, очень нескладный и с лицом, настолько ничего не выражавшим, что казалось, его только что выпустили с фабрики и едва успели распаковать. Голос у него походил на отдаленный вой пароходной сирены, и слушать его было очень трудно.

— Я говорил, сэр Джордж, что никак не пойму толком разницу между вашим Департаментом информации и искусства...

— Мы называем его Дискус, мистер Бэкон. Так короче.

— Ясно. Так вот, я все еще как следует не пойму разницу между вашим Дискусом и Комитетом содействия искусству.

— Так называемым Комси, мистер Бэкон.

— Да, сэр, мне уже говорили. Так вот, сэр, повторяю...

Но сэр Джордж ловко перебил вой сирены:

— Кстати, вы уже видели моего коллегу из Комси — сэра Майкла Стратеррика?

— Нет, сэр. Мне не удалось связаться с сэром Майклом.

Ответ расстроил сэра Джорджа по двум вполне веским причинам: во-первых, он понял, что к директору Комси обратились до него, то есть выказали ему предпочтение. Во-вторых, стало ясно, что хитрый Стратеррик знает, как увиливать от таких скучнейших посетителей. А может быть, его штат умел охранять свое начальство, чего сэр Джордж при всем желании про своих подчиненных сказать не мог — бросили же они его на съедение этому Бэкону. Надо будет им внушить со всей суровостью: генеральный секретарь надеется, что все примут к сведению...

— Позвольте объяснить вам разницу между Комси и Дискусом. Их деятельность не совсем совпадает. Мы в Дискусе несем ответственность за весьма серьезную информацию, чем в Комси не занимаются. С другой стороны, надо откровенно признать, что в некоторых частных случаях, касающихся распределения дотаций... м-ммм... хозяином является Комси, а не мы. Но в отношении руководства искусством — а я знаю, что вы изучаете именно этот аспект,— обе организации несут одинаковые функции.

— Это как же? — Брови мистера Бэкона взмыли почти до коротко подстриженных волос.

— Вы хотите сказать, что нам вовсе не надобны две отдельные организации? И вы совершенно правы, мистер Бэкон. Все, что Комси делает для развития искусства, гораздо лучше можем сделать мы в нашем Дискусе — не стану объяснять вам почему, но для этого есть основания. Да, положение явно нелепое, это верно. Но так уж случилось, впрочем, это длинная история, не буду вас затруднять. И все же...

Сэр Джордж остановился, слегка понизил голос и склонил голову. В подобных случаях он ничего не мог выразить мимикой — лицо у него было широкое, все еще внушительное, даже красивое, но оно уже обмякло, оплыло, будто лик одного из самых благородных римских императоров наспех вылепили из какой-то мягкой розоватой массы. На этом лице могло изобразиться удивление, непонимание, возмущение, добродушие и умеренный энтузиазм, но оно никоим образом не могло принять таинственное выражение. Эту функцию брал на себя голос, и сейчас этот голос почти что чревовещал:

— Строго между нами, мистер Бэкон, все началось в те времена, примерно года два-три назад, когда лорд-президент и министр просвещения друг с другом не разговаривали. И когда министр просвещения организовал Дискус, лорд-президент — не теперешний, а его предшественник — настоял на создании Комси, организации уже и тогда ненужной, а теперь до нелепости бесполезной. Разговоров об этом было немало — по нашему адресу до сих пор острят все, кому не лень,— но раньше или позже одной из организаций придется поглотить другую. Говорят, что самому премьеру доставляет удовольствие противиться любой попытке решить вопрос в пользу одного из нас. Вот как обстоит дело, мистер Бэкон.

Последние слова сэр Джордж произнес внушительным ласковым голосом, словно желая проявить необычайную широту души.

— А как вы, сэр Джордж, определите вашу личную ответственность, ваши обязанности, сэр? — Мистер Бэкон вынул блокнот, так и сверкавший новизной и, наверно, полученный в подарок от Общества имени Линкольна Эпплбаума.— Я не о личных обязанностях, а о тех, которые касаются вашей работы.

Сэр Джордж энергично закивал головой, словно мистер Бэкон попал в мишень стрелкового тира и привел ее в движение.

— Рад, что вы об этом спрашиваете. Весьма рад. И вот что я сделаю, мистер Бэкон. Сейчас я передам вас в руки мисс Уолсингем — она ведает у нас информацией. Знает все досконально. Спрашивайте у нее что вам угодно.

Насупившись, он поднял трубку внутреннего телефона:

— Говорит генеральный секретарь. Попросите мисс Уолсингем ко мне в кабинет.

Мистер Бэкон торопливо перелистал страницы блокнота, как дирижер, которому не угнаться за оркестром:

— Я читал статью в нашем журнале «Тайм»: они пишут, будто Комси, с точки зрения чисто *совре-мен-ного* искусства, куда более передовая организация, чем ваш Дискус.

От слов сэра Джорджа повеяло высокогорным холодом:

— Не представляю, что именно ваш... ммм-ммм... «Тайм» подразумевает под «чисто современным» искусством. У нас тут свои критерии. Разумеется, мы ни в коем случае не поощряем всяких шарлатанов, фокусников. Но лучше поговорите с мисс Уолсингем. Она отлично разбирается во всяких таких штуках.

— Каких штуках? — Мистер Бэкон явно растерялся, и сэр Джордж в который раз подумал, как трудно найти настоящее взаимопонимание со многими американцами именно потому, что говорят они на том же языке, но вкладывают в слова совсем другой смысл. Бормоча какую-то ерунду насчет того, что именно сумеет объяснить мисс Уолсингем, он напряженно прислушивался, не идет ли она.— А-а, прекрасно! Вот и она! — сказал он наконец.

Далеко не всегда сэр Джордж приветствовал Джун Уолсингем с таким энтузиазмом. И не то чтобы он ее недолюбливал. Да и свою работу по связи и информации она выполняла превосходно. Но он никак не мог понять ее. Красивая, белокурая, она казалась ослепительной, крупнее натуральной величины, будто только что сошла

с огромной афиши или с подмостков старинной оперетты. Вокруг нее, как атмосфера вокруг планеты, всегда носился какой-то особый дух, чуждый всем установкам и принципам Дискуса,— какой-то налет вызывающей женственности, отпечаток среды, где круглые сутки подают джин с лимонадом, едят черную икру и беспошлинную семгу, пьют и распутничают в роскошных отелях и вылетают на частных самолетах с горнолыжных станций, чтобы поспеть на премьеру фильма. Но если отбросить фантазии ради фактов, то на самом деле она была одной из самых добросовестных, преданных и честных служащих Дискуса и получала скромнейшее жалование и мизерные суммы на представительство, которые проверялись строже, чем любой рецепт врача в аптеке. Разумеется, она никогда раньше не служила на государственной службе, не то что сэр Джордж, прослуживший уже тридцать лет: в Дискус она пришла из какого-то безвестного женского журнальчика, где в испещренных восклицательными знаками статейках писала о дешевых распродажах дамских сумочек и о туристских поездках в Испанию. Но сэр Джордж, объясняя гостю, зачем он ее вызвал, сам понял, что он, в сущности, ничего толком о ней не знает.

И вот она засверкала и заискрилась перед ним, озарила, как прожектором, мистера Бэкона, а он, тоже похожий на портрет больше чем в натуральную величину, хотя и не совсем доделанный, стоял, ухмыляясь, рядом с ней, и оба словно только и ждали знака, чтобы начать опереточный вальс-дуэт. Сразу завязался разговор, и они вышли вместе, очень довольные друг другом. Сэр Джордж с облегчением вздохнул. Он не любил американцев. Он не любил молодых людей, пишущих исследования. Он не любил вопросов. И он был чертовски счастлив, что избавился от этого самого Бэкона. Больше это повторяться не должно. И он позвонил своей секретарше Джоан Дрейтон.

— Не знаю, как этот Бэкон, этот американец, сюда ворвался...— начал он.

— Очень трудно было, сэр Джордж. Я отлично все понимаю.

— Хорошо, оставим...— Он подал ей подписанные письма.— Но пусть это будет в последний раз, Джоан. Не приму его — ни под каким видом. Кстати, наш друг, сэр Майкл, очень ловко от него увернулся. Похоже на него. Теперь этим господином занимается мисс Уолсингем.

— Видала, видала,— глаза миссис Дрейтон, лучшее ее украшение — темно-карие в грусти и унынии, но с золотистыми искорками в веселье,— радостно заблестели.

— Знаете, я подумал, мисс Уолсингем так хорошо работает, ну и принимал ее как должное, но ведь, собственно говоря, я о ней ничего не знаю.

— Как, сэр Джордж, неужто вы не знаете, что она...

Но сэр Джордж отлично все знал. По ее голосу, по блеску глаз он догадался, что сейчас ему предстоит выслушать целую сагу о весьма интимных делах, и торопливо отмахнулся. Чуть ли не у всего штата Дискуса была чрезвычайно сложная и по большей части довольно унылая личная жизнь. Джоан Дрейтон и сама, овдовев, влюбилась по глупости в какого-то актера — Уолли, как его там дальше,— у него была жена, двое детей, и бросить он их не мог, а жить с ними постоянно не хотел. Весь Дискус знал, когда Уолли жил у Джоан и когда он возвращался в семью. Жил он у Джоан обычно, когда оставался без работы, и тогда, от раннего вставания, от хозяйственных забот, от поздних вечеров и полуночных бдений за бутылкой джина с приятелями Уолли (вход к нему домой им был заказан), от стряпни, стирки, штопки, от бессонного ожидания любовных ласк и вечной, хотя и знакомой угрозы, что в Уолли проснется совесть («Я вас обеих недостоин!»), от драматических сцен, где Уолли, как бездарный актер, всегда переигрывал,— от всего этого Джоан, темноглазая и темноволосая красавица, худела и дурнела. Но как только он от нее уходил («Нет, девочка, ничего не выйдет, мне платят всего тридцать шиллингов в неделю, и единственный выход — вернуться к Дороти, к ребятам») — у нее становился совсем несчастный вид, а глаза теряли блеск, пока Уолли снова не начинал звонить ей по телефону. Сэру Джорджу такая жизнь казалась ужасающей, и он не мог понять, как такая женщина, как Джоан Дрейтон, умная и толковая, настолько поддавалась своим женским чувствам, что жила в этом вечном метании. Да и Уолли, с которым она его как-то познакомила, никак не заслуживал такого отношения — до того он был невзрачный, потрепанный, а в обществе просто неприемлемый.

Но до чего эти женщины странный, испорченный и непонятный народ: когда сэр Джордж рассказал жене про эту бесконечную нелепую волынку, Элисон и не подумала возмутиться вместе с ним и только сказала, нахмурясь: «Что ж, может быть, ей именно это и нужно. Во всяком случае, тут хоть что-то есть».

Замечание явно нелепое.

Но оборвав неначатую сагу о Джун Уолсингем и не желая обидеть и разочаровать Джоан Дрейтон — а она, должно быть, из-за Уолли, обижалась по любому пустяку,— сэр Джордж улыбнулся ей и сказал:

— Да, да, все это очень сложные, очень личные дела, и лучше мне о них не знать.

— Но, сэр Джордж, вы же сами сказали...

— Да, да, да, сказал, что почти ничего не знаю о мисс Уолсингем. Так вот я предпочитаю и впредь ничего не знать. Так будет лучше, куда лучше. Странное дело — не знаю, Джоан, думали ли вы об этом,— вот существует Комси, организация более чем сомнительная, и директором там человек далеко не респектабельный — работал в каких-то музеях, на каких-то несолидных должностях,— и все же у него в штате есть несколько глубоко порядочных, надежных людей, например, Джим Марлоу, Дадли Чепмен, Эдгар Хоукинс, все отличные здравомыслящие люди. И существуем мы, государственное учреждение, нас содержит казна, и мы не клянчим дотации и пособия у всяких обществ и частных лиц, и хотя работают тут неплохо, и не мне жаловаться на мой штат, но факт остается фактом: именно у нас, а не в Комси нашли прибежище всякие неустойчивые люди, которых многие директора не знали, куда девать. Ума не приложу — случайность ли это, а если нет, то почему так вышло?

— Не знаю, сэр Джордж.

— Нет, нет, вы и не можете знать. Вопрос чисто риторический.

— Да, кстати, вы мне напомнили,— миссис Дрейтон внезапно просияла.— Я все собиралась вам сказать, но вы были заняты этим американцем. Тимми вернулся!

— Тимми вернулся? Я вас не понимаю, Джоан,— расплывшаяся физиономия сэра Джорджа изобразила полное непонимание, и это ему неплохо удалось, хотя вообще мимика у него была небогатая.

— Я про Тима Кемпа,— внушительно, хотя и по-прежнему весело, с сияющей улыбкой повторила миссис Дрейтон.— Он вернулся к нам.

— Кемп? Боже правый! Неужели?

— Да, конечно. Он заходил ко мне, хотел видеть вас. Мы с ним поболтали.— Она улыбнулась при этом воспоминании.— Он такой милый, этот Тимми.

— Никак не пойму, что вы, женщины, подразумеваете под словом «милый». Да, пожалуй, вы и сами не понимаете. Надеюсь, что все остальные тут, у нас, отнюдь не считают его «милым».

— Как это не считают? Его тут обожают все.

Сэр Джордж был несколько ограничен в средствах выражения гнева и возмущения. Он только сжал губы так, что весь рот провалился, и с шумом начал вдыхать и выдыхать воздух через нос, словно застоявшийся паровоз.

— Зато я его не обожаю. Думал — больше никогда его не увижу. Нет, черт подери, это чудовищно. Поймите, что происходит. Там, в министерстве просвещения, не знают, куда его девать, все-таки он там столько лет заведовал отделом, и если бы не запил, если б не свихнулся, давно был бы заместителем министра, и вот, понимаете, они не знали, что с ним делать, и перевели его ко мне. Несколько месяцев я пускал в ход все связи и наконец добился, чтобы его перевели в Комси. Потом Стратеррик добился, чтобы этого Кемпа снова взяли в министерство, не знаю уж, как ему удался этот фокус. Они пытались опять сунуть его ко мне, но тут я встал на дыбы. Слышал я, что ему дали отпуск по болезни.

— Да, он мне рассказывал. Он был в Ирландии.

— И вот он опять тут? Возмутительно! — Сэр Джордж вдруг принял официальный тон, как полагается главе учреждения: — Немедленно вызовите ко мне мистера Кемпа.

После ухода миссис Дрейтон сэр Джордж мрачно и с недоверием прочел длинное письмо с требованием к Дискусу субсидировать турне труппы с репертуаром религиозных пьес в стихах по шахтерским городкам Йоркшира и Дарема. Сэр Джордж сделал пометку — с пристрастием допросить Хьюго Хейвуда, заведующего драматической

секцией, как это он счел возможным поддержать такую просьбу. Одно дело — верить, как верил Хьюго, что только поэзия может спасти театр, и совершенно другое — вообразить, что шахтеры Дарема и Йоркшира жаждут насладиться религиозными пьесами в стихах, в которых лицедействуют две полупомешанные актрисы лет под семьдесят и шесть юнцов-полулюбителей. Бывали моменты, когда сэр Джордж, несмотря на весь свой оптимизм, разумные, передовые взгляды и веру в постепенный, но прочный прогресс, начинал ощущать, что мир становится недоступным его пониманию. Такой момент наступил и сейчас. И появление Тима Кемпа никак не помогло восстановить ощущение порядка и здравого смысла.

Тим был невысокий плотный человек, лет за пятьдесят, с огромными, круглыми, совершенно детскими глазами цвета небесной синевы и с редковатыми, но пушистыми седыми волосами, какие почему-то бывают у многих чудаков. Костюм на нем был сравнительно чистый, но ужасающе потрепанный, и он походил скорее на разъезжего торговца какими-то сомнительными целебными травами, чем на государственного служащего в должности главы отдела. Ничего «милого и очаровательного» сэр Джордж в нем не находил. После отпуска, проведенного в Ирландии, он только стал еще меньше ростом, потрепаннее и чудаковатее — в нем даже появилось что-то от лесного гнома.

— Должен вам сказать, мистер Кемп,— не выдержал сэр Джордж,— что мне все это кажется весьма странным.

Кемп уже сел и раскурил короткую трубку — она очень булькала и воняла. Пропустив реплику сэра Джорджа мимо ушей и, как всегда, выговаривая слова очень медленно и с той отчетливостью, от которой его суждения казались еще более возмутительными, он начал:

— Знаю, надо было явиться к вам с самого утра. Но в доме по соседству со мной действительно оказался бордель, и нынче утром, как ни странно, полиция устроила там облаву. Началась суматоха, чуть ли не паника, и мы, как добрые соседи, разумеется, приняли участие. Не знаю, знакомы ли вам эти места около Холленд-парка.

— Нет, мистер Кемп, и давайте не будем обсуждать эти вопросы. Интересует меня одно — как вы оказались здесь?

— Разве из министерства вам не писали? Джордж Данн должен был вам сообщить. Нет? Очень жаль. Но он непременно вам напишет. Уверяю вас, все в порядке.

— А вы твердо уверены, что вас не назначили обратно в Комси? — Сэр Джордж посмотрел на него с надеждой.

— Конечно уверен. Правда, о такой возможности говорилось, но я разъяснил, что предпочитаю вернуться в Дискус. Тут с вами всеми куда приятнее работать. Быть может, это вас удивит, но я недолюбливаю Стратеррика: шарлатан-шотландец, циник и пройдоха, как все кельты.

Это мнение так совпало с мнением самого сэра Джорджа, что его суровость смягчилась.

— Хорошо, я сам проверю, почему вас сюда перевели, поговорю с Данном. Не хочу сказать, что для вас, Кемп, тут места не найдется, но...

— Скажите, а кто еще перешел сюда из Комси?

— Насколько мне известно, никто.

Кемп вынул трубку изо рта и улыбнулся. Уголки его рта поползли вверх и в стороны:

— Я могу оказаться очень полезным.

Сэр Джордж сразу понял, о чем он, но чувствовал, что вступать в мелкий заговор с Кемпом ниже его достоинства.

— Но... мм-мм... послушайте, Кемп, мне надо знать, вы пьете... мм-мм... по-прежнему?

— Пью. Но только джин. Редко другое. Пью, но не напиваюсь, так что не беспокойтесь, дорогой мой генеральный секретарь. Правда, меня можно было бы обвинить — и то, на мой взгляд, несправедливо — в некоторой безответственности, ну, скажем, вдруг начинаю смеяться на собраниях.

Сэр Джордж нахмурился:

— Но это из-за джина?

— Конечно, тут и джин действует. Но разве, даже с точки зрения Дискуса, нельзя

найти в этом хорошую сторону? Разве не ценно, и для такого учреждения в особенности, когда человек непредвзято выражает свое мнение, особенно если этот человек неглуп, чуток, но нуждается в порции джина для подкрепления? Разве плохо иногда обращаться за поддержкой к здравому смыслу такого любителя джина? Даже если вы считаете, что нельзя пить так много, как пью я — грешен! грешен! — то вспомните шекспировского мудреца, венского герцога.

Тут Кемп наклонился вперед, расширив глаза так, что они вспыхнули синим пламенем.

— «Пусть дьявола почтят на огненном престоле!» У меня всегда волосы становятся дыбом от этих строк в «Мере за меру». Но их, конечно, надо истолковывать в том смысле, что...

— Только не сегодня,— ворчливо перебил его сэр Джордж.— Сейчас мне не до трактовки «Меры за меру», Кемп. Основной вопрос вот в чем: раз вы уже тут, что нам с вами делать?

Кемп посмотрел на него с упреком. Синева глаз поблекла.

— По-вашему, нехорошо вышло? Нет, тут вы ошибаетесь. Я человек с интуицией, чего в вас, как мне кажется, нет, и я смогу быть вам очень и очень полезным.

— Что ж, будем надеяться,— сказал сэр Джордж, досадуя, что ему самому стало неловко за себя.— А Нейл Джонсон знает, что вы вернулись? Знает? Отлично. Я поговорю и с ним, и с другими главами отделов. Ну, пожалуй, это все.

Однако минут через двадцать, когда испарились все следы посещения Кемпа — и запах скверного табака, и сладковатый запах джина, и пагубное для здравомыслящего человека обаяние, исходившее от всего его существа,— сэр Джордж снова усомнился.

— Ничего не понимаю,— сказал он миссис Дрейтон.— Если министерство хотело от него избавиться — и это мне вполне понятно,— почему же его не отправили обратно в Комси, где он был перед уходом в министерство?

— Но он предпочитает служить в Дискусе.— Голос ее звучал ласково, очарование Кемпа все еще действовало.— Он мне сам сказал.

— Да, он и мне сказал. Мало ли что он говорит. Безответственный человек. Нет, мне это и непонятно, и не по душе. Но с министерством я говорить не намерен. Надо выяснить с тем, кто явно стоит за всей этой кемповской историей, а я знаю, кто это. Джоан, позвоните в Комси, скажите, что я хочу поговорить с сэром Майклом Стратерриком по срочному делу.

Но в Комси ответили, что сэр Майкл сейчас отсутствует.

— Вечно одно и то же! — Сэр Джордж чувствовал, что срывается на крик, но ему было не до того.— Каждый раз, черт побери, как мне надо с ним поговорить, он уходит до конца дня. И что он только делает после ленча, не понимаю!

2

В ту самую минуту, когда сэр Джордж задавал этот вопрос на Рассел-сквер, сэр Майкл в Хемпстеде сидел на кровати сэра Джорджа с галстуком в одной руке и сигаретой в другой, соображая, стоит ли ради глотка виски с содовой спускаться вниз, в столовую. На соседней кровати Элисон, супруга сэра Джорджа, лежала голая под шелковым покрывалом, чей розовый цвет был немного светлее цвета ее щек, раскрасневшихся от любовной игры. Природа не поскупилась, создавая эту мощную красивую женщину, которая в обществе умела держаться так надменно, что большинство мужчин считали ее лишенной всякого темперамента, тогда как на самом деле она была чувственной и страстной. Именно по этой причине сэр Майкл и оказался тут: он любил романы, подперченные такими контрастами и противоречиями, любил срывать плоды там, где другие мужчины видели только крепость в пустыне.

Сейчас, нерешительно медля, с галстуком в руке, он понял, что ведет себя не слишком разумно. Ему удалось высвободиться из ее благодарных, но еще совершенно бездумных объятий, пробормотав, что ему надо торопиться куда-то по делу Комси, и стал одеваться с нарочитой торопливостью. Но вдруг он устал притворяться, хоть и чувствовал, что сейчас вызовет те комментарии, которые больно ранят мужчину, когда

он и на самом деле выдохся, устал и очень уязвим. Все они одинаковы, кроме совершенных дурочек: все они обижаются, чувствуют, что их чем-то унизили, даже предали, оттого, что за вспышкой страсти не последовали излияния в преданности, эмоциональные и духовные гарантии верности. И после того как страсть утихает и уже кажется им только хитрой мужской уловкой, они злобно выпускают когти и не вслепую, а с безошибочной интуицией вонзают именно в самые незащищенные, легко ранимые изъяны в броне мужского самолюбия и самоуважения. Вот и опять он сам напросился на сцену.

— Нет, наверно, я сошла с ума...— начала она.

— Дорогая моя Элисон, мы оба сошли с ума! — Легкий тон светской комедии.— Не хотите ли выпить?

— Нет. Впрочем, да, раз вам без этого не обойтись. Только прежде, чем идти вниз, завяжите галстук и наденьте пиджак. Правда, в доме никого нет, но вас могут увидеть в окно.

Он поймал себя на том, что спускается вниз крадучись, и, раздосадованный собой, зашагал внушительно и с достоинством — так, вероятно, ходил по своему дому сам сэр Джордж Дрейк, даже когда супруга отвергала его робкие домогательства. Но хотя сэр Майкл надел галстук и пиджак, башмаков на нем не было, и он сразу понял, что неосмотрительно шагать внушительно и с достоинством в одних носках. Вытащив из подошвы какую-то кнопку и проклиная все на свете, он проскакал на одной ноге в столовую — унылую, тесную комнату в коричневато-зеленых тонах, где витали призраки всех неудачных званых обедов. И, щедро наливая себе виски сэра Джорджа, сэр Майкл подумал, что по этой столовой сразу было видно и откуда родом Элисон — с шотландского приморья, и где воспитывалась — в университете Сент-Эндрюса.

Но в спальне все осталось как было.

— Да, я сумасшедшая,— повторила Элисон, цепляясь за свою же реплику, и явно в том же настроении.— Смотрю на вас и не понимаю, как я могла вообразить, что вы того стоите!

— Но я и не притворялся, что я того стою — впрочем, непонятно, что вы этим хотите сказать?

Она игнорировала его вопрос. Пока он ходил за виски, она сочинила целую речь, не допускавшую никаких перебивок.

— По правде сказать, вы хотя и горец, но дутый любовник. Да, признаюсь, сначала вы кажетесь очень привлекательным. Но и это не вы. Какой-то предок восемнадцатого века, какой-то пылкий романтик, темноглазый якобинец, проигравший бой, оставил вам в наследство это изборожденное страстями лицо, это выражение глаз, как оставляют в наследство табакерку или серебряный кубок. А нам, женщинам, так хочется знать, что за этим кроется,— вот и приходится и раз, и другой ложиться с вами в постель, прежде чем мы наконец признаемся себе, что за этим абсолютно ничего нет, кроме желания провести с женщиной часок после ленча, не беря на себя никакой ответственности. Не скажу, что вы в этих делах плохи, но желания ваши диктуются вовсе не честной страстью, а, скорее, тщеславием.

— Да, быть может, вы и правы.— Все тот же легкий тон.— Может быть, это и тщеславие. А может, и озорство. И что-то еще, совсем другое, какая-то очень древняя, глубоко укоренившаяся потребность — овладевать женой врага.

— Неужели? Разве все мы замужем за вашими врагами?

— Здесь ведь столица Англии. Но вы все время говорите во множественном числе «мы, женщины», словно вас у меня десятки!

— Возможно, почем я знаю! — Она пристально посмотрела на него. Глаза у нее были карие, жаркие, на них он и сделал первую ставку, несмотря на ее величественные манеры и крупные внушительные черты лица.— Я могу назвать по крайней мере троих — две мне сами доверили все, третью я наверняка угадала. Надо бы нам организовать союз: Ассоциация дневных развлечений имени сэра Майкла Стратеррика. Жаль, что вы того не стоите. Все мы очень скоро начинаем понимать — и вовсе не из тщеславия,— что не любите вы нас потому, что по существу любить не способны.

— Пожалуй, вы правы. Причина не в вас. Да, причина во мне самом. Чувство никогда не может выкристаллизоваться во мне — да вы вспомните Стендаля. Даже когда

я был молод и глуп, ничего не выходило, а уж теперь, наверно, ничего и не выйдет.

Как он вспоминал эти свои слова, когда, как дурак, полный отчаяния, вымаливал любовь у прелестной, но неумолимой богини! Как он их вспоминал в другие дни, наступившие очень скоро!

— Так что я всех вас недостоен, а вас, дорогая моя Элисон, особенно.

— Как жаль, что у меня нет магнитофона! — воскликнула она.— Вот хорошо бы прокрутить вам когда-нибудь все это. Как вы ни стараетесь, а в вашем тоне столько покровительственного снисхождения, столько скрытого высокомерия. Какие мы дуры — так рисковать, и ради такой малости! Правда, и в нас есть какое-то озорство. Все мужья, о каких я знаю или догадываюсь, все те англичане, которых вы грабите среди бела дня, когда они делают то, что и вы должны бы делать,— работают, все они немного слишком важные, слишком покладистые. Но они лучше вас, Майкл.

— Да, вероятно, в некоторых отношениях и лучше,— пробормотал он, не глядя на нее.

— Мой бедный Джордж стоит десятка таких, как вы. Вот за что я могла бы вас всерьез возненавидеть, если бы думала, что вы приходите ко мне главным образом назло Джорджу!

Но тут, в первый раз, он искренне запротестовал:

— Только не составляйте себе превратных понятий, Элисон. Думаю, что Джордж во мне терпеть не может все то, что он вообще ненавидит в людях. И оттого, что он не очень-то вдается в свои ощущения и разбираться в своих мотивах не умеет, оттого, что он немедленно любое свое сильное чувство привязывает к какому-нибудь отвлеченному понятию, как флаг к флагштоку, он может позволить себе удовольствие меня не любить. Во-первых, я не англосакс, а кельт. Во-вторых, я тип явно отрицательный. Руковожу я учреждением, соперничающим с ним, не будучи на государственной службе. Штат у меня гораздо лучше. Я понимаю артистов и художников, я им сочувствую, а оч — нет. По отношению к женщинам я негодяй, ну и так далее и тому подобное. И все это, дорогая моя Элисон, я принимаю без тени раздражения. И ни малейшего желания делать ему что-нибудь назло у меня нет, но только если дело не касается Дискуса и Комси. Как глава одного учреждения, он для меня, главы другого учреждения, неприемлем, так как он делает вредное дело и, с моей точки зрения, проводит глупейшую политику. Но, в сущности, он лично мне скорее даже нравится.

— Он работает куда лучше, чем вам кажется, Майкл.— Ее тон уже стал спокойнее.— Вы его недооцениваете, потому что вы гораздо оперативнее, умнее и беспринципнее его. Вы похожи на всех этих умных, хватких иностранцев, которые годами недооценивали служак-англичан вроде Джорджа, хотя потом им приходилось за это расплачиваться.

— Ну, вас тогда и на свете не было, милая Элисон. И тут сыграли роль вовсе не служаки-англичане, а их флот, их деньги. А теперь, когда эти козыри вышли из игры...

— Я не о том. У Джорджа есть свои достоинства, а вы их не замечаете, потому что вам они непонятны. И если между Дискусом и Комси пойдет борьба не на жизнь, а на смерть...

— Боюсь, что это так.

— ...то он вас, по всей вероятности, побьет. Надеюсь, что так и будет.

— Мне пора.— Он надел ботинки, встал и наклонился к ней: — Ну, Элисон, моя дорогая...

— Только не лгите. Ничего хорошего у нас не было. Мы сделали ужасную глупость, и вам стало грустно, а я рассердилась. И это в последний раз — говорю вам честно.

■

Машины у сэра Майкла не было. Только в очень плохую погоду было не совсем приятно идти от его квартиры на Найтсбридж до Комси, помещавшегося на Принсес-плейс в Мэйфере, недалеко от Шеперд-маркета. Да и стоило ли возиться с машиной, искать стоянку? Стоило ли выезжать на машине за город по субботам и воскресеньям,

как делают толпы дураков, когда поездом ездить много удобнее? Сейчас он взял такси у Хаверсток-хилл и поехал в Мэйфер по многомильным дорогам Лондона, который казался ему безликим и бездушным — огромный, унылый хаос, Америка, но без ее энергии и напора, Европа, но без ее культуры и веселья, город, сохраняющий разрушенные бомбами участки, словно кладбище, где похоронили его прежнюю сущность, его облик, его душу.

— Простите, что опоздал, Дадли,— сказал он Чепмену, ожидавшему его прихода, и стараясь вложить в эти слова все свое обаяние.— Да, нехорошо, нехорошо. Вечно я забываю, что все вы тут люди семейные, вам хочется поскорее домой, к своим. Не то что мне — старому холостяку, в пустую квартиру. Не стану вас обманывать — впрочем, это не так легко — и скажу вам откровенно: ненавижу работать в дневные часы, всегда ненавидел, с самого Оксфорда, вот и выходит, что я готов приступить к работе именно тогда, когда вам, друзья, вполне естественно, уже не терпится уйти домой. Ну, давайте скорее посмотрим все. Я отложу то, над чем еще придется подумать.

После недолгого разговора Дадли Чепмен, коренастый человек, очень добросовестный, но начисто лишенный честолюбия и воображения, вдруг ухмыльнулся во весь рот. Улыбку трудно было не заметить, потому что пухлое, солидное лицо Дадли по внушительности напоминало кусок отборной филейной вырезки, предназначенной для торжественного банкета в Гилд-холле.

— В чем дело, Дадли? Я что-нибудь упустил?

— Нет, сэр Майкл.— Хотя директор Комси был на короткой ноге со своими служащими, он никакой фамильярности с их стороны не поощрял.— Вспомнил одну вещь. Пока вас не было, из министерства просвещения мне звонил Данн, сказал, что сегодня они направили Тима Кемпа в Дискус.

— И отлично сделали. Во всяком случае, сюда я его не взял бы. Если кому-то в Комси надо пить, так лучше я возьму это на себя. А кроме того, и сам Кемп меня недолюбливал, бог его знает за что, наверно, за то, что я был терпимее всех его начальников. У вас еще что-нибудь ко мне?

— Да, еще одно, сэр Майкл. Мисс Тюдор ушла, и нам теперь нужна новая машинистка-стенографистка. Конечно, можно дать объявление, а не то я могу попросить Данна — мы с ним друзья.

Улыбка явного злорадства осветила длинное смуглое лицо сэра Майкла, засверкала в его светло-зеленых глазах:

— Дадли, окажите мне услугу. Сначала спросите Данна, сколько служащих у Дрейка в Дискусе, и если, как я подозреваю, у них штат больше нашего, пусть Данн, в виде личного вам одолжения, настоит, чтобы Дискус передал нам одну из своих машинисток-стенографисток. Можете это сделать?

— Конечно могу, и, по всей вероятности, Данн сыграет нам на руку. Но какой в этом смысл?

— Откровенно говоря — никакого. Лишь бы им насолить. Только не говорите этого Данну, хоть вы и друзья. Скажите, будто я считаю, что нам труднее работается оттого, что у нас штат меньше, чем в Дискусе, и что я собирался официально жаловаться лорду-президенту и сказать ему, как министерство просвещения обходит ту договоренность, к которой он пришел с их министром. Впрочем, сами придумайте, что говорить, вы умеете. Мне главным образом хочется, как это ни стыдно, довести беднягу Джорджа Дрейка до белого каления. Он и так, должно быть, из себя выходит оттого, что Тим Кемп вернулся к ним. Да, мне лишь бы насолить ему, Дадли, лишь бы насолить. И вы мне помогите, мой милый, хорошо?

И сэр Майкл повел рукой — жест был такой же легкий, такой же беззаботный, такой же небрежный, как его тон. Таким жестом один из его предков, движимый бессознательной страстью к самоуничтожению, мог бы подтвердить свое согласие выйти на неравный бой. Но от государственных служащих, даже в том ранге, к какому принадлежал Дадли Чепмен, предвидения не требуется — а если Тим Кемп умел все предвидеть, то в нем это выработалось с помощью алкоголя,— поэтому Дадли Чепмен стоял и ухмылялся, и хотя он сам был не способен насолить кому бы то ни было, он готов был восхищаться озорными выходками своего директора,

особенно в неслужебное время. И ни малейшая, ни самая мельчайшая вспышка интуиции не подсказала Чепмену, что сэр Майкл этим небрежным жестом раздразнил судьбу и накликал на себя не только конфуз и унижение, но даже отчаяние и тоску.

— Думается мне,— сказал сэр Майкл, все еще улыбаясь,— что мы имеем право немножко позабавиться за счет сэра Джорджа Дрейка.

3

Если бы сэру Джорджу Дрейку больше повезло со штатом Дискуса, он, наверно, с удовольствием проводил бы еженедельное заседание, как с удовольствием сидел на таких же заседаниях раньше, когда еще не председательствовал на них. При дельных, энергичных сотрудниках, при толковой повестке дня заседание могло бы стать приятным, даже уютным. Но только не в Дискусе, только не с этой компанией.

Взять, например, Джералда Спенсера (изобразительное искусство), нос у него был длинный, шея длинная, а между ними вместо рта — почти ничего, хотя ему и этого хватало, чтобы говорить, говорить, говорить без устали, без остановки. Он с презрением относился ко всей той живописи, которую хоть как-то умел оценить сэр Джордж, и высказывал свое чрезвычайно скупое одобрение только картинам, на которых было изображено что-то вроде разобранных машин или человеческих лиц и фигур, явно изъеденных червями. Никола Пемброук, привлекательная яркая брюнетка, по существу очень милая женщина, помощница и счастливая рабыня больного мужа, ученый-музыковед, походила на скрипачку из цыганского хора, хотя сама по-настоящему любила только раннюю полифоническую музыку и немелодичные современные произведения. Хьюго Хейвуд, с виду похожий на романтического актера, хотя и не опустившегося, но заплывшего жиром, был довольно приятным человеком, но его твердая вера в то, что только поэзия может спасти театр, пока что ничего дельного не внесла ни в работу драматической секции Дискуса, которую он возглавлял, ни в работу театра вообще. Нейл Джонсон — заместитель сэра Джорджа, ответственный за финансовую часть и административный отдел,— мог бы стать выдающимся деятелем, но, не получив повышения в министерстве финансов из-за какой-то своей бунтарской выходки и назначенный по собственной просьбе в Дискус, теперь никак не мог удержаться от поддержки любых протестов и бунтов, словно под оболочкой блестящего, весьма представительного чиновника — а в Дискусе ни у кого, даже у самого сэра Джорджа не было такой представительной внешности — таился какой-то заговорщик, оратор-демагог. А теперь к этой четверке, как к пороховой бочке, готовой взорваться, в качестве постоянного фитиля присоединили Тима Кемпа — вон он сидит, улыбается поверх своей коротенькой трубки, похожий на мудреца секты Зен, хотя и с явным отпечатком лондонских трущоб. Сэр Джордж покосился на него через стол, еле сдерживаясь, чтобы не высказать свое возмущение, — может быть, тогда с этой физиономии исчезло бы подобие восточной улыбки. Он с трудом заставил себя снова углубиться в повестку дня.

— Где же мы остановились? Ах, да, пятое: концерт Спайка Эндрюса.— При этом имени он нахмурился: — Это ваше предложение, Никола.

— Но вы же помните Спайка Эндрюса.

Да, сэр Джордж его помнил.

— Тот самый композитор, он еще силой сюда ворвался, вел себя возмутительно. Невыносимый господин. Почему это он снова нас беспокоит? Никола, попрошу вас объяснить все сначала.

Миссис Пемброук с силой потушила сигарету в пепельнице, словно вдруг решила навеки бросить курить, прикрыла на миг глаза, потом широко открыла их и начала:

— Он написал «Космическую симфонию», для большого оркестра — очень большого, с двумя певцами, с хором, исполняется час с четвертью. Как оркестр Лондонской филармонии, так и Лондонский симфонический оркестр согласны ее испол-

нить либо в Фестивал-холле, либо в Альберт-холле, но им, конечно, нужна гарантия. И они правы, это работа большого размаха. Композитор обратился и к нам, и в Комси, но и мы, и они ему отказали. Теперь он уговорил Би-би-си внести половину гарантийной суммы — двести фунтов,— если мы дадим вторую половину. Для него это особенно важно, так как Би-би-си будет записывать концерт. Потому он снова пришел к нам, сидел тут у меня часами. Случайно я узнала, что он опять обращался и в Комси и они опять ему отказали. Могу добавить, что мой муж читал партитуру, говорит, вещь очень трудная, не совсем зрелая, но интересная и исполнить ее стоит. Мне кажется, что теперь, когда в Би-би-си заинтересовались, мы можем рискнуть двумястами фунтов. Надо помнить, что это только гарантия в случае неуспеха. Если концерт удастся, мы не потеряем ни одного пенни.

— Благодарю вас, Никола,— сказал сэр Джордж.— Но прежде чем ознакомиться с точкой зрения остальных, я должен подчеркнуть, что, по моему мнению, мы не можем обсуждать это предложение по-деловому, если не будем считать заранее, что это обойдется Дискусу в двести фунтов.

— Правильно,— сказал Хьюго Хейвуд.— Мы потеряем двести фунтов. Какой бы оркестр за это ни взялся, он непременно израсходует лишнее, и к нам придут требовать еще денег. Я против.

— Я тоже,— сказал Спенсер с редкой для него лаконичностью.

— А я нет, господин председатель,— подал голос Нейл Джонсон.— Мы могли бы тут противостоять Комси. Даже если вся гарантийная сумма пропадет, мы за эти деньги получим отличную рекламу для нашего учреждения, тут и Би-би-си, и музыкальная пресса, и все, кто связан с исполнением. Я голосую за, господин председатель.

Сэр Джордж вопросительно посмотрел на Кемпа. Тот в свою очередь посмотрел на Никола Пемброук:

— Вам нравится этот Спайк Эндрюс, Никола?

— Не выношу его. Но это ничего не доказывает. Наверно, я и Бетховена ненавидела бы.

— Бетховен перед смертью благословлял англичан и Филармоническое общество,— сказал Кемп,— а теперь кто кого благословляет? Кто заслуживает благословения? Филармоническое общество послало Бетховену сто фунтов авансом за концерт, данный в пользу композитора. Тогдашние сто фунтов все равно что теперешние полторы тысячи. Почему же мы воображаем, что...

— Мистер Кемп,— сказал сэр Джордж с откровенным нетерпением,— может быть, вы хотите высказаться насчет этой дотации, этой гарантийной суммы?

— Да, конечно,— сказал Кемп.— Я — за.

— Значит, у нас есть три за и два против. Я тоже против.— Сэр Джордж сурово посмотрел на всех.— И на этот раз мне придется воспользоваться своей привилегией. Мы отказываем мистеру Эндрюсу в его просьбе.

— Сэр Джордж,— сказала Никола Пемброук, явно огорченная этим решением,— будьте добры, напишите ему сами, так сказать, ответ на высшем уровне!

Он поднял брови, голос его прозвучал высокомерно:

— Не вижу особой необходимости: не верится, что человек по имени Спайк Эндрюс заслуживает ответа на высшем уровне, но ради вас я готов. Запишите, пожалуйста, миссис Дрейтон,— письмо Эндрюсу. Переходим к шестому пункту. Выставка Неда Грина.

Джералд Спенсер, совсем было утонувший в глубине кресла, вдруг стал распрямляться, вытягиваться, и его длинная шея и длинный нос придавали ему сходство с каким-то допотопным животным. В тени, между носом и шеей, его почти невидимые губы, словно сделанные из бледной резины, стали шевелиться и извиваться, шипя и брызгая слюной.

— Считаю, что это очень существенно. Нед Грин десять лет прожил во Франции. На днях, впервые за много лет, открывается его персональная выставка в галерее Баро. Люсьен Баро уверил меня — а на него можно положиться,— что это будет сенсация. Дешевле двух тысяч фунтов там ни одной картины не будет. Баро говорил, что он и так мог бы их продать, не выставляя, но выставка ему нужна для галереи. Сам я

не в большом восторге от работ Грина. Слишком очевидный компромисс между предметной и абстрактной живописью — как Вийон или де Сталь, но сила в нем огромная, бездна уверенности, цветовые эффекты, так что вполне понятно, почему все не слишком разборчивые коллекционеры гоняются за ним. Грин сам приезжает на выставку в галерее Баро, и, это очень важно, Баро обещал дать мне знать, когда он приедет, и свести нас с ним. Это чрезвычайно важно, так как Грин — человек трудный, совершенно недоступный, ненавидит рекламу и общение с людьми, в некотором роде, как Тернер,— опрощение, безвестность. Теперь самый главный, самый существенный момент...— Он остановился, чтобы передохнуть.

— Отлично! — сказал Нейл Джонсон, хотя он и не любил Спенсера.

— Задумано так: Грин приезжает, и мы его уговариваем разрешить нам устроить его выставку под маркой Дискуса. Баро говорит, что Грин, вероятно, согласится. Широкой публике будет дана возможность посмотреть его картины, запертые в частных собраниях. И Дискус устроит эту персональную его выставку в самый подходящий момент. Для Комси тут все пути закрыты. Баро поссорился с Сесилом Тарлтоном, их заведующим отделом изобразительных искусств. И еще Баро сказал, что Грин не любит Майкла Стратеррика — с тех самых пор, как Стратеррик занимался изобразительными искусствами. Так что нам и карты в руки. Неплохая мысль, как вы считаете?

В хоре одобрений громче всех звучал голос сэра Джорджа. Он приказал Спенсеру и его отделу начать подготовку выставки Неда Грина.

— Конечно, я постараюсь, чтобы вам отдали должное, как инициатору, Джеральд,— добавил он,— но как только Баро сообщит нам, что Грин приехал, и скажет, где его найти, я хотел бы сам поговорить с ним о его выставке, чтобы эта идея исходила с самого высшего уровня Дискуса. Дело, по моему мнению, безусловно важное.

Все согласились, что дело важное. Но тут, к досаде сэра Джорджа, вмешался Кемп.

— Вы сами хотите встретиться с Грином, генеральный секретарь? — спросил он.

Ответ сэра Джорджа был верхом холодности:

— Да, таково мое намерение, мистер Кемп. У вас есть возражения?

Ирония была слишком явной, и это собранию не понравилось.

У Кемпа вид был невинный и рассеянный, как у китайского отшельника на горе:

— Не мне возражать, генеральный секретарь. Но встречаться с Недом Грином я вам не советую. Я его знал не очень близко до его отъезда во Францию. Разговаривать с ним вам будет... м-мм... довольно затруднительно.

— Вот как? А по каким причинам мне будет затруднительно договориться с ним, особенно когда речь идет о таком лестном предложении, раз даже вы смогли завязать с ним знакомство?

Вопрос был поставлен сложно, но сэр Джордж ухитрился вложить в него оттенок вызова.

Лицо Кемпа сморщилось, голубые глаза сузились и потемнели:

— Причины на это есть. Но, конечно, я могу ошибаться. И все же, зная Грина, я вам не советую с ним встречаться.

Сэр Джордж помолчал, потом стал снова сосредоточенно водить пальцем по повестке дня. И через четыре пункта он увидел, что может отплатить Кемпу за его непрошеное вмешательство, за нагловатое предупреждение...

— План леди Бодли-Кобем,— объявил он утомленным до предела голосом, словно в тысячный раз отказывался помочь убрать дохлого слона со стола.— Есть что-нибудь новое, Нейл?

— Нет, господин председатель. Леди Бодли-Кобем раза два звонила нам по телефону, но, по правде говоря, у меня не было времени, да и охоты, должен сознаться, снова ехать к ней. Впрочем, это бесполезно. Я уже говорил, что она меня очень невзлюбила. Однако считаю, что совсем выпускать ее из рук не следует, тем более что тогда она обратится в Комси, если только уже не обратилась. Может быть, кто-нибудь из моих заместителей по секции возьмет ее на себя. Только не женщина. Она ненавидит женщин.

— Хорошо, Нейл. Уберите ее из вашей картотеки. И все-таки жаль прекратить переговоры с ней на такой стадии.— Сэр Джордж обвел взглядом стол и не без ехидства улыбнулся Кемпу: — Так как дело Бодли-Кобем началось после вашего краткого пребывания у нас, мистер Кемп, то, пожалуй, нелишне объяснить вам все вкратце. Леди Бодли-Кобем — богатейшая старая вдова, эксцентрична и, очевидно, не в своем уме, разумеется, с общественной, а не с юридической точки зрения,— и вот она пожелала внести свою лепту в процветание искусства. Любимая ее идея — мы уже израсходовали на нее невероятное количество времени и бумаги — это перестройка громадной усадьбы в одном из ее поместий под пансионат, где художники могли бы жить и творить. Но до сих пор все, что она предлагала, было бессмысленно, а когда мы предлагаем ей более разумное решение, она его немедленно отвергает. А что, если вам заняться планом Бодли-Кобем? Ведь вы единственный в штате не отвечаете ни за один из отделов.

— Охотно, сэр Джордж. Почему бы и нет? — Кемп с той же открытой улыбкой обратился к Нейлу Джонсону: — Вы мне дадите материалы, Нейл?

— Конечно, Тим. Но предупреждаю, они наводнят весь ваш кабинетик.

— А я вас предупреждаю, Тимми, что старушка совершенная психопатка,— сказала Никола Пемброук.— Один раз я у нее была, и больше — ни за что!

— Спасибо, Никола, милая,— сказал Кемп,— но теперь меня никакие психи не пугают. Я куда больше боюсь так называемых здравомыслящих людей.

— Переходим к следующему пункту повестки,— объявил сэр Джордж.— Да, кстати, почему нет мисс Уолсингем?

Все молча посмотрели на него, потом Кемп сказал:

— Ушла к зубному врачу. Он неожиданно позвонил, сказал, что может ее принять. Звонил при мне — я как раз был у нее в кабинете, вот откуда мне это известно.

— Вот как! Но ей следовало послать мне записку, хотя бы объяснить свое отсутствие.

— Она и послала — через меня. Это я виноват,— сказал Кемп, но ни по голосу, ни по виду нельзя было сказать, что он чувствует себя виноватым.— Забыл отдать.

Сэр Джордж сердито взглянул на него и снова, с сердцем и с натугой, занялся остальными пунктами повестки дня. Он готов был сорваться из-за чего угодно, но, к счастью, до конца заседания ему ни разу не пришлось обращаться к Тиму Кемпу, а тот сидел, попыхивая своей отвратительной трубкой, устремив синие глаза в пространство, и даже не делал попытки вслушаться в то, что говорилось. И от него самого никакой пользы, сердито подумал сэр Джордж, и на штат дурно влияет.

Заседание отняло все утро, и через десять минут после его окончания, наспех продиктовав кое-какие письма миссис Дрейтон, сэр Джордж мрачно прошагал в свой клуб на завтрак — словно римский генерал, вернувшийся от тевтонских племен. Мысль о Кемпе продолжала его тревожить. А когда он отмел эту мысль, его стали тревожить мысли о его супруге, Элисон.

Трудно было здравомыслящему человеку понять, почему Элисон со свойственным женщинам непостоянством и упрямством, подчиняясь какой-то минутной прихоти, какому-то неожиданному капризу, вдруг без всякой причины переменила свое мнение: раньше она защищала Стратеррика, называла соперничество между Комси и Дискусом мальчишеством, говорила, что сэр Джордж придает слишком большое значение и себе, и всему, что с ним связано. А теперь она ударилась в другую крайность — с утра до вечера уверяла его, что он проявляет чересчур большую терпимость к Стратеррику, что тот просто дутая величина, самозванец и все свое время, как она знает понаслышке, тратит на погоню за женщинами и что давно пора смести Комси и дать дорогу Дискусу, что сэр Джордж слишком покладист, слишком уступчив и никак не пускает в ход свой талант руководителя, полководца. И ее упреки повлияли на него: к примеру, во время сегодняшнего заседания он резко отказал этому композитору, этому несчастному Спайку Эндрюсу, решил лично переговорить с Недом Грином и свалил всю эту бодли-кобемовскую затею на Кемпа. И если бы у Элисон было настроение выслушать, он мог бы за обедом обрисовать ей в общих чертах это заседание. И все же он был вынужден сознаться в глубине души: не все шло, как надо, какая-то неопределенная неуловимая тень тревоги таилась в глубине

его сознания, и в клуб вошел очень растерянный, почти что несчастный сэр Джордж, который тут же принял рюмочку сухого хереса от Уилкинсона, заместителя министра по топливу и электроэнергии.

4

Сэр Майкл скучал. Он ненавидел заседания и устраивал их лишь потому, что все старшие сотрудники Комси были большими любителями заседать. Не понимали они, дураки несчастные, что Лондон не то место, где важные дела решаются в официальных разговорах за столом: вся сила в Лондоне пускается в ход путем намеков, подмигиваний, подталкиваний, путем перешептываний в уголках клубных курилок и сонных реплик над второй чашкой кофе, после ленча. А они, в полной невинности, сидят, напряженно слушая, до самого конца повестки дня: тут и Дадли Чепмен, похожий физиономией на воскресный бифштекс, и Джим Марлоу, «финансист», который таращит глаза при распределении самой жалкой ссуды, словно отпускаются средства на постройку гигантской и совершенно бесполезной ракеты, и Сесил Тарлтон, деликатно принюхивающийся ко всем изобразительным искусствам, и Джеф Берд, добросовестный, надежный, неглупый, но безнадежно проваливающий любое мероприятие из-за полнейшего непонимания театральных деятелей, с которыми ему приходится сталкиваться. Тут и Эдит Фробишер, вся — греческий профиль и величественная глупость, и наконец Эдгар Хоукинс, похожий на сильно потрепанного боксера-легковеса и считающийся знатоком ранней китайской керамики; несмотря на неутомимые, непрестанные старания, он так же годился на роль заведующего отделом общественных сношений, как чья-нибудь тетушка, старая дева, да к тому же глухая. За спиной сэра Майкла, немного в стороне, ловя каждое слово, сидела его секретарша мисс Гилни, специально выбранная — сэр Майкл хорошо знал самого себя,— за полное отсутствие какой-бы то ни было женской привлекательности: коротенькая, квадратная, она походила на выбритого наспех Ибсена. Сэр Майкл, как всегда, слышал ее хрипловатое дыхание над блокнотом. Ему ни разу не пришло в голову, что гораздо разумнее было бы выбрать в секретарши любую молодую женщину, одаренную любыми качествами, но непременно чью-то невесту или счастливую жену, во всяком случае такую, чьи нежные чувства были бы прочно заняты кем-то другим. А в груди мисс Гилни, несмотря на квадратную коротенькую фигуру и схожий с Ибсеном профиль, билось живое сердце, и в этом сердце пылала неистовая страсть к сэру Майклу Стратеррику.

— Эдит, дорогая моя,— и сэр Майкл улыбнулся мисс Фробишер,— мы не только еще раз откажем этому Спайку Эндрюсу, но советую на этот раз отказать ему как можно резче, чтобы больше он к нам никогда не обращался.

— Да, директор, я знаю, он очень надоедлив. Кому и знать, как не мне. И мы уже дважды ему говорили, что ничего сделать не можем. Но все же мне кажется, не надо его обижать.

И мисс Фробишер, чьи классические черты никак не допускали возможности сморщить нос или надуть губки, с умоляющим видом склонила голову на правое плечо.

— Вы хотите сказать, что вам его обижать не хочется, Эдит? Отлично. Я возьму это на себя. Напомните мне, мисс Гилни, написать мистеру Спайку Эндрюсу короткое, но очень злое письмо. Что у нас дальше? Литографии для Сендерленда? Что это вы затеяли, Сесил?

Уже к концу повестки, расправившись единым махом с затяжным, как трясина, вопросом, касавшимся каких-то студентов из Пакистана, сэр Майкл с укоризной ткнул пальцем в Дадли Чепмена и воскликнул:

— Это вы поставили в повестку, Дадли? План Бодли-Кобем? Впервые слышу. Что это значит?

— Я навел справки, прежде чем вас беспокоить, сэр Майкл,— сказал Чепмен.— У нас есть возможность оттягать кое-что у Дискуса — они, как видно, здорово оплошали. Судя по письму, которое пришло к нам от леди Бодли-Кобем, виноват наш друг, Нейл Джонсон.

Он показал письмо, словно подтверждая, что не выдумал эту леди Бодли-Кобем:

— Письмо длинное, разобраться в нем трудно, так что, если угодно, я изложу самую суть.

— Да, да, только суть, Дадли, пожалуйста. Можете даже изложить суть сути! — И сэр Майкл глубже спустился в кресло, и лицо его стало еще более сумрачным, более благородным — жертва гибельных страстей, последний якобинец в изгнании.

— Как я понял, леди Бодли-Кобем очень богата — она вдова судовладельца, ей сильно за семьдесят. Живет отшельницей, страшная чудачка. Но она желает переговорить с нами о плане превращения одного из ее огромных владений, где она никогда не бывает, в своего рода общежитие для творческих людей. Она понимает, что потребуются огромные затраты, но готова внести значительную сумму, как только ее план будет официально принят. Вот уже больше года, как она препирается с Дискусом, и теперь обратилась к нам, потому что Дискус все время посылает к ней Нейла Джонсона, а она уже больше не может его выдержать.

— Значит, сам Дрейк с ней не сталкивался?

— Нет, он ее никогда не видел, она живет в Беркшире и в Лондон никогда не ездит. Кстати, поместье, которое она хочет отдать творческим работникам, находится в Дербишире, там как будто огромный дом. Пока нам об этом думать не стоит, но я твердо уверен, директор, что кому-то из нас необходимо с ней увидеться, тем более что с Дискусом она, как видно, покончила. Да, еще одно: женщин к ней посылать нельзя. Отказывается обсуждать свой план с женщинами. Леди Бодли-Кобем признает только мужчин.

— Думаю, вы все со мной согласитесь, что Комси должен прийти ей на выручку, пусть даже этот план кажется сумасбродным.— Сэр Майкл посмотрел на всех, ловя взгляды одобрения.— В конце концов до Беркшира рукой подать. Поездка займет полдня, не больше. Выйдет занятно, если Комси перехватит план, после того как Дискус потерял больше года, пытаясь что-то высидеть. Придется одному из нас атаковать леди Бодли-Кобем.

— Поехать надо вам, сэр Майкл,— сказала Эдит Фробишер.— Начинать надо с самого высшего уровня. Я уверена, что Дискус допустил ошибку именно в этом.

— А знаете, кажется, я действительно поеду. Оставьте мне, пожалуйста, это письмо, Дадли. Поможет разобраться в характере старой дамы. Ну, давайте дальше.

Только через полчаса, под самый конец заседания, когда Чепмен передавал письмо сэру Майклу, он заговорил о машинистке-стенографистке.

— Помните, на прошлой неделе вы предложили, чтобы мы забрали машинистку из Дискуса и действовали через Данна, через министерство?

— Сознаюсь, забыл,— сказал сэр Майкл,— но теперь вспоминаю. Видно, меня черт попутал, такое выдумываешь только от безделья, ради шутки. Надеюсь, ничего не вышло, правда?

— Нет, нам на той неделе посылают девушку. Она только что попала в Дискус по конкурсу министерства. Если бы их генеральный секретарь об этом узнал, ее не перевели бы к нам так запросто, но мне кажется, что сэру Джорджу никто об этом не докладывал. Вчера мне позвонил Тим Кемп и сказал, что на той неделе она будет тут.

— Кемп? Ну, если он приложил руку к этому переводу, так нам, наверно, пришлют какое-нибудь молодое чудовище женского пола. Впрочем, это ваше дело, Дадли. Если она окажется ненужной, отправьте ее назад. Нельзя, чтоб этот самый Кемп потешался над нами во всех кабаках, от «Плуга» до вокзального буфета в Юстоне. А теперь дайте мне посидеть над письмом этой леди, как ее там.

В это же самое время, грубо говоря, именно между «Плугом» и Юстонским вокзалом, Кемп разговаривал с Никола Пемброук о стенографистке, которая переводилась из Дискуса в Комси.

— Она работала со мной два дня на прошлой неделе,— говорила Никола.— Прехорошенькая девочка, как вы, вероятно, заметили, Тимми. Ведь вы обращаете внимание на девочек, правда?

— Еще бы. Если человек не обращает внимания на хорошеньких девушек, не ценит их, значит, ему пора на кладбище. Но можно дожить до того времени — а я уже до него дожил,— когда их ценишь, но без всяких желаний. Что вы еще скажете про маленькую Шерли?

— Не без приятности, правда, очень провинциальна, не очень сообразительна, пожалуй, не очень умна. Разумеется, мы можем обойтись без нее, хотя я бы, скорее, послала в Комси кого-нибудь другого — например, ту, от которой всегда так дурно пахнет.— В ответ Тим покачал головой.— Вы что-то затеяли, Тимми, дорогой мой, вижу по вашим прекрасным синим глазам. Почему переводить именно эту девочку, а не другую?

— Она сегодня со мной завтракает,— сказал Кемп. Он очень ловко умел избегать ответа на вопросы.

— Завтракает? Да разве вы завтракаете?

— Да, съедаю сандвич в баре, а ей закажу толстый кусок пирога и огромный салат. А потом объясню про Комси.

— Что объясните? Что-то мне неясно, Тимми, к чему все это?

— Да, наверно, ни к чему,— сказал Кемп уклончиво.— Но я подумал, что могу ей объяснить кое-что интересное для нее.

Большие темно-серые глаза Никола весело блеснули:

— Вижу, что ничего от вас не добьешься, негодник вы этакий. Но обещайте хотя бы потом все рассказать, хорошо? А не пообещаете — сразу пойду к Нейлу Джонсону и скажу, что возражаю против перевода Шерли Эссекс в Комси. Ну, обещайте же, Тимми!

Он пообещал. И час спустя с недоеденным сандвичем в руке и двойной порцией джина в стакане, стоявшем около него на маленьком круглом столике, он смотрел, как мисс Шерли Эссекс аккуратно и деловито расправлялась с мясным пирогом, салатом, булочкой с маслом и фруктовым соком. Сразу видно — здоровая девочка со здоровым аппетитом. На ее речь, на манеру говорить не повлияло ничего, кроме северолондонского предместья, где она провела все двадцать два года своей жизни. Слепец не отличил бы ее от десяти тысяч таких же стенографисток, дважды в день наводняющих Северную линию метрополитена. Но внешность у нее была поразительная, и Кемп подумал, что Никола Пемброук, назвав ее хорошенькой, ни в какой мере не отдала ей должного. Какая-то странная игра наследственности, какая-то биологическая алхимия вмешались в тот час, когда мистер и миссис Эссекс зачинали Шерли в домике на северной окраине Лондона. Она была из тех редких девушек, которые для зоркого глаза понимающих мужчин становятся воплощением anima*, духовным образом.

Червонным золотом волос, гладко лежащих по обе стороны лба и свернутых тяжелым узлом на затылке, длинными, чуть раскосыми глазами, мягкого карего цвета с легкой прозеленью, она напоминала не то какую-то принцессу древнего, еще никем не открытого племени, живущего в джунглях, среди циклопических руин, не то дочь короля троллей, русалку, плывущую к утонувшему моряку, сильфиду в аравийской башне, которую охраняют злые духи. И пусть ее манера говорить отдавала средней школой и курсами стенографии, а содержание разговора — женскими журналами и телевизионными передачами, но если человек переставал ее слушать, то, глядя на нее и давая волю воображению, он видел, что ее глаза сродни легендам и мифам. И Кемп, рассматривая ее заново, пока она поглощала пирог и салат в будничной обстановка бара, еще раз поздравил себя за внезапное решение, за интуитивное понимание того, что эта наяда из моря стенографисток может стать дальнобойным орудием в войне Дискуса и Комси, великолепным межведомственным снарядом.

— Вот видите, мисс Эссекс,— сказал он тем взятым с самого начала тоном, который ему самому казался не то чисто отеческим, не то совершенно идиотским,— тут действительно вполне приличное место, как, по-вашему?

Она сомневалась, можно ли ей принять приглашение в этот бар.

— Да, в дневное время тут, конечно, ничего,— сказала мисс Эссекс,— хотя я подозреваю, что вечерами будет похуже. Но пирог куда свежей, чем там, где я всегда кушаю. Спасибо вам большое, мистер Кемп. Вы хотели со мной о чем-то поговорить? Помните, вы сказали, что нам надо поговорить?

---

* Душа *(лат.)*.

— Да, да, моя дорогая. Это касается Комси. Я тоже там работал. И я единственный человек в Дискусе, который может рассказать вам о Комси. Ведь вам интересно узнать, какие там люди? Ну конечно интересно, дорогая моя. Впрочем, народ там скучноватый, не то что у нас, в Дискусе. За одним, но очень, очень важным исключением.— Он перебил себя: — Хотите еще фруктового соку? Нет? Тогда разрешите, я пойду возьму еще рюмку джину.

Когда он вернулся, она уже съела свой завтрак. Нет, курить она не хочет. Она хочет только, чтобы он рассказал ей про это важное, очень-очень важное исключение, про этого человека из Комси.

— Ах, да, да,— сказал Кемп.— Я к этому и веду разговор. Речь идет о сэре Майкле Стратеррике. Вы о нем слыхали, мисс Эссекс?

— Да, мне одна девушка, я с ней работала в министерстве, говорила, что он ужасно красивый, немножко похож на Грегори Пека.

Кемп поглотил половину джина.

— Сэр Майкл,— торжественно произнес он,— один из самых красивых мужчин, каких я видел. Высокий, очень смуглый, романтичный, всегда грустный, и вместе с тем чувствуется, что если бы перед ним был тот, кто нужно — а я, мисс Эссекс, откровенно говоря, никогда не был тем, кто ему нужен,— то он излучал бы доброту, тепло, ласку. Да, он не женат. Он преследовал многих женщин, и многие женщины, сами понимаете, преследовали его. Но по существу он не дурной человек, хотя его часто называли дурным, испорченным. Я бы сказал, скорее, что несмотря на бесшабашную, веселую жизнь, несмотря на влиятельное положение в качестве главы Комси, в душе он — человек одинокий и несчастливый.— Он допил джин, с удивлением поглядел на свой стакан, поставил его на стол и только тогда строго посмотрел на мисс Эссекс· — Когда я служил в Комси, я постоянно задавал себе вопрос: могла ли бы любовь женщины или, вернее, любовь простой, ласковой девушки, совершенно непохожей на тех утонченных светских женщин, служивших ему забавой... постойте, куда это меня завело?

— Куда вас завело? — Мисс Эссекс, слушавшая с напряженным вниманием, растерялась от неожиданного вопроса.— А я не знаю, как это место называется, мистер Кемп, вы сами меня сюда завели и не сказали...

— Нет, нет, я знаю, куда я зашел. Я про наш разговор — забыл, с чего я начал. Главное — я все время думаю, что ему нужно любить и быть любимым.

— Да, я тоже так думаю,— сказала мисс Эссекс довольно глупым тоном, но при этом она была похожа на волшебницу, из-за которой отрекаются от святого Грааля.— Мне такие мужчины не встречались, но читала я про них очень много. Любовь их преображает, мистер Кемп.

— Очень хорошо сказано, мисс Эссекс. Но тут есть одна деталь.— Он посмотрел на нее почти сурово. — Кто бы ни была эта женщина, эта девушка, она должна держать его на расстоянии, пока он не докажет ей глубину своей любви. Еще одна легкая победа, еще одна забава, игрушка — и он останется еще более одиноким, станет еще несчастнее, еще циничнее...

— Еще беспутнее! — воскликнула мисс Эссекс, вспыхнув, как роза.

— Тут либо брак, либо ничего,— Кемп пристально поглядел на нее и вдруг переменил тон: — Ну вот, моя дорогая, все, что я могу рассказать о Комси, потому что там главное — сэр Майкл. А теперь, если вам надо спешить на работу, не буду вас задерживать. К сожалению, мне придется остаться. Вон там у стойки я вижу людей, с которыми мне надо перекинуться несколькими словами. Вы очень любезны, дорогая моя, что составили мне компанию!

— И мне приятно, право! Спасибо вам за вкусный завтрак и за интересный разговор, мистер Кемп! — И наяда ушла, стуча каблучками. Кемп смотрел ей вслед — столько блеска растаяло в воздухе,— и вдруг его охватила жалость. Разумеется, не к ней и уж конечно не к себе — этот модный недуг был ему совершенно чужд.

Впервые с начала их знакомства он почувствовал жалость к сэру Майклу Стратеррику.

5

Наконец наступило утро встречи с Маунтгарретом Кемденом, когда главы Дискуса и Комси могли бы испытать сочувствие друг к другу, так как оба попали в катастрофу, но вышло совсем наоборот — они надулись друг на дружку больше, чем когда-либо. После этого дня уже никак нельзя было назвать отношения между Дискусом и Комси «здоровым соперничеством» — как их остроумно называл премьер-министр. Теперь они соперничали злобно, нервно, безудержно, что и привело впоследствии к окончательному краху.

Приглашение принесла Джоан Дрейтон. Она вся сияла улыбкой — накануне к ней вернулся Уолли. Приглашение, посланное с нарочным, гласило, что Маунтгаррет Кемден просит сэра Джорджа Дрейка пожаловать к нему сегодня же утром, ровно в одиннадцать тридцать, в Гиззардс-отель.

— Вот здорово, а? — воскликнула миссис Дрейтон, которая позволяла себе такие вольные замечания лишь в те дни, когда Уолли к ней возвращался.

— Как сказать, Джоан,— заметил сэр Джордж. Зная о возвращении Уолли, он никогда не обрывал эти ее вольности, но принципиально не проявлял никакого волнения или даже повышенного интереса.— Попросите миссис Пемброук зайти ко мне. Может быть, ей известно, в чем тут дело.

Но Никола Пемброук тоже ничего не знала.

— Мне известно только одно, сэр Джордж: вам надо обязательно пойти.

Сэр Джордж и сам знал это с первой же минуты, но предпочел не выдавать себя:

— Вы так думаете, Никола? Но если вопрос касается музыки, он мог бы пригласить вас, а не меня. Звучит несколько безапелляционно, как вы считаете?

— Да, но ведь он — старик, великий человек, *великий старик*.— Она сверкнула на сэра Джорджа своими прекрасными глазами.— Правда, я отлично проживу и без его новых вещей — и мой муж того же мнения. Все это уже было — и Маунтгаррет, и Штраус, и Сибелиус, и Эльгар. Но он — титан, сэр Джордж. И то, что он сейчас сидит в Гиззардс-отеле и хочет с вами говорить,— нет, это просто сказка! Ведь он почти не бывает в Лондоне и вдруг приехал! Разумеется, вы должны к нему пойти.

— Значит, вы считаете, что вам вместо меня идти не стоит?

— Конечно нет, раз он пишет, что ему нужны вы. Я бы растерялась. А может быть, он хочет сделать для Дискуса что-нибудь необыкновенное!

— Да, я и сам об этом думал,— сказал сэр Джордж, стараясь изобразить некоторое недовольство.— Что ж, значит, надо идти. Благодарю вас, Никола.

Он позвонил Элисон, которая все еще терзала его требованиями вызвать на бой и уничтожить презренного сэра Майкла вместе с Комси, и тут сэр Джордж сделал ошибку, и, как впоследствии выяснилось, ошибку роковую, намекнув, что разговор со старым Маунтгарретом Кемденом — первый выпад в новой и энергичной схватке с Комси. Его жена пришла в восторг. Она обожала музыку Кемдена и восхищалась великим стариком.

— Только бога ради не говори и не делай глупостей, Джордж. Помни, что это значит. Да ведь это все равно, как если бы тебя вызвал Брамс. Умоляю тебя, милый, попытайся понять...

И по дороге в отель сэр Джордж усиленно пытался понять — и как будто наконец понял.

А между тем в Мэйфере, на Принсес-плейс сэр Майкл беседовал со своим заведующим отделом общественных сношений Эдгаром Хоукинсом.

— Сам Маунтгаррет Кемден, представляете себе? — восклицал сэр Майкл, не пытаясь скрыть восторг.— Прислал мне приглашение — прийти к нему в Гиззардс-отель ровно в одиннадцать тридцать. Сейчас надо идти. Не был в этом отеле тысячу лет. Думал, его в войну разбомбили. Гиззардс-отель, о господи! Какую ночь я там провел однажды, в год окончания Оксфорда.

— Женщина? — Хоукинс, будучи холостяком, питал чисто академическую страсть к не слишком скабрезным анекдотам. Это была одна из причин, почему ему достав-

ляло удовольствие работать с сэром Майклом, откровенным воплощением всего, что Хоукинс схоронил в душе.

— Она сидела за соседним столиком в ресторане, и ее за что-то пробирали отец и муж, ужасающие типы. И вдруг в самом разгаре ссоры она посмотрела на меня — и подмигнула! Ну вот, это и было началом удивительно странного вечера. Но вернемся к нашей мышиной возне, Эдгар. И забудьте на время ваши китайские черепки. Теперь, когда Маунтгаррету Кемдену исполнилось восемьдесят, он стал сенсацией; а раньше, когда он писал лучшие свои вещи, ему, наверно, не уделяли и двух строк. Лондонская пресса любит тех, кто выживает. Да, сенсация, Эдгар, сенсация!

— Да, конечно, я это учитываю.— Хоукинс очень серьезно относился к своим обязанностям заведующего отделом общественных сношений, и часто можно было видеть, как он мрачно листает самую ходкую прессу.— Если он хочет обсудить с вами какие-нибудь мероприятия в области музыки, то я гарантирую, что это привлечет внимание газет.

— Который час? Пора идти. Отлично, Эдгар, кажется, тут мы опередили Дискус, так что будьте готовы расписать про нас во всех газетах.

— Но ведь вы сразу вернетесь, директор? Это может оказаться необходимым.

— Вернусь, вернусь, обещаю вам.

Только такой человек, как Маунтгаррет Кемден, старый и знаменитый, которому на все было наплевать, мог остановиться в Гиззардс-отеле, подумал сэр Майкл, спрашивая номер. Узкие кривые коридоры, ярчайшие синие и красные дорожки, закрепленные на ступеньках гигантскими прутьями, у дверей — медные кувшины с горячей водой и немыслимого вида башмаки. И всюду, как прежде, стены выкрашены коричневой краской безнадежно тусклого тона. Те же коридорные, только искалеченные подагрой и посиневшие от плохого кровообращения, спотыкались под тяжестью огромных блюд с металлическими крышками. Неотесанные девчонки из глуши Ирландии, переодетые горничными, трещали и топали, перебегая из номера в номер. Лифт, дрожа от старческого гнева, поднял сэра Майкла на третий этаж.

И тут, на первом же повороте, он столкнулся лицом к лицу с сэром Джорджем Дрейком. Оба рыцаря уставились друг на друга с удивлением, тут же перешедшим в явную неприязнь.

— К Маунтгаррету Кемдену? — спросил сэр Майкл.

— Да. А он вас тоже просил прийти к половине двенадцатого?

— Да, Джордж. Зачем, не знаю. И, говоря откровенно, мне это уже не нравится.

— Мне тоже,— мрачно сказал сэр Джордж.— Что ж, давайте искать его номер. Там я уже смотрел.

В гостиной, которую они наконец нашли, было много красного дерева и ярко-голубого плюша, тут же сидел сам Маунтгаррет Кемден в очень старом халате, а с ним — Спайк Эндрюс, композитор, причинивший им столько неприятностей. Маунтгаррет Кемден коротко поздоровался с ними, потом обернулся к Спайку Эндрюсу, который, к величайшему облегчению сэра Майкла и сэра Джорджа, собирался уходить.

— Даю вам обещание, мистер Эндрюс,— сказал Маунтгаррет Кемден,— что вы получите нужную гарантию, и я буду на вашем концерте. Ненавижу давать обещания: вечно я их сдерживаю. И помните — нужна специальная репетиция, фаготу и гобою в адажио она очень понадобится.

Эндрюс ушел, и старик размеренным тяжелым шагом вернулся к дивану и, казалось, заполнил его целиком. Он хмуро посмотрел на обоих благородных джентльменов, глядевших на него, вернее, робко поднявших на него взоры,— оба сидели в низких креслах. Оба испытывали досаду, сначала — от того, что встретились, потом — от столкновения с несравненным Эндрюсом, который успел смерить их воинственным взглядом; и пока Маунтгаррет Кемден провожал Эндрюса до дверей, каждый из них решил про себя, что никаких штук от старика, несмотря на его возраст и славу, он не потерпит, хотя и пришел сюда по первому же его зову. Но сейчас, когда старик переводил взгляд с одного на другого, оба почувствовали, что их решимость убывает. Да, старик Маунтгаррет Кемден несомненно мог внушить страх. Даже под тяжестью лет, вдавивших его голову в плечи, он казался великаном. Но дело было не только в этом. Несомненно тут влияла и его слава, то, что имя этого человека, его творчество были

им известны с самого детства; вдобавок по манере держаться, по обращению он казался одним из последних представителей древней расы гигантов, существующих в стихии, незнакомой тем людям, с которыми они сталкивались каждый день, людям, которые в чем-то нуждаются и готовы на любые сделки, чтобы добиться своего, щегольнуть своими способностями, продвинуться еще ближе к Берхам. А этот огромный старик, казалось, жил еще в эпохе, когда никаких Верхов не существовало, дышал воздухом, какого уже в Лондоне добывать не могли, не умели. И сэр Майкл, чувствуя, как он сходит на нет, подумал, что правильно он догадался, когда прибыл в Гиззардс-отель и полупрезрительно спросил себя, почему старик остановился тут: Маунтгаррету Кемдену действительно было наплевать не только на мнение людей об этом отеле, но и вообще почти на все, что сэр Майкл и сэр Джордж считают таким важным.

— Я — человек небогатый, джентльмены,— сказал Маунтгаррет Кемден. Голос у него был низкий, рокочущий, и в нем до сих пор сохранились грубоватые деревенские раскаты.— Совсем небогатый. Но я обещал этому молодому человеку, Эндрюсу, достать двести фунтов, чтобы он мог внести требуемую гарантию. Я просмотрел партитуру его вещи, и я в ней несколько сомневаюсь — впрочем, может, я отстал от века в своих музыкальных вкусах. Он не из тех молодых людей, которые мне по нраву,— слишком нянчится с собой, слишком криклив, нервозен, как и его музыка. Но ему надо дать дорогу. Он говорит, что обращался в ваши организации, и не раз, а несколько раз и просил незначительной помощи. Но вы не только ему отказали, вы оба, лично,— он показал мне ваши письма — сначала писали высокомерно, а потом оскорбительно. Почему? Вот все, что я хочу от вас узнать — почему? — Он поднял опущенные морщинистые веки и гневно уставился на них. Это было страшно: они словно заглянули в пылающую печь на том свете.

Ответил сэр Джордж, в лучшем и самом официальном тоне:

— Могу вас уверить, профессор Маунтгаррет Кемден, что просьба мистера Эндрюса была рассмотрена самым тщательным образом и решение не давать ссуды было принято...

Но договорить ему не пришлось, и сэр Майкл обрадовался, что не он попытался ответить. Сэра Джорджа просто остановил какой-то нечеловеческий рев, в котором нельзя было разобрать ни слова. Но потом пошли и слова:

— А зачем вообще существуют эти ваши несчастные организации? Только для того, чтобы отдавать искусству хоть малую толику денег, что выкачивает из народа правительство, эти напыщенные болваны, только и знающие, что тратить огромные суммы на бомбы, на ракеты, на самолеты, которые никогда им не понадобятся, да еще строят дороги, чтобы всякие кретины могли делать девяносто миль в час,— да мало ли на какую чепуху идут деньги. А ваше дело — сохранять хоть крохи культуры в этом раю низкопробных дельцов, бюрократов и безмозглых сопляков. Поняли?

— Конечно,— сказал сэр Майкл под напором свирепого взгляда,— мы это и стараемся делать.

— И прекрасно — старайтесь. А если вам легче оттого, что вы воображаете, будто вы — важные шишки, так воображайте и дальше. Но не пишите и не разговаривайте с людьми, вроде Эндрюса, будто вы — кто-то, а он — ничто. Он для вас Бах, Моцарт, Бетховен, Брамс. Он — Музыка, черт побери! Да проживи вы оба хоть сто лет, вам все равно не понять, какие надежды, страхи, восторги и огорчения переживает композитор, что в нем живет, горит, бушует, что его мучит, каких глубин и высот он достигает, какие усилия тратит, какие чувства его обуревают. А вы сидите, диктуете и подписываете эти дурацкие, нелепые письма и ничего не понимаете. Да этому можно выучить обезьяну. И помните вы, оба. С Эндрюсом вы обошлись гнусно, пришлось мне его выручать. Сделал я это тихо, никто и знать не должен. Но если так случится в другой раз, предупреждаю, я осрамлю вас по всему свету, клянусь богом, осрамлю! Вот и все. Прощайте, джентльмены.

И, не взглянув на них, старое чудовище схватило огромную партитуру, и его голова скрылась за ней.

Сэр Майкл и сэр Джордж не обменялись ни единым словом ни по пути к лифту, ни в лифте, ни выйдя из темного, скверно пахнущего холла на свет, на свежий воздух. Никакого сочувствия друг к другу у них не появилось. Сэра Майкла и Комси унизили

перед сэром Джорджем, перед Дискусом. Сэра Джорджа и Дискус осмеяли и развенчали на глазах у сэра Майкла и Комси. И вся обида, какую вызвал в них сэр Маунтгаррет Кемден, сейчас обратилась на соперника и на вверенную ему организацию. Проклятый Дискус! Черт бы побрал Комси! Каждый считал, что в разочаровании, которое оба потерпели в это злосчастное утро, виноват именно его соперник.

Не успел сэр Джордж войти в свой кабинет, как туда влетела Никола Пемброук. (Нет, несомненно, ошибка — назначать женщин на ответственные места, а не на исполнительскую, рядовую работу.)

— Какие новости? Какие новости? Что-нибудь потрясающее?

— Нет. Старик рассердился за то, что мы, по его мнению, плохо обошлись с Эндрюсом. Особенно он сердит на Стратеррика и Комси. Он был очень резок со Стратерриком — так ему и надо. Вот и все, Никола. У меня сегодня много дела. Попросите Джоан ко мне, когда выйдете.

Она вышла и, сделав смешную кислую гримасу, кивнула на двери генерального секретаря. В ответ Джоан сделала такую же гримасу и кивнула. Им обеим стало легче.

А в Комси сэра Майкла встретил Эдгар Хоукинс с румянцем от возбуждения на скулах.

— Все на мази, директор. В два тридцать собираем пресс-конференцию.

— Значит, у вас как раз есть время до завтрака, чтобы отменить ее. И передайте всем, что я ухожу на весь день.

И сэр Майкл, круто повернувшись, по дороге натолкнулся на какую-то дуру. Бормоча извинения, он успел заметить, что волосы у этой девчонки какого-то странного оттенка — совсем как червонное золото.

В клубе, обмениваясь анекдотами и остротами с двумя джентльменами, которые ему всегда были противны, он выпил три рюмки виски и только потом пошел завтракать.

6

На следующее утро, в перерыве, Тим Кемп забрел в кабинет Никола Пемброук.

— Тим, миленький! — сразу воскликнула она.— Уходите, прошу вас! Вы меня размагнитите. А я должна, понимаете, должна сосредоточиться. Из-за музыки вчера пострадал бедный сэр Джи, и теперь я должна как-то, каким-то чудом вытащить его из этой каши...

— Чепуха, милая моя! — Тим сел и взглянул на нее поверх булькающей трубки.— А кроме того, у меня есть новости. Прямо из Комси.

Она перестала делать то, чего она все равно не делала.

— А как вы узнали, что там происходит?

— Вы забыли, что я и там подвизался...

— Миленький, как же я могла забыть? Но вы отлично знаете, что они вас там не выносят. Каким же образом...

— Меня не выносили только заведующие отделами,— сказал Тим кротко. Он удивительно умел перебивать других, не повышая голоса.— А среди низших служащих я был очень популярен. Более того — у меня в секретариате Комси работает Пятая колонна. Мой главный агент — я ее так называю для романтичности — звонит мне сюда и называет меня дядя Уолтер. Обычно еще до одиннадцати я получаю все сведения, но, разумеется, иногда мне их приходится расшифровывать самому.

— Какой же вы гадкий, гадкий человек, Тим! Не знаю, за что я вас так люблю. А может, и знаю? Так какие же у вас новости?

— Сэр Майкл еще больше расстроился, чем сэр Джордж, милая моя. Гордости в нем больше, вот почему. Мечет гром и молнии все утро. Многие там думают, что у их директора нынче особо скверное похмелье.

— Не понимаю, как она может рассказывать вам все это по телефону?

— А у нас простой код. Все, что она рассказывает дядюшке Уолтеру про свою собачонку, Майстру, относится к сэру Майклу Стратеррику.

Никола посмотрела на него недоверчиво.

— Не могу понять, когда вы врете, Тим, а когда нет. Только не говорите, что в этом участвует та девочка, которую вы им подсунули, эта Шерли Эссекс.

— Конечно нет. Куда ей! Я ее туда направил с совершенно другой целью. Нет, милая моя Никола, я только хотел вас утешить, что здесь у нас все благополучно — серенькое облачко по сравнению с их черной тучей. Так что перестаньте притворяться расстроенной.

— Все это прекрасно, но нам необходимо сделать что-нибудь в угоду старику Маунтгаррету Кемдену. Помочь, что ли, симфоническому обществу состряпать какой-нибудь музыкальный фестиваль в его честь — нет, упаси бог!

Она стала деловито перебирать бумаги на столе, хотя ей следовало бы помнить, что такого старого лиса, как Тим, этим не проймешь.

— Тут появился некто Динерк, он переложил многие органные произведения Баха для полного оркестра — знаете, вроде Стоковского, бррр!

— Нет, милая женщина, тут я против вас. Мне это по душе.

— Тим, неправда! Такая вульгарность.

— Я люблю вульгарность в музыке,— сказал Тим,— а современный оркестр так упоительно шумит!

— Но так коверкать Баха! Попробуйте об этом сказать моему бедному Артуру— он просто задрожит и застонет, затрепещет.

Но на Тима это не произвело никакого впечатления. Артур был вечно хворый муж Никола, и, по глубокому убеждению Тима, конечно скрытому от Никола, этот Артур сам себе надрожал и настонал всякие немощи, которые завоевали ему незыблемую преданность Никола. Но как знать, вдруг у нее есть тайный любовник, какой-нибудь хамоватый скрипач родом из Бухареста или Одессы, который теперь летает сюда из Нью-Йорка или Лос-Анжелеса.

— Пусть ваш Артур думает, что угодно, а я люблю, когда Баха малость подперчивают.

— А я утверждаю, что вы, наверно, сто лет не были ни на одном концерте, старый вы обманщик!

— И не был, ваша правда. Но надо мной живут две девочки, и у них чудесный проигрыватель, вот они иногда и приглашают меня послушать. Не знаю, чем они зарабатывают на жизнь,— задумчиво продолжал Тим,— но иногда мне кажется, что они подрабатывают по вызовам...

— Тим, я вам не верю!

— А почему? В моем квартале живет всякий сброд вроде меня — чудесный квартал. Все мы там малость не в себе. Подо мной, в подвале, живет человек, который пишет грандиозную книгу — доказывает, что мы превращаемся в машины. Я его мало вижу, он по вечерам уходит мыть посуду в каком-то большом отеле.

— Я вас уже не слушаю,— сказала Никола,— у меня груда работы, не то, что у вас. Уходите, Тим, прошу вас, уходите!

В коридоре он наткнулся на Джералда Спенсера, и тот затащил его в отдел изобразительных искусств и минут пять не закрывал рта. Помощница Спенсера, мисс Уитгифт, маленькая толстушка в огромных очках на остром носу, походила на сердитую сову. При такой совиной наружности, да еще рядом с длинноносым и длинношеим Спенсером, измученно кривящим губы, она, да и он, напоминали Тиму Кемпу персонажей Иеронима Босха.

— Но вы со мной согласны, Кемп? Вы должны согласиться!

— Право, не знаю.

От удивления Спенсер вытянулся чуть ли не на фут:

— Как это вы не знаете? Но вы должны знать. Ведь я вам все объяснил.

— А я не слушал.

Персонажи босховского ада переглянулись.

— Ну, знаете ли... — начала мисс Уитгифт, но не договорила.— Я, пожалуй, побегу, Джералд.— И она исчезла, как сердитая заводная игрушка.

— Кто ее заводит?

— Ну, знаете, Кемп, это уж слишком. Я бы не стал с вами говорить, но на заседании вы заявили, что были когда-то знакомы с Недом Грином.

— Да, сто лет назад. А разве вы говорили о Неде?

Спенсер стал вращать головой. Это было страшно.

— Да, я возражал против вашего тона, когда вы на заседании сказали, что сэру Джорджу лучше не встречаться с Грином по поводу выставки. Разумеется, я с восторгом взял бы это на себя — да, в сущности, именно я подал мысль организовать выставку Грина. Я и надеялся сам с ним побеседовать, но вполне понятно, что генеральный секретарь Дискуса имел бы гораздо больше весу.

Он говорил и говорил, а Тим вынул мундштук из трубки и стал его продувать.

Спенсер прервал свою официальную трескотню и запротестовал:

— Послушайте, Кемп, не надо. Смотрите, какую вы развели грязь, какую вонь.

— Простите. Так вот, Нед Грин...— сказал Тим раздумчиво.— Если он не изменился в корне — а люди так не меняются,— то он с нашим сэром Джорджем никак не споется. Что я и пытался объяснить на заседании.

— Значит, по-вашему, я был бы...

— Еще хуже. Вы станете разговаривать о живописи. А Нед Грин о живописи никогда не говорит, разве что с другим художником, чья работа ему нравится. Он перекричит вас за две минуты, а потом велит убираться к черту в зубы.

Спенсер прикрыл глаза.

— А-а, он из таких? Но сэр Джордж и не станет говорить с ним о живописи. Вам, Кемп, это должно быть известно.

— Да, известно.

— Зачем же настраивать сэра Джорджа против него?

— Когда Нед не пишет, он интересуется исключительно выпивкой, женщинами, вообще гуляет вовсю. Наверно, он назначит свидание нашему милейшему сэру Джорджу в полночь в каком-нибудь подвальчике в Сохо.

В широко открытых глазах Спенсера появилось подозрительное выражение.

— Не хотите ли вы намекнуть, что лучше всего с ним поговорить вам самому? А, Кемп?

— Конечно нет. Меня и силой не заставишь. Попробуйте послать одну из наших дам, пообаятельнее — Никола Пемброук или Джун Уолсингем...

— Ни миссис Пемброук, ни мисс Уолсингем никакого отношения к изобразительным искусствам не имеют...

— Не по служебной линии, конечно, но имеют. Только не посылайте вашу мисс Уитгифт...

— Не буду пока ничего менять,— сказал Спенсер.— Сэр Джордж желает лично встретиться с Грином. Я составлю план выставки, увижусь с Баро, попрошу его дать знать, когда Грин явится и где его можно найти, и на этом остановлюсь. А что будет дальше,— вдруг взвизгнул он и весь затрясся,— мне абсолютно все равно!

После ленча — сандвича с ветчиной и четырех больших рюмок джина — Тим провел целый час в закутке, который ему отвели, вычистил три трубки и стал рисовать какие-то странные лица — на некоторые было просто жутко смотреть. Но тут позвонила Джоан Дрейтон — Кемпа вызывал к себе сэр Джордж.

Тим остановился около Джоан перед кабинетом генерального секретаря:

— Ну, как Уолли? — спросил он, понижая голос.

— Ах, Тим, милый, все это так ужасно! — зашептала она.— Бедняжка Уолли, он никак не может решить, взяться ли ему за роль в новой телевизионной серии. Хотят, чтоб он играл бармена. А в этой серии все герои без конца ходят в бар. И Уолли боится, что, если серия затянется, он так и останется для всех навеки этим типажем, барменом. Что вы скажете, Тим?

— По-моему, ему надо рискнуть, Джоан.

— Вот и я так считаю, ради него же, не ради меня. Ведь как только ему начнут платить пятьдесят фунтов в неделю, так он сразу сочтет себя обязанным вернуться к этой женщине, к своим детям — да вы же знаете...

— Знаю, знаю. Но ведь серия может кончиться или герои перестанут ходить к Уолли в бар — и тогда он вернется к вам. И уж тут он не посмеет сказать, что вы стояли у него на пути, Джоан.

— Позвоню-ка я ему, пока вы будете у сэра Джорджа,— прошептала она.— Побудьте там хоть десять минут, Тим, миленький.

Сэр Джордж опять напустил на себя меланхолический вид римского императора времен упадка, задумавшегося над потерей своих легионов.

— Кемп, речь идет о плане Бодли-Кобем. Надеюсь, вы помните, что дали согласие взять это дело у Нейла Джонсона, а он обещал передать вам все материалы?

Тим кивнул и улыбнулся, вид у него стал деловитый, решительный, вся сонливость исчезла: видно, он всегда старался быть таким, каким сэр Джордж и не ожидал его видеть.

— Да, они у меня. Я все прочел. Можно сказать, не отрываясь. С огромным удовольствием. Очень хочу познакомиться с этой женщиной.

Сэр Джордж уставился на него:

— Вы меня удивляете, Кемп. Кстати, мы получили извещение, что до среды на будущей неделе ее видеть нельзя.

— Что ж, значит, съезжу к ней в среду. И если можно, с самого утра,— сказал Тим, потирая руки.

— Разве Джонсон вам не рассказал про нее?

— Как же. Она — старая ведьма. Говорит без умолку. Обычно полупьяная. Нейл от нее в ужасе.

— Ну?

— Ну, а я в ужас не приду. У меня таких знакомых много. Главное, надо пить с ними вместе. Если и вы не напьетесь, как она, так никакого общения не получится.

— Допустим. Но не можете же вы начать пить с ней с утра.

— Еще как могу! Даже могу начать с вечера. Не с ней, а независимо от нее.

Сэр Джордж подозрительно посмотрел на него:

— Не забывайте, что вы там будете представлять Дискус.

Тим поднял руку: два пальца казались обуглившимися от вечной трубки.

— Я — служащий Дискуса и выполняю поручение Дискуса. Этого я не забуду, генеральный секретарь...

Как видно, на этой высокой ноте он и хотел закончить разговор, но вдруг вспомнил, что Джоан нужно дать еще время на телефонный разговор.

— Более того,— сказал он,— я знаю то, что вам, возможно, неизвестно.— Он сделал паузу и ради пущего драматизма, и ради выигрыша времени.— То, из-за чего мое посещение может стать срочно необходимым.— Опять пауза.

— Ну говорите, говорите же, в чем дело?

— Комси тоже взялось за эту леди, как ее...

— Не верю. Она настаивала на переговорах с нами.

— А теперь она прощупывает Комси.

— Откуда же вам это известно?

Тим объяснил, какая у него агентура в Комси.

Сэр Джордж пришел в ужас:

— Слушайте Кемп, этого я не потерплю. Это просто-напросто нечестная игра.— Он ждал протеста, но Тим молчал.— Да и, кроме того, мне не верится, что эти девицы могут что-либо знать.

— Они все знают,— сказал Тим.

— Ерунда! Я говорю не об ответственных людях, таких как миссис Дрейтон, я про обычных секретарш.

— Всё знают.

У сэра Джорджа лицо налилось кровью, а с таким лицом он всегда начинал кричать:

— Кто это вам сказал?

— Это я вам говорю. Всё знают.

— Что вы заладили одно и то же. Это действует на нервы. Неужели вы хотите меня уверить, что и наши девицы не только знают, что у нас происходит, но, может быть, звонят какому-нибудь субъекту из Комси...

— Ну, нет. Нет, нет и нет. Начать с того, что в Комси такого субъекта нет. Конечно, сам Майкл Стратеррик слушал бы любого без угрызений совести, но он слиш-

ком много мнит о себе, чтобы опускаться до такого уровня. А кроме того, если девицы даже все знают, им это неинтересно.

Сэр Джордж снова пришел в ужас:

— То есть как это неинтересно? Им должно быть интересно. Здравый смысл этого требует.

— А у них его нет. Я хочу сказать — нет здравого смысла. Я просто сохранил с ними дружбу — ведь я служил в Комси. А другу они расскажут все, что, по их мнению, ему интересно.

— Но где же их лояльность по отношению к Комси?

— Нигде. Им интересны люди, а не учреждение. И здесь, конечно, то же самое.

— Я всегда гордился лояльностью своих сотрудников,— напыщенно заговорил сэр Джордж.

— Разумеется,— сказал Тим выжидательно.

— Некоторые люди умеют вызывать лояльное отношение, другие — нет. Например, я удивился бы, если бы к Стратеррику так относились. Настолько он самовлюблен, эгоистичен, нервозен.

— Да, безусловно.

— А разумное руководство требует других качеств характера.

— Несомненно, несомненно.

Сэр Джордж переждал минуту-другую, взглянул на свой стол, потом в окошко:

— Ну, а если Комси действительно ведет переговоры с леди Бодли-Кобем, так как, по-вашему, там обстоят дела, Кемп?

— Сэр Майкл сам едет к ней. Разговор на высшем уровне.

— Но он ничего не знает про эту женщину. Вам, должно быть, не сказали, когда он едет?

— Пока нет. Но если он не окружит свой визит полной тайной, я скоро узнаю. Если ничего не случится, я сам появлюсь у нее в среду с самого утра.— Он широко улыбнулся сэру Джорджу, но тут же стер улыбку и встал.— Я вам больше не нужен, генеральный секретарь? Отлично! Кстати, если будете писать этой леди, сообщите ей, что я был в Комси, а сейчас, к счастью, вернулся в Дискус.

— Я так и собирался ей написать, Кемп, благодарю вас.— В сухости тона сэра Джорджа была ирония, более того — упрек.

Выйдя из кабинета, Тим наклонился над столом Джоан Дрейтон:

— Ну как, говорили с Уолли?

Джоан кивнула — вид у нее был несчастный.

— Он уже немного пьян. Знаете, ему предложили роль в театре, он хочет ее взять — будет играть швейцара в марокканском борделе в Драматическом театре. Спектакль очень авангардистский, очень символический. Значит, он теперь не вернется к той женщине и к своим детям, потому что денег у него не будет, а она никогда не позволяет ему сидеть до полуночи, пить ее джин и виски и спорить всю ночь с режиссером и четырьмя другими участниками спектакля. А мне это ужасно утомительно и хуже всего, когда пьеса авангардистская, символическая. Не знаю отчего, но это так.

— Оттого, что эти актеры весь вечер не общаются друг с другом, Джоан,— объяснил ей Тим,— а потом, как сумасшедшие, ищут общения. А-а, слышите — сэр Джордж!

Это позвонил звонок.

— Да... Ну, как он?

— Так себе. Весьма так себе.— Тим отошел от стола и уже у дверей сказал: — Будет вам диктовать письмо к леди Бодли-Кобем — про меня.

— Господи, опять эта женщина!

— А вы не волнуйтесь!

Впрочем, какой смысл успокаивать бедную Джоан, или сэра Джорджа, или, уж если говорить правду, вообще кого бы то ни было, спросил себя Кемп уже в коридоре. Все они любят волноваться.

7

— Нет, Сесил, ни одного пенни,— сказал сэр Майкл.— Даже не надейтесь. И я нисколько не огорчусь, если никакой выставки вообще не будет.

— Но о них писал «Монитор», директор. Разве вы не читали?

— Конечно нет. Я всю неделю убил на возню с «Современным искусством». Но уж воскресные вечера портить не дам.— Сэр Майкл снова пробежал глазами памятную записку Сесила Тарлтона.— «Атомистическая группа». Один изображает исключительно «Ритмическое пространство» — не знаю уж, что это за штука. Другой пишет портреты только с рентгеновских снимков...

— Понимаете, он раньше работал в больнице...

— Вот и продолжал бы там свою полезную деятельность. Третий — скульптор, прости господи,— не признает другого материала, кроме спрессованных автомобильных запчастей. Нет, Сесил, посоветуйте им попытать счастья в Дискусе.

— Они уже пытали.

— Как? Значит, они не сумели провести за нос даже этого осла — как бишь его... Спенсера, и все-таки хотите навязать их мне. Тарлтон? Что это вы затеяли? И о чем вы вообще думаете, милейший?

— Я, как глава отдела изобразительных искусств Комси, чувствую себя ответственным...

— Только, пожалуйста, без речей, Тарлтон. Я этого не переваривaю, хотя мне самому приходится их произносить. Ну, что там у вас еще?

— Насколько мне известно, Нед Грин, который в последние годы живет во Франции, приезжает, чтобы устроить персональную выставку в галерее Баро.

— Знаю, знаю. Я и сам когда-то знавал Неда Грина. Неплохой художник, но нам лучше с ним не связываться...

Несчастный Тарлтон пробормотал что-то про Дискус.

Изборожденное страстями лицо сэра Майкла осветила злорадная улыбка.

— Прекрасная мысль! Увидите Спенсера, посоветуйте ему убедить Джорджа Дрейка заняться Грином. Но, само собой, ни слова о том, что это исходит от меня. Обстряпайте это дельце, Сесил, и я прощу вам даже «Атомистическую группу». Но, разумеется, ни одного пенни вы не получите. Когда пойдете через приемную, попросите мисс Тилни зайти ко мне.

Сесил Тарлтон уже не в первый раз подумал, что, пожалуй, лучше бы ему служить в Дискусе, где шеф хоть не притворяется, будто что-то смыслит в искусстве. А еще лучше заведовать какой-нибудь тихой картинной галерейкой, хотя Мона, конечно, была бы недовольна. Правда, она и от его работы в Комси тоже не в восторге. И он подумал, опять-таки не в первый раз, что странно все-таки, как это у Моны год назад, всего за какой-нибудь месяц, пропало чувство восхищения сэром Майклом, а потом она воспылала к нему такой ненавистью, что нечего было и думать пригласить его к обеду. «Мне противна даже мысль о его присутствии»,— заявила Мона. Странное высказывание.

— Мисс Тилни,— сказал сэр Майкл, подписав принесенные ею письма,— помнится, мы переманили к себе из Дискуса машинистку. Скажите, она сейчас здесь? Отлично. Я хочу ее видеть.

— Ее фамилия Эссекс, Шерли Эссекс,— сказала мисс Тилни. Она постояла в нерешительности.

— Превосходно. Вот и попросите ко мне Шерли Эссекс.

— Хорошо, сэр Майкл. Но должна вас предупредить, что мисс Бэри уже расспрашивала ее про Дискус — она только вчера говорила мне об этом,— и девушка, право, не знает ничего, заслуживающего внимания. Она работала там совсем недолго, и мисс Бэри говорит, что она не слишком сообразительна.

По какой-то совершенно непостижимой причине сэр Майкл вдруг почувствовал неприязнь к обеим — и к мисс Тилни, и к ее ближайшей подруге мисс Бэри.

— Уж если на то пошло, я никогда не считал саму мисс Бэри слишком сообразительной. Да и вы, мисс Тилни, не блещете сообразительностью, если полагаете, что

я хочу поговорить с этой девушкой только из низменного желания разузнать что-нибудь насчет Дискуса. А вдруг я хочу узнать, хорошо ли ей здесь? Вдруг хочу справиться, как здоровье ее папы? В конце концов она теперь служит под моим начальством, а я до сих пор слова с ней не сказал и, если не ошибаюсь, даже в глаза ее не видел.

— Я думала, вы обратили на нее внимание, сэр Майкл.

— Это почему же?

— Она очень хорошенькая. Мисс Бэри говорит...

— Нет уж, увольте меня от мнения мисс Бэри.

— Но она такая заурядная. Как вся эта серая масса машинисток. Мне кажется, будь она поумнее, Дискус никогда не отпустил бы ее к нам.

— Возможно, хотя тем самым мы допускаем, что Дискусом руководят умные люди, а это далеко не так. А она знает, кто именно устроил ее сюда? Нейл Джонсон, наверно?

— Нет, это не мистер Джонсон,— сказала мисс Тилни медленно и очень ровным тоном.— Она говорит, что Тим Кемп. Кроме него она там в сущности никого не знает. Он как-то пригласил ее позавтракать. В бар, разумеется.

Сэр Майкл повернулся к ней и сказал, тоже очень медленно:

— Насколько я знаю Кемпа, мисс Тилни, а вы помните, как он меня любил, тут дело не чисто. Или девчонка совершенная дура, даже по меркам Дискуса, или она не только умна, но дьявольски умна, слишком умна для вас и мисс Бэри...

— Извините меня, сэр Майкл, но это просто нелепо. Да, разумеется, странно, что Тим Кемп ответствен за то, что она сюда устроилась, хотя теперь он, вероятно, вообще уже ни за что не ответствен,— но девушка, уверяю вас, сама наивность и глупость, как и все окончившие школу в лондонском предместье. Хотя, конечно, вполне воспитанная девица.

— Мисс Тилни, когда вы решили стать секретаршей, Англия лишилась превосходной школьной директрисы.

И он улыбнулся одной из тех улыбок, от которых у нее заходилось сердце. Таких улыбок он раздавал по две в день, а если они засиживались допоздна, добавлял третью.

— Значит, все-таки позвать ее?

Прежде чем ответить — а он закурил сигарету, чтобы выиграть время,— сэр Майкл вдруг почувствовал, что сейчас ему предстоит сделать выбор необычайной важности. Но в конце концов это просто смешно; он решил позвать девушку к себе только от скуки, просто потому, что не хотелось заниматься делом; а теперь пустая прихоть выросла до чудовищных размеров, приходилось прибегать к полутонам и намекам, которые понимала даже мисс Тилни, эта рассудочная и бесчувственная женщина. Он знал, что где-то глубоко в его сознании живет интуиция, которая так часто не хочет подняться на поверхность и шепотом предостеречь его (это она виновата в неудаче с Маунтгарретом Кемденом), зато бывают случаи, когда она выскакивает наверх, как на пожар. И сейчас она заработала так, что все вокруг разрослось до чудовищных размеров.

— Да, да, конечно. Я с ней поговорю.

В голосе его звучало раздражение. Мисс Тилни промолчала, издав вместо ответа странный негромкий звук — не чихание, не ворчание и не кашель, но нечто среднее,— всегда выражавший неодобрение. Когда она выходила, неодобрение выражала даже ее широкая спина под шерстяным джемпером цвета лежалого молочного шоколада.

Сэр Майкл сделал попытку углубиться в отчеты о трех провинциальных театрах с постоянным репертуаром, которые положил ему на стол Джеф Берд. Он знал, что эти отчеты составлены на совесть и содержат все необходимые сведения, но и только, ведь Джеф по-настоящему не понимает театра. А вот сэр Майкл понимает, он знал это, и понимает тонко, что дано только избранным; но хотя он мог ходить на все спектакли бесплатно, да еще брать с собой какую-нибудь из своих женщин, он терпеть не мог бывать в театре. А вот Джеф Берд — тот как школьник, приехавший на бессрочные рождественские каникулы: он не вылезает из театров, каждый вечер там,

готов смотреть что угодно и где угодно, от бесконечных прекрасных дам и рыцарей в Хаймаркете до «Розы без шипов» в самодеятельной постановке дарлингтонских железнодорожников; бедняга, столько лет просидел в комиссии по рыбоводству, а теперь вот стал неисправимым театралом.

Все еще пышущая неодобрением мисс Тилни ввела Шерли Эссекс — непонятное существо, на котором, кажется, была розовая кофточка и темная юбка. Она показалась непонятной потому, что сэр Майкл едва взглянул на нее. Он пригласил ее сесть и сделал вид, будто занят бумагами. А когда поднял голову, то увидел, что она сидит на одном из стульев, выстроившихся футах в тридцати от него,— на них сидели только во время совещаний.

— Ну что вы, мисс Эссекс, ведь не кричать же нам через весь кабинет. Садитесь поближе.

И он указал ей на кресло, в меру низкое и пружинистое, которое стояло у самого стола, на ярко освещенном месте.

— Полагаю,— сказал он, все еще почти не глядя на нее,— я должен вам кое-что объяснить. Тем более что вы перешли к нам из Дискуса. Есть вещи, которые непременно должны понимать все, кто со мной работает. Ведь вы хотите узнать о нас все что нужно, не правда ли, мисс Эссекс?

— Да, конечно, сэр Майкл. Большое спасибо. Но я кое-что уже знаю.

— Вот как? Интересно послушать.— Теперь он ясно видел, до чего она хорошенькая.

— Ну... одним словом... вы как бы... соперничаете друг с другом, сэр Майкл, ведь верно?

Нет, ее даже назвать нельзя хорошенькой. Сэр Майкл решительно взбунтовался против такой банальности. Он видел, что она красавица и притом грознее целой армии под развернутыми знаменами. Из серой массы машинисток всплыло лицо, безупречное и таинственное, ради каких некогда предавали на разграбление города и опустошали целые провинции. Оно улыбнулось ему из глубин мифологии. Решительно и с пугающей уверенностью оно заявляло, что много лет он попусту тратил время, внимание и силы на кучи костей, жира и надушенных тряпок. Оно перечеркнуло без малого тридцать лет никчемной жизни. На миг он почувствовал себя учеником, почувствовал, что ничего не испытал, а все лишь придумал, убедился, что поэты говорят правду. В памяти у него застучали страстные строфы Йитса.

— Да, вы совершенно правы,— поспешно сказал он, собравшись с мыслями.— Мы соперничаем. Возможна только одна организация такого рода. Двум нет места, и незачем было их создавать. Это была ошибка. Наши функции не вполне совпадают, но они настолько близки, что рано или поздно либо Дискус, либо Комси придется ликвидировать.

Он снова собрался с духом и посмотрел на нее. Заставил себя улыбнуться. Она ответила улыбкой, но эта улыбка была не от мира сего, словно сверкнула под неувядаемым яблоневым цветом Авалона, или со стен Трои, или бог весть откуда еще. В горле у него пересохло, и, пробормотав извинение, он быстро подошел к шкафчику с напитками, налил себе полстаканчика особого белого виски, которое, он надеялся, могло с виду сойти за лекарство, и жадно проглотил его залпом. Ему показалось, что в ее овальных таинственных глазах мелькнул упрек, но он сделал вид, будто не заметил этого, и заговорил еще торопливее.

— Истинная разница между нами особенно хорошо видна, если понять разницу, глубочайшую разницу между генеральным директором Дискуса сэром Джорджем Дрейком и мной. Вам приходилось видеть сэра Джорджа? Нет? Очень жаль. Что ж, он должностное лицо, всю жизнь состоял на государственной службе, а я — нет, никогда не был таким и не буду. Он — администратор. Я — знаток. Он ничего не смыслит в искусстве. А я смыслю. Строго говоря, он не знает своего дела. А я знаю. С другой стороны, положение таково, что у меня в Комси гораздо лучше подобран личный состав, эти люди здесь на своем месте. Вкус, взыскательность, желание служить культуре должны быть превыше всего, и у нас дело поставлено именно так, мисс Эссекс. По крайней мере, таково мое мнение, и, надеюсь, вы скоро убедитесь в моей правоте.

Он снова улыбнулся ей и тут понял, что она смотрит на него с глубоким сочувствием, как сестра милосердия на больного, и в сущности совсем его не слушает. Чувствуя, что попал в дурацкое положение, он продолжал:

— Так обстоят дела. И даже если вы никогда не видели сэра Джорджа, вам, без сомнения, приходилось сталкиваться с его начальниками отделов. Не так ли?

— Очень редко, сэр Майкл. Я все больше переписывала всякие бумаги на машинке. Но я имела дело с миссис Пемброук, она занимается музыкой и такая добрая... И с мистером Кемпом, он даже пригласил меня позавтракать. Я не знаю, чем он занимается — этого, кажется, никто не знает,— но все его любят. Он очень милый, хотя слишком много пьет.

— Раньше он работал у нас. Возможно, он и был тогда милый, не знаю, но нам он казался несносным. Простите, если он ваш друг...

— Что вы, я его только один раз и видела, когда мы вместе завтракали...

— А почему вы с ним завтракали? Он не... не позволил себе никаких домогательств?..

Ей бы рассмеяться, но она этого не сделала. Она серьезно покачала головой.

— Все было совсем не так. Мистер Кемп хоть и пьет слишком много, но такого он, я уверена, никогда себе не позволит. Он знал, что я поступаю в Комси. Он ведь сам здесь работал и хотел кое-что мне рассказать о Комси.

— И обо мне?

— Да, конечно, он упоминал и о вас, сэр Майкл. Как же иначе?

— Что же он сказал обо мне?

Она поколебалась, не в силах скрыть замешательство. Ноги готовы были понести его вокруг стола к ней, руки тянулись обнять ее; это было невыносимо.

— Ну, он сказал, что здесь все больше скучная публика, не то что в Дискусе,— но вы не такой, вы очень умный, говорит. Но вы несчастливы, говорит.

— Несчастлив? Что за выражение, даже для человека, который насквозь пропитан джином! А кто счастлив? Вот вы счастливы, мисс Эссекс?

— Ну, иногда более, иногда менее.

— Вот именно. Как и все мы.— Мисс Тилни, которая, как он подозревал, все время подслушивала под дверью, вероятно, не пропустила ни единого слова. Надо положить этому конец.— Надеюсь, здесь, в Комси, вы будете счастливы более, а не менее, мисс Эссекс.

Он встал, она тоже.

— Большое спасибо, что вы нашли время со мной поговорить, сэр Майкл.

Какие у нее изумительные ноги. Погладить бы их!

— Кстати, мисс Эссекс...— И он обошел вокруг стола.— Вы хорошо стенографируете?

— Раньше справлялась неплохо. Но в последнее время мне мало приходилось писать под диктовку. Я все больше печатала.

— Но ведь это, мне кажется, куда скучнее.

— О да, сравнить невозможно.

— Что ж, постараемся использовать ваше знание стенографии.

Он улыбнулся и положил руку ей на плечо. И тут произошло два совершенно необычайных события. Во-первых, он почувствовал, как она вздрогнула, что, конечно, и раньше нередко бывало в его практике, но вот так, сразу,— еще никогда. А потом как ни в чем не бывало она преспокойно взяла его руку и убрала со своего плеча.

— Я вам больше не нужна, сэр Майкл?

«Больше не нужна»! Великий боже! Но прежде чем он успел слово вымолвить, мисс Тилни открыла дверь.

— Мистер Натт пришел.

— Мистер Натт?

— Из Бедфордского университета. Вы назначили ему прийти к половине пятого.

— Разве? Ну что ж... Благодарю вас, мисс Эссекс.

Ушла, ушла! И на месте такого сияния появился этот противный Натт из Бедфордского университета, собственной персоной, невыносимо скучный даже в письмах и телефонных разговорах.

— Вы, конечно, хотите чаю, сэр Майкл? — сказала мисс Тилни. Он чувствовал, что она не без удовольствия спровадила Шерли Эссекс.

— Ничего подобного, мисс Тилни.

Сэр Майкл сказал это таким тоном, что ей оставалось только уйти. Он посмотрел на Натта, толстяка с широким, как у куклы чревовещателя, ртом.

— Надоели мне эти дурацкие чаепития. Вся Англия тонет в потоках теплого чая. Хотите виски!

Наливая себе, он выслушивал бесконечно долгие разъяснения Натта, почему тот не позволяет себе пить виски ни днем, ни ночью. Разве пропустит изредка стаканчик хереса, но только не теперь, ни-ни, большое спасибо. Вкус виски напомнил ему золотистые взгляды, которые она бросала на него через стол. Отгоняя эти воспоминания, он с ненавистью поглядел на Натта. Только в Бедфордском университете могут носить такие галстуки.

— Так что вполне естественно,— говорил Натт,— мы не сочли себя вправе присудить нашу первую творческую стипендию без руководящих указаний — не обязательно какой-либо определенной рекомендации, но общих руководящих указаний от вас, из Комси,— может быть, вы могли бы дать нам небольшой рекомендательный список, чего, как мне кажется, желал бы и доктор Мелтби, хоть он и предоставил мне известную свободу действий — думаю, что не ошибусь, говоря это. Я разговаривал с доктором Мелтби не далее как сегодня утром...

— А кто он такой?

— Доктор Мелтби? Это наш проректор, сэр Майкл. Он первый написал...

— Ах да, да, помню. Что ж, мы приготовили для вас краткий список. Где это я его видел? Ага, вот он.— Сэр Майкл передал список Натту, который принял его с таким видом, словно ему после долгой и кровопролитной войны вручили проект мирного договора.

— Я вижу, вы нашли настоящих творческих людей,— сказал Натт.— И к тому же молодежь. Поэт, драматург, прозаик, художник, композитор— великолепный подбор. И не менее великолепная участь ждет одного из этих пяти! Нам в молодости такое и не снилось, правда, сэр Майкл?

Сэр Майкл бросил на него уничтожающий взгляд и не ответил. А Натт все созерцал список.

— Он проведет у нас три семестра,— продолжал Натт,— мы его поместим в Роббинзовском крыле, оно еще не достроено, но дело движется полным ходом, из окна чудесный вид на будущий стадион, вот только бульдозеры кончат работу и будет осушено болото. Он будет пользоваться всеми привилегиями наравне с нашими преподавателями. Кроме бесед со студентами ничто не будет отрывать его от творчества. Доктор Мелтби недвусмысленно высказался на этот счет...

— Знаю, все знаю,— сказал сэр Майкл, который в критические минуты умел ловко оборвать собеседника.

— Это замечательный человек, ведь верно? Он словно специально создан для Бедфорда, как вы считаете?

— Да.— Сэр Майкл в эту минуту напряженно думал о своем — как избавиться на несколько дней от мисс Тилни и взять на ее место эту очаровательную Шерли Эссекс. Головоломная задача, но все же разрешимая.

Натт продолжал что-то бубнить о докторе Мелтби и Бедфорде. Вдруг он замолчал, заставив сэра Майкла обратить на себя внимание, а потом пустил пробный шар.

— Знаете, сэр Майкл, у меня такое чувство — хотя, признаться, доктор Мелтби сегодня утром в разговоре со мной тоже намекнул на это, что если я позволю себе проявить некоторую настойчивость, разумеется, заверив вас, что это не выйдет за стены вашего кабинета, вы, быть может, скажете, конечно, совершенно неофициально, не отдаете ли вы лично хоть малейшее предпочтение кому-нибудь из этих пятерых.

— Нет, ни малейшего.

Сказать по совести, он и не слыхал ни об одном из них, и слава богу. Какой-то бедняга вскоре отправится в Роббинзовское крыло. К доктору Мелтби, Натту и этим осушенным кочковатым болотам.

— Но вот что мне пришло в голову, мистер Натт. Вам понадобится помощник. И он у вас будет.— Нажав на кнопку звонка, он вызвал мисс Тилни.— Не можем же мы допустить, чтобы ваша первая творческая стипендия была присуждена недостойному, правда? Разумеется, мы, как всегда, завалены делами, но я не могу отказать вам, мистер Натт.

Мистер Натт прикрыл глаза, сложил кукольные губы в улыбку и радостно закивал.

— Итак, мисс Тилни,— начал сэр Майкл сурово,— нам с мистером Наттом нужна ваша помощь. У нас пять кандидатов на Бедфордскую стипендию. Кто из них достойнейший? Я не могу советоваться с главами отделов, потому что он, или она, подойдет к делу предвзято, отдавая предпочтение своей рекомендации. А мне нужно беспристрастное мнение. Необходимо собрать сведения об этих пятерых и побывать в Бедфордском университете. К величайшему сожалению, я не могу заняться этим лично, у меня слишком много важных дел. Придется вам, мисс Тилни, взять это на себя. Я вынужден наконец послать вас в командировку.

— Но... сэр Майкл...

— Знаю, знаю. Вы боитесь, что мы тут без вас не справимся. И не без оснований. Но случай совершенно исключительный. Я постараюсь обойтись без вас.

— Может быть, мисс Бэри меня заменит...

— Предоставьте это мне, мисс Тилни. Сейчас, поскольку мистер Натт здесь, главное вам с ним разработать план действий, и притом не теряя времени. Список у мистера Натта. Так что приступайте. Я скажу Марлоу, чтобы вам, мисс Тилни, оплатили все расходы. И не беспокойтесь обо мне. Ваше задание первоочередной важности.

— Это замечательно, просто замечательно! — вскричал Натт.— Доктор Мелтби будет в восторге, я уверен. Вы приняли выдающееся решение, сэр Майкл.

— Вы удостоили нас своего доверия. И это самое малое, что мы можем сделать. Ну-с, что же вы, мисс Тилни?

Ее широкое ибсеновское лицо покраснело, она дрожала мелкой дрожью; удивленная, она разрывалась между наивной гордостью столь ответственным поручением и интуитивным подозрением, что сэр Майкл спешит убрать ее с дороги. Будь они одни, подозрение взяло бы верх, но тут же сидел мистер Натт, все еще сияющий, хотя явно несколько сбитый с толку.

— Слушаю, сэр Майкл. Мистер Натт, пройдемте в мою комнату, там мы все обсудим.

Через час, когда эта уже неразлучная пара заглянула проститься с ним, сэр Майкл, который клевал носом над новым французским романом — из тех, где описывается мебель и всякая всячина, но ничего не происходит,—услышал робкий стук в дверь. Это была подруга мисс Тилни, мисс Бэри, заведующая машинным бюро, через которую проходила вся переписка и копии с документов. Это была очень тощая и очень энергичная особа, и в ее присутствии сэру Майклу всегда казалось, что здание Комси осаждено какой-то грозной армией. Он и не подозревал, что она до смерти боится его.

— Мисс Тилни сказала, что, может быть, мне придется сегодня заменить ее.

Но он был во всеоружии.

— Конечно, мисс Бэри, но, к сожалению, это невозможно. Я как раз собирался позвонить вам и все объяснить. Видите эти доклады доктора Эдит Фробишер, мистера Тарлтона, мистера Берда и остальных? Вот, держите. Прошу вас побывать сегодня же у каждого и узнать от моего имени, нет ли у него, или у нее, каких-либо дополнений. А потом в теперешнем виде или же соответствующим образом дополненные, их нужно переписать и размножить — очень прошу вас сделать это лично, мисс Бэри. В результате этого нововведения каждый отдел будет знать планы остальных отделов. Пора нам наконец начать работать более упорядоченно,— добавил он строго.

— Вы совершенно правы, сэр Майкл,— пробормотала, запинаясь, бедная женщина, которая отлично знала, что разговаривает с единственным неупорядоченным человеком в учреждении.— И если вы находите нужным, я, конечно, все сделаю сама.

— Непременно, мисс Бэри, непременно.

— Но вам же понадобится кто-нибудь...

Сэр Майкл жестом остановил ее. Вид у него все еще был суровый, но тон стал доверительным.

— Я сегодня беседовал с мисс Эссекс, которая перешла к нам из Дискуса. Попросите ее завтра с утра зайти ко мне.

— Мисс Эссекс? Но мне кажется, у нас есть девушки...

Он снова остановил ее.

— Да, я знаю, более опытные. Но они не перешли из Дискуса, как она.— Он понизил голос почти до шепота.— Мисс Бэри, вам это может показаться пустяком. Но для меня это важно. В высшей степени важно.

— Ах, так... ну, тогда конечно... я ей скажу...

Тогда он спросил громче и непринужденней:

— Может быть, она еще здесь?

— Нет, сэр Майкл. Все ушли домой.

— Ах, да. Вечно забываю, что у вас у всех есть дом, не то что у меня. Скверная привычка. А теперь вы свободны, мисс Бэри. До свидания!

Воображение, не дававшее ему покоя с того самого мига, как он в первый раз взглянул на эту девушку, теперь взялось за него с новой силой и страстью, словно был уже час ночи. Он не мог вспомнить ее лицо, перед ним вставало лишь неясное, грустное сияние, темно-золотая комета, уносящаяся куда-то в лондонское предместье, недостойное ее,— и почему он не спросил, где она живет? — оставляя и здание Комси, и Принсес-плейс, и Мэйфер, и весь Уэст-Энд в темноте, которая стала еще непроницаемей в сгустившемся тумане скуки. И как убить сегодняшний вечер? Он собирался пообедать с Кларисой Эсборн, очень неглупой писательницей, которая печаталась под псевдонимом в дамском журнале и всякий раз надеялась, что он сделает для нее нечто большее, чем тискать ее и страстно стонать на своей или на ее кровати. Это давняя и надежная привязанность, она ему почти друг, и к тому же красива, но всегда ненасытна, всегда и всего жаждет — еды, в которой она себе отказывает, похвал, славы, любви, триумфа, так и не выпавшего на ее долю. Ему бывало хорошо с Кларисой, которая щадила его самолюбие, она помогла бы ему скоротать этот длинный темный вечер. Но сможет ли он теперь ее вынести?

— Клариса, дорогая, никак не мог тебе дозвониться.

— Я делала массаж лица. И кроме того, купила пару дуврских палтусов...

— Сегодня я никак не могу с тобой встретиться, Клариса. Давай как-нибудь в другой раз.— Он прервал ее слезливый протест.— Знаю, знаю. Мне ужасно жаль, дорогая, но это служебное дело, и я никак не могу его отложить. Нет, боюсь, что и позже ничего не выйдет. Поверь, дорогая, мне тоже жаль, даже больше, чем тебе.

Нет, ему положительно нравилась эта бедняжка Клариса — она и внешне, и внутренне больше в его духе, чем все эти чужие жены, вроде Элисон Дрейк, которые начинают упрекать себя и его, едва прикрыв простыней наготу,— и он представил себе, как она сидит в своей квартире на Мейда-Вейл, напрасно сделав массаж и купив палтусов, плачет от жалости к себе, а может быть, отчаявшись, уже звонит какому-нибудь старому и верному своему поклоннику: «Дорогой, я понимаю, что должна была позвонить раньше...» Может быть, не следовало бы так поступать. И как теперь самому скоротать вечер? Машинистка, девчонка, больше чем вдвое его моложе, наверно, глупая, как пробка, да еще помолвлена с каким-нибудь смешливым кретином! Он и не заметил, носит ли она обручальное кольцо. В сущности, он вообще ничего о ней не знает. Но тут он вспомнил. В этом деле замешан Тим Кемп. Мысль о Кемпе была омрачена неприятной тенью, но сейчас он предпочел отмахнуться от этого: Кемп мог бы кое-что про нее рассказать. Он позвонил в Дискус.

Никто не ответил. Только без четверти шесть, а там все уже разбежались. Черт знает, что там делается.

8

В Дискусе шло очередное еженедельное заседание. Сэр Джордж окинул собравшихся растерянным взглядом. Он высказался, старательно выбрав соответствующий момент, соответствующим тоном и надеялся, что это будет подобно взрыву бом-

бы, а вместо этого почувствовал себя освистанным и оплеванным. Видно, им это было безразлично — всем, кроме Джоан Дрейтон, а она узнала эту новость от него гораздо раньше и теперь выражала сочувствие только из верности ему. Спенсер и Хьюго Хейвуд заговорили о чем-то явно постороннем. Кемп, который, видимо, был под мухой, ухмылялся. Никола Пемброук любовалась ниткой крупного жемчуга, вечно красовавшейся у нее на шее. Нейл Джонсон что-то черкал в записной книжке.

— Ну-с, может быть, вы соблаговолите меня выслушать? — Сэр Джордж постучал по столу. Все притихли и молча воззрились на него.— Кажется, вы не слышали, что я сказал. А ведь речь идет не о каком-нибудь пустом слухе. Сведения получены непосредственно из министерства.— Он оглядел всех и поднял палец.— Итак, в парламенте будет сделан запрос.— Теперь уже никто не переговаривался, не любовался жемчугами, не черкал в записной книжке, только Кемп, видимо спьяну, все так же ухмылялся.— Разумеется, это неизбежно должно было случиться. Я и не говорю, что это полная неожиданность. Но факт налицо — предстоит запрос в парламенте.

Джун Уолсингем, которая все время листала блокнот, хотела что-то сказать. И вид у нее, как всегда, был такой, словно она собирается внести самое что ни на есть неуместное предложение: устроить соревнование, кто больше выпьет джина с лимонадом, а потом сыграть партию в покер с раздеванием или еще что-нибудь в том же духе.

— Ну и что же, сэр Джордж! — воскликнула она весело.— Это будет для нас отличной рекламой. Что вы поручаете мне?

— Попросите своих друзей с Флит-стрит пощадить нас, мисс Уолсингем.— Сэр Джордж покачал головой.— Когда побудете с мое на государственной службе, поймете, что запросы в парламенте обычно имеют целью дискредитировать учреждение. Вам, Нейл, это отлично известно,— обратился он к единственному из присутствующих, кроме него самого, кто занимал ответственный государственный пост.

Но сэру Джорджу следовало бы помнить, что Нейл Джонсон стал теперь ответственным авантюристом, постоянным бунтовщиком.

— Я не против запросов,— сказал он мрачно,— я против идиотских возражений снизу. Когда это ожидается, господин председатель?

— Еще не решено. Но в самом ближайшем времени. Не знаю, коснется ли это также и Комси...

— Коснется,— ввернул Тим Кемп все с той же ухмылкой.

— Я не стану спрашивать, откуда у вас эти сведения, Кемп,— сказал сэр Джордж.— Но мне хотелось бы думать, что именно мысль о Комси приводит вас в такое... м-м... веселое настроение.

— Само собой. У них сейчас заседание. Может, в эту самую минуту. Стратеррик не хотел заседать, но Дадли Чепмен и Джим Марлоу его заставили. Да, сэр Джордж, от этого мне весело. И верьте слову, скоро будет еще веселей.

Джун Уолсингем бросила на него взгляд через всю комнату:

— А вам это откуда известно?

— Он знает, что говорит, Джун, не беспокойтесь,— сказала Никола Пемброук со смешком.

Сэр Джордж нахмурился, и она замолчала.

— Я не сомневаюсь, что, если запрос в парламенте будет сделан достаточно широко, мы сумеем выгоднее подать себя, чем Комси. Но этого мало. Вот здесь у меня полный список всех ваших предложений, и должен сказать, что на меня они не произвели особого впечатления и на министерство едва ли произведут. Все это слабо, крайне слабо.

— Я сделал все от меня зависящее, чтобы найти что-нибудь острое,— сказал Хьюго Хейвуд,— но наш театр в полном упадке.

Еще несколько голосов стали сетовать на упадок...

— Дошел до меня один слух,— продолжал Хейвуд, широко раскрыв глаза и тут же закатывая их,— но мне хотелось бы хорошенько его проверить. Господин генеральный секретарь, здесь об этом говорить пока еще рано.— Он сощурился и стал похож на пожилого актера в роли южноамериканского заговорщика.

После того, как все остальные жертвы упадка выступили с оправданиями, которые сэр Джордж выслушал, все больше впадая в мрачность, Джун Уолсингем, умело пользуясь своей внешностью и голосом, овладела вниманием собравшихся.

— Если хотите знать мое мнение,— начала она,— так я вот что скажу. Мы за этот запрос беремся не с того конца. Вы не даете мне в руки ничего, за что можно было бы ухватиться. Все это жалкий материал, он не тянет на самую плохонькую статейку. Необходимо все внимание сосредоточить на какой-нибудь большой постановке, вокруг которой пресса поднимет шум как раз тогда, когда запрос будет сделан. Конечно, я не состою на государственной службе, сэр Джордж, но зато смыслю кое-что в парламентских делах и знаю, что если про нас заговорят газеты, когда запрос будет сделан, представитель министерства сумеет выставить дураком этого члена парламента, кто бы он там ни был. А нас — выставить в самом лучшем свете. Дайте мне в руки какой-нибудь смелый и выигрышный материал, а уж об остальном я позабочусь.

— Да, мисс Уолсингем,— сказал сэр Джордж, задумчиво глядя на нее,— в этом я не сомневаюсь. И должен добавить, у вас очень правильный подход к делу. Но, очевидно, нам надо нанести решительный удар. Кое-кто из вас, вероятно, считает, что я вообще слишком осторожничаю. Не скрою, до сих пор я полагал, что мы должны действовать не спеша и не швыряя деньгами, как это делают в Комси. Но теперь я готов поддержать всякое начинание, в котором, как выразилась мисс Уолсингем, есть что-либо смелое и выигрышное. Я считаю — и думаю, такова же точка зрения министерства,— что запрос в парламенте, возможно, откроет кампанию с целью доказать, что либо Дискус, либо Комси — излишне. Тогда одно из этих учреждений должно быть ликвидировано.

— Или оба,— сказал Тим Кемп, по-прежнему ухмыляясь.

— Вы что-нибудь слышали об этом, а, Кемп?

— Да, какие-то обрывки. Разговор за рюмкой виски. «Моя агентура доносит» — самая обычная формулировка. Может быть, все это пустое. Может, мне это просто приснилось, но Нейл тоже слышал.

— Верно, Тим. Видите ли, сэр Джордж, премьер мог бы действовать через голову и министра, и лорда-президента. Слишком многие могли бы обратить его выпад против него же. А если и Дискус, и Комси станут посмешищем, он может просто распустить и тех, и других, а потом начать все сначала — скажем, создать какое-нибудь симпатичное министерство культуры на континентальный манер. Но учтите, это все пока только догадки.

— Тогда не о чем и разговаривать,— резко сказал сэр Джордж. Невыносимо было убедиться, что эти люди осведомленнее его.— Сейчас важнее всего найти что-нибудь грандиозное в театральной сфере. Как заставить газеты заговорить о себе? Ну?

После неловкого, сильно затянувшегося молчания Тим Кемп начал мягко:

— Конечно, господин председатель, я ничего не могу обещать. Но мне кажется, что переоборудование большого особняка в дом, где могли бы жить и работать художники, заслуживает внимания прессы...

— Покупаю! — воскликнула мисс Уолсингем.

— Само собой. Завтра же утром я повидаю леди Бодли-Кобем в ее беркширском доме...

Несколько голосов громко перебили его. Они уже пробовали. С ней невозможно иметь дело. То, что она задумала, просто-напросто скверная шутка. Сэр Джордж заглушил эти возгласы.

— Нет, нет, Кемп, там ничего не выйдет, уверяю вас. Напрасная трата времени.

— Разве? Зачем же, в таком случае, меня туда посылают, господин директор?

Тим произнес это гораздо резче обычного.

Сэр Джордж холодно взглянул на него.

— Может быть, для того, чтобы вы могли оценить некоторые трудности, которые приходится преодолевать Дискусу, Кемп. Мне кажется, вам стоит потратить на это дечь.

— Не спорю. Но поскольку завтра утром я еду в Беркшир и уже не попаду сюда — а я слышал, что сэр Майкл Стратеррик сам намерен приехать к ней завтра

же днем,— я просил бы кое-каких разъяснений.— Он улыбнулся сэру Джорджу, который все еще сохранял неприступный вид.— Во-первых, устраивает вас размах и широта этого дела или нет? И если да, то, во-вторых, готовы вы поддерживать его до победного конца или нет?

— В отличие от вас, Кемп, я прекрасно представляю себе все трудности, так что тут и говорить нечего.

— Что же еще вы можете предложить для обсуждения, господин председатель?

— Право, Кемп...

— При всем моем к вам уважении, господин председатель,— сказал Кемп твердо,— я, поскольку вы поручили мне вести переговоры с этой женщиной, вправе требовать ответа на эти два вопроса.

— Я совершенно с ним согласна! — воскликнула мисс Уолсингем.— На мой взгляд...

— Вы уже высказали свой взгляд, мисс Уолсингем. И я уже в принципе его одобрил.— Сэр Джордж теперь вещал словно откуда-то с высоты.— Если мистер Кемп найдет способ как-то разумно использовать предложение этой женщины — в чем я сомневаюсь, ибо сомневаюсь, что она в своем уме,— я готов на многое и поддержу всякое начинание, имеющее практическую ценность, всем авторитетом Дискуса. Ну, кажется, на сегодня все. Благодарю вас.

И сэр Джордж удалился — не буквально, а скорее морально, символически, так как совещание проходило у него в кабинете и его письменный стол был всего в нескольких шагах, но все же он удалился, незримо поднявшись на ступень выше.

— Нейл, попрошу выдать мне пять фунтов,— сказал Тим Кемп, когда они вышли за дверь.— В счет завтрашних расходов.

— Вы получите ровно один фунт двенадцать шиллингов и девять пенсов. Не забывайте, что я уже сам однажды ездил к этой Бодли-Кобем.

— Готов голову прозакладать, что сэр Майкл Стратеррик завтра прихватит с собой побольше фунта двенадцати шиллингов и девяти пенсов. Любопытно, что сейчас творится в Комси.

В этот самый миг сэр Майкл председательствовал на совещании и, более того, взирал на своих подчиненных с немилостивым высокомерием, словно перед ним были остатки трусливого клана, только что побросавшие свои палаши.

— Господи, никогда не видел таких паникеров, с позволения сказать. Может быть, слово не совсем то, но вы меня понимаете.

Он покосился на Шерли Эссекс, сидевшую у стола, слева от него. Она держала на колене, без сомнения, восхитительном, хотя пока он мог это лишь предполагать, блокнот для стенографирования, то и дело поглядывая на него с испугом. Но какое это имело значение? Сегодня на ней была бледно-голубая блузка и темно-синяя юбка — скромно, но неотразимо. Она здесь, рядом, пока мисс Тилни трудится не щадя живота на ниве Бедфордского университета во имя творческой стипендии, и останется здесь, когда он распустит совещание, а завтра он возьмет ее с собой в Беркшир к этой леди, как бишь ее... Ради нее сэр Майкл напустил на себя надменное презрение, но чувствовал, как под этой непроницаемой маской дух его взыграл и возликовал.

Окинув взглядом своих коллег, Дадли Чепмен снова выступил от их имени. Лицо у него было самое что ни на есть подходящее для здравомыслящего оратора — мясистое и плотное.

— Не стану утверждать вопреки истине, что мне это улыбается, директор. И Саммерс из канцелярии председателя палаты лордов...— вы его, кажется, знаете, сэр...

— Да, конечно, Дадли, я знаю этого идиота.

— Пусть так, но он понимает, что такое запрос в парламенте.

Ропот одобрения пробежал вокруг стола. Все понимали, что такое запрос в парламенте.

— А вы сами когда-нибудь бывали там, слышали вы эту сверхобразцовую болтовню? — Сэр Майкл презрительно фыркнул и повернулся к Шерли, просто ради удовольствия взглянуть прямо на нее.— Этого не стенографируйте, мисс Эссекс. Допустим, вы просто не расслышали.— Он надеялся, что она ответит на его улыбку, но она была

серьезна. К сожалению, она всерьез считала это совещание сугубо важным событием и робела.

— Все дело в том,— продолжал Чепмен,— что за этим кроется. Может быть, они хотят от кого-то избавиться? Если так, кого ликвидируют, нас или Дискус? Я уверен, что в финансовом отношении у них дело обстоит благополучней, чем у нас. Вам известно, директор, что я указывал...

— А я, Дадли, тоже указывал, и не один, а десятки раз, что у нас иные финансовые источники. Когда Джордж Дрейк бесстрашно отдает распоряжение приобрести сотню промокашек, он тратит государственные средства. А мы добрую половину субсидий получаем помимо казначейства. Благодаря мне,— продолжал он, намеренно хвастливо, чтобы все подумали, будто он вовсе не хвастает, хотя на деле он именно хотел прихвастнуть,— и моей редкой способности убеждать людей, не говоря о том, что я выдержал два кошмарных обеда и два скучнейших вечера в моей жизни, мы получили щедрые пожертвования от двух крупных фондов.— Он оглядел собравшихся.— Дадли, конечно, прекрасно это знает. Кому же знать, как не ему? Я подчеркиваю это специально для вас. Я стараюсь вселить в вас смелость, силу, веру и надежду. Что скажете?

— Боюсь, до сих пор это вам не удавалось,— сухо заметила Эдит Фробишер.

— Хорошо, допустим. Ну так я вам скажу, в чем наша беда. И никакие парламентские запросы тут ни при чем, я их и в грош не ставлю. Мы скучно живем, и что ни день — все скучнее. Мы зеваем над лужами теплого чая. А надо хлебнуть чего-нибудь покрепче и быть веселыми, как черти. Смелость! Блеск! Мы должны сейчас же, не сходя с места, придумать что-нибудь такое, от чего Джордж Дрейк и его покровители из министерства просвещения подожмут хвосты. Заметьте, я говорю «мы», а не «вы». Я и себя признаю виноватым. И я тоже нагонял скуку. И меня поразил этот английский вирус, или не знаю, отчего там люди становятся нудными автоматами. Но если я в последнее время работал плохо, то вы, друзья мои,— еще хуже. Сегодня я все утро — помилуй меня бог — просматривал дополненные доклады, которые по моей просьбе собрала, перепечатала и размножила мисс Бэри. Я словно плутал в липком тумане. Вы знаете, что ваши доклады нагоняют тоску, а пробовали вы читать чужие? Я хотел бы преподнести их в дар Дискусу. А теперь, дети мои, бога ради, забудьте об этом несчастном парламентском запросе, о нем, на мой взгляд, и говорить не стоит, и придумайте для Комси что-нибудь смелое, веселое, блестящее и красивое. И не воображайте, что я буду сидеть сложа руки. Для начала я завтра же побываю у этой сумасшедшей, набитой деньгами старухи, которая уже отказала Дискусу. Признаться, год назад я и близко к ней не подошел бы. Но теперь я чувствую, что нам никак нельзя упустить даже эту сомнительную возможность. И вы все должны это чувствовать. Будьте отчаянными, но веселыми, как кельты. Нет, Дадли, нет, Джеф, хватит, совещание окончено. Заключительное слово я люблю оставлять за собой, и вы его уже выслушали.

Он встал, отошел и отвернулся, пока они гуськом выходили из кабинета. Потом подошел к шкафчику, налил полстакана виски, разбавил его на треть водой, сделал добрый глоток, резко повернулся и посмотрел на Шерли. Он знал, что она еще здесь, так как заранее попросил ее задержаться после совещания.

— Ну, Шерли, как вы считаете, пронял я их?

— Не знаю,— сказала она медленно и едва слышно.— Но, честное слово, сэр Майкл, вы говорили просто замечательно. Поверьте, если бы со мной кто-нибудь так поговорил...— И она умолкла.

«Да, чертенок ты этакий! — страстно воскликнул он про себя.— Пора мне поговорить с тобой!» Такие жгучие искры порой вдруг вспыхивали во мраке его души: страсть, жившая в нем, стремилась на волю. Древние греки были правы: это возмездие, ужасный дар неумолимой Афродиты, мстящей за то, что ею так долго пренебрегали. (Он легко мог представить себе, как все женщины, с которыми он проводил вечера, хором молят богиню покарать его.) Конечно, стоит провести с этой девушкой самое большее час-другой в кровати или на кровати, и чары рассеются. Но пока что он в их власти, хоть в остальном и сохранил рассудок.

— Не хотите ли выпить, Шерли?

— А вы думаете, это можно?

— Иначе я не стал бы вам предлагать. Но вы, конечно, не обязаны пить, точно так же как не обязаны отказываться. Здесь у нас полная свобода.

Он сказал это с такой горечью, что она удивленно вскинула на него глаза.

— Ну хорошо,— сказала она.— Я выпью стаканчик хереса. Благодарю вас, сэр Майкл.

Наливая ей херес, он мрачно раздумывал о своем затруднительном положении. Он еще не предлагал ей встретиться где-нибудь после работы — этот лед должен быть сломан завтра во время поездки в Беркшир,— но уже многое знал о ней. И все, что знал, было не в его пользу. Она оказалась беспредельно, непробиваемо добродетельной, словно не принадлежала к поколению, о котором так шумят газеты и телевидение. Она готова была в любую минуту уйти с работы, а значит исчезнуть с его горизонта, как только какое-нибудь его слово или поступок покажется ей обидным. Она вовсе не глупа — она сообразительна и разгадает малейшее его посягательство,— но ее удивительное лицо не казалось по-настоящему умным. А работала она так, что в сравнении с ней мисс Тилни была настоящим чудом: всю душу выматывала своей медлительностью, своей тупостью. Жила она в каком-то ужасном квартале на северной окраине города среди целого леса телевизионных антенн; к тому же она единственное дитя — вот ведь повезло! — у смешного, доброго старика отца, младшего кассира в какой-то фармакологической фирме, и неугомонной любящей мамаши, которая непостижимым образом зачала и произвела на свет — один бог знает, как и почему,— это золотоволосое чудо, посланное ему в наказание Афродитой. И вот он, Майкл Стратеррик, который уверенно и быстро мог совершенно преобразить стольких холодных и верных жен, среди которых были и сливки общества, в покорных и страстных рабынь, теперь, очарованный, как восемнадцатилетний юноша, не знает, что делать и что сказать.

Он подал ей бокал с хересом и, только бы хоть как-нибудь коснуться ее, настоял, чтобы они чокнулись. Коснувшись на миг ее руки, он испытал чувство удовлетворения. И тут же он почти увидел и услышал, как хор женщин указывает на него пальцами и смеется, резко, грубо, обидно, как умеют смеяться женщины. И он знал, что это не просто фантазия. С того самого мгновения, как он увидел ее лицо, всплывшее из мифологии, нечеловеческая страсть всколыхнула в нем давно забытые глубины, глубины первобытного сомнения и древних предрассудков: он был зачарован и на грани безумия, потому что у стола, с блокнотом в руке, ему явилось воплощение того, что Юнг называл anima, духовным образом.

Наедине с ним она почти все время молчала, но теперь вдруг заговорила:

— Вы в самом деле берете меня завтра с собой? В таком случае мне нужно пойти в парикмахерскую уложить волосы.

— А так разве плохо?

— Да нет, просто их нужно уложить. Только в перерыв мне никак не успеть.

— Завтра вы свободны все утро.

Это прозвучало как приказ.

— Ах, вы разрешаете? Но что скажет мисс Бэри?

— Я сам поговорю с ней. Скажу, что вы позвонили и сослались на нездоровье. Предоставьте это мне.

— Но ведь она знает, что завтра я еду с вами.

— Разве? В таком случае я скажу ей, что поеду один. Так, право, будет лучше.

— Но тогда в четверг она спросит, что со мной было. Она всюду сует свой нос, эта мисс Бэри.

— Ну, скажете ей что-нибудь — придумайте что хотите.— Он говорил с раздражением, ему не по душе были эти ничтожные ведомственные интриги.— Хотите еще хереса?

— Нет, нет, большое спасибо.

Беря у нее стаканчик, он накрыл ладонью ее руку. Это прикосновение, каким мимолетным оно ни было, раздуло тлевшие в нем чувства. Он стоял над ней неподвижно, хотя весь пылал. Как ни плотен ее кокон старомодной благопристойности, она

женщина и должна понимать, что он чувствует. Он ничего не сказал и стоял затаив дыхание, чтобы не спугнуть то, что должно было свершиться.

Она подняла голову и взглянула на него. Этот взгляд пришел из глубины тысячелетий.

— Ну хорошо. Но только раз. Смотрите же — только один.

— Что один? — Это до такой степени противоречило его жизненному опыту, что он действительно не понял, о чем она говорит.

— Вы ведь хотите меня поцеловать? — Она отнеслась к этому сугубо по-деловому.— Ну, хорошо, только не больше одного раза. И, пожалуйста, без глупостей, по-хорошему.

Сердце у него бешено колотилось, и он, чувствуя себя от этого глупо, поцеловал ее прямо в губы, но как мог деликатнее. Потом огромным усилием воли заставил себя отойти от нее. Он допил виски и только тогда решился снова на нее посмотреть. Вполне можно было ожидать, при таком деловом подходе, что теперь она листает блокнот или пудрит нос, но, к его удивлению, она сидела в той самой позе, в какой он ее оставил, и смотрела на него — глаза ее были широко раскрыты и блестели, а губы как будто слегка дрожали. Как же теперь быть? Он действительно не знал, что делать. Как будто много лет и близко не подходил к женщине.

— Ну что ж, сэр Майкл.— Тон ее нисколько не переменился.— Я воспользуюсь свободным временем и с утра уложу волосы. Но если на службе будут считать, что я дома, мы с вами не сможем встретиться здесь, правильно? Куда же мне приехать? На вокзал?

— Нет. Я закажу автомобиль. Кажется, дом этой старухи в нескольких милях от станции, так что лучше ехать на автомобиле.— Он был рад избавиться от дурацкого ощущения и теперь говорил кратко, начальственно.— Конечно, нам нельзя встретиться здесь или где-нибудь поблизости. Ждите меня на западной стороне Беркли-сквер в четверть третьего.

Она старательно повторила его слова.

— Да захватите блокнот.

Она кивнула.

— А как быть со стенограммой сегодняшнего совещания? Кажется, мне полагается ее расшифровать?

«Кое-что она схватывает довольно быстро,— подумал он.— Полчаса назад она не бросила бы ему это «кажется».

— Не беспокойтесь. Текст моего выступления мне не понадобится, а больше почти ничего и не было сказано. Кроме болтовни о запросе в парламенте.— От него не укрылось ее удивление.— Ну ладно, Шерли, напечатайте что-нибудь в таком духе: «Сего числа, под председательством директора, состоялось совещание с участием таких-то и таких-то. После обмена мнениями относительно предполагаемого запроса в парламенте председатель обратился к собравшимся с просьбой одобрить его точку зрения, что Комси необходима более творческая и смелая линия». Записали?

— Нет, вы так быстро говорили.

— В таком случае повторяю.— Видя, что она записала, он продолжал:— После заседания временный секретарь директора, мисс Шерли Эссекс, попросила его поцеловать ее один раз по-хорошему. Он исполнил это желание, причем, к огромному ее облегчению, вел себя как истый джентльмен.

— Не понимаю, зачем вы смеетесь над собой.

— Итак, Шерли, пожалуйста, будьте на Беркли-сквер ровно в четверть третьего. До свидания.— Он подошел к своему столу и уселся в кресло. А когда он посмотрел на дверь, девушка все еще стояла на пороге, не сводя с него глаз.— Пока все, Шерли.

— Я понимаю. До свиданья.

Но вместо того, чтобы уйти, она расплакалась.

Он вскочил.

— Да что с вами?

Но когда он дошел до двери, она уже быстро бежала по коридору. Выпив опять виски, он почувствовал, что не вынесет еще одного вечера в этой мышеловке, и позвонил Кларисе. Никто не ответил. Тогда он дозвонился Мэвис, которая осыпала его

упреками и сказала, что все равно уже приглашена к обеду. Андреа была дома и начала прямо с того, что жаждет его видеть, но тут он почувствовал, что не хочет видеть ее, и понес какую-то околесицу, мол, говорят, будто ей предложили сделать эскизы декораций и костюмов для новой пьесы в театре Олдвич. Потом, одурев окончательно, он взял телефонную книгу и долго водил пальцем вверх-вниз по четырем столбцам с фамилией Эссекс, а когда глаза у него начали уже слезиться от мелкого шрифта, нашел наконец: *Джевон М. Эссекс, Уинстон-авеню, 5.* После этого он сказал себе, что надо поехать в клуб, покуда он окончательно не свихнулся.

В клубе его немедленно обступили четверо людей, от которых он бегал уже не одну неделю.

9

Ровно в четверть третьего сэр Майкл увидел Шерли, ждавшую его на Беркли-сквер. На ней был костюм — кажется, синевато-зеленый — и нарядная коричневая шляпка, отчего она показалась ему не только очаровательной, но и, к его удивлению, очень элегантной. В неярком апрельском солнце площадь казалась нарисованной акварелью. То был один из тех необычайных дней, когда Мэйфер как бы переносится из Лондона в таинственную иноземную столицу, может быть, в какой-нибудь Руритании, только побогаче. Сэр Майкл, который позавтракал очень легко, но побаловал себя бутылкой превосходного «трамине», почувствовал вдруг, как настроение у него поднимается, как его захлестывает редчайший прилив радости под воздействием какой-то иной Луны, отнюдь не той, в которую нацеливают ракеты; он быстро открыл дверцу изнутри и буквально втащил девушку в машину, словно она и в самом деле, как это казалось, была чудесной добычей.

Автомобиль был с откидным верхом, вполне просторный и удобный, но шофер оказался не из тех, кто открывает дверцы и угодливо поправляет ковры. Это был угрюмый длинноволосый юнец, сильно смахивавший на эстрадного певца, и хотя он соблаговолил выслушать объяснения сэра Майкла, как добраться до дома леди Бодли-Кобем, неподалеку от Хенли-Уоллингфорда, но ясно дал понять, что ему эта поездка ни к чему. Как выяснилось, он все время, днем и ночью, развозил, как он выразился, «звезд театра, кино и телевизора» по студиям и ночным клубам и, видимо, считал поездку в Беркшир путешествием в самые темные трущобы. За какие-нибудь три минуты они с сэром Майклом решительно невзлюбили друг друга.

— Какая вы сегодня нарядная, Шерли,— сказал сэр Майкл, когда она уселась с ним рядом.— Не знаю, какое впечатление вы произведете на леди Бодли-Кобем, но я лично совершенно очарован.— Он убедился, что стекло, отделявшее их от шофера, поднято до самого верху, и продолжал:— Между прочим, вы разбираетесь в картах автомобильных дорог?

— Боюсь, что тут от меня будет мало толку, сэр Майкл, но я постараюсь.

— Скоро нам придется заняться этим, дорогая. Помяните мое слово, не пройдет и часа, как мы заблудимся, если не будем справляться по карте. Этот шофер сущий кретин. Вот увидите, стоит нам выехать из Лондона, как он поведет себя так, словно мы блуждаем у границ Монголии. Но вполне возможно, нас ждут приключения — если только вы любите приключения.

— Как приятно ехать в таком большом автомобиле.

— Да, недурно! А блокнот вы захватили?

— Вот он!

Она подняла блокнот маленькой ручкой, затянутой в коричневую перчатку, и он накрыл ее своей рукой, на которой перчатки не было, а она уронила блокнот на колени, сдернула перчатку и руки не отняла. От этого он словно разделился на две враждебные половины — с одной стороны, он чувствовал себя ослом, держась с ней за руки, а с другой — буквально таял от наслаждения.

Автомобиль тем временем остановился, снова тронулся и потащился по какой-то западной окраине. Сэр Майкл сказал:

— А вам когда-нибудь приходило в голову, Шерли, что, перестав верить в ад, мы в сущности стремимся поскорей сделать адом землю? Уличное движение, шум,

эти мерзкие заводы, идиотские объявления, бессмысленные лица, вся эта проклятая суматоха и хаос — если это не ад, то что это такое? Или вы со мной не согласны?

Ну конечно не согласна. И не потому, решил он, что она бесчувственна и глупа, а потому, что их разделяют целых двадцать пять лет и она выросла среди всего того, что вселяет в него ужас. Рука, которую он держал — она теперь стала влажной, и он выпустил ее, сделав вид, будто хочет закурить сигарету,— была из другого века, нынешнего века. И вдруг он с тоской почувствовал, что если, отбросив всякое притворство, он откровенно выскажет ей все, что думает о ее необычайной красоте, ограбив, ради ее восхваления, мифологию и поэзию, она просто-напросто не поймет этого и будет смотреть на него, как на помешанного. Но все же, каков бы ни был этот век, она женщина, и под ее плоскими разговорчиками и милыми пошлостями, возможно, скрываются неподвластные времени тонкие ощущения и чувства. Может быть, стоит рискнуть?

Полил дождь, и мир за стеклами, дробясь, расплывался и тускнел. Он почувствовал, как она ближе придвинулась к нему, и был уверен, что она сделала это невольно. И так как он теперь молчал, она с чисто женским усердием принялась болтать. Заговорив о людях вроде их шофера, она сообщила ему, что «мальчики», как она выразилась, молодые люди ее поколения, вовсе не привлекают ее, хотя многие за ней ухаживали, особенно на танцевальных вечерах в «Бассейне», куда она больше не ходит. Они все слишком молодые, желторотые и пустоголовые, хотя один «мальчик» был очень «милый», такой «обходительный» и вместе с тем «артистичный» и прямо влюблен в свой киноаппарат; но он уехал к тетке в Бурнемут. Все это и еще многое он выслушал как бы в полусне: от недавнего приподнятого настроения и следа не осталось. Постепенно смеркалось; дождь усиливался; машина остановилась на пустыре, шофер не знал, куда ехать.

Последующие три четверти часа были полны раздражения, отчаяния, проклятий всем картам и дорогам, которые превратились в проселки, улочки и тупики. Шофер был хмур и молчалив, он жаждал только одного — приказа повернуть назад; Шерли не падала духом и готова была оказать ему любую моральную, но отнюдь не практическую поддержку; а сэр Майкл, в котором даже вожделение угасло из-за путаницы, дождя и бесполезной траты времени, начал про себя проклинать всю эту поездку, которая теперь казалась дурацкой и нисколько не походила на задуманный им удалой рейд Комси. Даже если он в конце концов найдет эту Бодли-Кобем, у него все равно уже не осталось и капли терпения.

Был уже пятый час, когда они свернули на дорогу, по которой, видимо, никто не ездил вот уже много лет, и, прыгая на ухабах, со стуком двинулись к чудовищному особняку, построенному около 1875 года, по всей видимости, архитектором, который по вечерам запоем пил коньяк и зачитывался Вальтером Скоттом. Если леди Бодли-Кобем действительно жила здесь, то, глядя на ее особняк, этому трудно было поверить. Но, несомненно, это был тот самый дом, который они искали. Сэр Майкл помог Шерли выйти и велел ей поскорей бежать к огромному подъезду, где можно укрыться от дождя, потом повернулся к шоферу, который сидел неподвижно, и велел ему подождать, присовокупив, что ждать можно в доме, за стаканом чая.

— Как, в этом доме? — сказал шофер ехидно.— Да если хотите знать мое мнение, тут одни покойнички. Дураки мы, что сюда забрались!

— Ну, как вам угодно, можете торчать здесь,— сказал сэр Майкл резко.

Когда он подошел к Шерли, она изо всех сил тянула огромную ручку звонка. Откуда-то изнутри донеслось резкое звяканье. И больше ни звука. Она посмотрела на него с неуверенной улыбкой, и ему захотелось погладить ее по щеке, холодной, влажной и такой прелестной. Он яростно дернул ручку, и звон не смолкал до тех пор, пока дверь не распахнулась.

— Вам чего? — Голос человека, открывшего дверь, был не менее подозрителен, чем его взгляд. На нем была белая, вся перепачканная домашняя куртка, мешковатые фланелевые штаны и огромные домашние туфли.— Здесь ничего не требуется.

— Я сэр Майкл Стратеррик.— Он произнес это громко, с расстановкой.— Леди Бодли-Кобем ждет меня.

На мужчину это не произвело ни малейшего впечатления.

— Никого пускать не велено.— Он потряс головой и выпятил нижнюю губу.— Никого. Не велено, и все тут!

Это был один из тех жалких изгнанников, чье иностранное происхождение видно сразу, но невозможно понять, откуда они все-таки родом, хоть и ясно, что они из крестьян: под таких работает клоун Чико Маркс.

— Слушайте, я специально приехал из Лондона повидаться с леди Бодли-Кобем и вовсе не намерен стоять здесь и препираться с вами. Либо проводите меня к ней, либо скажите, где ее найти. Ну, живее.

Слуга недоверчиво покачал головой и, что-то проворчав, впустил их и повел по коридору, чуть не до самого потолка заваленному ящиками, в каких обычно перевозят мебель. Он повернул налево и указал на дверь.

— Как доложить?

Сэр Майкл бросил на него уничтожающий взгляд и протянул визитную карточку. Войдя, он не затворил за собой дверь, и они услышали чей-то смех, доносившийся, однако, издалека, словно комната была бесконечно огромна.

— Все это как-то странно, не правда ли, сэр Майкл? — Шерли смотрела на него, широко раскрыв глаза.— Как хорошо, что я не одна. Просто не верится, что здесь кто-то живет, право.

— Мне следовало это предвидеть,— пробормотал он.— Эта мегера, наверно, какая-нибудь противная чудачка. Десять против одного, что ничего у нас не выйдет, Шерли. Что ж, сам виноват. Надо было сперва напустить на нее кого-нибудь другого. Как глупо.

— Но вы не поручаете другим то, что вам самим не по силам, сэр Майкл,— сказала она гордо.— Так поступают только настоящие Руководители.

На миг ему показалось, что она смеется — а он был бы рад этому, даже если бы она смеялась над ним,— но ее сияющий взгляд убедил его, что она говорит от всей своей души, такой верной и преданной. Боже мой, что он делает, куда идет?

Иностранец, родом неизвестно откуда, вернулся, ухмыляясь, и указал им дорогу. Это оказалось далеко не лишним, потому что с первого взгляда комнату, высокую и огромную, можно было принять за мебельный склад. Кушетки и диваны, столы и столики, кресла и стулья, стенные часы, шкафы, картины, мраморные бюсты, бронзовые лошади были свалены вперемешку, образуя какие-то фантастические и шаткие стены, меж которыми сэр Майкл и Шерли пробирались, словно по мебельному туннелю. Указав дорогу, слуга мгновенно исчез, предоставив их самим себе. Они очутились на большой поляне посреди зарослей ореха и красного дерева. Здесь в кресле, как на троне, восседала величественная старуха с волосами, выкрашенными в ярко-рыжий цвет, и густо, как у клоуна, нарумяненным лицом. А рядом с непринужденной улыбочкой примостился Тим Кемп. Он попыхивал трубкой, она курила сигару. У обоих в руках были бокалы, а между ними стояло несколько бутылок джина различных сортов, который они, видимо, усердно дегустировали.

— А, Стратеррик, привет! — сказал Кемп.— Как, и вы здесь, мисс Эссекс! Вот приятная неожиданность!

Видимо, они пьют уже не час и не два, решил сэр Майкл. Ему и прежде приходилось видеть Кемпа таким самоуверенным и вознесшимся до небес.

— К чертовой бабушке этакую неожиданность! — заорала старуха, ткнув сигарой в сторону Шерли и метнув в нее яростный взгляд.— Сколько раз говорила, чтоб сюда не смели водить девчонок!

— Мне вы этого не говорили,— с твердостью возразил сэр Майкл.— А мисс Эссекс — мой секретарь.

— Знаю я, кто она такая...— начала было леди Бодли-Кобем.

Но Кемп остановил ее:

— Нет, Аннабела. На этот раз вы ошибаетесь. Вы всегда правы, но не сейчас.

— А вы почем знаете, Тим?

— Эта девочка мой друг, Аннабела.

— Да я ее и разглядеть толком не могу. Впрочем, это и не к чему. Зато я вижу

этого сэра Майкла или как там его. Высокий, темный, недурен собой и, наверно, мошенник. В Канне такими пруд пруди. Налейте ему, Тим.

— Благодарю вас,— сказал сэр Майкл.— Я бы не отказался от глотка виски.

— Здесь этот фокус не пройдет! — прикрикнула на него старуха.— Не держу виски. Здесь пьют только джин. Поэтому-то мы с Тимом сразу снюхались. Милейший человечек. Я его сразу раскусила. Милейший.

— Да, он милый,— неожиданно сказала Шерли Эссекс.

— А ты помалкивай. Я уж думала, ты давно провалилась сквозь землю...

— Аннабела, Аннабела! — Тим произнес это почти строго.— Я сейчас уведу мисс Эссекс отсюда...

— Это еще зачем?

— Постараюсь раздобыть для нее чашку чая. А вы с сэром Майклом пока поговорите...

— Ничего он из меня не вытянет, Тим. Знаю я этих молодчиков. Повидала их на своем веку. Конечно, среди них все больше иностранцы — целуют ручки, обхаживают с полным знанием дела. Но меня им ни разу не удалось обойти. Ладно, Тим, ступайте, но только не долго. И постарайтесь втолковать этой девчонке — они все такие мерзкие твари,— что я здесь не живу. Просто у меня тут временное жилье — только временное, пока не решу, что делать с домом в Дербишире. Да прихватите с собой бутылочку, Тим. И мне заодно подайте. Какого теперь выпьем?

— Плимутского,— сказал Тим, потянувшись за бутылкой.— От него веет сзежестью приморского утра. Помните, какое оно, приморское утро, Аннабела?

— Нет.

— И я не помню,— сказал Тим, наполняя бокалы.

Леди Бодли-Кобем фыркнула и посмотрела на сэра Майкла.

— Понятно теперь? Милейший человечек, все ему трын-трава. Не вам чета, вы все здесь дрожите, потеете да канючите без конца...

— Ко мне это не относится,— сказал сэр Майкл дерзко.— Я выпью глоток джина, благодарю вас, Кемп. Джин не в моем вкусе, но все же это лучше, чем ничего.

— Хотите взять дерзостью, а? — Леди Бодли-Кобем пыхнула в него дымом.— Так знайте, я терпеть не могу смазливых англичан...

— Я шотландец.

— Это еще хуже. Вся штука в том, что у вас ребенка успезают избаловать и испортить вконец еще в колыбели. Вы прямо-таки лопаетесь от самомнения. Только бы рисоваться и ни черта не делать. Тщеславные негодяи. Женщине от вас никакого проку. Вместо вас можно держать в доме чучело жирафа.

Тим Кемп с бокалом в руке подошел к Шерли.

— Пойдемте со мной.— Он провел ее в другой конец огромной комнаты между шаткими стенами из книжных шкафов, штабелей книг, ящиков с бабочками, птицами, звериными головами, щитами, мечами и ружьями.

— Характерно для Англии, правда? Такое нагромождение старого хлама, повернуться негде.

Они вышли в пустой коридор с каменным полом и стенами, покрытыми сырыми пятнами,— сплошь запустение и тоска.

— Но тут не так плохо, как кажется,— сказал он ей,— так что не хмурьте свое прекрасное лицо. Прежде всего, вторая дверь налево — уборная, вам, конечно, первым делом надо туда, правда? Потом чашку чая. Пока вы там справитесь, я это дело устрою.

— Ах, мистер Кемп, спасибо вам! — воскликнула она.— Но куда мне идти потом? Этот дом приводит меня в ужас.

— Я буду ждать за углом возле кухни и найду удобное местечко, где мы сможем поговорить по душам. Вы ведь хотите поговорить по душам?

— Да, конечно, мистер Кемп. Как хорошо, что вы оказались здесь.

Рядом с уборной была ванная, но там не оказалось ни мыла, ни полотенца, похоже было, что ванной никто не пользуется, и Шерли постояла там немного, чтобы хоть внешне оправиться от смущения и растерянности. Потом она нашла мистера Кемпа — он курил трубку и потягивал джин возле открытой двери кухни, где было полно

людей, которые все разом говорили и смеялись. Он отвел ее в унылую комнатку, где не было ничего, кроме стола и стульев. Но на столе стоял поднос с чайным прибором и такой огромный чайник, какого она еще в жизни не видывала.

— Наливайте без церемоний,— сказал он.— А я не хочу. Здесь, наверно, была комната экономки или что-нибудь в этом духе. Местечко не слишком веселое, но не можем же мы разговаривать в кухне. Их там всего четверо, но составилось целое общество. Кухарка, старая, выжившая из ума ирландка. Горничная из местных, малость придурковатая, но добрая и услужливая, в отличие от большинства умных. Антонио, лакей, вообще-то его зовут как-то по-другому, но леди Бодли-Кобем так его называет. И ваш шофер.

— Наш шофер? Но ведь он такой мрачный и угрюмый.

— Да, конечно,— в машине. Но не здесь. Это сборище — его затея. Ну как, мисс Эссекс, теперь вам получше? Вас, кажется, зовут Шерли?

— Да. Мне гораздо, гораздо лучше, а все благодаря вам, мистер Кемп.

— Зовите меня Тим, Шерли.

— Хорошо, Тим. Эта ужасная старуха леди Бодли-Кобем напугала меня до смерти.

— Это в ее духе. К тому же сейчас она здорово клюкнула. Мы с ней уже давно пьем и болтаем, с самого утра.

— Оно и видно, Тим. Я чуть не умерла, когда услышала, что вы называете ее Аннабелой.

— Так ее зовут, а мы с ней теперь друзья. И с вами мы тоже друзья, не правда ли, Шерли? А теперь расскажите, как вы ладите с сэром Майклом.

— Ах, Тим! — И золотоволосая наяда взглянула на него поверх чашки.— Я люблю его. Тут ничего не поделаешь. Я старалась с собой справиться, но все равно люблю.

— Ничего удивительного, Шерли. Этого я и ожидал. Но вы ведь помните, что я вам о нем говорил?

— Конечно, все до единого слова. И я вам верю.

— Если вы для него просто новая игрушка...

— Я знаю, знаю. Это ужасно. Мне все время хочется, чтобы он коснулся меня...

— Ну а потом? Что будет с вами? И с ним? Вы должны спасти его от самого себя.

— Это я и говорю себе все время, Тим. Я все понимаю, все. Но это нелегко — ведь я люблю его. Я не такая, как те холодные, расчетливые девушки...

Она вся зарделась и стала похожа на возмущенную чайную розу.

Тим глотнул еще джина, а потом, не без труда, напустил на себя необычайно серьезный вид.

— Что ж, обсудим создавшееся положение. Он приехал сюда. И вас с собой привез — это неоспоримое доказательство, что он не в себе.

— Как?..

— Он влюблен, или, во всяком случае, вы вскружили ему голову. А здесь его ждет полный провал. Верьте моему слову.

— Я знаю.

— И вам будет очень-очень его жалко...

— Мне и сейчас уже его жалко...

— То ли еще будет вечером, когда он пригласит вас пообедать, а потом повезет в Комси или к себе на квартиру. Вам захочется уступить ему, и если вы это сделаете...

— Я знаю, знаю.

— А если не сделаете, если устоите, заявите ему, что вы не из таких, тогда он, усталый и раздосадованный, не выдержит нового разочарования, и может разыграться отвратительная сцена...

— Вы полагаете, я обо всем этом не думала?

— Не знаю, дорогая. Но вам остается только одно. Пригласите его к себе. Откажитесь от обеда в ресторане. Скажите, что обед или ужин приготовлен для вас дома. Одно из двух: или соглашайся, или прости-прощай. Недурное будет испытание его чувств. Так вот, Шерли, телефон слева на стене. Позвоните маме и предупредите ее.

А потом,— добавил он сонным голосом,— поззоните в Дискус и попросите соединить вас с сэром Джорджем Дрейком.

— Может быть, сначала позвонить ему?

— Ни в коем случае. Прежде всего мама, Дрейк — после. Прежде всего жизнь, Дискус и Комси — после.

Глаза у него уже слипались.

Когда она, огорошив удивленную маму просьбами и наставлениями, вернулась сказать Тиму, что дозвонилась в Дискус, он уже крепко спал, и мгновение она не решалась разбудить его. Он казался не то гномом, не то ребенком со старческим лицом. Она осторожно потрясла его за плечо.

— Тим, сэр Джордж у телефона.

Он посмотрел на нее мутным взглядом.

— Господи, что такое, девочка?

— Вы же хотели с ним поговорить.

— О чем?

— Ах, оставьте глупости, Тим. Откуда мне знать о чем? Может быть, о леди Бодли-Кобем.

— Да, конечно. Благодарю вас.— Он встал.— Постойте-ка. А где это?..

Она довела его до телефона и решила далеко не уходить, на случай если ему понадобится помощь, но к тому же ее разбирало любопытство.

— Дрейк,— начал он.— Это Кемп... Ну конечно же это крайне важно. Иначе разве стал бы я вам звонить?.. Кроме того, возможно, я задержусь на несколько дней... Почему? Да потому что завтра я еду с леди Бодли-Кобем в Дербишир... Ну что вы заладили — почему да почему, это же идиотизм... Я еду с леди Бодли-Кобем — кстати, это превосходная, умнейшая женщина, хотя и не без причуд,— осмотреть дом с усадьбой и, если помните, с небольшим озером, все это она согласна передать в распоряжение Объединенного центра искусств.— Голос Тима зазвучал словно с трибуны.— В этой усадьбе будут жить и творить талантливые молодые деятели всех видов искусства — романисты будут писать антироманы, драматурги — антидрамы, художники и скульпторы — создавать антикартины и антистатуи. Я убедил ее — а это было не так-то просто — взять на себя пятьдесят процентов затрат на перестройку и пятьдесят процентов текущих расходов за первые три года... Кстати, здесь Стратеррик, но он, думаю, напрасно старается... Это, конечно, не значит, что вы можете что-либо предпринять до моего доклада. А его вы получите в свое время, когда надо будет. Пока что советую вам собрать на совещание заведующих отделами... Нет, Дрейк, вы не глава Дискуса, в лучшем случае вы его ноги.

Он осторожно положил трубку, увидел Шерли и подмигнул ей.

— Мне кажется, пора вернуться к нашим друзьям. Но куда это я поставил рюмку? Ага, спасибо, милочка. Допью-ка, пожалуй, до дна.— Держась за ее руку и медленно, неуверенным шагом идя по коридору, он сказал доверительно: — Дрейку я говорить не стал, чтоб не волновать его, но я с нетерпением жду этой поездки в Дербишир. Мы поедем в самом большом и старом «роллс-ройсе», какой уцелел в Западной Европе. Я его видел. Повезет нас Антонио — вы его уже знаете, он, кажется, черногорец. Мы берем с собой сумасшедшую кухарку и придуркозатую служанку вместе с большим запасом консервированного мяса, пирогов с дичью и всего прочего, а также изрядное количество джина. Дербиширский дом, я думаю, раз в пять больше этого, и в нем годами никто не живет. К счастью, я прихватил с собой несессер, предвидя что-нибудь в этом духе. Как я недавно сказал Дрейку, в отличие от него я не лишен интуиции. Что такое, дорогая?

— Слышите? Ой, кажется, они поссорились!

— Так я и думал. Помните же, вы предупреждены. Скоро вам придется мобилизовать весь ваш такт. Есть он у вас, Шерли?

— Не знаю, мне про это еще никто не говорил. Я сделаю все, что смогу, Тим, и большое спасибо за предупреждение.

— Откровенность за откровенность, мадам! — кричал сэр Майкл, когда они добрались до большой поляны.— На мой взгляд, вы дурно воспитанная, дрянная, сумасшедшая старая ведьма. Ваша выдумка так же смешна, как вы сами, и я с вели-

чайшим удовольствием заявляю вам, что Комси отказывается принимать в ней какое бы то ни было участие. Шерли, где вы пропадали?

— Я пила чай, а потом звонила по телефону.

— Это я ее попросил, Стратеррик,— сказал Тим.— Каюсь. Беру вину на себя. Выпейте.

— Нет уж. Мы едем. Шофер где-нибудь здесь, Шерли?

— Да, сейчас я его позову.

Она была рада случаю и поспешила уйти. Уходя, она слышала, как разоралась эта жуткая старуха. Какая ужасная неприятность вышла! Гордость сэра Майкла уязвлена. На обратном пути ей придется черпать откуда-то такт буквально ведрами.

10

Снаружи были темень и дождь, а в машине царил интимный уют, располагавший, казалось бы, к взаимной откровенности, но не менее двадцати минут сэр Майкл молчал. Шерли не пыталась нарушить это молчание, но, набравшись смелости, придвинулась поближе к нему, а когда машина вдруг накренилась, она и не подумала отстраниться, а, напротив, постаралась напомнить ему о своем присутствии. Но мысли мужчины были заняты: другим, и ведомству прикосновений он не уделял никакого внимания.

— Я, конечно, чувствую себя глупо,— заявил наконец сэр Майкл, обращаясь не столько к самой Шерли, сколько к мисс Эссекс, как к представительнице мировой общественности,— так чувствовал бы себя на моем месте всякий тщеславный человек. А вы, должно быть, уже заметили, что я очень тщеславен. Я вовсе не думаю сейчас об этой мерзкой старой карге и ее неслыханной выдумке, которую ни один нормальный человек даже на минуту не примет всерьез.

— Но я слышала, как мистер Кемп говорил об этом по телефону с сэром Джорджем Дрейком и сказал, что едет завтра с леди Бодли-Кобем смотреть ее дом в Дербишире.

— Счастлив слышать это.— Он произнес эти слова так, словно и впрямь был счастлив.— Кемп, конечно, сейчас крепко заложил за галстук, но то ли еще будет, когда он вернется с докладом,— у бедняги Дрейка глаза на лоб полезут. Кстати, Шерли, мне не совсем понятно, откуда у вас такая закадычная дружба с этим ничтожеством Кемпом.

— Ах, ничего подобного... просто он хорошо ко мне относится и...

— И к тому же такой милый! — продолжал сэр Майкл, приходя в бешенство.— Знаю все наперед. Не забывайте, он работал у меня в Комси. Так вот сейчас я расскажу вам, что такое Тим Кемп.

— Я вас слушаю,— сказала Шерли, выждав немного.

— Спросите кого угодно, и вам всякий скажет, что я не бог весть как серьезно отношусь к себе и к своей деятельности в Комси,— начал сэр Майкл медленно.— Но по сравнению с Кемпом я воистину второй Джордж Дрейк. А это, право, чертовски досадно. И не в том дело, что он просто безответствен. Он настоящий очаг анархии и всякой чертовщины в учреждении. Право же, он служит какой-то неведомой потусторонней силе, какому-то злобному божеству в женском обличье — видимо, именно поэтому вы, женщины, бессознательно всегда на его стороне. Вот кто настоящий подрывной элемент, а раз так, ему не место на государственной службе. Когда мне удалось наконец выдворить его из Комси, я заявил, что он вернется туда только через мой труп. Такие люди, как Джордж Дрейк или наш Дадли Чепмен, считают, что он просто тупой и ленивый пьянчуга — и, без сомнения, это так и есть,— но они не понимают того, что я понимал всегда: по-своему он на редкость хитер и сообразителен. И от него жди всяких пакостей.

— Да что вы, он такой безобидный, уверяю вас!

— Вам так кажется? Не верьте этому, Шерли. Взять хотя бы эту идиотскую историю с Бодли-Кобем. Спорю на пять фунтов, что Джордж Дрейк нарочно напустил на нее Кемпа, после того как у других ничего не вышло, решил втравить его в историю, чтоб он не пакостил в Дискусе. А что вышло? Он устраивает сумасшедшую вакхана-

лию. И непременно впутает Дрейка в какое-нибудь безумное дело. Да еще меня поставил в дурацкое положение. И какая наглость — налакался джину с этой старой ведьмой, а потом как ни в чем не бывало увел вас куда-то...

— Но он видел, что мне ужасно неловко и нужно... попудрить нос... и выпить чаю...

— Когда мы познакомились,— перебил ее сэр Майкл мрачно,— вы сказали, что он пригласил вас позавтракать и вы разговаривали обо мне...

— Да, разговаривали. Но он сказал только, что вы умный, но несчастный...

— Знаю, знаю. И это все?

— Больше я ничего не помню.

— Ничего? Ровным счетом? Вы уверены?

Он вдруг повернулся к ней, быстро протянул руку у нее за головой и, прижав ладонь к щеке девушки, обратил ее лицо к себе. Он поцеловал ее, и, как она ни старалась, но не сумела отстраниться, оставив этот поцелуй без ответа.

Он достал портсигар — очень изящный и, как видно, золотой, она не сомневалась, что это подарок какой-нибудь женщины, богатой, необычайно изощренной, порочной женщины,— но не открыл его.

— Ну хорошо. Где бы нам с вами пообедать? — спросил он каким-то хриплым, неестественным голосом.

Она почувствовала дрожь во всем теле. Вот он, решительный миг.

— Я обещала быть дома. Но мне ужасно не хочется расставаться с вами, особенно после такого трудного и неприятного дня. Отчего бы вам не пообедать у нас? Я предупредила маму, что вы, может быть, придете... Майкл.

— Спасибо, Шерли,— услышал он свой голос.— Дайте-ка мне подумать.

Думать нужно было быстро и серьезно. Он сразу понял, что сегодня она не согласится пообедать с ним, а так как он с самого начала рассчитывал на это, именно на это, ему грозил пустой и тоскливый вечер. Но еще неизвестно, что хуже — провести такой вечер или принять ее приглашение: какой-нибудь противный домик на окраине, персиковый компот, мама, папа и сама Шерли, преобразившаяся, и, быть может, навсегда, в обыкновенную машинистку, пришедшую домой с работы! Но, с другой стороны, может быть, это избавление, выход из ловушки; может быть, придет конец его смешной влюбленности, которая там, в присутствии мамы с папой, будет слишком уж нелепой. Конечно, час-другой он будет выглядеть дураком, зато потом легко отбросит все глупости. Бедное дитя, сама того не подозревая, она зовет его разрушить чары. Он снова повернулся к ней, взглянул на ее поднятое лицо, смутно видное в полумраке, и подумал о том, насколько крепки эти чары.

— Я сказала маме, что в любом случае вы отвезете меня домой,— проговорила она извиняющимся тоном,— и как же не предложить вам поужинать с нами. Они это называют ужином, но, право, это все равно что обед. А мама так вкусно готовит. Хотя вам, наверно, будет скучно и неинтересно.

— В клубе тоже не бог весть как весело по вечерам.

Она пропустила эти слова мимо ушей, занятая своими мыслями.

— Не думайте, я не так глупа, я не воображаю, что бываю сама собой дома, при родителях. Скорее уж на работе, хотя и там не вполне. По-моему, я нигде не бываю собой, кроме как в собственных мыслях. Так вы поужинаете с нами?

— Ну что ж, Шерли, если вам действительно это хочется... Мне это не улыбается по многим причинам.— Не давая ей возразить, он поспешно продолжал: — Но ведь мне улыбалась поездка к этой ведьме Бодли-Кобем. Я уже признался вам, что я очень тщеславен и, пожалуй, слишком самоуверен, а в Комси мне приходится иметь дело с такими набитыми дураками, что я совсем раздулся от важности. Раньше, когда я стоял во главе института, мне приходилось иметь дело главным образом с художниками, и хотя они ужасны и могут свести с ума, зато в них нет этой непроходимой тупости, как в Дадли Чепмене, Джиме Марлоу, Хоукинсе, Тарлтоне и Берде — или как в Джордже Дрейке и его молодчиках, хотя они чуть получше моих. Я подозреваю, что в людях, которые норовят руководить искусством, есть некий природный идиотизм. Я прихожу от них в отчаяние и готов совершить какое угодно безрассудство. Ну, а тщеславие, самомнение, гордость, конечно, тут как тут. Но, кстати, вы вовсе

не обязаны выслушивать все эти излияния. Попробуйте думать о чем-нибудь другом. Наверно, вы так и делаете.

— Да, обычно, когда люди много говорят, я так и делаю.— Вид у нее был задумчивый и торжественный.— Но вы другое дело. Вас мне приятно слушать, хоть я и не все понимаю.

Это наивное признание породило в нем столько противоречивых чувств, что он растерялся и не знал, что сказать. Но тут же он понял, что ему необходимо выпить.

— Ваш отец пьет виски?

— Боюсь, что нет. Только пиво да иногда сидр. У мамы есть херес — для торжественных случаев,— но не такой, как вы любите.

— Я велю шоферу остановиться возле бара. Зайдете со мной?

— Нет, лучше я подожду в машине, если вы не очень долго.

— Всего минутку. Я люблю выпить, но не в английском баре средней руки — этом раю для идиотов.

Через десять минут он уже снова сидел рядом с ней, держа в руках четвертинку шотландского виски и свинчивая с горлышка металлический стаканчик.

— Хотите глотнуть?

— Нет, спасибо. Мама сразу почувствует запах, рассердится и будет проклинать вас. Конечно, потом, когда вы уйдете. Но вот что интересно — если бы не нужно было ехать домой, я бы выпила, а ведь раньше мне никогда не хотелось.

— Пожалуй, вам это пошло бы.— Он обронил эту фразу небрежно, быстро наполняя и осушая стаканчик. Голова у него была крепкая, он мог много выпить, куда больше многих мужчин, и владеть собой; однако подобно многим людям, умеющим пить, но живым и темпераментным, он возбуждался от первого же глотка. Все вокруг него вдруг переменилось, иной казалась теперь и роль, которую ему предстояло сыграть. Машина снова двигалась, свет фонарей и неоновых вывесок все чаще хлестал по мокрым стеклам, и все окружающее казалось теперь возвышеннее, драматичнее.— А этот тип знает, куда ехать?

— Я объяснила ему, пока вас не было. А потом вдруг мне пришла мысль...— Она заколебалась.

— Жалеете, что пригласили меня к ужину?

— Что вы, конечно нет. Но все же по многим причинам мне не следовало делать это. А вдруг всем от этого будет только хуже? И я не знала тогда, зачем приглашаю вас, но все равно, мне ужасно хотелось, чтоб вы пришли. Глупо, правда?

— Конечно, это не очень разумно.— Он в пятый раз осушил стаканчик и теперь завинчивал его на место.— Но разумное составляет лишь ничтожную долю нашего существа, это нечто возникшее недавно и далеко не самое приятное. Милая,— и, обняв ее, он привлек Шерли к себе и склонился над ней. Но тут она превратилась в самую обыкновенную женщину, каких у него было много: волосы, нежная кожа, дрожащие губы — и только; он желал ее лишь плотью; воображение, в котором пылала безрассудная страсть, никак не участвовало в этом мальчишеском флирте, ожидая совсем иного мгновения, когда ее красота — которая вовсе не принадлежит ей, ведь это просто случайный дар — предстанет перед ним обнаженной и торжествующей, но, увы, тогда он овладеет ею, и все будет кончено, предано забвению. Теперь он был рад, что принял ее дурацкое приглашение. Воображение завело его в ловушку; нелепая действительность, быть может, скоро выпустит его на свободу. А пока что он выпустил девушку, решив, что надо опрокинуть хотя бы еще один стаканчик. А потом — вперед, вперед, на Уинстон-авеню, дом 5, к маме с папой, к персиковому компоту и телевизору, туда, где Майкл Стратеррик снова станет здравомыслящим человеком!

Едва они подъехали к номеру пятому — это оказался двухквартирный домишко с крошечным садиком,— Шерли проскользнула в дверь, вероятно, спеша принарядиться, а сэр Майкл подписал счет шоферу, с неохотой дал ему на чай десять шиллингов и посоветовал поскорей вернуться к «звездам сцены, кино и телевизора». Родители Шерли встретили его у дверей. Он решил действовать наверняка: разыграть из себя этакого забавляющегося, несколько эксцентричного и надменного, но великодушного человека, благосклонного начальника их дочери, а никак не ее поклонника. И, как ему показалось, он сразу нашел верный тон.

— Миссис Эссекс, благодарю вас за любезность. Я счел своим долгом привезти вашу дочь домой после долгой и утомительной поездки в Беркшир, а она настояла, чтобы я остался к ужину. Надеюсь, я не помешаю вам.

— Помилуйте, сэр Майкл! — воскликнула она с улыбкой, хотя не могла скрыть волнения.— Поверьте, мы ужасно рады. Только уж не обессудьте, у нас без хитростей.

— Мы люди простые и без притворства,— сказал мистер Эссекс внушительно и довольно сурово.— Теперь, когда вы это знаете, милости просим, сэр Майкл.— Но ни видом, ни голосом он никакой милости не выразил, он не злился, но был насторожен и подозрителен, как полицейский инспектор, который готовится выслушать чьи-то сомнительные показания.

— Не знаю, говорила ли вам ваша дочь,— начал сэр Майкл торопливо, хотя это не было ему свойственно,— что она заменяла мою секретаршу, которая уехала в командировку от Комси проводить кое-какие исследования для Бедфордширского университета. И надо сказать, я глубоко ей признателен. Нелегко так вот сразу войти в курс дела, тем более что она у нас совсем недавно. Я уверен, что, когда она приобретет побольше опыта, кому-то достанется отличный секретарь. Но, к сожалению, не мне. Моя секретарша, та, что была в командировке, очень способная, пожилая женщина, работает со мной с того дня, как я возглавил Комси. Но мы постараемся подыскать хорошее место для... Шерли — кажется, ее так зовут? — при первой же возможности, и никак не ниже должности секретаря. Работа весьма ответственная и оплачивается, само собой, гораздо лучше...

Пока он с присущей ему развязностью оживленно болтал, словно сотрудник агентства по найму, миссис Эссекс кивала и улыбалась, и ее муж тоже кивал, хотя и не улыбался; но сэр Майкл с растущей тревогой вдруг почувствовал, что и они тоже притворяются. Что бы Шерли им ни сказала, какие выводы они ни сделали бы из ее слов и поведения, эти разглагольствования ее официального начальника их не обманули. Они слушали его, но не верили ни единому слову. Он еще не знал, чему же они верили. Но чувствовал себя чертовски неловко.

Они вошли в комнату, но там было не лучше. Яркий свет неприятно резал глаза, было жарко, все вокруг блестело, мебель была аккуратно расставлена, как декорации на сцене,— первый акт комедии про дом 5 по Уинстон-авеню. Миссис Эссекс ушла на кухню готовить ужин, Шерли все еще была наверху, а он остался наедине с мистером Эссексом, который налил два стакана светлого пива с такой аккуратностью, какой сэр Майкл давно не видывал. Предстояло нелегкое испытание.

Мать Шерли приятно его удивила — конечно, это типичная домохозяйка из лондонского предместья, но все-таки женщина его возраста или, может быть, на несколько лет моложе, довольно привлекательная и даже все еще хорошенькая, хоть и располневшая,— он, пожалуй, не отказался бы лечь с ней в постель. И под ее нескрываемым волнением и нарочитой хлопотливостью он угадывал, что она холодно, по-женски оценивает его, и у нее, наверно, дьявольская интуиция. Но даже возиться с ней было бы приятно. А вот отец Шерли, Джевон М. Эссекс, с которым он теперь сидел наедине за стаканом жиденького пива, тот был неотвратим, как рок. Ему едва перевалило за пятьдесят, держался он крайне чопорно, у него была узкая голова, нахальный нос, короткие, но встопорщенные усы и длинный, упрямый подбородок кретина. Невозможно было поверить, что хотя бы частица Шерли взросла из его семени,— должно быть, в молодости миссис Джевон М. с отчаяния отдалась другому мужчине, возможно, не устояв перед внезапным натиском. Манеры и тон мистера Эссекса были еще ужаснее его внешности. Он говорил медленно, невыносимо значительно и торжественно произнося всякую плоскость, и обрушивал на слушателя, стремясь поразить его, целый поток банальностей. Это был тот «вдумчивый читатель», ради которого стараются самые низкопробные редакторы на Флит-стрит. Именно такие люди одолевают по телефону постановщиков телевизионных программ. Сознавая себя опорой страны, избалованный лестью политиканов всех мастей, он был исполнен чудовищного зазнайства и в своем тяжеловесном самодовольстве казался ужаснее самых эгоцентричных художников, каких знал сэр Майкл. Находиться с ним в одной комнате было страшнее китайской пытки.

Пока сэр Майкл пришел к этим заключениям, ужин был готов. Шерли вышла в некоем подобии вечернего платья, которое было слишком кричащим и совсем ей не шло: вероятно, она прочла неодобрение в первом же его взгляде — раньше он не раз делал ей комплименты, восхищаясь, с каким вкусом она одевается,— так как за ужином почти не открывала рта и казалась подавленной. Первым делом подали грейпфрут — придет же такое в голову! — потом тушеное мясо, неплохо приготовленное, а на десерт — что-то сладкое в стеклянных розетках. Миссис Эссекс, которая при других обстоятельствах, вероятно, была бы очень оживлена, теперь только тревожилась и суетилась. Поэтому разговор за столом поддерживал мистер Эссекс в перерывах между усердным чавканьем, словно он не ел с аппетитом, а из принципа поглощал свою порцию съестного.

— Я буду с вами откровенен, сэр Майкл,— сказал он.— Когда Шерли устроилась в министерство высшего образования, я был рад, в высшей степени рад. Но потом она вдруг поступила в этот самый Дискус, как она его называет. А потом, даже не войдя в курс дела и не предупредив, как положено, заранее, должна была перейти в это ваше Комси.

Голос и вид у него был такой сокрушенный, что его слова нельзя было оставить без ответа.

— Я знаю, мистер Эссекс. Все вышло крайне неловко и нелепо.

— Что ж, рад слышать это от вас. И еще меня радует, что хоть химической промышленностью у нас не руководят таким образом. Но в газетах правильно пишут — когда дело касается траты государственных средств, это всем безразлично, чего тут церемониться?

— Но в действительности это не так — разве только кроме министерства обороны...

— Это совсем другое дело. Оно всегда должно быть на первом месте. Разумеется, оборона страны прежде всего. Но я не то хотел сказать. Я хочу быть с вами откровенным и сказать вам, сэр Майкл, что меня совсем, совсем не радует то, что за последнее время произошло с Шерли. Прежде всего, я надеялся, что она попадет в какую-нибудь более солидную организацию, скажем, в Торговую палату...

Шерли с матерью переглянулись, охваченные отчаянием. Видимо, они уже неоднократно слышали все это и, вероятно, подумал сэр Майкл, всякий раз с такой вот пулеметной скоростью.

— ...и вот, прежде чем она успела мне растолковать, чем должен заниматься этот Дискус, ее перевели в ваше Комси...

— Мистер Эссекс,— решительно прервал его сэр Майкл,— если вы в самом деле хотите знать, что такое Комси и чем мы занимаемся, я вам расскажу.

— Шерли уже объясняла ему,— сказала миссис Эссекс, пряча под улыбкой свое беспокойство,— но он верит только тому, что пишут в его газете.

— Папа, прошу тебя, поговорим о чем-нибудь другом,— попросила Шерли.

— Ах, вот как, тебе вдруг захотелось поговорить о другом? А ведь всю неделю мы только и слышали от тебя, что Комси-Комси...

— Перестань ее дразнить, отец! — воскликнула миссис Эссекс, вставая.— Кофе подать попозже? Ведь сейчас начнется твой любимый «Рыжик и лесники».

— Ах, черт...— пробормотала Шерли.— Я и забыла, что сегодня эта передача.— Она умоляюще посмотрела на него, и это был первый прямой взгляд за долгое время.— Извините нас, сэр Майкл. Если вы не против...

Неожиданно, к своему глубочайшему удивлению, он почувствовал к ней бесконечную и совершенно обезоруживающую нежность, ничуть не похожую на прежние его чувства. Ему хотелось увести ее из этой комнаты, только бы как-нибудь утешить.

— А почему он должен быть против? — сурово спросил у нее отец.— Да ему, наверно, самому не терпится поглядеть. В газете пишут, что даже самые выдающиеся люди из высшего общества, как там сказано, никогда не пропускают «Рыжика и лесников». Так что вы с мамой поскорей убирайте со стола, чтоб не греметь посудой, когда начнется. Сэр Майкл, прошу вас сюда. Я расскажу вам, почему мы решились купить этот дом. Мы предпочли иметь просторную кухню, где можно есть, когда нет гостей, и, как видите, обходимся без столовой, зато у нас есть большая, хорошая об-

щая комната. А когда к ужину приходят гости, как вот сегодня, мы ужинаем здесь, и дело с концом. Зачем нам столовая? — Он буквально сверлил сэра Майкла взглядом, словно тот хотел насильно всучить ему столовую.— Только место зря пропадает, я так полагаю. Нужна приличная кухня да большая хорошая общая комната. И знаете, что получается?

— Право, понятия не имею.— Сэр Майкл почувствовал, что его толкают в кресло перед телевизором.

— Получается «Уютное Современное Жилище»,— объявил мистер Эссекс с гордостью. Он включил телевизор и сел близко, слишком близко к гостю.— Если хотите курить, сделайте одолжение, сэр Майкл. Вон пепельница. Сам я не курю, никогда не видел в этом смысла, но жена иногда любит выкурить сигаретку, она, наверно, так и сделает, когда подаст кофе, да к тому же я не уверен, что и дочка изредка не балуется затяжкой-другой. Признаться, мне бы этого не хотелось, но я не настаиваю, боже упаси. Считаю, что каждый должен пользоваться определенной свободой, коль скоро это не переходит границ.

Тут он замолчал, потому что на экране появилась хорошенькая и очень скромная девушка, намереваясь объявить, чем сейчас будут угощать зрителей. Прежде всего предстояли новые волнующие сцены из «Рыжика и лесников».

— Никогда этого не пропускаю! — крикнул мистер Эссекс, перекрывая громкую музыку.— Прекрасное развлечение... отдыхаешь душой... всегда так умно сделано... и всегда без грязных штучек, не то что в этих передачах для домохозяек. А вы не смотрите? Нет? Так вот, этот малый в белой шляпе — отставной шериф — такой смешной, лопнуть можно со смеху. Он — дядя Рыжика...

Трудно было думать под звуки бешеной скачки и стрельбы, но сэр Майкл старался изо всех сил. Зачем девушка втравила его в это? Неужели только по наивности и глупости? Или это тонкая и чисто женская месть? Но если так — за что? За то, что он взбудоражил ее чувства, тогда как хотел только одного — подтащить ее как можно ближе к постели? И знает ли она, что сама лишает себя всего волшебного очарования, без которого он и двух минут не стал бы смотреть на нее? И почему...

— Он бьет без промаха! — вскричал мистер Эссекс.— Вы, наверно, думаете, он дурак. Но погодите! Он всегда бьет без промаха!

Сэр Майкл уже и не пытался думать. На экране шла пальба холостыми патронами из ружей и револьверов, которые, видимо, никогда не приходилось перезаряжать. Рыжик с честью вышел из всех передряг, до следующей передачи. Шерли с матерью принесли кофе.

— Ох уж эта пальба! — воскликнула миссис Эссекс.— Она действует мне на нервы. Вам, наверно, все это не понравилось, сэр Майкл?

— Не похоже на ваше Комси,— заметил мистер Эссекс благодушно, словно только что собственноручно изрешетил нескольких конокрадов.

— Конечно,— сказал сэр Майкл сухо.— Так же, как и на дикий Запад, где я прожил не один год.

По телевизору теперь передавали новости, но звяканье чашек и блюдец совершенно заглушало звук.

— Они обе любят следующую передачу! — крикнул мистер Эссекс, без всякого труда перекрывая члена кабинета министров, который откровенно и в то же время с достоинством нес совершенную чушь.— Про докторов. Вот что им нравится. И надо сказать, это сделано неплохо, совсем неплохо. Можно вообразить, что ты и впрямь в больнице.

Сэр Майкл сказал, что не хочет воображать, будто он в больнице, но никто его не услышал. Проглотив чашку тепловатого и совсем жидкого кофе, он пробормотал извинение, вышел в тесную прихожую, отыскал свое пальто и, пока в комнате расставляли стулья, быстро приложился к бутылочке. Когда он вернулся, стул его стоял между миссис Эссекс и Шерли. Во время передачи, которую он и не думал смотреть, сэр Майкл несколько раз покосился на девушку и с удивлением обнаружил, что ее невинное и сосредоточенное лицо, озаренное мерцающим светом экрана, вновь обрело частицу прежнего очарования. Ну и ну! Что же это будет?

Когда он совсем уже собрался откланяться, произошло нечто совершенно нео-

жиданное и удивительное. Пока миссис Эссекс выключала телевизор и зажигала свет, а Шерли ставила на место стулья, мистер Эссекс вдруг бросился к входной двери, а вернувшись, объявил, что погода чудесная и он в эту пору любит размять ноги и подышать воздухом, так что, если сэр Майкл позволит, Шерли выйдет с ним на полчасика.

— Как можно, папа...— начала Шерли с нескрываемым испугом.

— Послушай меня, Шерли,— сказала ей мать твердо.— Я уверена, что сэр Майкл не обидится, а папа, ты ведь сама знаешь, так любит гулять с тобой.

Все это было проделано до того неловко, что сэр Майкл почувствовал необходимость подать голос. Но что сказать или сделать? А через две минуты, когда отец с дочерью ушли, он уже сидел в нескольких шагах от миссис Эссекс, испытующе глядя на нее. Они с Шерли были похожи, но все же мать никогда не блистала настоящей красотой: правда, цвет волос у них был почти одинаковый, но изящная фигурка Шерли еще больше подчеркивала ее прелесть. Возможно, она унаследовала это от того, кто так внезапно овладел ее матерью.

— Вы, конечно, все поняли, сэр Майкл,— сказала она с улыбкой.

— Боюсь, что да, миссис Эссекс. Я как раз собирался откланяться и уйти. Но, разумеется, если вы хотите поговорить со мной...

— Кто-нибудь должен был сказать это — или я, или муж.

— В таком случае рад, что это вы.— И он улыбнулся в свою очередь.

Но она смотрела на него серьезно.

— Мы с ним спорили, и я убедила его, что лучше это сделать мне. Сегодня он был не в себе, сэр Майкл. Понимаете, Шерли так говорила о вас, что он ее немного ревнует. Но мне она, конечно, сказала гораздо больше. Знай он половину того, что я, он бы взвился до потолка.

Сэр Майкл нахмурился.

— Но почему же? Что такого он мог бы узнать?

— Из слов Шерли я поняла, что вам часто приходится иметь дело с женщинами. Я хочу сказать — по службе. И, едва увидев вас, я почувствовала, что так оно и есть. Надеюсь, вы не обидитесь — кажется, тут нет ничего обидного,— если я скажу, что для женщины вы опасный человек, сэр Майкл. Моему мужу этого не понять. Но даже он обратил внимание, что слишком много слышал за последнюю неделю про сэра Майкла Стратеррика и про Комси. Про другие места, где Шерли работала, она никогда так не говорила...

— Но ведь в этом нет ничего удивительного, не правда ли? — сказал он довольно резко.— Ваша дочь была машинисткой, она только переписывала бумаги и не имела дела ни с людьми, ни с интересной работой. А на этой неделе она заменяла моего секретаря, ведь тут характер работы совсем иной...

— А почему вы избрали ее, когда у вас есть другие люди, более опытные? Она сама это говорит. И почему вы взяли ее с собой сегодня? — Она пристально посмотрела на него.— Вы когда-нибудь бывали в гостях у других девушек, которые у вас служат?

— Нет. Но меня никогда и не приглашали.

— Не приглашали, потому что не осмеливались, даже мечтать об этом не смели. Уж я-то знаю. Вы не откровенны со мной, сэр Майкл. Что ж, тогда я буду откровенна. И, пожалуйста, не обижайтесь. Вы сделали с этим ребенком — а она действительно во многом еще ребенок — то, чего делать никак нельзя. Разве только у вас серьезные намерения, но в это я не верю. Вы влюбили ее в себя...

— Помилуйте, что вы такое говорите!

— Да, это так. Есть такие мужчины, в которых девушке недолго влюбиться по уши. Уж я-то знаю. И вы, вероятно, не понимаете, что если уж это случилось, то нескоро пройдет, она и смотреть не будет на других мужчин, за которых могла бы выйти замуж. Ведь Шерли совсем недурна собой, право же, она очень хорошенькая...

— Ну нет.— Пользы ему это не принесет, но он должен сказать ей правду.— Шерли нельзя назвать просто хорошенькой. Таких девушек сотни. А Шерли совсем не такая, во всяком случае в глазах мужчины, не лишенного воображения. Она красавица, миссис Эссекс. И если хотите знать, я держал ее около себя потому, что мне

приятно было отдыхать взглядом на ее лице. Поверьте, я не просто волокита. Я человек со вкусом и с очень богатым воображением...

— Но это не имеет никакого отношения к любви, правда?

— Не знаю, миссис Эссекс. Честно скажу, не знаю...

— Это несерьезный разговор. Вы и не подумаете на ней жениться.

— Я ни на ком не подумаю жениться. Я вообще не из тех, кто женится.

— Я-то знаю это, сэр Майкл. А вот Шерли не знает. Влюбленные девушки в ее возрасте не знают таких вещей.

Она помолчала, словно обдумывая свои слова.

— Вы должны понять, что собой представляет Шерли. Может быть, она кажется легкомысленной и покорной — во многом это справедливо,— но иногда она бывает ужасно упряма, и тогда никто не может заставить ее поступить вопреки ее желанию. Нужно ли мне продолжать?

— Пожалуй, нет, миссис Эссекс.— Он встал.— На такси отсюда очень далекий путь, так что поеду-ка я на метро. Есть здесь поблизости станция?

— Идите налево, потом второй поворот направо. Заблудиться невозможно.— Теперь она стояла почти вплотную к нему.— Значит, вы не подождете их?

— Мне кажется, так будет лучше, а как по-вашему? — Он сказал это очень мягко.— Кстати, положение гораздо сложнее, чем вы думаете... Право, я не собирался соблазнять вашу дочь. Хотя, конечно, не прочь лечь с ней в постель, как и всякий другой мужчина, который чувствовал бы то же, что я. Но у меня, право, не было никаких замыслов, просто она захватила, очаровала меня. Это ведь не мелодрама, и я не театральный злодей, хотя, быть может, кажусь таким.— Он улыбнулся.

К его удивлению, она ответила на улыбку и вдруг погладила его по щеке.

— Все бы ничего, если бы дело касалось меня,— сказала она, убирая руку.— Нет, нет, я ничего не предлагаю. Но девушки в ее возрасте многое переживают так тяжело. Они могут годами предаваться мечтам. Что мне сказать ей, когда она вернется и не застанет вас?

— Можете сказать, что я подчинился родительской воле.— Он направился к двери.— А еще можете сказать, пускай перестанет соблазнять меня.

— Вы сами понимаете, что это просто глупо.— Она шла следом за ним.— Вы значительное лицо, а она — ничто.

— Вы недооцениваете свой пол.— Он надел пальто, потом вынул из кармана бутылку виски.— Значит, налево, а потом второй поворот направо, так вы, кажется, сказали? — Он налил стаканчик.— Простите, но мне необходимо выпить.

— Я и сама не отказалась бы...

— В таком случае вот...

— Нет, не могу. Как-нибудь в другой раз, сэр Майкл.

— И тогда вы, быть может, будете искренни со мной до конца, миссис Эссекс.

— Не понимаю, о чем вы.

— Я и сам не понимаю.— Он осушил стаканчик и стал его завинчивать.— Спасибо за ужин и за все.

— Ах, разбойник! Вот вам за это! — И она быстро, но очень крепко поцеловала его. Ох уж эти женщины!

Казалось, никогда в жизни он не ехал на метро так долго: это был какой-то кошмар наяву. А наутро, не успел он переступить порог своего кабинета, как мисс Тилни была уже тут как тут, после поездки в Бедфордшир она, казалось, еще больше постарела и стала непреклоннее, почти как героиня драмы Ибсена «Когда мы, мертвые, пробуждаемся».

— Я попросила мисс Бэри,— сказала она,— сообщить мисс Эссекс, что ее услуги здесь больше не нужны. Но мисс Эссекс на месте не оказалось. Звонил ее отец и сказал, что она нездорова.

Сэр Майкл что-то буркнул, с отвращением взглянул на письма, которые мисс Тилни положила ему на стол, и почувствовал, что готов бежать куда угодно, даже если придется пешком пересечь пустыню Гоби.

(Окончание следует)

Е. КНИПОВИЧ

ХУДОЖНИК И ИСТОРИЯ

В русском фольклоре существует ряд так называемых постоянных эпитетов. Если речь идет о девушке — то это «красна девица», о стреле — «калена стрела», если о руке — «рука белая».

Но бывает, что постоянный эпитет со временем утрачивает связь с реальной сущностью предмета, становится всего лишь декоративным довеском к слову. Тогда белую руку поднимает черный арап, что явно не соответствует его возможностям.

Ряд таких постоянных эпитетов, возникающих как рефлекторная реакция на само слово, кочует по страницам весьма разных по качеству работ, созданных как бескомпромиссными сторонниками модернизма, так и сторонниками реализма, обогащенного опытом буржуазного искусства последних десятилетий. Прежде всего это относится к понятию (вернее, термину) «реализм». Если речь идет о «необогащенном», то он всегда либо «иллюстративный», либо «плоский» и «устарелый».

После третьего или четвертого залпа таких или аналогичных эпитетов в памяти читателя невольно встает чапековский репортер Вашатко — объект неудачного опыта профессора Роусса. Научно разработанный вопросник, который — в других случаях — помогал ученому проникнуть в самую глубину сознания тех, кто подвергался опыту, в случае с репортером не сработал. Потому что не только глубина, но и все слои сознания превратились за годы репортерской работы Вашатко в простой набор штампов.

Дуб — могучий.

Учреждения — соответствующие.

Камень — надгробный.

Звук — манящий.

Словом, «я думаю, нет смысла продолжать», как справедливо решил профессор Роусс.

В отличие от чапековского ученого мы не вправе прервать этот печальный опыт. Потому что постоянными эпитетами оброс целый ряд терминов и понятий, а не один только «реализм», о котором мы уже упоминали. Так, «оптимизм» немедленно влечет за собой эпитеты «розовый», «поверхностный» и «казенный».

Что же касается вопроса о социальной природе искусства, то одно упоминание о ней вызывает бурный протест сторонников абсурдности и непознаваемости бытия человеческого, а также и явную растерянность сторонников противопоставления вечных и временных основ этого бытия.

Ну что же, вероятно, снова и снова надо говорить о том, что «мелкий буржуа» не обязан содержать мелочную лавочку, что связь между обстоятельствами жизни и творчеством сложна и многоступенчата, а также, что «оптимизм» и «исторический оптимизм» литературы социалистического реализма окрашен отнюдь не в одни розовые тона.

Горький, тот вообще не пользовался термином «исторический оптимизм», предпочитая говорить об «исторической сознательности», то есть о правильном понимании движущих сил эпохи, об ощущении единства своего пути с их движением.

Оптимизм заключается не в том, что человек пляшет и радуется в дни своей и общенародной беды, а в том, что он в дни самых трудных испытаний верит в конечную

победу и поднимает на плечи свои всю тяжесть борьбы, непреложно веря в эту победу. Очевидно, надо снова и снова напоминать о том, что в советской литературе даже существует произведение, имя которого «Оптимистическая трагедия», и что произведение это, вот уже не первое десятилетие, получает все новую и новую жизнь — то на экране кино, то в новой режиссерской интерпретации.

Ощущение не только весомости, но и тяжести исторического деяния, вера в будущее, которая «трудом» прорывает и «громаду лет», и громаду лежащих на пути к будущему препятствий,— вот непременное свойство «исторической сознательности» Горького и советской классики, лучших произведений литературы социалистического реализма, созданных и в Советском Союзе, и в других странах социалистического лагеря, и во всех странах мира.

Решая сложный вопрос о соотношении судьбы человека и «судьбы народной», высокой цели и средств ее воплощения, художники-классики, а также наши современники нередко обращались к прошлому. Но делали они это не для того, чтобы спрятаться от «злобы дня», а лишь потому, что порою «былое пророчествует» (Герцен).

Так, Виктор Гюго в романе «Девяносто третий год», обращаясь к самому острому и драматическому периоду первой буржуазной революции, пытался понять и обобщить морально-философский смысл трех революций, свидетелем которых он был.

Да, вопрос «цели» и «средств», «действия» и «морали» разрешается в великом романе Гюго не в пользу «действия».

Признавая не только закономерность революционного взрыва, но и справедливость суровых законов молодой республики, Гюго все-таки высоко возносит над этой «временной» и «человеческой» правотой вечную и «ангельскую» правоту молодого Говэна — правоту сердца, отдающего свою кровь за любовь к врагу.

Все это так. Но стареющий Роллан, обращаясь к образу Гюго — «старого Орфея», которого ему посчастливилось один раз увидеть в детстве, рассказал и о том, как в отрочестве он присутствовал на представлении драмы «Девяносто третий год», и о том, чем он обязан не только «самой пьесе, но и зрителям из предместий, которые шумно переживали происходящее на сцене, подобно хору античной трагедии, одобряющему и подстрекающему героев». Именно в тот час — как думает Роллан — в его сознании впервые возникла мысль о «Театре революции». И как бы ни решали вопрос о возможностях мыслить над схваткой и одновременно участвовать в схватке и Виктор Гюго, и Анатоль Франс — в романе «Боги жаждут», и сам Ромен Роллан — в «Театре революции» (который создавался с большими перерывами на протяжении сорока лет), самый факт обращения их к великим событиям народной жизни, к огромным и грозным образам деятелей революции имел революционный смысл, понятный для «зрителя из предместий». Все они, говоря словами Гейне, «рисовали черта на стенке» — вольно или невольно заклинали грозным и великим прошлым жалкое и убогое настоящее буржуазной республики. Нам могут возразить — и внешне с полным основанием,— что Анатоль Франс написал свой роман не во славу, а в осуждение якобинской диктатуры, что, по мысли Франса, идея — пусть и высокая в своем абстрактном качестве,— воплощаясь в жизнь, становится уродливой и враждебной человечеству, что тот, кто активно воплощает ее в жизнь, бесцельно и бессмысленно жертвует ради нее всем лучшим, что в нем есть,— превращается в отщепенца.

Все это так и не совсем так. Потому что художник масштаба Анатоля Франса был честен до глубины сердца и предан великим традициям своего народа. Вот почему скептицизм, свойственный его воззрениям на историю человечества, содержал в себе и зернышко исторической сознательности, которое отметил, говоря о скептицизме Герцена, Ленин. «У Герцена,— говорит он,— скептицизм был формой перехода от иллюзий «надклассового» буржуазного демократизма к суровой, непреклонной, непобедимой классовой борьбе пролетариата».

Позиция Франса, приветствовавшего Октябрьскую революцию, является лишним доказательством потенций его исторического скептицизма. Вот почему в романе «Боги жаждут» вдруг в XXVI главе возникает образ Робеспьера, целиком противоречащий общей концепции романа, вот почему Марат, одержавший победу над клеветниками, изображен в романе так, как мог бы его живого изобразить Луи Давид, оставивший на века изображение мертвого: читатель видит «лихорадочный взор, чело, увенчанное символом гражданской доблести, лицо, выражавшее благородную гордость и безжалостную любовь, изнуренное недугом,

высохшее, неотразимое, перекошенный рот, широкую грудь, всю фигуру умирающего исполина, который с высоты людской победной колесницы, казалось, обращался к согражданам: «Будьте, подобно мне, патриотами до гробовой доски». Кстати, тот факт, что Анатоль Франс, сосредоточив все свое внимание на исторической ограниченности якобинской диктатуры, объективно не мог не показать и ее историческое величие, отметил самый проницательный из советских критиков романа — А. В. Луначарский.

Нам нет нужды останавливаться на всем цикле «Театра революции» Роллана.

Среди ранних драм есть шедевры, такие, как «14 июля», апофеоз народа — творца истории. Есть в цикле и печальные следы гандистских, непротивленческих увлечений Роллана — они видны, например, в драме «Леониды».

Нас интересует другое: как, приняв эстафету из рук «старого Орфея», Роллан решал вопрос об идее и воплощении ее, о мысли и действии. «Старый Орфей» утверждал судьбою Говэна, что участие в схватке, в делах времени неизбежно и необходимо, но тот, кто одновременно знает «вечные» законы любви и милосердия, должен искупить свое участие в делах времени жертвенной смертью. Вот почему коллизия, приведшая Говэна на эшафот, выключена из реальных столкновений времени — Говэн гибнет не потому, что он «бывший», или «жирондист», или «эбертист», или, наконец, «якобинец», а потому, что на акт милосердия, совершенный злейшим врагом Республики, он — во имя «вечных» законов морали — должен ответить тем же.

Реальные герои Роллана — Демулен и Дантон, а затем Робеспьер, Сен-Жюст, Кутон — гибнут на эшафоте так, как это было и в действительности: в столкновениях классовой борьбы, в жесткой диалектике исторических событий.

В творчестве больших художников бывают любопытные примеры «двойного времени», когда одна из частей эпопеи или два отдельных произведения, в действии которых временная последовательность не прерывается, вместе с тем созданы художником в разные периоды его творческого пути и таким образом отделены друг от друга десятилетиями другого, «реального» времени.

Между драмой Роллана «Дантон», написанной в 1899 году, и драмой «Робеспьер», созданной в 1939 году, лежит сорок лет жизни их творца. Между последним актом драмы «Дантон» и первым актом драмы «Робеспьер» проходит не больше часа.

Дантон, приговоренный к смерти в последнем акте одноименной драмы, еще жив в первом акте второго произведения. Его лишь везут на казнь, и это его исступленный рев доносится сквозь закрытые ставни в комнату Робеспьера. С Робеспьером и Сен-Жюстом мы расстались всего лишь час назад. Но, вглядываясь вместе с художником в их черты, вслушиваясь в их речи, мы видим — нет, это другие люди, не те, которых мы только что оставили. И «масса» в драме «Дантон» была поистине безликой и капризной в своих стихийных реакциях на события, течение которых определялось слепым историческим роком.

Этой единой «массы» в драме «Робеспьер» нет. Она распалась. Есть «предпролетариат» парижских предместий, есть рядовые граждане, уставшие от обилия событий и бытовых трудностей, и есть силы контрреволюции: щеголи-мюскадены, шпионы, спекулянты — вся мразь, вся накипь, которая стала ведущей силой в дни термидора. Якобинская диктатура изображена в драме Роллана в соответствии с исторической истиной — как высшая точка, которой достигла первая буржуазная революция. И поэтому жизненной правдой и конкретно-историческим содержанием наполнились и образы великих якобинцев.

В драме «Робеспьер» — впервые для «Театра революции» — показана глубокая человечность и народность людей революционного действия. Тема искупления за «грех» участия в творчестве истории уходит из «Театра революции», сменяясь истинной и героической темой «довременного революционера».

И к Робеспьеру одноименной драмы, и особенно к Сен-Жюсту применимы те слова Б. Поршнева, который назвал Жана Мелье — предтечу революционной мысли Франции от Марата до Бабефа — человеком, «распахнувшим занавес не в завтра, а в послезавтра». И право на «послезавтра» герои Роллана получают не несмотря на то, что они воплощали в жизнь необходимое сегодня, а именно потому, что они это делали.

Чтобы понять и передать другим эту великую правду, чтобы по-иному вернуться к самым истокам новой истории своего народа, Роллан должен был пройти огромный путь, тот, о котором он сам рассказал в двух статьях, посвященных М. Горькому («Привет Горькому» и «Горькому, первому ударнику республики труда»), в «Прощании с прошлым», в статье «Ленин, искусство и действие».

Путь от «Дантона» к «Робеспьеру» лежит не через «Вербное воскресенье», «Игру любви и смерти», «Леониды», а через «Ярмарку на площади» к «Кола Брюньону», а затем — к «роману-реке» «Очарованная душа», к ее последним книгам.

О том, как и почему он вступил на путь, который привел его к пониманию неразрывного единства «мысли» и революционного действия, Роллан рассказал в статье «Привет Горькому»: «...Еще до Октябрьской революции Горький вел в прессе кампанию за подлинную культуру против русской буржуазной интеллигенции, беспощадно обвиняя эту касту в пассивности, душевной дряблости и пустословии. Как раз в то же самое время я в «Жан-Кристофе» воевал с парижской «ярмаркой на площади», с эксплуататорами искусства и мысли, с их лицемерием, с их «идеалистической ложью» эстетов и краснобаев. Про религию сказано, что она «опиум для народа». С еще большим правом то же самое можно сказать об европейском искусстве и литературе последнего пятидесятилетия. Они притупили общественную совесть, они предоставили в ее распоряжение всевозможные «алиби» для уклонения от общественной ответственности, соорудили башни, в которых можно укрыться от действительности, изобрели предлоги ухода от борьбы. «Пусть творится несправедливость, а я умываю руки». И далее Роллан рассказывает о том, как в поисках «питательной среды» для героического и революционного искусства он «раскинул свои корни вширь и вглубь» и, пробившись сквозь истощенную почву Европы, «достиг плодородных пластов России, советских народов, неиссякаемой жизни, пробужденной в глубинах СССР. Как раз в канун этой подземной работы мои корни встретились с корнями Горького». Слова эти, написанные в 1931 году, несомненно требуют уточнения. Путь в последние десятилетия жизни Роллана конечно же определяли и события внутри самой Франции — деятельность КПФ, Народный фронт, борьба французских трудящихся в защиту демократии. Но от этих французских влияний неотделимо и влияние «русской правды». Октябрьская революция, народ Советского Союза, Ленин, Горький также помогли Роллану понять задачи сегодняшнего дня и по-новому вернуться к родной почве, к родному народу и его революционным традициям, помогли дать верную оценку бессмертному историческому величию и неизбежной исторической ограниченности деятелей прошлого, сказав тем самым свое веское слово в спорах настоящего.

И еще одно. По собственному признанию, в те годы, когда были созданы первые драмы «Театра революции», Роллан отошел от кумира своего отрочества — Виктора Гюго. «Старый Орфей» вновь завладел его воображением, когда Роллан, уже на склоне лет, работал над завершением «Очарованной души», обдумывал эпилог к «Театру революции». Мне кажется, что тогда он вновь вернулся в мыслях и к «Девяносто третьему году», произведению, которое, как мы уже говорили, стояло «у колыбели» «Театра революции».

Я думаю, что, может быть, образ Марка Ривьера и, во всяком случае, образ Сен-Жюста в драме «Робеспьер» — это внутренняя полемика со «старым Орфеем», это отрицание той идеи «искупления грехов» революционного действия, которая определяла в романе Гюго судьбу юного героя — Говэна.

Да, конечно, Робеспьера одноименной драмы художник увидел и изобразил в соответствии с исторической правдой. «Теперь для нас совершенно ясно,— говорит Роллан в послесловии к драме,— что Робеспьер выделялся среди деятелей французской революции не только цельностью своей натуры, но и своим трезвым умом и непоколебимой преданностью делу народа».

Таким мы его и видим. Но любопытно другое — самую злободневную, самую животрепещущую тему воплощает в драме не Робеспьер, а, скорее, Сен-Жюст.

Это он — с наибольшей последовательностью погруженный в дела настоящего, ставший как бы живым символом революционного действия — вместе с тем с наибольшей бесспорностью становится носителем и провозвестником будущего, примером для борцов сегодняшнего дня. В неравном бою с термидорианской контрреволюцией «его поддерживала вдохновенная уверенность,— говорит Роллан,— что он действует

в согласии с «силой вещей, что ведет нас, быть может, к цели, о которой мы и не помышляли» (эта фраза, приписанная мною Робеспьеру, принадлежит Сен-Жюсту), в согласии с великими законами, управляющими историей человечества». В этом разгадка. Реквизиции, ограничение богатств и спекуляций, активность «бедняков» — все это было не нужно буржуазной Франции. Якобинцы зашли *дальше* непосредственных задач буржуазной революции — в этом их величие. И они частью не умели, а частью и не смели до конца опереться на народные, революционные массы — в этом их неизбежная историческая ограниченность. Но Роллан, не затушевывая этой ограниченности, все-таки прежде всего делал акцент на историческом величии дела якобинской диктатуры, чертах будущих путей революционных сил истории, отраженных в настоящем революции 1789—1794 годов.

Так решало проблему соотношения мысли, морали и революционного действия великое произведение социалистического реализма, которое создал великий гуманист Ромен Роллан.

Примерно в те же годы, когда Роллан — и на материале сегодняшнего дня, и обращаясь к прошлому — заново решал вопрос о соотношении морали и революционного действия, к тем же проблемам подошли некоторые писатели и философы — экзистенциалисты.

В их обращении к историческим событиям тотчас же проглянули любопытные и специфические черты. Их интересовала не смена формаций, не степень последовательности в решении определенных исторических задач и не степень участия революционных масс в творчестве истории, а лишь те «боковые» процессы, которые *сопровождают* большие исторические сдвиги как симптом и следствие распада отживающего. Так, вместо якобинцев или «равных» из тьмы веков в пример и поучение потомкам была извлечена тень маркиза де Сада, годы старости которого совпали с первой буржуазной революцией,— автора романов, прославляющих с большой экспрессией патологическое сладострастие, вырастающее на почве патологической жестокости.

Обычно произведения искусства, изображающие только эти симптомы и следствия распада старого (и притом «изнутри»), отличает прежде всего уверенность автора в том, что мерзость — это естественно.

Правда, далеко не всегда такое убеждение рождает радость или чувство удовлетворенности. Гораздо чаще оно связано для художника с рядом «болевых ощущений», с тоской, отвращением и страхом. Однако именно злорадная и торжествующая апология мерзости, заключенная в произведениях де Сада, была признана некоторыми писателями-экзистенциалистами ярким выражением революционной мысли Франции, а также крупнейшим достижением реалистического искусства. Если Симона де Бовуар в своей книге, посвященной маркизу де Саду, уделяла основное внимание идейно-эстетическим достоинствам его творческого метода, то через некоторый промежуток времени, уже после второй мировой войны, Альбер Камю декларировал идейное тождество философии де Сада и революционной мысли якобинцев. Все революции, говорил Камю в книге «Взбунтовавшийся человек», «провозглашают всеобщую виновность, то есть убийство и насилие». И Сен-Жюст — современник де Сада, по его словам, приходит к оправданию «преступления, хотя исходит из других принципов».

Ну что же, как говорится, в мире «каждому свое». Один, вглядываясь в прошлое, видит «за плечами» якобинцев «тени сапожников и портных, побеждавших в битве при Вальми», другой — маркиза-эротомана, неоднократного пациента дома умалишенных. Для одного якобинская диктатура — это всего лишь кровавый пролог к наступлению буржуазного «царства чистогана», для другого — это прежде всего школа воспитания французской демократии, о которой говорит Ленин в статье «Цаберн».

Традиция, рассматривающая де Сада как идеолога революционной мысли, к сожалению, продолжает жить. В 1964 году в ФРГ издательство «Зуркамп» в серии «Диалоги» опубликовало пьесу драматурга Петера Вейса, уроженца Германии, проживающего в Стокгольме. Она озаглавлена «Преследование и убийство Жана-Поля Марата, представленное труппой дома умалишенных в Шарантоне под руководством господина де Сада».*

Я не хочу сводить смысл пьесы Вейса к самодовольной «антиреволюционности».

* Мы не касаемся здесь сценических воплощений пьесы Вейса в различных странах, а также и изменений в тексте, внесенных автором для этих постановок.

Субъективно — он несомненный последователь Брехта. Правда, кто только не записывается сейчас в ученики Брехта, пытаясь пристроиться со своим более или менее кустарным релятивизмом «в хвост» революционной диалектике великого немецкого драматурга.

В пьесе Вейса много действующих лиц — целая коллекция шизофреников, параноиков, пациентов, страдающих маниакально-депрессивным психозом и прочими видами помешательства. Это они — волею автора пьесы и режиссера де Сада — призваны воплотить образ Марата, Жана-Поля Ру, Симоны Эврар, Шарлотты Корде, жирондиста Дюперье, четырех уличных певцов, представляющих «народ», а также и «ведущего» — комментатора событий, который поверх смирительной рубашки носит пестрый плащ арлекина.

«Здоровых» в пьесе только двое: один — это маркиз де Сад, тучный старик 69 лет от роду, по-видимому укрывший в доме умалишенных свое разочарование в «действии», другой — директор Шарантона Кульмье, мужчина в расцвете сил, холеный, великолепно одетый, воплощение буржуазного свинства, ненависти к революции.

Отвращение автора к Кульмье не вызывает никаких сомнений. Но спор — «брехтовский» диалог во имя выяснения истины — ведется не с ним. Спорят Жан-Поль Марат и маркиз де Сад — это их «диалог» призван решить вопрос «цели» и «средства», «действия» и «морали». Петер Вейс в послесловии к пьесе говорит, что в уста Марата он вложил только то, что действительно содержится в его научных трудах, статьях и памфлетах. У меня нет оснований ему не верить И все же спор ведь идет не между Маратом и де Садом, а между де Садом и *созданным* им *образом* Марата, сценическое воплощение которого дает параноик. Марату отданы в пьесе те общие, отвлеченные, «классические» формулы, которые как бы возносились над конкретно-исторической сложностью и противоречивостью задач, осуществляемых буржуазно-демократической революцией. И де Сад побивает его примерами «конкретно-исторических» ошибок, «перегибами» в борьбе с врагами Республики, бесцельностью принесенных народом жертв, потому что ведь дело-то происходит в 1807 году и на престоле уже седьмой год сидит император Наполеон. «Лейтмотив» отношения автора к Марату и спора, который ведет с ним де Сад, а также комментарий хора — это жалость, и происходит это потому, что в пьесе поставлен под сомнение объективно-исторический смысл всего, что совершил Марат, ученый-естествоиспытатель, публицист и философ — автор сочинения «Цепи рабства», в котором до революции, в 1774 году, содержался не только призыв к революции, но и теория вооруженного восстания угнетенных народных масс. Вместо великого революционного деятеля — теоретика и практика — в пьесе встает перед нами «бедный Марат», который — для де Сада — истратил силы напрасно, ратуя за понимание народного блага, столь же условное, как и «программа», во имя которой его преследует и убивает Шарлотта Корде. Творцов истории в пьесе не существует: есть лишь ее жертвы, с которыми она поиграла, как кошка, прежде чем сожрать их. Единственный мудрец пьесы — это маркиз де Сад, который понял всю тщету попыток воплотить в жизнь высокие стремления революции и «умыл руки», укрывшись за стенами дома умалишенных.

«Народ» — это толпа пациентов Шарантона, бегущая за колесницей любого победителя. Сегодня они венчают лаврами Марата, завтра следуют за триумфальным шествием Наполеона. Впрочем, «нормальные» действующие лица пьесы — Кульмье и его «персонал», мужеподобные, дюжие «санитарки» — быстро вводят в должные границы «творческую активность» массы с помощью палки и смирительной рубашки. Таким образом, реальность истории — палка, которая ставит границы любым стремлениям, любой активности.

Есть та степень гнева, отрицание такого накала, при котором в произведении уже не нужен «луч света», слова веры и надежды. «Луч света» заключен в самом отрицании, в той силе, которая его рождает. Так, например, в том лишенном светлого начала мире, который создал в своих произведениях Щедрин, есть «положительный герой» — это идея крестьянской революции, исходя из которой художник, революционный демократ, вершит свой суд над помещичьей и чиновничьей Россией.

Современные сторонники философии абсурда не утруждают себя мыслью о том, что и во имя чего они отрицают; в приступах иронии и отчаяния они топят все — чувство ответственности, действие, мораль, веру, простое уважение к человеку. «Я знаю

людей,— писал в страшные дни столыпинской реакции Блок,— которые готовы задохнуться от смеха, сообщая, что умирает их мать, что они погибают от голода, что изменила невеста. Человек хохочет — и не знаешь, выпьет он сейчас, расставшись со мной, уксусной эссенции, увижу ли его еще раз?.. Кричите им в уши, трясите их за плечи, называйте им дорогое имя — ничто не поможет. Перед лицом проклятой иронии все равно для них: добро и зло, ясное небо и вонючая яма, Беатриче Данте и Недотыкомка Сологуба. Все смешано, как в кабаке и мгле. Винная истина «in vino veritas» — явлена миру, все — едино, единое — есть мир; я пьян — ergo,— захочу «приму» мир весь целиком, упаду на колени перед Недотыкомкой, соблазню Беатриче; барахтаясь в канаве, буду полагать, что парю в небесах; захочу — «не приму» мира: докажу, что Беатриче и Недотыкомка — одно и то же. Так мне угодно, ибо я пьян. А с пьяного человека — что спрашивается? Пьян иронией, смехом, как водкой: так же все обезличено, все «обесчещено», все — все равно».

До тех пор, пока трудно сказать, пойдет ли одержимый «всеотрицанием» в кабак или выпьет уксусной эссенции, еще не все потеряно. Но «мгла», о которой говорит здесь Блок, имеет тенденцию обращаться в тот самый туман, где, по словам Дидро, жиреют бекасы.

Так же как в помещичье-буржуазной России в эпоху реакции, так и сейчас — в странах капитализма — за иронию и отчаяние платят деньги. И тогда очень часто на смену боли приходит обыгрывание боли, на место отчаяния — имитация отчаяния.

«Случай» Петера Вейса не частный потому, что к этому вчера еще неизвестному писателю сразу пришла слава, переплеснувшаяся за границы Швеции и ФРГ. Его пьеса прошла и в Западном Берлине. Над ее постановкой работали такие художники, как Питер Брук, Ингмар Бергман, Роже Планшон. И буржуазная пресса зарубежных стран пестрит изящными и туманными похвалами тому сочетанию форм «игры», «содержательности», «политической остроты» с «эстетическим равновесием», которое отличает пьесу Вейса.

Несомненно, Петер Вейс, оглядываясь в прошлое — так же, как это бывает и всегда,— решал или хотя бы ставил вопросы сегодняшнего дня.

Но любопытно также и другое — то, что в хоре похвал и туманных намеков на актуальность пьесы, толкующей о тщете революционных устремлений, вдруг прорывается и раздраженный голос буржуазного критика, обеспокоенного самим фактом обращения автора к грозным событиям прошлого.

Значит, очень уж жгуче то конкретно-историческое содержание, которое автор, к радости его буржуазных поклонников, пытался растворить в «надысторическом» обращении к «вечному» пессимизму.

■

Стремление противопоставить «временное» и «вневременное» нередко проявляется и в работах зарубежных исследователей, посвященных творчеству крупных художников наших дней. И здесь конкретно-историческое изображение своей эпохи отделяется от «вечного», от выходящего за пределы этой эпохи.

Между тем вся история классического реализма свидетельствует об обратном. Бальзак, например, вышел за пределы своего времени именно потому, что он был летописцем определенной эпохи и современного ему общества, с гениальной смелостью изобразившим глубокую суть конфликтов сегодняшнего дня, из которых и родится то, что определяет завтрашний.

Более того, в его страшном мире (а значит, и в его будущем, которое провидел Бальзак) есть «сияющая точка», в которой воплощена подсказанная лишь интуицией художника и самая существенная из сил, формирующих исторический процесс. Баррикада Сен-Мерри и ее защитники — это подлинный залог будущего, который не мог не увидеть великий художник, и, хотя видение это лишь блеснуло в его сознании, как молния, прорезавшая тучи, именно здесь заключено то «положительное начало», которое дает возможность раскрыть сущность страшной действительности, а не капитулировать перед ее непознаваемостью. И одна эта молния значит для творчества Бальзака куда больше, чем все сконструированные им положительные резонеры и честные предприниматели.

Я думаю, что точно так же стоит вопрос и для каждого действительно большого художника современного капиталистического мира. Исследуя действительность образами своего творчества, добираясь до са-

мой сути людей и их дел, он не может не почувствовать, какая огромная, все изменяющая своим влиянием сила вошла в мир уже почти пятьдесят лет тому назад, как самый факт существования Страны Советов (а сейчас и всего социалистического сектора мира) отражается на жизни каждого человека и всего человечества. Это не значит, что художник точно поймет, изобразит или примет великую правду коммунизма, но он не может не увидеть — пусть даже с опасением и страхом,— как врезаются в жизнь любого человека, социальной группы, страны основные противоречия нашего времени, эпохи перехода от капитализма к социализму.

Я, не специалист, отнюдь не претендую на то, чтобы дать анализ творчества Уильяма Фолкнера в целом. В этом огромном и сложном мире поистине бушуют непримиримые противоречия. Трезвость перемешана там с предрассудками, историческая проницательность — со слепотой, стремление познать реальную сущность характеров и событий — с «мифологической» зашифровкой их. Фолкнер борется с одолевающей его правдой истории поистине как библейский Иаков, боровшийся в ночи с самим богом.

И противоречивость, сопровождавшая его творческий путь до самого конца, есть нечто вроде хромоты легендарного Иакова, полученной им в ночной борьбе.

Над трилогией, которую сейчас узнал советский читатель («Деревушка», «Город», «Особняк»), Фолкнер работал около тридцати лет, и все же она, несмотря на свой объем,— лишь часть саги об округе Йокнапатофа, герои ее, порою повернутые или понятые совсем по-иному, живут во многих других романах и рассказах. Между тремя частями трилогии лежат временные промежутки, в которые Фолкнер создал книги, чрезвычайно разные по своему значению и направленности. И все же я думаю, что можно и должно рассматривать трилогию, несмотря на все различие между отдельными ее частями, не только как единое целое, но и как вершину творчества писателя.

Мнение это, кстати сказать, оспаривается не только критиками модернистского лагеря (которые склонны считать самую сильную часть трилогии — «Особняк» — падением таланта Фолкнера), но и некоторыми исследователями-марксистами. Так, значение Фолкнера для современного искусства Эрнст Фишер определяет, исходя из анализа «великого романа» «Святилище», что коренным образом расходится хотя бы с той оценкой творчества Фолкнера, которая сложилась в советской печати последних лет.

Талантливый и несколько даже апологетический исследователь творчества Фолкнера П. Палиевский считает, что «роман «Святилище» писатель создал в погоне за дешевой известностью, завлекая бульвар описанием ужасающих страстей». Менее решительно высказывается по поводу «Святилища» крупный советский исследователь американской литературы М. Мендельсон. Но и он признает, что хотя в романе встречаются элементы реалистической сатиры, однако модернистские тенденции получают в нем особенно заметное развитие. Незначительным произведением считает «Святилище» А. Старцев — автор точного и умного предисловия к трилогии Фолкнера.

Еще резче говорит о романе (в статье, опубликованной в журнале «Иностранная литература») Говард Лоусон: «Живя в заразительной атмосфере погони за успехом, Фолкнер решил доказать, что и он способен написать «коммерческий» роман».

Очевидно, если говорить о величии Фолкнера, то тема эта прежде всего связана с трилогией. Именно в этой части «Человеческой комедии» округа Йокнапатофа вспыхивает та молния, которая по-новому освещает весь созданный художником страшный мир.

Трилогия Фолкнера (даже в первой своей части) отличается от произведений «ортодоксального» авангардизма прежде всего тем, что страшный мир, изображенный в ней,— это не бессмысленный хаос, в нем действуют и противоборствуют разные, объективно существующие силы, а сам художник не столько стремится «наложить» на сложное их коловращение свою, заранее данную схему, сколько познать закономерность этого движения, отраженную в событиях, характерах, судьбах героев.

И даже «мифологизм», который несомненно ощущается (особенно в первой части трилогии — «Деревушке»), также отличен от мифологических схем Джойса. Божественное не унижено в романе пародийным воплощением его в жалкой и низменной жизни современного мещанина — оно лишь, как отсвет, порой сквозит в женских образах трилогии.

Второе существеннейшее отличие трилогии от мироощущения и эстетических канонов «авангарда» заключается в преодолении субъективизма. Трилогия — это не миф о действительности, сконструированный из произвольно выбранных ее черт.

Фолкнер, оставаясь «за сценой», вместе с тем заставляет читателя сопоставить свидетельства о людях и событиях, данные тремя героями — Гэвином Стивенсом, В. К. Рэтлифом и (в последней части) Чарльзом Малиссоном. И свидетельства эти, порою противоречивые, говорящие об одном и том же, силой искусства построены так, что в перекресте их возникает некая объективная, внеличная правда о людях и событиях.

Да, несомненно, образы героев — такие, какими мы их видим в «Деревушке»,— во многом непохожи на те, которые встают перед нами не только в «Особняке», но и в «Городе». Сноупсы вначале — это не только типизированное изображение исторической и социальной силы, но и прежде всего зоологический вид — «термиты», «змеи», единый отряд, связанный общим повиновением воле Флема Сноупса.

Юла Уорнер — воплощение слепой женственности, женского начала, к которой почти с детства ее прикованы все взоры и все вожделения мужчин Йокнапатофы,— в «Деревушке» еще тоже не человек. Сонная, неподвижная, вечно что-то жующая красавица больше похожа на Ио, дочь Инаха — богоравную телку, которую, как Аргус греческого мифа, сторожит ее брат Джоди.

И недаром эпитет «млечное» все время сопутствует изображению сонной прелести Юлы. И недаром одними и теми же словами говорит Фолкнер о красоте Юлы и о красоте тоже вечно жующей телушки, которую свел со двора богатого фермера Хьюстона жалкий идиот Айк Сноупс. И сам Хьюстон, и убийца его — Минк Сноупс — еще живут в «Деревушке» в обобщенном, непроясненном виде. Минк — это тоже не человек, а гадючка, маленькое вместилище большой злобы, а Хьюстон, которого он убивает из мести, романтизирован и укрупнен сложной историей своей трагической любви и брака.

Истинный смысл конфликта Хьюстон — Минк станет ясен Фолкнеру лишь через двадцать лет после того, как была создана первая часть трилогии.

«Деревушка» — наиболее буйное и своевольное цветение таланта художника во всей трилогии. Вставные новеллы, блестящие сами по себе, смешные и трагические, не всегда связаны с общим развитием сюжета и почти всегда не нужны для обрисовки главных героев. И Фолкнер — в «Деревушке» гораздо больше, чем в других частях трилогии,— солидарен с тем комментированием и объяснением событий, которое дают два его положительных героя — либеральный юрист Гэвин Стивенс и проницательнейший резонер, странствующий торговец В. К. Рэтлиф. Кроме двух комментаторов, как бы стоящих на авансцене, большинство героев «Деревушки» еще окутаны туманом и — как всегда бывает в тумане — кажутся более монументальными и таинственными, чем в действительности.

Путь Фолкнера в трилогии от «Деревушки» к «Особняку» есть путь от мифологии к эпопее, из тумана к ясности, историзму, постижению реального облика современного общества. И это путь, неизбежный для подлинно большого художника капиталистического мира наших дней.

Да, Сноупсы, какими они вступают в трилогию,— это не только Разуваевы, приходящие на смену денежной аристократии южных штатов, это еще в какой-то мере и «железная саранча» Апокалипсиса.

Но даже в «Деревушке» правда социальных отношений начинает проступать сквозь несколько метафизическую оболочку «сноупсизма».

Родоначальник клана Эб Сноупс, арендовавший у деревенского богача Билла Уорнера полуразрушенную ферму, встает в перекрестном восприятии жителей Французовой Балки, в комментариях В. К. Рэтлифа, как один из огромной армии безземельных бедняков, как нищий, одичавший в борьбе за себя, за кусок хлеба, за крышу над головой и — в глубоко уродливой форме — за свое человеческое достоинство.

Поломать, затоптать в грязь то, что принадлежит хозяину, «богатому», грозить поджогом и поджечь — это для Эба есть форма самоутверждения, бунт *внутри* представлений и законов Йокнапатофы, месть за то, что незагаженное и неполоманное принадлежит хозяину, а не ему, Эбу. Чутьем художника Фолкнер понял и большее—*ограниченность,* историческую бесперспективность этого «недовольства внутри старого общества», злобы, не поднимающейся до гнева. Во вто-

ром поколении, кристаллизуясь, оно неизбежно родит Флема Сноупса, безжалостного хищника, стяжателя и импотента, чуждого не только всем земным радостям, но и всем человеческим законам. Флем, который уже в «Деревушке» ведет с эксплуататорами старого типа борьбу за то, чтобы стать эксплуататором новой формации, с самого начала наиболее реалистичен, крепче всего укоренен в исторической действительности. Сила и убедительность этого образа растет тем неудержимей, чем более стремительным становится распад единого «сноупсизма», существование которого декларировано в «Деревушке».

Чем пристальнее вглядывается Фолкнер в пеструю толпу Сноупсов, тем больше теряют они свои общие, «видовые» черты.

А. О. Сноупс — сначала кузнец, затем школьный учитель, лентяй и пустозвон, равно бездарный в обеих профессиях,— мог бы носить и любую другую фамилию, точно так же, как клерк Байрон Сноупс, который не сумел даже толком обокрасть банк, где работал.

Сыновья Эка Сноупса — он сменил в кузнице своего болтливого родича — по общему и перекрестному мнению всех жителей Французовой Балки — это «ненастоящие Сноупсы» (что вменяется не в вину, а, скорее, в заслугу их матери, которая, очевидно, ночами поработала «налево»). Впрочем, и сам Эк, внимательный, приветливый, хороший работник, никак не похож на Сноупса. Судьба старшего из сыновей Эка — с диким (как почти у всех Сноупсов) именем Уоллстрит-Паника — образует в бурном течении трилогии как бы тихую заводь, некий заповедник буржуазных иллюзий, в которых повинен уже не тот или иной герой, но сам автор. Тема Уолла Сноупса — это старая, как сама буржуазная литература, тема честного предпринимателя, добродетельного спекулянта, нажившего «палаты каменные» (сеть оптовых складов, снабжающих универмаги округа) от одних «трудов праведных». К чести Фолкнера надо сказать, что среди осязаемо живых героев трилогии Уолл — постоянный антагонист Флема в деловых предприятиях — отличается полной бесплотностью.

И Уолл Сноупс, и, в известной мере, Гэвин Стивенс, В. К. Рэтлиф, Чарльз Малиссон (особенно в первых частях трилогии) — это порождение буржуазных иллюзий художника, то резонерское «добро» внутри буржуазного общества, которое в лице Гэвина естественно, раз за разом терпит поражение в попытках борьбы с Флемом.

Фиктивное противостояние Уолла и Флема Сноупсов, а также слабость и пассивность либеральной оппозиции капиталистическому хищнику становятся понятны, когда из тумана начинают проступать истинные, социально-исторические черты подлинных «антагонизмов».

Настоящий конфликт начинается там, где вступает в силу понимание и изображение самого первичного и самого точного деления общества — на тех, кто угнетает и давит, и тех, кого давят и угнетают, на хозяев жизни и «разнесчастных сукиных детей».

Нет, Фолкнер отнюдь не сторонник кафкианского мифа о сплошном капитализме, равно враждебном эксплуататорам и эксплуатируемым. И Флем Сноупс, и Билл Уорнер, старый пират, для него «нелюди».

Но «разнесчастные сукины дети», стоящие на последних ступенях общественной иерархии, остаются в его изображении *людьми,* несмотря на все унижение, всю деформацию, которую претерпела их личность под гнетом капитализма. Эту загнанную, съежившуюся до предела и неистребимую человечность отщепенца эксплуататорского общества Фолкнер раскрыл со всей силой в последней части трилогии, разойдясь здесь в своей оценке не только с «нелюдью», но и с добродетельным либералом Стивенсом.

Кроме трех комментаторов, чьими устами создается повесть о ходе событий, в «Особняке» есть еще и четвертый, на которого не обратили внимания авторы работ о Фолкнере, опубликованных за последнее время в советской печати. Это Монти Сноупс — один из мелких Сноупсов, отколовшийся от клана, вышедший из-под воли Флема — хозяина Сноупсов.

Нет, он отнюдь не бунтарь — он мелкий жулик, паразитирующий на тайных пороках лицемерно-респектабельных граждан Джефферсона.

И надо было обладать поистине бальзаковской силой таланта, чтобы именно глазами Монти показать истинное человеческое лицо «гаденыша» Минка.

И Минка, и убитого им Хьюстона читатель также начинает видеть в «Особняке» уже совсем по-иному. Хьюстон — это надменный богач, который унижает и разоряет нищего, чтобы настоять на своих правах собственника, и Минк — это нищий, убивший его не за свое разорение, утвержден-

ное судебным приговором, а за доллар, один доллар сверх присужденной судом суммы, который по своему произволу потребовал с него богач.

И взрыв ненависти к Хьюстону, и тихая, стойкая вражда к Флему (который расчетливо отказался помочь компрометирующему его имя родичу) рождаются в темном сознании Минка из непреложной веры в закон и справедливость, от всепоглощающего стремления добиться ее любыми средствами.

Само существование тщедушного каторжника, который находится к тому же за тридевять земель от Джефферсона, все-таки угрожает уважаемому в округе банкиру Флему, точно лавина, всегда готовая прийти в движение. Провокация, совершенная с целью задержать освобождение Минка еще на двадцать лет, удалась, хотя в удачу и не верил осуществивший ее Монти — еще один отщепенец, на шею которого Флем также ухитрился накинуть петлю, вынуждающую его к покорности. Минк — заранее проданный и преданный — совершил бессмысленную попытку к бегству. Убедили его не посулы, не деньги, а одно лишь напоминание о том, что за стенами каторжной тюрьмы «будет вас солнце греть, ветер обдувать, и никаких часовых, тень от винтовки вам свет не будет застить, потому что там свобода.

— Свобода,— сказал он совсем тихо, просто одно слово — «свобода».

И все. А дальше было проще простого».

Минк тут же пойман — «при попытке к бегству». В женской одежде (которой облекла его садистская выдумка Флема) — в нелепой соломенной шляпочке и ситцевом халатике не по росту, Минк, похожий на тощую девчонку-подростка в материнском платье, встает перед нами как трагическая фигура, как человек, се Человек, как ессе homo.

Этого знания о Минке нет и не будет ни у Гэвина Стивенса, ни у В. К. Рэтлифа, ни у Чарльза Малиссона — для них он останется тварью, «гаденышем».

О том, что такое каждый лишний год каторги, и о том, что такое свобода для человека, скажет через много лет та, которая освободит Минка,— дочь Юлы Уорнер, коммунистка Линда Коль-Сноупс.

■

Сорок лет назад умнейшая советская писательница, друг М. Горького О. Д. Форш вела с ним переписку по поводу романа «Дело Артамоновых». В переписке двух корреспондентов были затронуты разные темы, но центром ее стал вопрос о миссии женщины в современном обществе — вариации любимой мысли М. Горького о матриархате.

«Дороги мне написанные Вами в прошлом письме слова о «матриархате», — пишет Горькому О. Форш в ноябре 1926 года.— ...Женский вопрос в глубине решается не юридически, а очень трудным и сложным самоосвобождением. К Вам храню давнюю благодарность за нежное и рыцарское отношение к женщине. «Бабушка» Ваша и «Мальва» — дорогой русский вклад в мировую сокровищницу под гётевским знаком Ewig Weibliche».

«Мое, от юности свойственное мне преклонение и удивление перед силой женщины,— пишет в ответном письме М. Горький,— я говорю, конечно, не только о сексуальном обаянии, но и о некоторой сущности ее, непонятной и, часто, враждебной мне, мужчине,— мое, говорю, чувство к женщине давно уже навело меня на мысль, что царствованию мужа Земли приходит конец, и власть над миром должна перейти к жене и матери Земли».

В этом «обмене мнений» чрезвычайно любопытно все — и то, что умнейшая женщина ставит рядом двух героинь Горького — «добрую» и «не добрую», и то, что Горький не только не опровергает этого, но и сам говорит о «некоторой сущности» женщины, враждебной «мужу Земли».

Тот же вопрос о типах женщин — матери, которая остается матерью (даже как жена или любовница), и «мстительницы» — встает и в знаменитом письме М. Горького к Станиславскому о театре импровизации.

Если говорить о самом творчестве Горького, то в нем наряду с разным и равно остающимся на века воплощением «матери» (Бабушка, Ниловна) встает и «мстительница» (Мальва, Алина Телепнева из «Жизни Клима Самгина»).

Женственность, изувеченная и униженная всеми отношениями в эксплуататорском обществе, пытаясь распрямиться, может вызвать ту «неуправляемую реакцию», которая зачастую губит и самое женщину, и не только того, кто непосредственно повинен в этом унижении, но и просто оказавшихся слишком близко. Эту тему великой, но про-

---

Е. КНИПОВИЧ
ХУДОЖНИК И ИСТОРИЯ

данной и униженной силы со всей страстью воплотил Достоевский в «Идиоте». И ее же, глазами Китти, показал Толстой в живом и светлом образе Анны Карениной. «Чуждое и бесовское» очарование вдруг проступает в облике Анны той ночью, на балу, где, в сущности, решилась ее трагическая судьба и будущее благополучие обиженной глупенькой Китти. «Эстафету» из рук Достоевского принял Блок; но и в пьесе «Незнакомка», и в «Песне судьбы», и особенно в лирических циклах, связанных с темой Незнакомки, Снежной девы и Фаины, он решает ее не гибелью, а торжеством женщины и крахом, унижением «мужа Земли».

Тема матриархата, поднятая в XX веке Горьким, стоит и в большой литературе зарубежных стран. Аннет Ривьер Роллана, Тереса Каррар и «ласковая Власова» Бертольта Брехта, образ матери в «Деревянном домике» и лирике Бехера, Мария в романе «Мертвые остаются молодыми» Анны Зегерс, Мать Джоудов в «Гроздьях гнева» Стейнбека — таков далеко не полный перечень воплощений и модификации горьковской темы матриархата в творчестве больших художников современной литературы за рубежом. И Арагон, работая над романом «Коммунисты», хотел сначала озаглавить его «Коммунистки», потому что «женщина занимает в романе первое место и играет в нем первую роль... Я в данном случае осуществлял свой первоначальный замысел, выраженный в конце романа «Базельские колокола», где я говорю о рождении женщины нового времени, о которой я пою и о которой буду петь». Память о двойственности Ewig Weibliche, экскурс в историю матриархата в XX веке необходим потому, что без него нельзя объяснить, как возникли в трилогии Фолкнера образы Юлы Уорнер и ее дочери Линды.

И Юла, в меньшей степени, и Линда, в большей,— это образы и сильные, и бесконечно противоречивые, «хромые», как и все творчество Фолкнера. Но и здесь «хромота» — следствие столкновения, борьбы грудь с грудью и с этим воплощением одолевающей художника правды века. Сквозь все попытки художника осмыслить существование и сущность Юлы при помощи арсенала буржуазной эстетики и буржуазной философии с победной силой пробивается простая правда о великой и униженной женственности. «Рождается маленькое существо, крошка,— пишет Фолкнер в «Городе»,— вы говорите: это будет лошадь или корова, и со временем оно становится лошадью или коровой и вступает, вливается, входит в окружающую среду без морщинки, рубца, шва. Но только не это существо, не эта крошка, которая становится (и ее невозможно удержать; даже Флем Сноупс не мог) женщиной — женщиной, которая не сливается ни с какой средой, не входит в нее, презирает законы этой среды и все нормы поведения, которые большинство принимает за идеал, и, наоборот, уже тем, что она дышит, существует, эта хрупкая и нежная плоть властвует над этой средой, мнет и лепит ее, как воск».

Юла не «удостаивает быть умной», хотя в ее предсмертном разговоре с Гэвином мы видим, что она умна, не удостаивает быть образованной или светской. «А зачем ей уметь?» — замечает тринадцатилетний Гаун на слова Мэги Малиссон — сестры-близнеца Гэвина — о том, что Юла Сноупс, вероятно, не умеет танцевать. Замечание мальчика вызывает отчаянный вопль его дяди, обращенный к Мэги: «Подержи-ка его под уздцы — я посмотрю ему в зубы! Ты же говорила, что ему всего тринадцать!»

Впрочем, об этой силе, подымающейся над всем и идущей поверх всего, лучше всех рассказал Гомер в 3-й песне «Илиады».

Ранним утром троянские старцы греются в солнечном свете на высокой башне возле Скейских ворот осажденного Илиона. Старцы стрекочут (как кузнечики, говорит Гомер) о том, что надо выдать Елену ахейцам, ибо нет такой женщины, ради которой стоило бы навлекать на город великие беды.

Но тут, предупрежденная своей покровительницей Афродитой, откинув серебристое покрывало, на башню всходит Елена.

Старцы, лишь только узрели идущую к башне Елену,
Тихие между собой говорили крылатые речи:
«Нет, осуждать невозможно, что Трои сыны и ахейцы
Зрань за такую жену и беды столь долгие терпят...»

«Да, я всегда думал, что отпрыски Сноупсов обязательно мужского пола,— утверждает автор устами Гэвина Стивенса,— словно сама божественная сущность женской природы исключала сноупство, делала его невозможным».

Вот эта уверенность в божественной сущности женской природы чрезвычайно важна для понимания трилогии и связывает ее со многими произведениями поборников матриархата в XIX и XX веках.

Божественность Юлы в «Деревушке» еще окутана туманом, как и все в этой первой части трилогии.

Распаханная земля (праматерь Гея?), которая ждет оплодотворения, плавное течение реки, «млечная» прелесть изобильной плоти — вот образы, воплощающие сначала великую силу женственности. «Переосмысление» и «узнавание» героини происходит в «Городе» и посмертно в «Особняке». В этих двух романах тема Юлы становится — в основном своем звучании — темой женственности, несовместимой с капиталистическим свинством, поруганной, преданной и проданной практикой «чистогана».

...«Голова с небрежным, почти растрепанным узлом волос, рука, которая могла бы качать колыбель героя-воина или даже подхватить меч, выпавший из рук его отца» — вот Юла «Города» и «Особняка» — жертва Йокнапатофы, которую купил, как пакет банковских акций, мерзавец и импотент Флем Сноупс.

Трагедия Юлы в том, что Французова Балка, Джефферсон, весь округ Йокнапатофа мог предложить ей в качестве «мужа Земли» только хищников — таких, как Маккэрен или де Спейн. Конечно, «дикий олень» или «бык» лучше, чем юные «бараны», добивавшиеся благосклонности Юлы во Французовой Балке, или тем паче — «змеи» и «крысы» сноупсовской породы. И Юле дано испытать страсть и родить от Маккэрена («дикого оленя») Линду и восемнадцать лет быть любовницей де Спейна, который предаст ее, когда придется выбирать между ней и его самолюбием мужчины.

Юла кончает с собой, чтобы уберечь репутацию дочери от спровоцированного Флемом скандала, но по самой сути — потому, что «божественная женственность» ее ждала и не дождалась героя-человека. Да, образ Юлы противоречив до конца, но в перекрестном восприятии Гэвина Стивенса, В. К. Рэтлифа, Чарльза Малиссона и самого автора раз за разом вспыхивает простая, жизненная и обобщенная правда о судьбе «божественной женственности» в бесчеловечном и свирепом мире.

У Линды, дочери Маккэрена, с которым Юлу связала только одна ночь, уже будет другая судьба. Ей дано испытать не только страсть, но и любовь — «нечто достойное не только сегодняшней, невинной, испуганной и пугающей страсти, но и завтрашней силы и умения сохранить невозмутимость духа, и расти, и добиваться своего, и претворять в жизнь надежды».

Линда — новое, нашего времени, воплощение «божественной женственности» — обретает того героя-человека, которого тщетно ждала в замкнутом мире Йокнапатофы ее мать.

То, что героем этим в трилогии оказался коммунист, скульптор, еврей, интербригадовец войны в Испании, в высшей степени знаменательно, и хотя Бартон Коль возникает в трилогии всего лишь как «сияющая точка», как знак того мира, который *реально* противостоит сноупсизму, все-таки значение его для всего творчества Фолкнера огромно.

Сквозь рожденные страшной действительностью американского Юга ужас и отчаяние, сквозь тысячи наглядных, острых, но «производных» противоречий Фолкнер в «Особняке» прорвался к основному, главному противоречию, увидел ту силу, в которой воплощено основное содержание нашей эпохи, а также и носителей этой силы. И прикосновение к этой главной правде века по-новому повернуло всю огромную панораму трилогии, помогло тому, что во всех конфликтах проступила их истинная — социальная и историческая — сущность.

Да, конечно, Бартон лишь «обозначен» на своем подлинном месте и в подлинном своем значении. Линда — его жена — несет в романе иную функцию, и с ней дело обстоит сложнее.

В ней как бы собрано многое из того, что не додумано и «не узнано» в трилогии. «Ощупью» — и это доказательство творческой силы Фолкнера — он «подвел» ее к Бартону Колю, приобщил к народной, героической борьбе современности: она участница войны республиканской Испании против фашизма. Она — уже в дни второй мировой войны — идет работать клепальщицей на верфь, где строят транспорты для России. Более того — и в образе Бартона Коля, и в образе Линды Фолкнер сумел увидеть те черты «исторического оптимизма», которые отличают подлинных борцов-коммунистов. «Она упоминала о войне лишь вскользь,— комментирует Чарльз Малиссон воспоминания Линды об Испании,— не так, словно вой-

ны не было, но так, как будто их вовсе и не побили. А ведь многие, например, Коль, были убиты, другим оторвало к чертям руки и ноги и повредило барабанные перепонки, как ей самой, а скольких разбросало по свету, и очень скоро их объявят вне закона, ФБР начнет их преследовать, уж не говоря о том, что их будут допекать добровольные охотники... и все-таки их, как видно, не побили, и они ничего не проиграли».

«Ощупью» же Фолкнер подошел к пониманию того, что путь Линды должен скреститься с путями пасынков Йокнапатофы. Но в сюжетном воплощении этой верной догадки тоже перемешаны проницательность и заблуждение, разум и предрассудки художника. Линда с помощью Гэвина Стивенса добивается освобождения Минка Сноупса, пробывшего из-за провокации Флема на каторге почти двадцать лет сверх того двадцатилетнего срока, на который он был осужден ранее. Действия Линды, воля которой победила даже прекраснодушную пассивность Стивенса, как бы сдвигают с места нависавшую над судьбой Флема лавину, открывают путь для мести самого униженного и обездоленного гражданина Йокнапатофы самому преуспевающему и всесильному гражданину округа.

Несомненно (в этом прав М. Мендельсон), в действительности коммунистка не могла выступать в качестве пособницы индивидуального акта мести.

Но Фолкнер так хотел ощутить и показать «городу и миру» именно конкретные, немедленные результаты неизбежной и символической встречи Линды и Минка, что отступил здесь от жизненной реальности для простейшего, на его взгляд, воплощения подлинной правды. Правда же эта заключается в том, что Линда — новое, современное воплощение силы женщины — не даст себя унизить и не только развернется, как пружина, от любого давления, но еще и подвигнет на действие слабого «мужа Земли», заставит его совершить невозможное.

Однако символическое соучастие Линды и Минка в гибели Флема затемняет не только истинный смысл их встречи, но и истинный смысл всей общественной и пропагандистской деятельности Линды в Джефферсоне. Поэтому и самый образ «новой женщины» во многом теряет и художественную убедительность, и цельность.

В образе этом двойственно все: отношения Линды, с одной стороны, с Бартоном Колем, с другой — с Гэвином Стивенсом, и ее, унаследованная от Юлы и более одухотворенная, «божественность», и вместе с тем (тоже почти символическая!) глухота, и крякающий голос, и неумение воплотить в повседневной жизни Джефферсона свои высокие стремления. Линда и величественна, и в чем-то смешна (и не только в восприятии других, но и объективно). Она порою предстает перед читателем как «подобие чудовищ ископаемо хвостатых». И в этом также сказывается двойственность авторского отношения не только к ней, но и к реальной повседневной (а не символической) возможности бороться со сноупсизмом.

И все-таки именно «догадка» Фолкнера об основном содержании нашей эпохи подняла и укрепила *эпическую основу* его дарования, прояснила в его творчестве подлинные исторические и социальные черты сложной и страшной жизни американского Юга. Путь Фолкнера идет не к «мифотворческому реализму», а к углублению реализма критического и социального. Это путь из тумана символов к познанию исторической действительности.

К этому познанию разные художники и приходят по-разному. Но чем глубже и точнее их знание, чем дальше уходят они от первой «догадки», тем более яркими становятся в их творчестве и образы тех, кто действует в согласии с ведущими силами истории.

Великие и трагические события в жизни народов обычно выводят на поверхность ту большую, подспудную и порой мучительную работу, которая в течение долгих лет происходила в сознании художника.

Так, уже борьба республиканской Испании против фашизма во многом по-новому повернула общепрогрессивные и общегуманистические устремления многих больших писателей зарубежных стран. Вероятно, исследователи творчества Чапека уже обращали внимание на поразительную близость идейно-сюжетной основы его пьесы «Мать» и пьесы Брехта «Винтовки Тересы Каррар». И там, и здесь речь идет о том, какое конкретно-историческое воплощение получает извечное дело женщины-матери «защита жизни» в дни великих и трагических событий в народной судьбе.

На первый взгляд преимущество Брехта бесспорно. Не только потому, что его по-

нимание смысла исторических событий абсолютно точное и противоборствующие силы — народ Испании и фашизм — названы по имени.

Самые образы пьесы: Тереса — мать андалузских рыбаков, ее сын-подросток Хосе, добрый и слабый соглашатель патер Игнасио, мать бойцов республики «старая Перес», рабочий-коммунист Педро — все они гораздо более «социальны», чем герои «Матери» Чапека.

Различные профессии — вернее, жизненные призвания четырех сыновей и мужа Матери в пьесе Чапека — это всего лишь абстрактное обозначение различных форм «мужской» активности, которая ведет их к гибели, равно бессмысленной (с точки зрения автора) перед лицом тех вечных ценностей, которые всей своей жизнью защищает Мать. Героиня Чапека и Тереса Каррар равно пытаются укрыться от событий за стенами своего жилища, защитить от «посягательств» истории свой очаг и жизнь своих детей. И обе они — вдовы и матери уже убитых сыновей — сами вкладывают винтовку в руки последнего из живых — сына-подростка, посылают его в самую гущу битвы.

И здесь преимущество Брехта тоже как будто бесспорно. Мать Чапека отдает истории своего младшего Тони, потому что враги, интервенты, посягают на основной закон милосердия — бомбы с их самолетов убивают не только взрослых, но и детей. Тереса Каррар дает винтовку пятнадцатилетнему Хосе и берет винтовку сама, потому что она на страшном личном опыте поняла — не будет жизни, очага, мирного труда, детства для *всех* бедных людей, черной кости, если победят фашисты.

И все-таки преимущество Брехта над Чапеком не абсолютно.

Потому что если в пьесе Брехта блистательно показана победа «разума истории» в сознании рядовой труженицы, то в пьесе Чапека против «зла» и «смерти» встает та «громада любви», о которой с такой силой сказал Маяковский в поэме «Люблю». Разум и сердце. Но еще существует и весь человек — человек-коммунист, который включен в историю целиком, всеми делами, чувствами, думами, опытом, прошлым и будущим. В пределах последних двадцати или двадцати пяти лет можно найти десятки героев литературы, которые с честью воплощают образ этого героя нашего времени.

Мне кажется только, что из их числа нельзя исключать и *лирического* героя многих и многих стихов и поэм, созданных в эти годы. И я хочу вспомнить здесь об одном лирическом герое одного стихотворения, которое двадцать три года тому назад в военной Москве прочел мне замечательный человек-коммунист Жан-Ришар Блок.

Это — «Свобода», стихи Поля Элюара, широко известные теперь и у нас. Об истории того, как родилось это стихотворение, говорит И. Эренбург в последней книге своих воспоминаний «Люди, годы, жизнь». Стихотворение это состоит из четверостиший, из которых каждое кончается словами — «Я пишу твое имя». «Элюар сказал,— говорит И. Эренбург,— что писал эти стихи о Нуш (так звали жену Элюара.— *Е. К.*) и кончил стихотворение словами: «Я родился для того, чтобы тебя узнать, чтобы назвать тебя по имени».

У него было поразительное свойство: этот якобы замкнутый, даже «герметический» поэт не только понимал всех, он чувствовал за всех. «Вдруг я понял,— рассказывал он,— что я должен кончить именем, и после слов «назвать тебя по имени» дописал «Свобода».

Имя это Элюар в стихах пишет на всем — большом и малом, «абстрактном» и «конкретном», что человек собрал в сокровищницу любви и памяти за всю свою долгую жизнь.

Здесь есть и «рухнувшие маяки», и «стены неисходной тоски», и «правда познания», и «трезвон звенящих красок», но здесь есть и «кусочек хлеба деньского», и «дыхание детства», и «половина яблока, разделенного с любимой», и «крылья улетающих птиц», и даже «чуткие уши», и «теплая лапа» ласкового пса.

И весь этот теплый, домашний, богатый мир чистого и большого человека, художника, бойца Сопротивления, «с высот поэзии» пришедшего к коммунизму, естественно тяготеет к одному имени — «Свобода».

...Когда
докипело это,
из зева
до звезд
взвивается слово
золоторожденной кометой.

ОБ ИСКУССТВЕ РАССКАЗА

КОБО АБЭ,
КЭНДЗАБУРО ОЭ

ВРЕМЯ «МАЛЫХ ЖАНРОВ»?

Диалог

АБЭ. В послевоенные годы в японской литературе появилось великое множество рассказов. Это отчасти объясняется особенностью современной японской прессы — огромным числом журналов. Проблема, однако, состоит, на мой взгляд, в том, что рассказы эти вышли, так сказать, из произведений большой формы. Я хочу подчеркнуть, что нередко писатель обращался к рассказам не в силу осознанной потребности, а, скорее, под воздействием повышенного спроса на этот жанр.

Между тем писатели, стоявшие у истоков современной литературы, например, Лу Синь, создавали рассказы, повинуясь внутренней необходимости. То был период, когда литературные и общественные интересы тесно переплетались, когда их невозможно было бы расчленить. Не следует ли вообще рассматривать рассказ как одну из форм литературы переходной эпохи?

ОЭ. Думаю, что да. Бывает даже, что эффективной оказывается форма еще более краткая, чем рассказ,— стихи, например. В Болгарии писатели, принимавшие участие в борьбе против фашизма, писали горячие, темпераментные стихи — скажем, Гео Милев. Конечно, были писатели, создававшие вслед за Иваном Вазовым произведения большого масштаба, но это, скорее, исключение.

Обратимся к японской литературе: за сто, без малого, лет, прошедших после революции 1868 года *, история японской литературы была, если можно так выразиться, историей постепенного перехода от рассказа к роману; думается, что в настоящее время наступила необходимость поразмыслить над тем, как проделать обратный путь — от романа к рассказу. С этих позиций мне хотелось бы подумать о том, что представляет собой специфически японский рассказ.

Вернемся к истокам современной японской литературы: и «Нравы современных студентов» **, и «Плывущее облако» *** — произведения, оставшиеся в истории этой литературы,— все это романы. И все-таки лучшими творениями новой литературы 80-х и 90-х годов были, по-моему, именно рассказы. Рассказы тех лет определяли направление творческих поисков, были устремлены к созданию нового литературного стиля. В них чрезвычайно ярко запечатлен дух того времени. Мне кажется, что в процессе развития японской литературы именно рассказ выполнял роль ее авангардного отряда. Это становится особенно заметно, если обратить-

Журнал «Иностранная литература» обратился к японскому писателю Кобо Абэ с просьбой поделиться своими мыслями о проблемах современного рассказа. Ответ был прислан в оригинальной форме диалога между Кобо Абэ и Кэндзабуро Оэ, который мы и публикуем в порядке обсуждения.

* Революция 1868 года — буржуазная революция, положившая конец феодальному строю и открывшая путь капиталистическому развитию Японии. *(Здесь и далее прим. перев.)*

** Роман Цубоути Сёё (1859—1935), написанный в духе критического реализма,— одна из первых попыток положить начало новой японской литературе.

*** Выдающееся произведение Фтабатэя Симэя (1864—1909), написанное под сильным влиянием русской литературы XIX в. Этот роман положил начало направлению критического реализма в японской литературе нового времени. Фтабатэй выступил также как переводчик Тургенева, Гоголя и других русских писателей.

ся к 10-м и началу 20-х годов нашего века, когда рассказ стал главным ее стержнем, хотя в те годы продолжали жить и творить писатели, создававшие произведения большой формы — романы. Жанр рассказа продолжал развиваться и в последующие годы, во всяком случае, вплоть до начала второй мировой войны форма его совершенствовалась, выработался совершенно определенный стиль, органически присущий рассказу.

Но после войны началась эпоха романа. Писатели, вступившие в литературу после войны, оказались в большинстве своем романистами. Это засилие романов сопровождалось, пожалуй, некоторым упадком литературной техники рассказа. Рассказ имеет свои специфические стилистические особенности, большинство же писателей послевоенного периода — конечно, были и исключения — создавали рассказы в той же манере, что и романы. Иными словами, получались несколько длинноватые рассказы, задуманные и написанные по законам романа.

Японский рассказ, развивавшийся до войны, обычно отливался в чеканную форму, по объему он занимал от двадцати до тридцати страниц, а стиль его напоминал не столько прозу, сколько лирическое, иной раз ритмически организованное повествование. В послевоенный период, когда писатели, например Хироси Нома, направили главные усилия на создание романов, они начали писать длинные рассказы тем же стилем, что и романы, то есть создавать какой-то специфический японский жанр рассказа, похожего на повесть. В течение двадцати последних лет молодые писатели дебютировали в литературе именно такими произведениями. Можно сказать, что все мы вступили в литературу как авторы подобного рода длинных рассказов, написанных приемами романа. Хотя послевоенный период в литературе называют «эпохой романа», нельзя сказать, что роман принес подлинно ценные плоды. И с этой точки зрения мне тоже представляется, что сейчас следует по-новому оценить и взвесить смысл и возможности жанра рассказа.

Европейские писатели, за немногими исключениями, начинали с рассказа, от рассказа переходили к роману и тогда уже навсегда оставляли рассказ; но японские писатели находятся в своеобразных условиях: арена их деятельности — литературный журнал, и потому им приходится до самой смерти писать рассказы, не расставаясь в то же время и с романом. Пожалуй, можно сказать, что с этой точки зрения в Японии имеются благоприятные возможности для непрестанного совершенствования и дальнейшего развития жанра рассказа.

АБЭ. А мне кажется, что это, скорее, приносит вред. Вы сказали, что японские писатели пишут рассказы до самой смерти, а между тем это не всегда определяется индивидуальными особенностями дарования писателя. Жанр рассказа должен быть сознательно избран писателем, как форма, единственно подходящая для выражения его мироощущения, его взглядов. В противном случае обращение к рассказу теряет смысл. Разумеется, выбор формы — я имею в виду в данном случае форму рассказа — определяется не только мировоззрением. Этот выбор тесно связан с тем, что принято называть своеобразием способа выражения. Поясню свою мысль — существуют писатели, склонные к форме рассказа, и писатели, склоняющиеся к роману. Обязательно следует задуматься и над творчеством таких выдающихся писателей, как Эдгар По, Мопассан, Гоголь, создавших совершенные произведения, целиком принадлежащие к литературе нового времени. Разумеется, само появление писателей, обладавших таким талантом, объясняется требованиями эпохи. И еще: говоря о связи между рассказом и романом, нам, японцам, обязательно нужно поразмыслить над таким явлением, как, например, творчество Энтё, который от старых феодальных литературных форм так называемого «устного сказа» сразу вошел в мир печатной литературы. Мне кажется, что переводы рассказов, принадлежащих к литературе нового времени, импортированные в Японию после буржуазной революции 1868 года, мыслились, по-видимому, как сознательное противопоставление подобным традиционным повествованиям. Вот тут-то и надо бы произойти решительной схватке между рассказом и романом, но, к несчастью, дело ограничилось их параллельным существованием и причудливым компромиссом, в результате чего сформировался специфический жанр японского рассказа.

ОЭ. Я считаю, что форма рассказа определяется в первую очередь проблемой, которую ставит перед собой писатель. Правда, возможны случаи, когда, напротив, именно отсутствие сознательно поставленной проблемы исключает возможность всякой иной формы, кроме рассказа. Может быть, и нель-

зя решать вопрос слишком просто — в одну историческую эпоху японский народ нуждался, мол, в рассказе, а в другую — в романе; но в эпохи резких крутых перемен в романе невозможно одновременно передать и непрестанно возникающие проблемы личного характера и быстро меняющуюся действительность. Рассказ дает гораздо больше возможностей. Фтабатэй написал романы «Плывущее облако», «Обыкновенный человек», но его первым дебютом (я имею в виду его переводы) были рассказы — он перевел рассказы Тургенева. Чтобы понять, что представляла собой Япония тех лет, и не только Япония, но и царская Россия, наилучшим объектом изучения был рассказ, так я считаю. Если бы Фтабатэй перевел в то время роман, это означало бы, что он шагает не в ногу со своим временем.

АБЭ. Согласен. В классической форме эта проблема проявилась в творчестве Лу Синя. Лу Синь — писатель, с предельной полнотой отразивший резкие перемены своей эпохи. Он не только сам писал рассказы, но так же, как Фтабатэй, придавал большое значение работе над переводами. Иными словами, перемены, происходящие в сознании современников, Лу Синь воспринимал с подлинно интернационалистских позиций. Лу Синь придавал огромное значение переводам иностранных рассказов и даже считал, что китайская молодежь сумеет лучше понять переходный период, переживаемый Китаем, благодаря чтению переводных рассказов, нежели произведений собственно китайской литературы. Разумеется, он имел в виду совершенный по форме современный рассказ. Все это говорит о том, что сила рассказа не сводится к одному лишь содержанию, она таится и в его форме. Дело не только в том, что рассказ обладает немедленно действующим эффектом, то есть дает возможность уже сегодня написать о том, что было вчера,— жанр рассказа обладает и более значительными достоинствами.

ОЭ. Но вместе с тем бывают случаи, когда душевная энергия писателя настолько ослабла, что он уже не в состоянии писать романы и пишет только рассказы. Такие рассказы — плод, так сказать, «отрицательного эффекта». Таковы некоторые японские «романы о себе» * — конечно, я не имею в виду лучшие произведения этого жанра. Рассказы Нагаи Кафу *, написанные в последние годы его жизни, хотя и не относятся к жанру «романов о себе», кажутся очень болезненными, проникнутыми бессилием.

С другой стороны, бывают случаи, когда писатель пишет рассказы, потому что силен духом, критически воспринимает действительность и хочет остро уловить и отразить перемены в обществе, перемены в собственной духовной жизни. Наверно, многие писатели пишут прекрасные рассказы в молодости потому, что живут интенсивной духовной и физической жизнью. Можно назвать множество отнюдь не передовых писателей, писавших в переломные периоды отличные рассказы и тем сыгравших авангардную роль в литературе. Для таких писателей, как Дзюн Исикава **, обладающих органически присущим им критическим духом, рассказ кажется мне более подходящим, чем роман.

Думаю, что в Японии тоже должна развиваться такая литература, которую называют демократической, да она фактически уже развивается, и в той мере, в какой мы сейчас можем судить о ней, наибольших достижений эта литература достигла, по-моему, именно в жанре рассказа. Я считаю, что рассказы Рюдзо Саки и Дайхати Идзуми, членов Общества новой японской литературы ***,— прекрасные произведения, демократические по духу, ярко и живо рисующие человека.

Если обратиться к китайской литературе, сложившейся после победы революции, то там рассказ превосходит роман по широте охвата как отдельных объектов изображения, так и всей эпохи в целом. По-видимому, в Китае считают, что рассказ способен без промедления передать в литературной форме не только сами факты, но и идейную направленность информации, помещенной в тот же день в утреннем выпуске «Жэньминьжибао». Что касается романов современной китайской литературы, то часто бывает так, что лучшими оказываются не те, которые изображают бурно меняющуюся дей-

---

* «Роман о себе» — одно из направлений в японской литературе, возникшее на рубеже 10-х и 20-х годов, сменившее натурализм. Авторы «романов о себе» стремились скрупулезно восстановить ход своих мыслей, переживаний, даже самых мелких событий своей жизни.

* Нагаи Кафу (1879—1959) — выдающийся писатель, сыгравший важную роль в развитии современной японской литературы.

** Дзюн Исикава (род в 1899 г.) — современный писатель, известен как один из лучших стилистов в японской прозе нашего времени.

*** Литературная организация, созданная вскоре после окончания второй мировой войны, объединяющая прогрессивных писателей Японии.

ствительность сегодняшнего Китая, а обращенные к прошлому — рисующие великие перемены вчерашнего дня, то есть события периода революции.

Рассказ похож на зеркальце, прикрепленное к рулю мчащегося велосипедиста,— оно и само движется, и способно точно отобразить движущихся людей. А роман — плод раздумий, наступающих уже после того, как велосипедист слез с велосипеда.

АБЭ. Но рассказ гораздо больше, чем роман, требует — как бы это сказать — автономии, что ли, завершенности. Когда Лу Синь и Фтабатэй придавали столь большое значение переводам, как они мыслили себе эту сторону рассказа?

ОЭ. Мне трудно привести конкретный пример, но мне кажется, что рассказ меньше, чем любой другой жанр, определяется общей политической обстановкой той или иной страны, он обладает своим собственным внутренним механизмом сопротивления.

АБЭ. По-настоящему совершенный рассказ не может механически следовать за политикой, он подчиняется своим, автономным законам. В современном Китае Лу Синь считается великим писателем, мне не приходилось слышать критики в его адрес. Однако, когда внимательно читаешь сочинения Лу Синя, они не всегда производят впечатление картин, отраженных в зеркальце велосипедиста. Есть немало рассказов, написанных уже после того, как автор слез с велосипеда. Интересно, что о них говорит современная китайская литературная теория, литературная критика? Мне что-то не встречались высказывания о рассказах такого рода.

ОЭ. Я знаком с китайскими рассказами главным образом по переводам и статьям Минору Такэути, его работы расположили меня к китайским рассказам. Что касается вопроса об оценке творчества Лу Синя с тех позиций, о которых вы говорите, то мне об этом ничего не известно. А любопытно было бы знать.

АБЭ. Рассказу свойственна удивительная злободневность, свобода, дающая возможность мгновенно перешагнуть через уже сложившиеся формы,— одним словом, то, что вы сравнили со стремительным движением велосипеда, то есть способностью велосипедиста, двигаясь вперед, в то же время заглядывать в зеркальце; с другой стороны, рассказ обладает свойством очень быстро созревать, отливаться в завершенную форму. Получается своего рода сочетание двух противоположных свойств — взрывающих, разрушительных и созидательных. Хорошим примером могут служить рассказы Мериме. Часто случается, что рассказу предъявляют обвинения в эстетстве, гораздо чаще, чем роману, но все же весьма сомнительно, можно ли постичь сущность рассказа, если игнорировать вот эту свойственную ему завершенность? В конечном итоге это как бы два лезвия обоюдоострого меча.

ОЭ. Рассказ подобен карликовому растению в плошке — крохотный мир, в котором все детали сделаны с максимальным искусством,— не случайно о рассказах иногда говорят как о шедеврах или уникальных творениях. Мне, как писателю, кажется, что такие произведения появляются, пожалуй, большей частью в период, когда литература клонится к упадку. Вообще в Японии существует традиция, согласно которой высокую оценку получает произведение, которое дает возможность судить о себе в полном отрыве от вопроса об его актуальности.

Вот, например, «Старые легенды в новой редакции» Лу Синя да и некоторые другие его произведения — великолепные рассказы, обладающие высокой степенью завершенности. Они написаны как переработка в современном духе старых легенд, но автор вовсе не стремился отойти от современной действительности и сотворить некий уникальный шедевр. Рассказы эти обладают классическим совершенством, но в то же время отражают реальную действительность Китая своего времени. Вот такие рассказы представляются мне идеальными.

АБЭ. «Старые легенды в новой редакции» Лу Синя отражают действительность в очень своеобразной форме. В японской литературе к ним приближаются рассказы Дзюн Исикава. Я вовсе не хочу сказать, что завершенность — самое главное: но если игнорировать чисто литературную сторону, то, что я называю автономией литературы, то не получится ли, что на деле пострадает и ее актуальность, вот чего я опасаюсь.

ОЭ. Японские рассказы, по-моему, разделяются на две группы — к одной принадлежат рассказы, обладающие очень сильной, критической пружиной, к другой относятся рассказы, которые можно ценить за присущую им своеобразную успокоенность, за старчески умудренное восприятие жизни.

При этом в японской литературе конечная победа всегда принадлежала последней группе. В литературах же других стран дело обстоит иначе — там рассказ является формой, наиболее подходящей как раз для молодых писателей. Меня лично очень трогают эти старчески умудренные произведения, но, как писателю, мне бы не хотелось создавать нечто подобное.

АБЭ. Говоря о «Старых легендах в новой редакции» Лу Синя, вы сказали, что они обладают высокой степенью совершенства, и добавили: «но в то же время отражают реальную действительность...» А ведь это совершенство появилось не случайно.

ОЭ. Очень мастерски они написаны, техника хороша.

АБЭ. Но вряд ли можно противопоставлять эти два момента... Скорее, дело обстоит так: рассказ по природе своей требует определенной конструкции; писатель-новатор разрушает старую конструкцию, но из этого разрушения, в свою очередь, рождается зрелость. Вот, например, Эдгар По — его считают классическим образцом художника, следовавшего принципу «искусство для искусства». Однако мы получим всего лишь весьма формалистическое представление о его творчестве, если мыслить Эдгара По в отрыве от Америки его времени, Америки, в которой каждый отдельный человек нес на себе огромный груз европейских традиций, а страна в целом должна была преодолеть их. Эдгар По привлекает взрослых с помощью тех же средств, которыми сказки Андерсена, поднявшись над простым нравоучением, чаруют детей. Я считаю Эдгара По писателем, жившим жизнью своей эпохи. Без такого понимания Эдгара По, так же, как и Кафки, мы рискуем утерять ключ к пониманию смысла их рассказов. Объявлять художника сторонником «искусства для искусства» только из-за того, что он не пишет про народ и дела общественные,— по-моему, большая ошибка.

Мне представляется весьма сомнительным, можно ли противопоставлять друг другу техническое совершенство рассказа и свободу выражения художника, обеспечить которую может техническое совершенство, которым обладает рассказ. Не является ли такой подход к литературе чересчур прагматическим?

Если уж хотеть во что бы то ни стало говорить о политическом смысле, то следует сказать о том, что когда и Лу Синь, и Фтабатэй широко переводили иностранных авторов, смысл этот был в том, что оба стремились ознакомить свой народ с интернациональными достижениями литературы, включая сюда как содержание, так и форму.

ОЭ. Даже в странах с высокоразвитой культурой, обладающих богатыми литературными традициями, бывают периоды, когда рассказ и только рассказ становится наиболее удобной формой для писателей. В качестве примера назову Лу Синя, родившегося и творившего в переходную, переломную эпоху и тесно связанного с этими переменами.

В настоящее время существуют так называемые «развивающиеся страны», в них еще все в движении. В новых независимых государствах Африки нет традиции письменной литературы, создание литературы в этих странах идет по пути литературной обработки фольклора, существующего в устной традиции. Хорошим примером может служить написанный на английском языке роман «Моя жизнь в лесу призраков» писателя из Нигерии Амоса Тутуолы. Книга написана в форме романа, однако фактически это сборник рассказов. Причем все рассказы — старые устные притчи. Таким образом, здесь делается попытка создания рассказа на основе фольклора.

В этом смысле очень важно и необходимо понять огромную роль рассказа в странах Азии и Африки, не имеющих литературной традиции. Однако, когда мы говорим об Азии и Африке, следует помнить, что положение Японии и Китая тут несколько особое, и говорить о Японии и Китае, объединяя их с другими странами, где литература еще не развита, было бы ошибкой. К Японии необходим особый подход.

Мне кажется также, что для уяснения своеобразия современной японской культуры имело бы большой смысл подумать над тем, как классифицировать и разделить в японском рассказе так называемый «рассказ, обращенный вперед» и «рассказ, повернутый назад».

По-моему, все рассказы вообще можно разделить на две группы — условно назовем их рассказом «замкнутым» и «открытым». «Открытым» я называю рассказ, в котором отсутствует стройность, присущая самой этой форме; стройность достигается в нем скорее благодаря тому, что в нем звучит отклик реальной действительности, есть нечто, способное затронуть интерес реальных людей, воздействовать на них. В таком рассказе есть нечто незавер-

шенное. Я рассматриваю такой рассказ, как «рассказ, обращенный вперед». «Замкнутым» рассказом я называю такой, который замыкается в своем собственном мире и не связан с действительностью. Зато в нем есть стройность, необходимая произведению искусства, и читатели наслаждаются миром, созданным в рассказе, забывая о реальной действительности.

АБЭ. В таком случае, к какому из этих видов относятся рассказы Мериме?

ОЭ. Я думаю, что для современников Мериме некоторые его рассказы были, вероятно, «открытыми». Однако большая часть этих рассказов, если читать их сегодня, покажется нам «замкнутыми». Дело в том, что многое, что было актуальным во времена Мериме, в наш век утратило свою актуальность. Если говорить о журнале «Новая японская литература» *, то рассказы Дайхати Идзуми и Рюдзо Саки можно, по-моему, назвать «открытыми» (при этом они, конечно, не лишены недостатков). Но все же, когда читаешь эти рассказы, всегда испытываешь необходимость внутренне сопоставить их с реальной действительностью.

Мне представляется, что в конечном счете причисление рассказов к разряду «открытых» решается тем, как связаны они через сознание читателя со своей эпохой. Среди молодых писателей есть и такие, которые идут по пути создания «замкнутых» рассказов. Однако я думаю, что мне с ними не по пути.

АБЭ. В принципе я хорошо это понимаю. Но все же правильно ли утверждать, что рассказы Мериме являются сегодня для нас «замкнутыми»?

ОЭ. Например, «Матео Фальконе», в котором ставится вопрос о мужестве человека, вопрос о предательстве и насилии, и в наши дни является «открытым». Но «Жемчужина Толедо» того же Мериме стала сейчас уж «замкнутым» рассказом.

АБЭ. Ваши определения «открытый» и «замкнутый» не связаны с тем, насколько произведение совершенно?

ОЭ. Нет, я имею в виду лишь то, как автор рассказа рассматривает проблемы современной для него действительности.

АБЭ. Не следует смешивать эту сторону дела с вопросом о совершенстве рассказа как определенной литературной формы. Это нужно отчетливо понимать, иначе может создаться ошибочное представление о том, что рассказ, совершенный в литературном отношении, является обязательно «замкнутым».

Возьмем, например, Гоголя. Его рассказы вполне «открыты», и в то же время он всегда страстно стремился к совершенству их литературной формы. Внутренняя напряженность, накал страсти в его рассказах, определивший их совершенную форму, всегда сочетался у него с глубоким живым интересом к своему времени, делал его рассказы «открытыми». Конечно, завершенность рассказов Гоголя была завершенностью, характерной для девятнадцатого века, думаю, что подобное стремление к завершенности вряд ли сохраняет смысл в наше время.

ОЭ. Чтобы заявить о себе как о писателе, нужно написать рассказ, который отличался бы по форме от написанных ранее. Иначе внимания не привлечешь. Вот почему, вообще-то говоря, новый стиль в рассказах — ужасно печальная штука: один писатель создает нечто новое, какую-то определенную форму, а уже следующий, как правило, не хочет идти этим путем, отвергает эту форму.

Возьмем, например, стиль таких прекрасных новеллистов, как Исота Иосимура* и Синъити Макино**. Когда такие писатели умирают, с ними вместе исчезает и их стиль. И тем не менее рассказам все-таки свойствен какой-то общий стиль, общая форма. Сейчас легко различить во всяком случае два типа рассказов — рассказы в стиле девятнадцатого века и рассказы в стиле двадцатого века. Эта общность стиля, общность формы — любопытная особенность рассказа как жанра.

АБЭ. Согласен. В двадцатом веке мы вступили в мир рассказа, близкого к антироману, рассказа, который можно назвать то ли рассказом, то ли эссе. И этот рассказ демонстрирует свои огромные возможности.

ОЭ. Мне кажется, что образ мышления писателя, создающего эссе, похож на образ мышления писателя, создающего рассказы. Может показаться невероятным, но в твор-

* Ежемесячный журнал, орган «Общества новой японской литературы», выходит с января 1946 г.

* Исота Иосимура — современный писатель и критик.

** Синъити Макино (1906—1936) — новеллист.

честве Джеймса Тэрбера есть моменты, роднящие его с творчеством Лу Синя, так что иной раз кажется, будто перед тобой американский вариант рассказов Лу Синя. А если обратиться к Японии, то «Сибуэ Тюсай» Мори Огай* являет собой прекрасный пример того, как в какой-то неуловимый момент эссе неожиданно превращается в рассказ. Этот роман разбит на короткие главки, представляющие собой как бы пирамиду эссе. Однако иногда некоторые из них превращаются в великолепные рассказы. Читая их, прекрасно постигаешь секреты формы, присущей рассказу.

АБЭ. Вы сказали: «присущей рассказу». Очевидно, вы имеете в виду завершенность, свойственную рассказу. Хорошим противопоставлением тому является немецкий «Bildungsroman». Одна из предпосылок «Bildungsroman» заключалась в идее о том, что растет и меняется лишь человек, общество же остается неизменным. В противовес этому рассказ всегда, даже если его автор исходит из принципа так называемого «искусства для искусства», предполагает, что внешний мир находится в движении, изменчив, непостоянен, и в соответствии с этим нужно создавать свой внутренний, отчетливый, ясный мир.

Возможно, кто-нибудь сочтет требование «совершенства» рассказа непозволительной роскошью, стремлением к «искусству для искусства» в наше полное бурных событий время, требующее от каждого участия в политической жизни; но что, если рассказу, как таковому, присущи некие особенности, в силу которых не содержание, а именно форма становится одной из существенных его черт?

Рассматривать мир в сопоставлении заставляет определенное чувство историзма. Если бы не родилось в противовес издревле существующему чувству солидарности знакомых людей осознание своей связи с незнакомыми людьми, с людьми «абстрактными», было бы невозможно ни ощутить себя как личность, ни позволить себе иногда роскошь одиночества. Поэтому можно сказать, что в какой-то определенный период даже чисто эстетские рассказы выполняли свою определенную миссию. Лу Синь, Фтабатэй переводили современную западноевропейскую новеллу вовсе не с целью политического просвещения. Скорее, они стремились познакомить с построением рассказа. А между тем их переводы способствовали прогрессу, переустройству японского и китайского общества на современный лад.

Если в странах Азии и Африки, где сейчас происходит процесс становления литературы, рассматривать эффективность литературы и особенно рассказа слишком узко и примитивно, будет трудно рассматривать рассказ как способ выражения сознания. Когда мы говорим «замкнутый» рассказ, то имеем в виду не столько сам рассказ, сколько сознание писателя. Поэтому, говоря о рассказе, видимо, правильнее было бы в его оценку включать также и степень его завершенности.

ОЭ. Возьмем, например, рассказ Тамики Хара «Летние цветы»*. Через два года после того, как была сброшена атомная бомба, в период репрессий со стороны штаба оккупационных войск, в период осуществлявшейся им строгой цензуры неожиданно появилось произведение, рассказавшее правду об атомной бомбе. Рассказ вызвал сенсацию. Усилия, которые потребовались, чтобы написать его, тоже были поразительными. Жители Хиросимы, прочитав рассказ, безусловно почувствовали себя как бы освобожденными. Даже с этой точки зрения рассказ можно считать историческим. Однако форма его довольно причудлива. Рассказ начинается с того, что герой приносит на могилу покойной жены летние цветы — дикие хризантемы. Подобная завязка — в духе традиций японского рассказа. Но затем следует резкий переход к атомной бомбардировке, говорится о том, как герой пережил атомную бомбардировку, как ему удалось спастись. С точки зрения формы на этом надо было бы закончить рассказ, однако дальше следует нечто вроде двух небольших комментариев, воспоминаний со слов очевидца, но и эта запись неожиданно обрывается. Впечатление создается очень сильное, чувствуется, что рассказ окончен, но действительная жизнь, в нем показанная, продолжается, и вместе с ней будет бесконечно продолжаться и душевная

* Мори Огай (1862—1922) — известный писатель, один из основоположников японской литературы нового времени. «Сибуэ Тюсай» — роман, рассказывающий историю жизни ученого, врача, философа и поэта Сибуэ Тюсай (1802—1858).

* Тамики Хара (1905—1951), писатель, уроженец Хиросимы. Рассказ «Летние цветы» написан в 1947 г. Т. Хара пережил взрыв атомной бомбы в Хиросиме 6 августа 1945 г., во время которого потерял родных. В 1951 г. писатель покончил жизнь самоубийством, бросившись под поезд.

драма людей, испытавших ужасы атомной бомбардировки. Рассказ словно рассечен, чтобы на место свежего среза привить росток живой действительности.

Нельзя сказать, что рассказ «Летние цветы» совершенен по форме — стиль его весьма неопределенен. Но если рассматривать рассказ с точки зрения содержания поднимаемых им проблем, то форма его представляется наилучшей. Рассказ — это, другими словами, функция стиля. Ведь стиль, манера письма, теснейшим образом связан с тем, что писатель хочет выразить. Дело в том, что и рассказ представляется как стиль; иначе говоря, в нем отражается весь склад человека, создающего рассказ; то, что он хочет сказать, его отношение к действительности определяют форму самого произведения. Следовательно, если говорить о произведении в целом, то, думается, менее всего можно подходить к рассказу только с точки зрения того, является он совершенным по форме или нет.

АБЭ. Я полностью согласен с таким определением стиля. Совершенство или несовершенство того или иного произведения определяется заново и с наступлением новой эпохи.

Рассказы Кафки, исходя из критериев девятнадцатого века, представляются абсолютно несовершенными. А между тем в каждом его рассказе создан свой иллюзорный мир.

ОЭ. Кафка достиг вершин как писатель, хотя речь идет об иллюзорном мире. Писателем, который сейчас, в XX веке, унаследовал построение рассказов XIX века, является Стейнбек. Его рассказы от начала и до конца продуманы, зачастую полны второстепенных деталей, и их действительно можно назвать вполне совершенными. Это подлинный пир формы: они начинаются с того, как люди собираются и приветствуют друг друга, и заканчиваются тем, как они, прощаясь, расходятся. Рассказы XIX века можно уподобить петуху с переливающимся оперением. Рассказы же XX века представляются ощипанной курицей. Ни перьев, ни блеска — они совершенно не похожи на курицу. И все-таки это именно курица. Да, вам кажется это создание странным, нелепым, ободранным — но при всем том оно все-таки курица, самая настоящая курица. Показать это и является целью авторов рассказов в XX веке. Я тоже стремлюсь к этому.

АБЭ. Особенно важными представляются мне некоторые характерные черты, свойственные рассказу. Даже в совершенном рассказе в стиле XIX века мы нередко сталкиваемся с актуальными проблемами; тут возникает ощущение некоторой рискованности.

ОЭ. Я привел сейчас пример с курицей. Гаскар же, говоря о своем восприятии рассказа, считает, что рассказ должен походить на причудливое существо, напоминающее живую креветку. Конечно, извлеченное из креветки мясо, приправленное майонезом, тоже называется креветкой. И все-таки это уже не креветка. Мне кажется, что такое мнение тоже верно.

Я считаю, что в стране с любым политическим строем все люди, в том числе и политические деятели, должны как можно более снисходительно относиться к рискованным моментам, которые таит в себе рассказ.

АБЭ. Вполне естественно, что опасное воздействие рассказа чаще всего связано с его содержанием и темой. Но в то же время — хочется еще раз подчеркнуть — опасность определяется также и самим стилем, внутренней структурой рассказа, неизбежно вытекающей из видения мира писателем. Это опасность, лежащая за пределами политического толкования литературы.

ОЭ. Роман можно исправить, внести в него некоторые поправки. Рассказ же похож на какой-то своеобразный, особый организм. Я написал рассказ «Люди-бараны». Он начинается с того, что едущие в автобусе американские солдаты выпороли японского студента, учителя и рабочего, унизили, оскорбили этих людей. С точки зрения читателей, которые стремятся толковать все в политическом духе, рассказ этот, возможно, покажется антиамериканским, рисующим антиамериканскую борьбу японцев. Но происходит дальнейшее развитие действия: пассажиры сходят с автобуса, и возникает спор между школьным учителем, который считает, что о бесчинстве американских солдат нужно сообщить в полицейский участок, и юношей, по мысли которого лучше молчать, так как говорить о происшедшем стыдно. Рассказ заканчивается тем, что школьный учитель, чуть не плача, кричит, что он не отстанет от юноши, пока тот не заявит полиции о случившемся. И в конце концов конфликт начинается уже между двумя японцами. Это, отмечала критика, якобы

свидетельствует о том, что у писателя весьма сумбурная политическая позиция. Но в рассказе ведь всегда присутствует определенная самопроизвольность, присущая именно рассказу, она-то и ведет писателя.

АБЭ. Недавно я закончил роман «Чужое лицо». Одной из задач этого романа было стремление показать иллюзорность привычного представления о том, будто наши восприятия близкого человека и чужого, постороннего,— одинаковы; на самом деле это совсем разные чувства, они находятся в противоречии, и, чтобы по-настоящему, до конца понять другого человека, нужно разрушить живущие в нас привычные представления о ближнем. Но стоит лишь попытаться разрушить это привычное представление, как тебя сразу же начинают упрекать, что ты тем самым намереваешься одновременно разрушить и всю современную действительность. Это явное недоразумение.

Разрушить представление о ближнем ради того, чтобы вновь открыть его для себя,— для этого необходимо, чтобы писатель сумел полностью познать одиночество, таящееся в нем самом, и противопоставить этому одиночеству будни окружающего внешнего мира, увидеть опасность, заключенную в этих буднях. Это перекликается со стремлением к внутренней завершенности рассказа.

И ваши «Люди-бараны», и «Пышка» Мопассана, если толковать их вульгарно, могут показаться антиамериканским или антинемецким рассказом. Однако сила рассказа состоит в том, чтобы повседневная жизнь, которая кажется такой логически связанной, предстала в нем измененной, подобно ощипанной курице. Поэтому рассказ всегда таит в себе в известной степени рискованные моменты, представляющие опасность как для консервативных, так и для прогрессивных политических деятелей. Именно они-то, эти рискованные моменты, и дают жизнь рассказу. Вот почему именно великодушное отношение к рассказу является, может быть единственно возможной для политики формой участия в литературе. Участие литературы в политике — дело простое, а вот политика, если она будет по-настоящему серьезно участвовать в литературе, впервые сможет наконец стать подлинно живой, связанной с жизнью.

ОЭ. Думаю, вы правы.

АБЭ. До сих пор мы рассматривали рассказ лишь в противопоставлении с романом, не думаете ли вы, что пришло время, когда и роману следовало бы перенять черты, свойственные рассказу?

ОЭ. Развитие романа в Японии после революции 1868 года началось с «Нравов студентов нашего времени» и «Обыкновенного человека». Затем появился «Нарушенный завет» * — произведение периода натурализма. В конце 20-х годов был написан роман «Перед рассветом» **. Послевоенный период отмечен романом «Зона пустоты» ***, произведением, полным глубокого значения. Путь развития романа легко прослеживается. Труднее это сделать, когда речь идет о рассказе. Ведь рассказ очень легко гибнет, исчезает. И рассмотреть его развитие в литературно-историческом плане не так просто. Я думаю, что наступила уже пора снова откопать многие похороненные рассказы, начиная с 70-х годов прошлого века вплоть до наших дней, вновь проследить творческий путь новеллистов, рассмотреть, как развивался и изменялся японский рассказ. Неясна и история рассказа послевоенного двадцатилетия. Если под этим углом зрения попытаться дать оценку творчеству послевоенных писателей, то, думается, еще раз внимательно прочитав их рассказы, мы найдем в их творчестве новые грани, которые прежде ускользали от нас или оценивались не совсем точно. Я сейчас очень интересуюсь рассказами конца XIX — начала XX века.

Во всяком случае необходимо написать историю современной литературы, в которой рассказу будет отведено подобающее место. Многолетний разрыв между «Нравами студентов нашего времени» и «Обыкновенным человеком» очень легко преодолеть — стоит лишь объявить, что то были годы, когда в литературе доминировал роман. Но было бы целесообразно заполнить эту брешь историей развития рассказа. Тосико Тамура **** и многие другие писатели уже забыты, но ведь их рассказы были характерны для своего времени. Не следует упускать это из виду. Мне представляется,

---

* Роман Симадзаки Тосон (1872—1943) — одно из лучших произведений критического реализма в японской литературе нового времени. Дважды издавался на русском языке — в 1934 и в 1959 гг. в переводе Наталии Фельдман.

** «Перед рассветом» (1928 г.), автор — Симадзаки Тосон.

*** «Зона пустоты» (1952 г.), автор — известный прогрессивный писатель Хироси Нома (род. в 1915 г.).

**** Тосико Тамура (1884—1945) — писательница, автор рассказов и повестей.

что концентрирование внимания на романе ведет к тому, что уж слишком легко от нас ускользают многие тонкие особенности, характерные для литературы вплоть до середины 20-х годов. Например, «Женщина, принявшая яд» Ивано Хомэй написана в 20-х годах, но ничто не препятствует тому, чтобы рассматривать это произведение вместе с романом начала века. Вряд ли удастся понять литературный процесс тех лет, если не брать в расчет рассказы, которые появлялись из года в год. Особенно это относится к истории пролетарской литературы Японии, которая не может быть создана, если во главу угла не будет поставлен рассказ.

АБЭ. Это же можно сказать, видимо, о любой литературе мира. Нередко форма романа менялась вслед за изменением формы рассказа.

ОЭ. С дальней дистанции роман сразу бросается в глаза. Если же посмотреть на литературу вблизи, станет ясна огромная роль, которую играет рассказ.

У Хидэмицу Танака * есть, например, повесть «Плоды Олимпа». Но его рассказы, написанные после войны, неизмеримо выше этого романа.

АБЭ. Совершенно верно. И в послевоенное время роль рассказа как передового отряда литературы огромна. Когда я знакомился с эссе Киётэру Ханада *, они представлялись мне не столько критическими работами, сколько рассказами. Действительно, хотя на первый взгляд они и не построены как рассказы, я почувствовал, что они апеллируют к читателю почти так же, как рассказы.

Рассказ — это всегда передовой разведывательный отряд. Таким он и должен быть.

ОЭ. Ваши рассказы, г-н Абэ, отличает стремление к завершенности. Все ваши рассказы таковы, и в этом их специфическая особенность.

АБЭ. Нет, я борюсь с соблазном завершенности. А это такой соблазн, с которым стоит бороться. Да ведь и у вас в этом отношении дело обстоит точно так же. Если бы не было подобной борьбы, то невозможно было существование «открытых», как вы их называете, рассказов. И если вы постоянно выступаете в японской литературе как один из самых передовых ее разведчиков, то это результат вашей борьбы.

Перевод с японского
И. ЛЬВОВОЙ и В. ГРИВНИНА

ХУАН БОШ

ВОЗМОЖНОСТИ РАССКАЗА

Рассказ — это древнейший литературный жанр, снискавший в веках признание читателя. Эмоциональное воздействие рассказа может быть очень велико, и поэтому его автор должен проникнуться ответственностью за написанное — ведь он может стать воспитателем чувств и идей.

Что же такое рассказ? Определить этот жанр необычайно трудно, такая задача зачастую оказывалась не под силу даже выдающимся критикам. Можно утверждать, что рассказ представляет собой изложение какого-то безусловно значительного факта. Важность факта, конечно, относительна, но она несомненно должна быть убедительной для читателя. Если же случай, лежащий в основе рассказа, ничего не значит, то и его описание будет лишь зарисовкой, сценой, простым отпечатком происшедшего, а вовсе не рассказом.

■

Умение найти тему составляет основу техники рассказа. Эта техника, понимаемая в смысле греческого «текне», является частью ремесленной выучки, необходимой для создания произведения искусства. Искусство рассказа состоит в том, чтобы увидеть факт и решительно идти к нему, не оста-

* Хидэмицу Танака (1913—1949) — прозаик, автор ряда рассказов и повестей. Повесть «Плоды Олимпа» написана в 1940 г.

* Киётэру Ханада — известный современный критик, искусствовед и эссеист, участник прогрессивного литературного движения.

навливаясь подробно на событиях, которые встречаются на пути движения к основному факту. Все попутные события подчиняются этому факту.

Строя свой рассказ в лучших традициях жанра, писатель иногда не сразу привлекает внимание читателя к избранному факту и постоянно уводит этот факт из поля зрения, но продолжает сохранять его в глубине повествования и лишь неожиданно возвращается к нему в пяти-шести заключительных словах. Но случаи, в которых можно прибегать к этому приему, не нарушая естественного развития повествования, немногочисленны. Гораздо важнее сохранить от начала до конца постоянный ритм повествования, чем подвести рассказ к неожиданной развязке. Если факт помещен автором не в конец рассказа, то есть не совпадает с заключительной сценой, но ритм повествования не нарушается и непосредственно подводит к указанному событию, то рассказ получится хороший.

Рассказ надо подавать читателю, как плод с многослойной кожурой, которая вводит в заблуждение лакомку-ребенка. Каждый раз, когда снимается один из слоев кожуры, читатель ждет появления самого плода, думает, что больше нет кожуры и наступил момент отведать желанного яства. Внутреннее действие рассказа должно развиваться подспудно, от фразы к фразе, под прикрытием внешнего, которое в действительности не имеет иной цели, как подвести читателя к главному факту. В целом это кожура, она раскрывается и обнаруживает сам плод.

Каким же должен быть факт, определяющий тему рассказа? Связанным с человеком или по крайней мере соотнесенным с ним. Писатель должен стараться затронуть чувства читателя, заставить его думать. Путь к читателю нужно искать через его чувства или мысли. В баснях Эзопа, в рассказах Киплинга, в сказках Андерсена и притчах Оскара Уайльда животные, явления природы и вещи наделены человеческой душой. Личный опыт человека не выходит за рамки его сущности. И беспредельный мир, и поддающаяся измерениям материя являются для человека отражением его собственного бытия. Несмотря на подавляющее величие техники, человек еще долго будет царем созидания, в чьих поступках сохраняется отблеск всевышнего. Ничто не интересует человека больше, чем сам человек. Вот почему лучшей темой для рассказа всегда будет человек или в крайнем случае нечто с ним соотнесенное.

Живописность сама по себе не годится как тема рассказа, но может стать великолепной темой для статьи о нравах или же для юмористической зарисовки.

Тема должна обладать особой емкостью, чтобы стать всеобщей. Ценность ее заключается в универсальности, но по форме она может быть очень локальна. Страдание, любовь, самопожертвование, героизм, благородство, жестокость, жадность — все это явления положительные и отрицательные, но универсальные, хотя люди, которым эти качества присущи, естественно, не выходят за рамки локальных условий. Эти качества распространены и среди жителей больших городов, и среди обитателей джунглей или эскимосских иглу.

Нас окружает такое множество событий, что из простого отчета о них уже мог бы получиться рассказ, поэтому писатель должен *по-своему* увидеть факт, чтобы он мог стать хорошей темой для рассказа. Порой рассказ определяется самим механизмом описываемого события, иногда он определяется внутренними мотивировками. Воришка, попавшийся врасплох, может послужить прекрасной темой для рассказа, если поймавший его полицейский агент окажется братом вора или же если кража совершена им, чтобы накормить голодающую мать. Рассказ может оказаться великолепным и в том случае, если речь идет о первой краже, совершенной самим автором, сумевшим преодолеть психологический барьер между миром обычного человека и преступным миром.

Во всех этих случаях факты-темы различны. В первом случае темой является то обстоятельство, что брат вора служит в полиции. Во втором — речь идет о голодной матери. И, наконец, в третьем случае в центре внимания — преодоление психологического барьера. Это дает возможность понять, почему мы настаиваем на том, что факт, служащий темой рассказа, должен быть очищен от любых наслоений и всего того, что не является его истинным выражением. Итак, на первый взгляд в этих трех предполагаемых рассказах темой служит поимка воришки с поличным, но на самом деле оказывается, что существуют три самостоятельные темы и во всех трех случаях факт поимки преступника представляет собой путь к сердцу основной темы рассказа.

Коренное различие между писателем-романистом и автором рассказов состоит в том, что первый следует за своими персонажами, а второй должен повелевать ими. Действие в рассказе обусловливается темой, но должно полностью направляться писателем и не может ни уходить в сторону, ни расширяться, а обязано строго укладываться в рамки и быть неразрывно связано с избранной темой. Герои романа могут посвятить десять минут беседе о картине, которая в сюжете произведения не играет никакой роли, а в рассказе такая картина не может даже упоминаться, если только она не имеет значения для развития действия.

Рассказ можно сравнить с тигром в литературной фауне. Если у хищника есть хотя бы один лишний килограмм жира или мяса, то он не сможет успешно охотиться. Это уже не хищник, а просто груда костей, мышц, кожи, клыков и когтей, а ведь тигр создан для того, чтобы господствовать и нападать на других животных. Если с годами тигр начинает жиреть, мускулы его утрачивают гибкость, клыки расшатываются, слабнут мощные лапы, то могучий зверь обречен на голодную смерть.

Мастер рассказа должен иметь душу тигра — чтобы атаковать читателя — и тигриный нюх — чтобы отыскать тему и определить, на каком расстоянии находится его «жертва» и с какой силой нужно наброситься на нее. Бывает, что в этом сложном искусстве создания рассказа в скрытом сюжете тема оказывается созвучна чувствам читателя. Поражая тему, можно поразить читателя. Бросаясь в разящем прыжке на тему рассказа, автор, как тигр, нападает и на читателя.

■

Тесная взаимосвязь всех видов искусства, обусловленная характером воздействия на художника социальной среды и присущих его эпохе проблем, определяет то обстоятельство, что зачастую изменения в стиле некоторых жанров искусства влияют на стиль других жанров. Не будем сейчас анализировать, действительно ли такое влияние оказывается решающим или же изменения стиля во всех видах искусства являются следствием коренных преобразований социального характера. Необходимо лишь отметить, что такого рода влияния существуют. Хотя речь у нас идет о рассказе, попутно заметим, что в современных скульптуре, живописи и поэзии большее внимание в настоящее время уделяется форме, чем теме.

Абстрактная живопись и скульптура — это лишь материя и форма, а их почитатели мечтают только об одном — заставить оба эти вида искусства полностью отказаться от темы. Современная поэзия идет к тому, чтобы все свести исключительно к словам и манере их использования, поэтому во многих захватывающих нас современных стихах фактически отсутствует внутренняя тема.

Вспомним о существовании одного из видов искусства, в котором тема и форма равнозначны в любую эпоху: это музыка. Невозможно представить себе музыку без темы, будь то творения Моцарта в XVIII веке или же произведения Бартока в XX. С другой стороны, музыкальная тема не могла бы существовать без конкретной формы выражения. Такая неразрывность темы и формы объясняется тем, что музыка предназначена для многих исполнителей, а не только для самого композитора.

Но в романе и рассказе, которым не нужны исполнители, у которых есть лишь наблюдательный читатель, тема имеет большее значение, чем форма, и, конечно, является несравненно более важной, чем стиль автора.

До сих пор одним из основных законов построения рассказа считалась его краткость. Однако краткость повествования естественно вытекает из самого жанра рассказа, а не является признаком формы. Рассказ краток, поскольку он ограничивается описанием только одного события. Рассказ может быть длинным и даже очень длинным, но с условием, что он базируется только на одном факте. С этой точки зрения, не имеет значения, сколько страниц в рассказе — сорок, шестьдесят или сто десять. Важно, что рассказ всегда сохранит характерные для него черты, если он будет основываться на одном событии. И наоборот — из рассказа всего лишь в одну страничку все равно ничего не получится, коль скоро в нем говорится более чем об одном событии.

Не исключено, что длинный рассказ в будущем станет наиболее распространенным типом литературных произведений, так как у рассказа есть все возможности достигнуть

эпического уровня без риска стать эпопеей. Эта способность рассказа, несмотря на обыденность персонажей и повседневность описываемой обстановки, не связанных с историческим прошлым, достигнуть посредством простой прозы эпического уровня является почти чудом и делает рассказ жанром больших возможностей.

Время действия в рассказе кратко и концентрированно. Это происходит оттого, что событие, описываемое в рассказе,— только одно. Необходимость использования этого короткого периода при создании рассказа требует от писателя особой способности находить основное в изображаемом событии и в линии развития действия.

Именно в этом — в том, что мы можем назвать силой лаконичного изображения действия, — и заключается секрет возможного достижения рассказом эпического уровня*. Томас Манн почувствовал эпический дух в некоторых рассказах Чехова— так же, как, очевидно, и в рассказах других авторов,— но он не объяснил причин этого явления. Дело в том, что эпопея — это рассказ о героических событиях, и тот, кто в них участвует — герой, — сам является творцом этих событий. Так и автор рассказа, способный изобразить событие в его чистом виде, поднимает до эпической высоты какой-либо факт, совершенный людьми, не являющимися героями в общепринятом смысле этого слова. Талантливый писатель может создать эпическую обстановку, не привлекая великих участников исторической драмы и не описывая совершенных ими подвигов.

Не в этом ли привилегия рассказа среди других жанров искусства?

Для рассказа существует своя форма. Чем же тогда можно объяснить, что в последнее время на испанском языке (а нам не известны такого рода случаи в других языках) пытаются писать рассказы, которые не являются рассказами в прямом смысле этого слова?

Один известный чилийский критик писал несколько лет назад, что «наряду с традиционным рассказом, который можно рассказывать, рассказом привычным и классическим, имеющим начало, середину и конец, существуют другие рассказы — растянутые, легковесные, расплывчатые, лишенные определенного и четкого построения. Эти рассказы очень интересны и иногда отличаются крайней утонченностью, а часто превосходят своих собратьев по старинной прозе. Как отрицать подобные произведения, как спорить с ними? Очевидно, тут мы встречаемся вовсе не с рассказами. Это фантазии, повествования, зарисовки, сцены, вымышленные портреты, картины, описания, выхваченные из жизни, то есть это сотни и тысячи всевозможных вещей. Но мы настаиваем на том, что это не рассказы, и они не должны называться рассказами. Слова, названия, термины, квалификация и классификация призваны прояснять смысл, а не затемнять его, различать вещи, а не смешивать их. Поэтому хлеб лучше называть хлебом, а рассказ рассказом» *.

Однако, как мы говорили выше, изменения в стиле некоторых жанров искусства оказывают влияние на стиль других жанров. Живопись, скульптура и поэзия с некоторых пор стремятся к синтезу материи и формы, к полному отказу от темы. Подобная деятельность художников, скульпторов и поэтов оказала влияние на латиноамериканский рассказ, или, может быть, рассказы на испанском языке подверглись влиянию тех же сил, что повлияли на стиль в живописи, скульптуре и поэзии.

Так или иначе, но молодые латиноамериканские писатели отличаются ярко выраженной склонностью насыщать рассказ литературными образами, не связанными с темой. Они стремятся создать вид рассказа, именуемый «абстрактным», который, возможно, станет в наш бурный и сложный XX век новым литературным жанром, но который не представляет сейчас и никогда не будет представлять собой настоящего рассказа.

Итак, какова же форма рассказа? Она подчиняется двум обязательным законам. Они одинаковы как для устного, так и

---

* Мы обязаны этим тонким наблюдением Томасу Манну, который в своем «Очерке о Чехове», опубликованном в переводе Акилино Дуке (журнал «Ревиста насиональ де культура» за март — апрель 1960 года, выходит в Каракасе, Венесуэла), говорит, что Чехов был для него «писателем малых форм, мастером небольшого рассказа, который не претендовал на героическое существование долгие годы, а мог погибнуть в течение нескольких дней или недель по прихоти Искусства. Из-за этого я недооценивал произведения Чехова, пока внутренне не осознал гениальную силу его творчества, достигаемую краткостью и образностью, которые при их великолепной лаконичности раскрывают всю прелесть жизни и достигают эпического звучания...» *(Здесь и далее прим. автора.)*

* Алоне (Эрнан Диас Арринета) «Литературная хроника», «Эль меркурио», Сантьяго, Чили.

для написанного рассказа и неизменны, будь то рассказ драматический, трагический, юмористический, социальный, лирический, глубокий или поверхностный, с реальными или вымышленными героями, повествующий о животных или растениях, воздухе или воде, аристократах, художниках или батраках.

Действие никогда не должно останавливаться, оно должно свободно течь по определенному руслу, направляясь к намеченной автором цели. Действие должно развиваться прямо и беспрепятственно, подчиняться заданному темой ритму быстрее или медленнее, но всегда идти вперед. Действие может носить объективный или субъективный характер, быть внешним или внутренним, физическим или психологическим, и наконец действие может даже затмить событие, составляющее тему рассказа; это происходит в случае, если писатель хочет поразить нас неожиданным финалом, но при всем этом действие никогда не должно прерываться.

Сущность рассказа — в действии. Лирический рассказ является лирическим не по манере письма, а по тому, что само действие, в нем заключающееся, лирическое. Драматический рассказ становится драматическим благодаря драматическому характеру жизненного факта, лежащего в его основе, а не просто благодаря силе литературных образов. Итак, именно действие с его неповторимыми возможностями составляет рассказ. Поэтому действие должно развиваться без препятствий, писатель не должен метаться в поисках способа ошеломить читателя случайными словами, пытаясь убедить его в том, что он, автор, глубоко проникся сущностью описываемого события.

Второй закон вытекает из сказанного выше и может быть сформулирован так: в рассказе должны использоваться только слова, необходимые для выражения заключенного в нем действия.

Слова могут передать, но не создать действие. Тысячи слов не могут сказать столько, сколько говорит действие. Нужные и точные слова помогают в рассказе выразить действие в манере, присущей каждому писателю.

Всякое ненужное слово становится помехой замыслу автора, снижает динамичность рассказа и наносит ему удар в самое сердце.

Можно сравнить рассказ с человеком, выходящим из дому по важным делам. Прежде чем выйти из дому, он должен знать, куда и каким путем пойдет, каким воспользуется транспортом, к кому он направляется и что скажет. У такого человека есть твердые намерения. Он отдает себе отчет в том, чего он хочет.

Этот человек не похож на другого — праздно шатающегося, бесцельно прогуливающегося, который любуется цветами в парке и слушает разговор детей, провожает взглядом хорошенькую женщину и от нечего делать заглядывает в музей, где переходит от картины к картине — любуется живописью импрессионистов, а потом рассматривает абстрактные полотна.

Примером для автора рассказов должен быть первый из этих двух людей, тот, который к чему-то стремится. Рассказ также представляет собой целенаправленное действие. Так же, как действия человека, о котором говорилось выше, подчинены его нуждам, так форма рассказа подчиняется активной природе его действия.

В активной природе рассказа и заключается его очарование, привлекающее к нему людей всех наций во все времена.

Перевод с испанского
Ю. АЛЕКСАНДРОВА

МАРТИН НАГ

КУДА ИДЕТ НОРВЕЖСКАЯ ЛИТЕРАТУРА?

В Норвегии, естественно, тоже находит свое отражение спор вокруг вопроса о том, что такое современный реализм. Хотя эта проблема редко выносится на открытое обсуждение, скрытая дискуссия неустанно разворачивается в рамках самой литературы.

Я попытаюсь показать это на примере трех наиболее значительных произведений норвежской литературы за 1965 год, авторами которых являются Юхан Борген, Сигбьёрн Хёльмебакк и Йенс Бьёрнебу.

Последний роман Юхана Боргена «Голубая вершина», возможно, лучший его роман — он словно вобрал в себя разные тенденции творчества писателя. «Голубая вершина» — это и гора, где встречаются герои, и символ, отражающий искания Юхана Боргена.

Что же происходит в этом романе, герои которого заняты, казалось бы, поисками своего «я» и своего прошлого — «утраченного времени», как сказал бы Марсель Пруст. Они смотрят на самих себя будто со стороны, словно у каждого из них по нескольку личностей, как в романе Франца Кафки. Сознание действующих лиц сливается в общий поток, претворяясь в общий опыт, общие картины и воспоминания, как это бывает во сне и еще в произведениях Джеймса Джойса.

На первый взгляд роман может показаться сложным. Но если внимательнее присмотреться к нему, станет очевидно, что ему присуща волнующая простота, стройное единство замысла и ясно проступающая сквозь многообразие художественных деталей цельность.

Вот три главных героя книги. Во-первых, Натали Грэц — еврейка, прошедшая сквозь ад концентрационных лагерей. Она олицетворяет собой больную совесть Европы. Второй герой — швед Петер Хольмберг — стремится заглушить голос собственной совести, который говорит ему, что все люди в известной мере ответственны за происходящее в мире. Хольмберг пытается помочь перемещенным лицам. Может быть, именно поэтому он обладает более оригинальной, цельной натурой, чем те, кто не оказывает другим подобной помощи. Он — воплощение скандинавского провинциального идеализма, освобожденного от покрова мнимого свободомыслия, который маскирует недостаток подлинной силы. Третий герой — Клаэс Хермелин, он зовется также Билл. Это вездесущий человек с множеством фамилий и обликов, разведчик не столько по долгу службы, сколько по призванию.

Каково же авторское отношение к героям, определяемое взглядом с «голубой вершины»? Оно выражено в словах, которые можно было бы поставить эпиграфом к книге: «Все вы люди, а последнее слово всегда принадлежит истине». Мечта, олицетворяемая далекой «голубой вершиной», превалирует в романе над действием. Человеческая личность стремится к цельности, к преодолению раздвоенности, к тому, чтобы быть собой и только собой, а не элементом отчужденной действительности. В романе говорится об одном из героев: «Быть — вот цель, к которой тщетно стремился Петер Хольмберг». Пафос романа Боргена и заключен в страстных поисках подлинного бытия для человека. В нем звучит протест, бунтарство и гнев.

При всей своей поэтичности роман «Голубая вершина» — сатирическое произведение, направленное против «устремлений сытых», против всяческого самодовольства, а также против получившего широкое распространение в нашем «государстве всеоб-

щего благоденствия», нарочитого запугивания вымышленными ужасами — якобы для того, чтобы «душа не покрывалась жирком». Борген-сатирик выступает как последователь Александра Хьелланна и Нурдаля Грига. В этом смысле — если отвлечься от свободной современной формы его последнего романа — он опирается на прочную традицию, существующую в норвежской прозе. Ключ к пониманию романа «Голубая вершина» в том, что книга эта задумана как суд Боргена над самим собой. Все действующие лица романа — это по сути дела один и тот же персонаж, проецируемый в разные плоскости и принимающий облик разных героев. Позади восседает сам автор и «управляет событиями почти наилучшим образом», как с чисто брехтовской скромностью и самокритичностью заметил Борген. Но если отвлечься от известного кокетства, сквозящего в этой фразе, мы с полным правом можем заявить: Юхан Борген — в художественном отношении — «управляет» своим романом наилучшим образом.

В романе «Адская зима» Сигбьёрн Хёльмебакк рассказывает нам современную сагу — сагу о жителях Финмарка, проявивших высокую человечность и политическую сознательность в час серьезного испытания, когда гитлеровцы разоряли и опустошали их край, впоследствии освобожденный русскими. В самом названии романа заключено признание тяжести этого испытания, способного сломить многих людей.

Сигбьёрн Хёльмебакк пишет «просто». Но парадоксальным образом эта простота становится отправной точкой для художественного эксперимента. Хёльмебакк использует изобразительные средства, принятые в кино: он старается уловить мелкие эпизоды, раскрывающие большие человеческие чувства и судьбы.

Со строгой объективностью, за которой стоит сильная творческая индивидуальность автора, с суровой простотой, напоминающей Хемингуэя, Хёльмебакк создает свою сагу, которая вызывает у нас, читателей, острое чувство благодарности, радостное сознание больших возможностей, заложенных в человеке наших дней. В этом заключается злободневность романа «Адская зима» в самом хорошем смысле этого слова, как с точки зрения формы, так с точки зрения и содержания.

Таким образом, и эта книга становится ценным творческим вкладом в современную дискуссию на тему: «Есть ли будущее у романа?».

Йенс Бьёрнебу также дает совершенно определенный ответ на этот вопрос своим новым — и лучшим — романом «Мечта и колесо». В этом романе Йенс Бьёрнебу создает образ человека, который, достигнув расцвета своей личности, все же оказывается сломленным в результате столкновения его великой мечты с бездушным техническим прогрессом, символом которого является «колесо». Цель Бьёрнебу не в том, чтобы показать непреодолимость конфликта между «мечтой» и «колесом», а в том, чтобы продемонстрировать его разрешимость. Достоинство романа в том, что напряженные субъективные переживания вылились здесь в отстоявшуюся объективную картину действительности, в четкое осознание нашей потребности в преобразовании мира.

Говоря о романе Йенса Бьёрнебу, мне невольно хочется употреблять брехтовскую терминологию. Не случайно знакомство с блестящим, ясным и последовательным искусством Брехта стало для Бьёрнебу откровением и важным творческим стимулом.

«Мы живем в век науки — уже в одной констатации этого факта скрыта в зачатке наша мечта. Мы же должны освободить нашу мечту от пут, помочь ей воплотиться в реальность»,— вот что хочет сказать нам Йенс Бьёрнебу.

Бьёрнебу обновил форму документально-исторического романа. Избранный им сюжет почерпнут из биографии реального исторического лица — писательницы Рагнхильд Ёльсен, дочери фабриканта, потерпевшего банкротство в конце минувшего века. И все же судьба героини парадоксальным образом послужила лишь внешним поводом для создания романа. А потому было бы неразумно придираться — уподобляясь некоторым критикам — к вольностям в обращении автора с историческим материалом. Бьёрнебу гиперболизирует одни факты, преуменьшает или вовсе оставляет в стороне другие, в зависимости от своего художнического видения, само же по себе такое видение правомерно, и как художник, в пределах создаваемого им романа, он — полновластный хозяин своего материала.

Задача Йенса Бьёрнебу как раз в том и состоит, чтобы приподнять «документальный материал» над повседневностью и преобразовать его в искусство — необычное, целеустремленное, а потому нетленное.

Борген, Хёльмебакк и Бьёрнебу... Новые книги этих писателей — гарантия того, что реализм в норвежской литературе развивается по плодотворному пути.

г. Осло.

БАРБЮС СЕГОДНЯ

Тридцать лет назад 30 августа 1935 года скончался Анри Барбюс. Полвека назад, в конце 1915 года он приступил к написанию романа «Огонь».

Известен международный резонанс «Огня», первой книги революционной правды об империалистической войне 1914—1918 гг., известно значение, которое имел «Огонь» для участников и современников этой войны. И с новой силой возникает вопрос о месте творений Барбюса, в первую очередь романа «Огонь», в современной литературе. Что говорит книга Барбюса читателю сегодняшнего дня?

Автор этих строк обратился с этим вопросом к некоторым французским писателям. В полученных ответах содержатся различные, порой противоречащие друг другу высказывания Иначе и не могло быть — ведь речь идет о субъективном восприятии одним писателем творчества другого писателя. Однако, несмотря на различия во мнениях, все ответившие сходятся на мысли об исключительно важном значении «Огня», подчеркивают непреходящую ценность романа в прошлом и в настоящем.

Ниже мы с благодарностью публикуем отрывки из писем французских писателей. Документы эти неопровержимо подтверждают — да, Барбюс жив и сегодня!

Ф. НАРКИРЬЕР

Андре МОРУА

Вы правы, восхищаясь «Огнем» Барбюса: это самая правдивая и самая значительная книга о войне. Барбюса упрекали за то, что он сделал акцент на ее ужасах, но, увы, ужасы эти были совершенно реальными.

31 декабря 1964 г.

Пьер ПАРАФ

Впервые я прочитал «Огонь» в октябре 1916 года, когда роман печатался подвалами в газете «Эвр». Дело было в госпитале, куда меня эвакуировали из окопов. С первых же строк я испытал настоящее озарение. Я дал газету своим раненым товарищам, и она переходила из рук в руки. «Наконец-то,— думали мы,— среди нас нашелся человек, который решился и сумел сказать правду».

Когда книга вышла, к благодарности солдата присоединилось чувство восхищения перед великим писателем.

Год спустя я отдал ему дань уважения своими первыми стихотворениями «Под землей Франции». Анри Барбюс стал для меня благожелательным и отзывчивым другом.

«Огонь» остается одним из самых великих свидетельств в литературе о первой мировой войне.

Молодежь обращается к этому основополагающему произведению, чтобы познакомиться с жизнью пехотинца 1914 года. «Огонь» выходит в обычном издании Фламариона и в дешевой серии «Ливр де пош» («Карманная серия»). Разумеется, молодым людям 1965 года эта книга не так близка, как нам, которые были молодыми в 1918 году и видели в «Огне» отражение своей собственной судьбы. Слишком много трагедий пронеслось над миром. Да и мы сами, люди старшего поколения, принимали участие во второй мировой войне и в движении Сопротивления в обстановке, морально гораздо более жестокой для Франции. Но ничто за истекшие полвека не умалило величия, оригинальности «Огня». Голос Барбюса раздается с прежней силой и страстью, вещая о страданиях солдат и призывая мир к миру.

4 февраля 1965 г.

Пьер ГАСКАР

Как все — или почти все — люди моего поколения, я совсем молодым прочитал «Огонь». В этой книге с неповторимой силой отражено великое стремление к миру, которое вдохновляло участников войны 1914—1918 гг., но которое сохранилось только в левых партиях. «Огонь» Барбюса — фундаментальное произведение для того, кто хочет понять состояние духа французского народа во время первой мировой войны и в послевоенные годы. Значительное в литературном отношении, оно находится вне русла литературы последнего пятидесятилетия или, точнее, возвышается над ней. «Огонь» — это крик души, и такое произведение не может создать традицию в буквальном смысле слова. Я повторяю: это целый период в жизни и борьбе народа. Такая книга не подлежит обычной классификации.

«Огонь» имел бесспорно большое влияние, но сказалось оно не в области литературы. «Огонь» наложил отпечаток на умы, пробудил у многих французов (если оставаться в границах Франции) общественное сознание. Мне кажется, это относится в первую очередь к довоенному периоду.

Читает ли молодежь «Огонь»? Чтобы ответить на этот вопрос, следовало бы провести специальную анкету. У меня есть основания предполагать, что результаты подобной анкеты разочаровали бы нас, людей предыдущего поколения. Мы привносили в политическую борьбу больше жара, больше энтузиазма (хотя, правда, и больше сумбура), чем современная молодежь. Произведение Барбюса в буквальном смысле слова произведение лирическое, а лирика нынче не в ходу.

Хотя «Огонь» и не оказал, собственно говоря, прямого влияния на современную французскую литературу, я отношу себя к людям, которые ценят это произведение за выраженные в нем чувства братства и великодушия. Благодаря этим двум качествам оно, надеюсь, переживет людей моего поколения.

22 апреля 1965 г.

Арман ЛАНУ

«Огонь» — прямое свидетельство фронтовика — считается шедевром литературы о войне. Несмотря на восхищение и уважение, «широкая публика» и интеллигенция книгу читают мало, гораздо меньше, чем, например, «Деревянные кресты» Ролана Доржелеса. Это несправедливо по отношению к произведению Барбюса, но это так.

Столь же трудно говорить о влиянии «Огня» и Барбюса даже на молодое поколение писателей.

9 февраля 1965 г.

Пьер АБРААМ

Чтобы обстоятельно ответить на Ваше письмо об «Огне» и традиции Барбюса, следовало бы провести специальную анкету среди молодежи. *Ex abrupto** могу Вам сообщить, что «Огонь» вышел в серии «Ливр де пош» по дешевой цене — значит, издатели уверены, что относительно большой тираж найдет спрос. В продаже имеется и продолжает расходиться, как обычно, более дорогое, богато иллюстрированное издание Клуба любителей прогрессивной книги.

Вы спрашиваете о современных авторах, которые обращаются к традиции Барбюса, то есть пишут книги о войне (на этот раз 1939—1945гг.) и против войны, но без солдатского арго, как у Барбюса? Скажем, Арман Лану, скажем, Робер Мерль. Это первые имена, что приходят на ум.

5 февраля 1965 г.

Пьер ГАМАРРА

Да, Барбюс имел для меня большое значение. «Огонь», который я прочитал в юности, дополнил жизненный урок, полученный мною от отца, участника войны 1914—1918 гг. «Огонь» потряс меня и наложил на меня свой отпечаток. Это бесспорно. Хотя написанное мною, естественно, отличается от этой книги по манере и видению мира, роман Барбюса бросает свой свет на мою мысль и на все, что я пытаюсь создать, точнее, воссоздать. Тут для меня нет никаких сомнений. Мое поколение сохраняет преемственность по отношению к Барбюсу. Не знаю, являются ли Лану и Мерль ревностными читателями «Огня» и «Ясности», но думаю, что в их творчестве можно проследить эту преемственность, независимо от того, осознается она ими или нет.

Что касается молодежи, то Барбюс вышел из ее поля зрения. До последних лет он был ей, пожалуй, далек. Устарел ли «Огонь»? Не думаю. Но после 1944 года у молодежи появился иной взгляд на войну и на мир. Нынче, благодаря переизданиям и исследованиям, «Огню» и его автору возвращают место, которое принадлежит им по праву. «Огонь» вышел массовым изданием. Роман прочно вписывается в историю, и вместе с тем раскрывается как произведение, сохраняющее и ныне свою актуальность.

5 февраля 1965 г.

---

* Без подготовки (*лат.*).

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
За рубежом

УЭНО МАКОТО

ЧТОБЫ ПОТОМКИ ПОМНИЛИ...

Работы на тему об атомной бомбе я начал создавать после инцидента с «Фукурю-мару № 5»*. Было их не так уж много. Одна из них — триптих «Хиросима» — экспонировалась в 1959 году в Лейпциге на выставке, посвященной десятилетию движения в защиту мира. Неожиданно для меня этот триптих получил премию, а я был выдвинут в почетные члены Комитета выставки. Это накладывало на меня большие обязательства. Я вновь задумался над судьбами моего народа, пережившего в августе 1945 года атомную бомбардировку. Как языком творчества отразить все эти проблемы? Я старался понять чувства несчастных людей, пострадавших от атомной бомбардировки, их образы возникали перед моими глазами...

Чтобы проникнуть в самую суть проблемы, прежде всего нужно было опереться на реальную социальную основу. Я придерживаюсь подобной точки зрения и поныне.

В прошлом мне приходилось близко видеть людей, пострадавших во время атомной бомбардировки.

* Рыбаки этого судна подверглись радиации во время испытаний американского ядерного оружия в районе атолла Бикини.

Война.

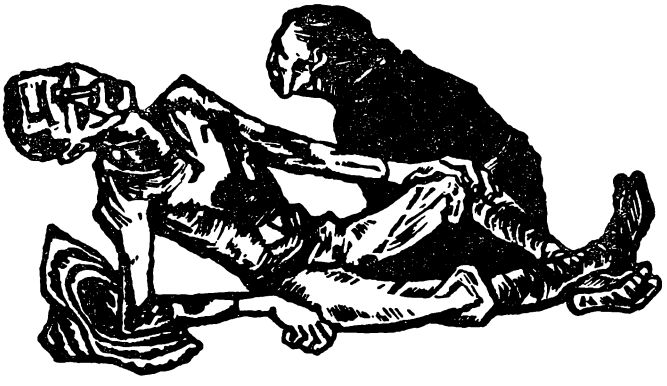
С того времени прошло несколько лет, чувство чего-то проклятого, мрачного, жуткого не покидало меня. В глубине души зрела потребность выразить его в своих работах, осмыслив происшедшее с позиции сегодняшнего дня.

Так я пришел к решению еще раз побывать на месте катастрофы и увидеть все собственными глазами. В июле 1961 года я отправился в Нагасаки.

Мы собрались в конце пустынного широкого коридора атомного госпиталя. Сначала пришло 12—13 пациентов, потом их стало больше. Эти люди с бледными, бескровными лицами приготовились слушать. И когда я оказался среди них, меня невольно охватило какое-то напряженное чувство, словно я очутился лицом к лицу с приговоренными к смерти.

Мне хотелось, чтобы люди имели представление о моей работе. Я стал показывать принесенные мною гравюры, объяснять замысел каждой, рассказывать, что побудило ее создать... Я отказался от роли утешителя, а потом и совсем забыл, что мои собеседники — больные, я почувствовал, что мы понимаем друг друга. Когда я кончил говорить, несколько человек неожиданно зааплодировали, кто-то поднял руки, выражая желание сказать что-то. Правда, одна старуха поднялась со своего места, бормоча под нос: «Что бы ни говорили — все одно и то же». Меня бросило в дрожь. Я почувствовал себя обвиняемым. Тогда я рассказал один эпизод периода войны. Я хотел внушить этим людям, что пока мы живы, должны вместе думать о мире. Лед тронулся: старуха пригласила меня в свою комнату и рассказала о себе. Ворота страданий атомного госпиталя для меня открылись. Я смог побы-

В военное время. Старики.



Из серии «Хиросима».

вать в палатах у изголовья тяжелобольных, прикованных к постели, я вновь показывал свои работы. Один больной в течение пяти часов рассказывал мне историю старинного города Нагасаки, проклиная тех, кто разрушил красоту этого города, раскинувшегося на холмах, с его храмами, с его улочками, мощенными каменными плитами. Так началось мое знакомство с госпиталем. Я говорил с мужчиной. Ему было тридцать лет. Он рассказывал, что, когда шесть лет назад его перевозили в санитарной машине в атомный госпиталь, он с ненавистью вглядывался в здание АВСС, мимо которого они проезжали. АВСС — центр по исследованию жертв атомной бомбардировки, где на мясе и костях японцев изучают последствия атомного взрыва, а образцы тайно отправляют в Америку. С тех пор ненависть этого человека стала моей ненавистью. Одна женщина с отчаянием говорила, что нет для нее возврата домой, хотя дом виден ей в окно госпиталя. Там дети и муж. Я познакомился с отцом семейства. Его не оставляло беспокойство, что дома сынишка не слушается матери и ведет себя все хуже и хуже. Там были люди, мастерившие больными руками изделия из бамбука (это запрещалось). Они пытались своим ремеслом как-то помочь нетрудоспособным родителям и детям. Я не мог смотреть на них.

Беженцы расчищают участок

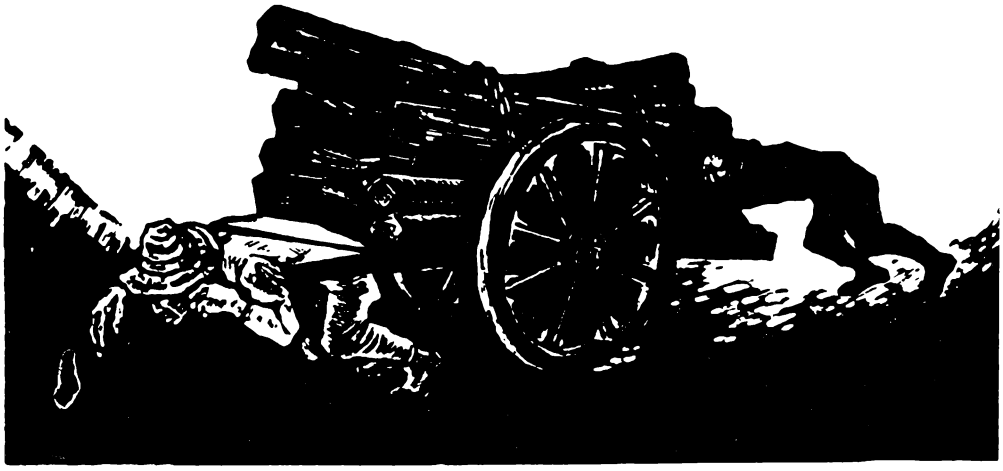
Мне рассказывали, что в этом госпитале, где люди живут в постоянном страхе за свою жизнь, бывали случаи, когда чья-нибудь смерть словно порождала цепную реакцию и тогда одновременно умирали еще несколько человек.

Крик матери, ребенка, смерти...

Пепел смерти.

Спаслись...

Из серии «Хиросима».



Беженцы строят жилище.

В ту ночь

Старик.

Лети...

Я встречался с пострадавшими и вне стен госпиталя. Особенно запомнилась пожилая супружеская пара. Они возделывают крошечный участок земли на вершине холма и разводят кур. Оба находились в эпицентре взрыва, но чудом избежали смерти. Старик семь раз ходил на обследование в АВСС. С ненавистью говорил он: «Похоже, что даже из экскрементов они извлекают для себя пользу». Совершенно очевидно, что эти люди больны лучевой болезнью; из года в год, именно в ту самую пору, когда была сброшена атомная бомба, у старухи появляется жар, начинает болеть все тело. Она лежит в своей крошечной комнатке, прикладывая к груди и спине мешочки со льдом. Старая женщина обрадовалась моему приходу и, обратив ко мне просветленное лицо, произнесла: «Спасибо за то, что навестили». Повторяя все время: «И принять-то вас нечем,— она оглядывала комнатенку, с трудом поворачивая больную шею.— Ну хоть холодного молока испробуйте. Дед, подай вон то»,— обратилась она к старику, показывая на бутылку молока на подоконнике. Она говорила, что, если вложить бутылку в мешочек со льдом, лежащий у нее на груди, молоко быстро охладится. А что может быть приятнее холодного молока в знойный летний день. Я долго не смогу забыть этой старой женщины.

Людям не нравилось, что их рисуют. Поэтому в моем этюднике остались лишь зарисовки каменных скульптур Урагами * да общий вид холма **. Однако образы прошедших перед моими глазами несчастных людей настолько врезались в мою память, что и сейчас они встают передо мною живее самой живой реальности.

Перед отъездом из Нагасаки я встретился с преподавателем медицинского факультета. Вместе с ним мы поднялись на холм, и я смог оглядеть всю панораму местности — эпицентр взрыва. И здесь, на холме, я решил, что сделаю все возможное, чтобы наши потомки помнили Нагасаки, поверженный атомной бомбардировкой, иначе я утрачу именно то, на чем зиждется мое творчество.

---

* Развалины церкви в Урагами, районе эпицентра взрыва.

** Этот холм также находился в эпицентре взрыва

ОБРАЗЫ ХИРОСИМЫ

Зрительные образы атомной Хиросимы ужасны.

Я намеревался сопроводить свою книгу «Японцы», главу о поездке в Хиросиму, снимками людей, пострадавших от бомбы. В атомном госпитале увидел больных лейкемией и раком легкого, искалеченных, покрытых струпьями, медленно умирающих — как Иов на гнойнище. У меня не хватило сил сфотографировать их, потому что они в упор смотрели на меня глазами, полными страдания. Доктор понял, подвел к человеку, который не мог увидеть: бомба выжгла ему глаза. Жуткие черные ямы глазниц. Преодолевая стыд, я поднял фотоаппарат — но не мог: слепой услышал бы звук затвора.

То же пишет японский художник Уэно Макото, который, работая над гравюрами о Хиросиме и Нагасаки, хотел зарисовать этих несчастных. «Людям не нравилось, что их рисуют. Поэтому в моем этюднике остались лишь зарисовки каменных скульптур Урагами». И художник свои фигуры не срисовал, а воссоздал, сотворил, измыслил. Это видения, фантомы, порождение потрясенного, кричащего мозга.

Да, в этюднике Макото не оказалось набросков с натуры. Но в созданных им образах проявился тот ужас, что после Хиросимы, Нагасаки и Бикини живет в японской душе. Я заметил, что японцы теперь избегают выходить на дождь без раскрытого зонта. Страх радиоактивности не покидает их. Изуродованный, отравленный мир стоит перед их взором.

Горячечные гравюры Уэно Макото — отрицание атомного ужаса, поиски мира, борьба за него.

Это особый, трагический реализм — а реализм сейчас не ценится на Гиндзе. Неабстракционистам трудно. В Токио я спросил Токи Окамото, реалиста, чем он живет, покупаются ли его картины.

— Моя жена работает в аптеке,— таков был ответ.

А чем живет талантливый Уэно Макото? У его жены парикмахерская. К сожалению, я не встретился с Макото. По словам японоведа Аллы Коломиец, это «тихий, застенчивый, небольшого роста человек с седеющей головой, открытым взглядом, с необычайно приветливой улыбкой...» И такая яростная рука!

Н. Н. Михайлов

ОЧЕРКИ

ЭРИК ЛУНДКВИСТ

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ

Перевод со шведского Л. ЖДАНОВА

ИНДИЯ — СКАЗОЧНАЯ СТРАНА

Индия — сказочная страна!

Что ж, пожалуй. Правда, не совсем такая, как я себе представлял.

Побывать в Индии — моя давняя мечта, да и кто об этом не мечтал? И вот я наконец увижу ее, познакомлюсь с ней в качестве ооновского эксперта-лесовода, которому поручено консультировать лесничества Индии. Но это, как говорится, не способ узнать страну. Служащий ООН — не вольный человек. Недостаточно вольный, чтобы искать мистику и сказки.

Впрочем, мне кажется, даже самый «вольный» человек не найдет в Индии мистики: ее нет и, наверно, вообще никогда не было. Зато у «вольного» человека больше возможностей для тесного и непринужденного контакта со страной и народом, чем у так называемого эксперта. Если бы я мог, забыв о времени, жить крестьянином в деревне, возделывать землю, мне удалось бы лучше изучить существо Индии. Крестьяне составляют восемьдесят процентов четырехсот пятидесяти миллионов жителей страны, они — «народ Индии».

А я около года провел в пути, преимущественно на джипах и поездах, объездил большую часть Индии, от самой южной оконечности в штате Керала до гималайских вершин в штатах Химачал-Прадеш и Уттар-Прадеш.

И все видел мельком, не вникая в суть. Эта поверхностность терзала меня, тем более что я успевал все-таки понять, как много теряю.

А ведь мне еще было легче, чем многим другим путешественникам по Индии. Как-никак, я тридцать лет прожил в Индонезии, стал, пожалуй, больше индонезийцем, чем шведом. В Индонезии я познакомился с индийской культурой и полюбил ее. Там я изучал книги Индии — «Махабхарату», «Рамаяну», священные Веды. Теперь это пригодилось, позволяло мне легче завязывать знакомства и понимать многое, что иначе казалось бы непостижимым жителю Запада.

...Чернобородый безногий калека, который не мог передвигаться сам. Его привозила на тележке женщина, сгружала на тротуар, будто куль мяса, и он сидел с утра до вечера. Кричал, жестикулировал, изрыгал замысловатые проклятия, когда я отказывал ему в милостыне.

Пожилая женщина в грязном тряпье, которое почти не прикрывало тело. Она стояла на перекрестке, где движение было настолько сумбурное, что мне приходилось слезать со своего велосипеда. Она не выглядела ни больной, ни нищей, но глаза ее смотрели с такой кроткой мольбой, что я дал ей полрупии.

— Почему здесь нельзя поговорить с нищим? Вы разговариваете с ними? — спросил я владельца гостиницы.

— А о чем с ними толковать? Пошел к черту — и весь сказ. Их ничуть не жаль. Кто действительно нуждается, слишком горд, чтобы просить подаяние. Эти уличные попрошайки неплохо живут, среди них есть немало богачей. Я-то их знаю. Вечером кончит свой промысел, потихоньку переоденется и идет этаким щеголем в кино или самогонку пить. Ничего им не давайте!

Согбен страданиями и годами. Слишком горд, чтобы просить милостыню, а может быть, просто отрешился от бытия.

Нет, конечно, не все нищие такие. Есть среди них настоящие бедняки. Но и с ними мне вряд ли удалось бы поговорить, даже если бы я знал язык. Нас разделяет стена — стена, которая сооружена ими, должно быть, для защиты от жалости. Жалость — дурное чувство, она унижает того, на кого обращена. И оскверняет того, кто ее испытывает. Хочешь помогать — руководствуйся более рациональными побуждениями.

В Индии приходится психологически обороняться против нищих, еще больше — против тех отверженных, которые не просят подаяния. Это они вынуждают человека искать укрытия за религиозной ложью, чтобы не рассыпался его благополучный мирок.

Когда я заговариваю с владельцем гостиницы о тех, кто не просит, он не может мне ничего ответить. Он неверующий. Не прячется за суеверия.

Допустим, что отверженных, которые не просят подаяния, не так уж много. Вероятно, число их ничтожно по сравнению с четырьмястами пятьюдесятью миллионами. Но их видишь, и это зрелище прикипает к сетчатке.

Я приметил одну. Ночи она проводила под бетонным зонтом на возвышении посреди улицы, предназначенном для регулировщика. Это было в Дехра-Дуне, в предгорьях Гималаев, на высоте семисот метров над уровнем моря; здесь, в Институте лесоводства, находилась моя штаб-квартира.

Я приехал в самое жаркое время года, в мае. Она спала, лежа на камне, почти нагая. Возможно, ей спалось лучше, чем мне в невыносимо душном гостиничном номере. Утром, когда я на велосипеде отправлялся на службу, начинался и ее день. Прикрыв жалким тряпьем тощее, в язвах тело с вздувшимся животом, она бесцельно бродила по улице, порой останавливалась, устремляла невидящий взгляд в одну точку. Я никогда не замечал, чтобы она просила подаяния, но в руках у нее была ржавая жестяная банка, и кто-нибудь из множества уличных торговцев, очевидно, что-то уделял ей; я видел, как она ест из этой банки.

На голове — колтун, кожа темная и настолько грязная, что не разберешь, где язвы, где грязь, одна рука высохла и уподобилась огромному когтю. Несколько раз я видел, как она, сидя за спиной регулировщика, истребляла вшей, беззастенчиво обнажаясь на глазах у прохожих. Никто не обращал на нее вни-

мания, даже полицейский не замечал ее. Шокирующее поведение — такого понятия в Индии не знают, и слава богу, но зачем закрывать глаза на беду ближнего?

Первый месяц я видел ее ежедневно. Когда начался сезон дождей, мне пришлось уехать в Южную Индию. Я спрашивал себя: куда она денется, когда разверзнутся хляби небесные, превращая улицы в бурные потоки?..

Возвратившись в Дехра-Дун, я снова увидел ее. Начиналась зима, лучшее время года: прозрачное небо, деревья и луга в цвету. Приятно жить! Днем, разумеется, не ночью. Ночи становились все холоднее и холоднее. И все-таки каждое утро я видел ее: она отогревалась на солнце после холодной ночевки на мостовой. И по-прежнему нечем укрыться, нечего подстелить — только вязанка хвороста под голову.

Однажды ночью подморозило. Утром, когда я проезжал мимо, она лежала на своей «подушке». А когда я в обед возвращался домой, ее уже не было. Исчезла. Навсегда.

Зима в Северной Индии — пора для туристов, не для бедняков. Солнечные дни, цветы, пение птиц, в полдень 24—26 градусов в тени. Ночью тоже ясное небо, но холодно, настолько, что богатые могут щеголять в шубах, а бедные замерзать насмерть на дорогах, перронах, в товарных вагонах и иных ненадежных убежищах.

И еще одна картинка врезалась в память и преследует меня, я должен о ней рассказать, попытаться избавиться от этого наваждения...

Мужчина на базаре в Дехра-Дуне.

Тесная улочка, до краев наполненная пешеходами и бесцеремонными велосипедистами, зажатыми между лавчонками и торговыми рядами. Золотых дел мастера, старьевщики, торговцы фруктами, портные, продавцы тканей, зонтов, бетеля, картин, гадальщики, астрологи, продавцы чая, зубные врачи, булочные, скобяные лавки, мебельные лавки, всевозможные закусочные, книготорговцы, писаря, брадобреи и множество иных ремесленников и лавчонок, какие можно найти на любом индийском базаре. Торговцы, старые и молодые, большинство мужчины, бородатые и безбородые. И пестрая смесь рас, возрастов, сословий, каст, оттенков кожи. Нищенствующие святые — садху, нищенствующие оборванцы; быки и коровы, обкрадывающие зеленщиков. Обвешанные золотом индийские патрицианки и — самое очаровательное — играющая голосистая ребятня. Костюмы, одеяния — все фасоны мира.

И этот мужчина: наклонив голову, он семенил, рыская взглядом по мостовой в поисках объедков, шкурок, отбросов, не замеченных собаками и коровами. Крадучись, совершал короткие перебежки вдоль грязной улочки. Черная нечесаная борода, такие же волосы, темная кожа, вокруг пояса обрывок мешковины, который ничего не скрывал. Вот он жадно, торопливо сунул в рот какую-то гниль. Я пошел было за ним, хотел дать что-

Садху ожидают поезда. Они едут к истокам священного Ганга.

Лесоруб работает на высоте около трех с половиной тысяч метров. Эту огромную ель надо распилить и нести на себе до ближайшей дороги или сплавной реки.

нибудь, немного денег. Но он видел только отбросы на земле, меня не замечал. Исчез в суголоке... Среди кичливого богатства, паршивых собак, горланящих, смеющихся собратьев. Темная тень в пестрой толпе. Тень, которой никто не видит.

Молодой индиец приметил мой порыв. И сердито обратился ко мне:

— Что это вы, приезжие, всегда стараетесь сфотографировать самое грязное?

— Я не собирался фотографировать, хотел дать ему бакшиш.

— А, простите.— Хмурая мина сменилась улыбкой.— Я увидел фотоаппарат, вот и подумал. Так уж повелось у европейцев — фотографируют нищих, оборванных садху, калек... Но ведь у нас есть много прекрасного. Почему непременно доискиваться самого плохого?

Мы прошлись немного вместе. Он рассказал, что служит в банке. Приехал из Амритсара, сикх, охотно разговаривает с иностранцами, хочет побольше узнать о Западе. С удовольствием побывал бы в Европе или Америке. Есть надежда, что банк пошлет его на Запад. И он попросил меня сфотографировать его. Может быть, еще встретимся на базаре, и я смогу дать ему снимок...

Да, еще: женщина на вокзале.

Она сидит на перроне подле железной лестницы, которая ведет на переброшенную через рельсы эстакаду. Вокзал большой, здесь толкаются сотни людей. Сидя на камне, она кормит грудью малыша, рядом копошатся еще четверо ребятишек. Лет тридцать ей на вид, и не такая уж худая. И ребятишки не самые тощие, каких мне доводилось видеть. Обвязанная вокруг пояса мешковина призвана показать, что она помнит о приличиях. Волосы длинные, спутанные, вряд ли когда-либо чесанные. Кожа незнакома с мылом, губам неведома улыбка, глаза никогда не видели прекрасного. Но она невосприимчива к презрению окружающего мира, к болезням, вероятно, тоже невосприимчива, иначе давно бы умерла. Мать и дети кормятся объедками, которые выбрасывают пассажиры. Сама она подбирает лишь то, что падает вблизи от нее. Ребятишки рыскают вдоль поезда и под вагонами, состязаясь с кормящимися тут же более расторопными обезьянами. Чаще всего добычей оказываются зеленый лист с приставшими к нему зернышками риса, банановые шкурки, гнилой плод. После каждого рейда дети возвращаются к матери, льнут к ней, как щенята к суке. Добытые объедки вываляны в пыли и песке, но это их не смущает. Они обгладывают банановую шкурку, пока не останется тонюсенькая кожица. Уписывают каждую ризинку и вылизывают листья, если к ним пристала хоть капелька соуса: в поезде едят с банановых листьев и остатки выбрасывают вместе с «тарелкой».

Вдоль путей ходят уборщицы, нанятые государством: женщины из неприкасаемых. Собирают мусор и испражнения. Проводник не запирает уборную на время стоянки, ведь есть неприкасаемые, они уберут.

Станционный служащий кричит на женщину, толкает ее ногой. Мол, убирайся прочь. Она только смотрит на него и не двигается с места, ни брань, ни пинки ее не трогают. Полицейский делает вид, что не замечает несчастной и ее юрких детишек. Рядом сидит на корточках старуха и осуждающе созерцает этот образчик падения человеческого. Кто-то швыряет отверженной два це-

лых банана. Она торопливо делит их на кусочки. Меньшому достается пососать шкурки, к которым пристала грязь с земли и чужих рук. Вспоминаю американца в гостинице; опасаясь микробов, он, когда чистил зубы, полоскал рот минеральной водой. Вспоминаю своего попутчика, жирного индийца с двойным подбородком и огромным пузом. В белом тюрбане, лысый, потный, пальцы и губы лоснятся от куриного рагу с рисом. Наконец — поезд уже отходит от станции — он заканчивает трапезу и, заглушая рыганием перестук колес, выбрасывает гору объедков. Слишком далеко от отверженной и ее детишек...

Одно из впечатлений от моей первой поездки по стране. Потом я повидал много картин в этом роде. И даже еще хуже. Но они не так врезались в память.

Разумеется, можно что-то предпринять. Мне это не под силу, но сами индийцы, индийское государство!.. Однако всякий раз, когда я обращал внимание индийцев на картины человеческого унижения, мне отвечали: их не так уж много. Это совсем не типично для Индии, речь идет о незначительном меньшинстве. Правда, оно бросается в глаза.

— Если их так мало, займитесь ими, сделайте что-нибудь для них!

— Да-да, конечно, разумеется. Вы совершенно правы.

Кажется, я знаю, в чем дело: карма. Судьба повинна в положении этих отверженных. Они не заслужили лучшего, такова их карма. Остается только безропотно нести свой крест и надеяться, что в следующем своем земном воплощении ты окажешься более удачливым.

Карма: закон причины и следствия. Каждый наш поступок влечет за собой определенные следствия в этой жизни или в будущих воплощениях. Никому не дано уйти от возмездия за свои поступки.

Великолепная религия для богатых! Мне живется хорошо, потому что я вел себя достойно, мое богатство — знак моей добродетели. (Такое же точно евангелие придумали на Западе христианские пуритане.)

Великое утешение для несчастного парня, который бьется на дороге в припадке эпилепсии. Мы — я и двое лесничих — только что выехали из деревни на джипе. Парнишка рухнул на землю перед самой машиной, мы едва успели вильнуть в сторону. Лежит, судорожно изогнувшись, кусает губы и язык, выплевывая слюну с кровью, мечется, бьет кулаками по дороге. Кругом — люди, но никто его не замечает, никто не помышляет о том, чтобы помочь.

— Стой, черт возьми! — крикнул я лесничему, который вел машину.— Хоть уберем парня с проезжей части.

— Этого беднягу? Пусть лежит. Что мы можем сделать?

— Но почему никто не хочет помочь ему? Даже внимания не обращают!

Он буркнул, что я все равно не пойму и нам некогда.

Но мне кажется, я понял. Не жестокость повинна в том, что лесничий не остановился. В том, что люди проходили

Единственный храм, который сохранился в Конараке — гигантская колесница бога солнца Сурия. Сооружена примерно тысячу лет назад. Позднее изуродована вандалами.

мимо несчастного парнишки. Карма виновата.

А может быть, не в карме дело? Может быть, все дело в сердцах, зачерствевших от обилия бедствий и лжи священнослужителей? Люди закрывают глаза на то, что нестерпимо видеть. И не будем их осуждать, никому не ведомо, каким образом мы сами не очутились в таком же положении. Я склонен согласиться с теми уроженцами Азии, которые считают самообманом наше убеждение, будто на Западе взаимоотношения людей более справедливы, чем на Востоке. Если смотреть в корень, станет не по себе, идет ли речь о Западе или о Востоке.

Но мне до сих пор совестно при мысли о том, что я в тот раз не заставил моего друга лесничего остановить машину. Что я не пришел на помощь больному.

По-моему, лучше мучиться совестью, чем верить в карму. Разумеется, это обременительнее.

Понадобилось некоторое время, чтобы я оказался в состоянии видеть красоту Индии. Мне мешали картины бедствий и то, что я про себя называл людской жестокостью. Первые месяцы прошли словно в кошмаре. А потом — потом масштабы Индии, ее огромная территория и население, древняя история и культура подорвали все мои критерии и оценки.

Индия не страна, это континент, насчитывающий восемнадцать штатов. Она раз в десять больше обеих Германий, вместе взятых, в ней около четырехсот пятидесяти миллионов жителей, ежегодный прирост свыше трех миллионов. Население на редкость разнородно: здесь говорят на двухстах двадцати пяти языках, не считая наречий! С точки зрения культуры, языка и антропологического типа житель Южной Индии отличается от северянина сильней, чем швед от итальянца. Многие, как и тысячу лет назад, занимаются охотой и подсечным земледелием. Другие по уровню цивилизации нисколько не уступают европейцам. Число верований несчетно; конечно, главное место занимают индуизм и ислам. Сообщение осуществляется новейшими самолетами и отличными железными дорогами, но запряженная быками арба и вьючные мулы по-прежнему играют большую роль. Страна многообразия и противоречий...

История Индии насчитывает три — пять тысяч лет. В наши дни раскопаны города с высоко развитой культурой, датируемой третьим-четвертым тысячелетием до нашей эры

Путешественник волен думать, что хочет, об этой со всех точек зрения великой стране. Но не дерзко ли со стороны какого-то шведского лесовода выступать с критикой? Придираться к пятнам на потертом одеянии древней матери-Индии? Скороспелая критика просится на язык, пока ты не понял, что представляет собой мать-Индия. А этого не поймешь за какой-то один год, разъезжая по стране в качестве эксперта-лесовода. Вот почему я опасаюсь, что слишком много внимания уделил пятнам на платье старой женщины.

Я прошу мать-Индию простить меня за то, что поначалу из-за всего безобразного не замечал прекрасного. Даже прославленная красота Гималаев не произвела на меня впечатления. Первое время вздымающиеся к небу обители богов трогали меня так же мало, как и другие пейзажи Индии. Я не видел ни чарующей красоты пустынь, ни прелести пальмовых рощ, ни величия бессмертных творений зодчества. За бедствием и нуждой не мог разглядеть даже красоты людей

Потом я вышел из нокдауна и начал более нормально и позитивно воспринимать окружающее.

Меня вывела из оцепенения Канченджанга. Третья в мире вершина, если считать высоту, и не знающая себе равных по царственной красоте.

Она расположена в маленьком автономном государстве Сикким. К сожалению, я туда не попал. Но Канченджанга поднимается на 8580 метров, ее видно издалека.

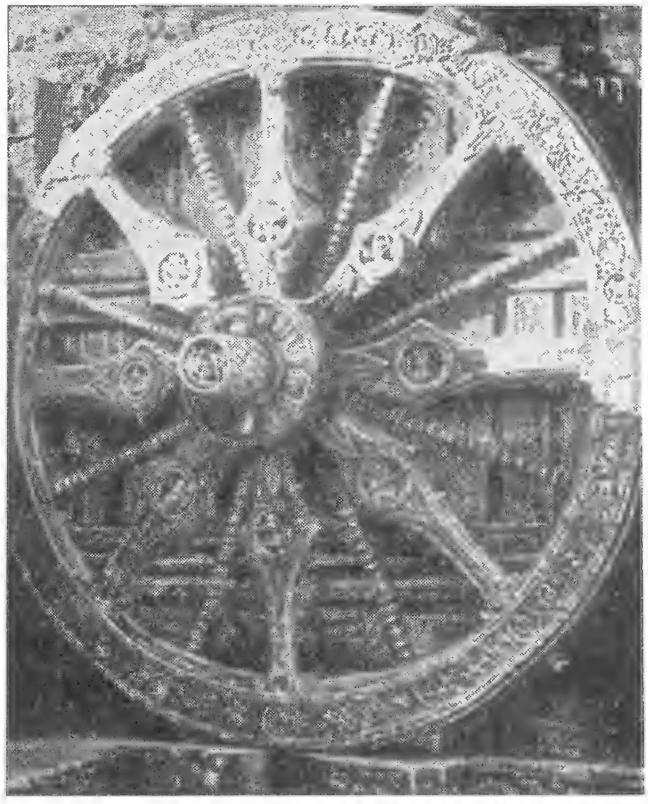
Покинув свою штаб-квартиру в Дехра-Дуне, я за двое суток добрался поездом до Калькутты. Затем объехал на джипе районы южнее Калькутты, осматривал неплодородные, разрушенные эрозией площади, которые лесоводы начали возрождать. Уже восемь лет лесничие Бенгалии оберегают от коров и людей свои посадки на красном латерите. Его считали бесплодным, а они за восемь лет научились сажать на этих землях бамбук и эвкалипты. Это было все равно что залечивать глубокие раны. Люди и скот безжалостно обошлись с некогда благодатной природой. Теперь можно заниматься полеводством только в долинах и на равнине, где потоки не смывают почву.

Несмотря на дождливый сезон, когда из каждого уцелевшего корешка тянутся вверх зеленые ростки, ландшафт был однородно безобразным. А местами даже травы не осталось. Голый латерит. Красные зияющие раны.

В этой части Бенгалии благодаря зарубежной помощи бурно развивается металлургия. Мне с гордостью рассказывали, что производство растет быстрее, чем кто-либо планировал и предполагал. Тяжелая индустрия наступает; лесоводы взялись добиться соответствующего роста бумажной и целлюлозной промышленности. И появились посадки эвкалипта, поставляющего сырье целлюлозному производству.

Но для этой отрасли нужны также хвойные породы. И я отправился в горы, в Гималаи, посмотреть, какие там есть хвойные леса, что и где можно насадить. Вот каким образом я увидел Канченджангу.

Сначала несколько дней провел в городе чая Дарджилинге. Он прилепился на крутых склонах и простирается больше ввысь, чем вширь. Хотя все эти дни лил дождь, Дарджилинг пришелся мне по душе. Есть в нем что-то романтическое, и не только из-за крутых взлетов. Архитектура домов, жизнь улиц дразнят воображение своей необычностью. Высокие веранды, причудливые улочки, деревянные строения, соединившие искусство буддийских резчиков с очертаниями английских бунгало. Навьюченные мулы, коляски, запряженные четверкой людей, изредка слоны, автомобили. Беженцы из Тибета со своими молитвенными трещетками, бутанцы, сикким-цы — обитатели соседних районов. Они держатся непринужденнее, чем индийцы, охотно улыбаются, очень приветливы в обращении. Встречался бедный люд и святые люди: запомнился старый тибетец, возможно, бывший монах, который сосредоточенно размышлял, сидя под своим зонтом. В глазах и в движениях каждого был великий покой, который дарует человеку близость могучих вершин. Нужда, бедствия волнуют их столь же мало, сколько богатство. А богатство здесь есть. Его олицетворяют не только туристы, но и — главным образом — индийские дельцы и чиновники. Основной предмет коммерции — чай, а вообще торгуют всеми предметами необходимости и роскоши, какие можно приобрести в любом индийском городе. Базар и здесь наводит на мысль о картинах из «Тысячи и одной ночи»: длиннобородые визири, пророки, золото, драгоценные камни, даже масляные светильники того самого фасона, который прославлен Аладдином.



Одно из двадцати четырех колес колесницы бога солнца. Оно щедро украшено изображениями богов, животных и цветов. Видны шипы — это чтобы колесо не скользило.

Но Канченджангу я из-за дождя увидел лишь после того, как мы — начальник лесничества и я,— покинув Дарджилинг, спустились на равнину у подножия Гималаев.

Утро. Воздух свежий, чудесный. Небо подернуто легкими тучками, оставшимися от ночной непогоды. На переброшенном через реку мосту лесничий остановил джип и указал рукой вверх по течению.

Я посмотрел: широкое, с километр, песчаное русло несмотря на излившийся дождь оставалось почти сухим. И я понял, что нужно стихийное бедствие, чтобы заполнить это русло стремительным, бурным потоком воды. Уклон достаточный. Вдалеке к берегам подступал лес.

— Представляю себе, какие потоки здесь иногда несутся!

— Посмотрите выше.

— Чудесное небо. И облака — какие краски!

— Еще выше!

И тут я наконец увидел: высоко над облаками — золотистая вершина. Я онемел. Со мной что-то произошло, я чувствовал, что встреча с этой вершиной навсегда изменила меня.

— Канченджанга означает «золотистая». Такой она бывает по утрам. Вы с первого раза увидели ее в самое удачное время. На свете нет ничего прекраснее. И она дарит душе покой.

Гора возвышалась километрах в ста пятидесяти от нас, облачный венчик обрамлял сверкающую ледяную макушку. Солнце превратило ледники в золото.

Зрелище этой немыслимой красоты было благотворно, мою душу объял покой, какого я никогда в жизни не испытывал. Все прочее вдруг стало второстепенным. Жизнь обрела смысл благодаря выпуклости на земной коре. И я подумал: географическая среда формирует

религию, философию, психологию людей. Географическая среда наделила горцев, которых я встретил, уравновешенным нравом, определила их философию, песни, мысли. В царстве Канченджанги обитают люди особого склада.

Но джип запрыгал дальше, солнце поднялось выше, потом все заслонили муссонные тучи. Золотистая скрылась. Весь день, всю ночь я не переставая думал о ней, мечтал о ней. На следующее утро встал на рассвете, чтобы поспеть на свидание с Канченджангой.

Было только пять часов, но слуга предвидел, что я поднимусь рано, и принес мне чай. Вслед за ним вошел мой друг, начальник лесничества.

— И ты не спишь? — удивился я.

— Разумеется! Я родился здесь, в горах, у меня в жилах есть монгольская кровь, хотя я индийский брахман. Всегда встаю пораньше, запасаюсь у Канченджанги душевным равновесием на весь день.

— На вершине бывал хоть раз?

— Обыкновенному человеку это не под силу. Только экспедиции, опытные альпинисты могут подняться туда. А на склонах был. Доходил до границы леса, до высоты четырех-пяти тысяч метров. Но лучше всего, божественнее всего она, когда смотришь на нее отсюда, с равнины. Гляди!

Вот оно снова: золотое сияние... На немыслимой, невозможной высоте. Недоступное, как чудесное сновидение.

Считанные минуты видели мы Канченджангу, тут же все закрыли дождевые тучи. Здесь выпадает в десять с лишним раз больше дождя, чем в Швеции.

Через несколько дней я возвратился в Калькутту, где предстояло совещание с начальником всех лесничеств Бенгалии. Он позаботился о том, чтобы меня поместили в старейшем и (если верить рекламе) «единственном полностью кондиционированном» отеле Азии. Словом, в одном из лучших отелей Азии.

Не могу сказать, чтобы я высоко оценил это кондиционирование, мне по душе жара. Первоклассный сервис меня тоже мало волнует. И уж совсем противна мне эта отельная жизнь с ее шикарными барами и требованием являться к обеду в смокинге. Я слишком хорошо помнил людей, с которыми встречался в лесу, в деревнях — в мире, совершенно отличном от искусственного мира роскоши, где алкоголь главная движущая сила.

За год, проведенный в Индии, я в первый и последний раз жил в отеле «люкс». Чаще всего поселялся в домиках лесничеств. В городах снимал номера в самых простых и дешевых гостиницах, и мой быт был совершенно непохож на то, что мне рассказывали о жизни экспертов ООН в слаборазвитых странах.

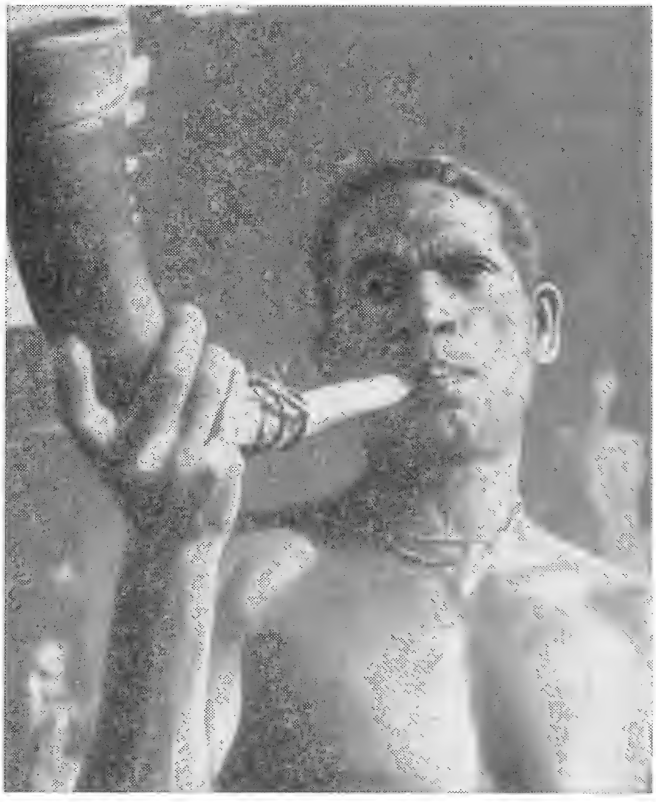
Так или иначе, я сидел в баре великолепного отеля в Калькутте и вспоминал деревушку, в которой побывал накануне. Я просил моего спутника, лесничего, который сам был уроженцем села, сделать так, чтобы мы могли немного задержаться в какой-нибудь деревне и побли-

На базар.

же ознакомиться с ней. И вот он привез меня в деревушку, где худые смуглые люди жили в низких, темных внутри и золотисто-коричневых снаружи глинобитных лачугах. Воду здесь доставали из глубоких колодцев, белье, стирая, колотили о камень. Во тьме лачуг сидели скорченные старики, ребятишки играли на улице среди пасущихся коров и коз. Черные вороны на крышах и стервятники в поднебесье... Черные строгие глаза, руки трудовые, руки ласкающие, руки, опустившиеся в отчаянии.

Мы ночевали на постоялом дворе, а на следующий день пошел дождь. Голые ребятишки, заливаясь смехом, барахтались в иле, точно буйволята. Девчурка лет восьми, стоя под дождем, захмелев от радости и любви, без конца целовала сестричку, которую держала на руках. У дороги, дожидаясь кого-то, стояла молодая мать. Худая, оборванная, из самого бедного сословия. На руках — ребенок, которого она поминутно целовала, смеясь от счастья, когда он кусал ее тощие руки, ловил маленькие груди. Как уживается счастье с крайней нуждой? Мой товарищ только рассмеялся, когда я задал ему этот вопрос. И все-таки: как люди могут выносить такую жизнь, каторжный труд?..

В баре преобладают европейцы, пожилые туристки. Кроме них — несколько дельцов-индийцев и два-три гида или платных танцора. Поневоле выпьешь виски, чтобы переносить такое общество. Полупьяные гости визгливо смеются, галдят наперебой. Обрывки разговора, которые я улавливаю, на диво пошлые. А им, видно, весело. Еще бы, когда за веселье плачены такие деньги. Незабываемые впечатления для туристов, которые познают овеянную легендами Индию в роскошном отеле, где слуги выглядят, как раджи. У подъезда толпятся сутенеры, которые с раннего утра до поздней ночи предлагают женщин всех рас. Виски стоит восемь рупий стопка, пиво — пять рупий бутылка. Но ни пиво, ни виски не помогают мне узреть что-либо сладостное в этой «сладкой» жизни. Разумеется, я сам виноват. Пять не в меру голосистых немок явно довольны жизнью, особенно же сами собой. Кричат, хлопают себя по голым ляжкам: забыли переодеться к вечеру...



Так оживает древнейшая мелодия.

Не могу отделаться от мысли, что обитатели этой роскошной гостиницы, если снять с них дорогую одежду, оказались бы совсем голыми. Я подразумеваю наготу духовную. Снимите с этих полупьяных белых покровы — останется нечто жалкое, постыдное. Сдается мне, под скорлупой ханжества, жаргона, снобизма ничего нет. Деревенский житель с достоинством, с гордостью носит свою повседневную наготу. На нем нет мишуры.

Простите мое брюзжание, но уж до того муторно мне было в «единственном в Азии полностью кондиционированном отеле»! Я куда лучше чувствовал себя в деревне, где мы ночевали накануне, где нет электричества, нет денег даже на свечку. Где сразу после «часа коровьей пыли» воцаряется мрак, и лесничий читал мне Тагора, потом читал собственные стихи об удивительном покое, который владеет деревней в предзакатный час, когда огромные стада коров, возвращаясь с пастбищ, поднимают тучи пыли. Конец дня, «час коровьей пыли», который особенно полюбился поэтам.

Я не смог установить, разделяют ли деревенские жители мой романтический взгляд на «коровью пыль». Возможно, удивительное чувство умиротворенности, которое я испытал с наступлением темноты, проистекало от полного желуд-

ка. Для меня «мир» — для них немое отчаяние бедности. Или есть в них сила, благодаря которой они способны воздавать хвалу тьме, не имея денег на свечу?

В КЕРАЛЕ

В Институте лесоводства в Дехра-Дуне меня уверяли, что я не выдержу ужасного климата, который отличает Кералу на пороге сезона дождей.

Влажность — вот что пугает жителей Северной Индии. В Керале тропический климат, а влажность, особенно в дождливую пору, очень высока.

А мне там понравилось. Это как раз тот климат, к которому я привык в Индонезии. И еще многое напоминало мне об Индонезии: берег с рядами пальм, плеск теплого моря. Обрамленные валами рисовые террасы, сады, стиль деревенских строений, чистоплотность местных жителей. Темнокожие южане моются, точнее, купаются три раза в день. Всегда ходят в ослепительно-белой одежде. И, наконец, плотность населения тоже заставляла вспомнить Индонезию.

Действительно, по плотности населения Керала занимает первое место среди штатов Индии, одна из главных проблем здесь — трудоустройство. В Керале пролетариат составляют люди, получившие образование. Народное просвещение развито лучше, чем в любом ином штате, процент неграмотных самый низкий в стране. Здесь наиболее сильное рабочее движение, особенно прочны позиции коммунистов. И рабочие не хотят мириться с ничтожным жалованьем. В итоге концерны избегают строить предприятия в Керале, хотя штат нуждается в них. Лесная промышленность дает самые высокие в стране доходы, налицо все условия для быстрой индустриализации. Но частный капитал сюда не стремится, а у государства, видимо, пока недостает средств.

Мне довелось разговаривать с богатым промышленником, парсом из Бомбея, который приехал в Кералу, чтобы изучить возможность организации бумажного производства. Он был очень откровенен. Судите сами по краткому изложению:

— Когда правительство обещает народу школы, оно то ли действует, не поразмыслив, то ли просто морочит людям голову. Сами видите на примере Кералы, какой прок от народного образования: как подучатся немного, становятся коммунистами, организуют профсоюзы, требуют повышения заработной платы. Кто же станет открывать здесь предприятия, платить такое жалованье, какого они требуют? В тех штатах, где еще нет школ, рабочая сила куда дешевле.

Я попытался возразить:

— Но ведь это близорукая политика! Кто сможет покупать продукцию ваших предприятий, если вы платите рабочим так мало, что они даже не едят досыта? В конечном счете ваша отрасль работает на так называемые широкие массы, разве не так?

Он помолчал. То ли не хотел, то ли не мог понять. Наконец сказал:

— Вы, очевидно, на их стороне. Мне известно одно: всю произведенную бумагу я могу сбыть за хорошую цену. При нынешних, утвержденных правительством ценах мы получаем около тридцати процентов чистой прибыли. Не будь ограничения цен, мы бы зарабатывали еще больше. А если платить такое жалованье, какого требуют рабочие, прибыль будет несравненно меньше. С какой стати я должен дарить деньги этим коммунистам?

ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ

В пятидесяти километрах от Дехра-Дуна на берегу Ганга расположен привлекающий полчища паломников священный городок Хардвар.

В июне, когда я туда попал, там собралось около полумиллиона паломников. Священный Ганг вырывается здесь из тесного ущелья, бурлит и пыхтит, еще не отдышался как следует после приключений в Гималаях, не отдал принесенного с севера холода горных ледников. Если искупаться в нем в определенные дни, тебе отпустятся все грехи.

Разумеется, не один индуизм додумался до отпущения грехов высшими силами. И вообще это не играет роли, какой именно из множества выдуманных людьми богов отпускает грехи, все решает наша собственная вера. Как подумаешь о достижениях человека, невольно поражаешься неразумности тех из нас, кому нужно идти до самых истоков Ганга, чтобы... помочь самому себе. Я вовсе не хочу сказать, что это путешествие абсолютно никчемно.

О том, что отпущение грехов помогает, в частности, восстановить душевное равновесие, мне рассказал один лесничий-индиец. Он и сам не раз купался в священной реке (Ганг протекает через его лесничество), купался в разные дни, правда, его безбожной душе от этого не становилось легче.

— Завидую этим чудакам,— говорил он.— Так просто: смыл с себя в реке все огорчения и неприятности. А утонешь в придачу, то и совсем счастлив! Скажи после этого, что моя Индия не богатая страна!

В жилах этого лесничего была немалая толика монгольской крови, внешностью он напоминал скорее тибетца, чем индийца. Хороший рост, могучее сложение, красивое мужественное лицо, голос гулкий, как Ганг, живые глаза тотчас отражают малейшую перемену настроения.

— Сходим как-нибудь вместе в горы. Не сейчас, сейчас дожди, не то. Пойдешь со мной, посмотришь, как рождается Ганга. Лучше всего весной идти, пока

не нахлынули паломники. Захватим продукты, палатку, наймем носильщиков, хорошего повара. Недели на две пойдем, и увидишь чудо из чудес. Увидишь, как Ганга, эта богиня, эта маленькая чертовка рождается в ледяном гроте, как она вырывается из материнского чрева и мчится вниз, неистовая, отчаянная, через высоченные водопады, крутые пороги... Непорочная, девственная. Читал предание о том, как появилась на свет богиня Ганга? Ее и реку Ганга звать, а не Ганг, как европейцы говорят. Читал, как Ганга вышла замуж, как она любила?

— Конечно, я читал «Махабхарату».

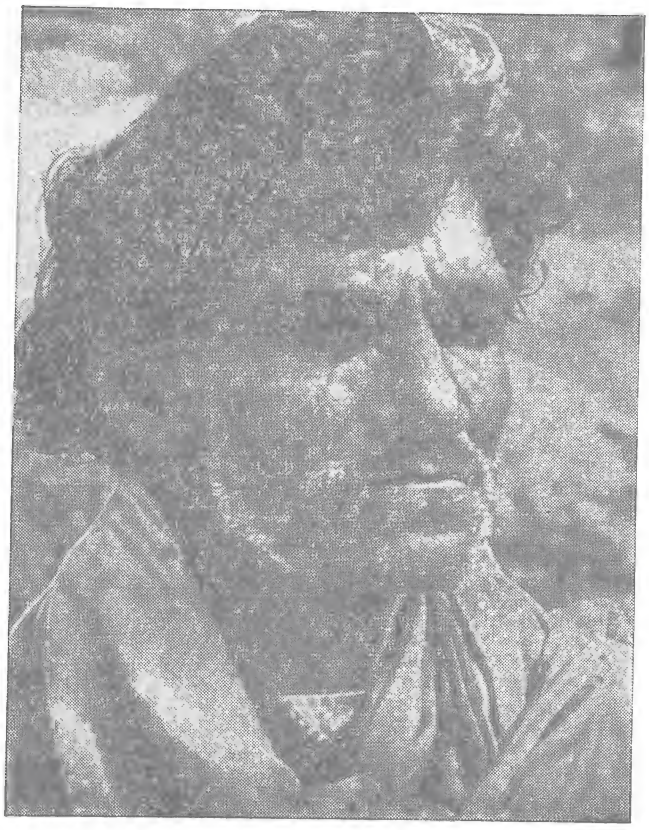
— Там, где она рождается, одни ледники да снежные вершины, самая высокая, Нанда-Деви, больше семи тысяч метров. Пониже цветущие луга — орхидеи, множество орхидей и прочная альпийская флора. Лес поднимается вдоль ущелий вверх и принимает Гангу под свою сень. Если бы ты слышал ее голос там, наверху, где она еще не укрощена! Раскатистый боевой клич! Иногда кажется, что это горная гроза.

Голос лесничего рокочет, гудит, и я не только вижу, но и слышу его героиню, несравненную Гангу. Он мешает английский язык с хинди («понимаешь, есть вещи, которые по-английски просто не звучат»). Потом начинает рассказывать про паломников, полчища паломников; да я и сам видел, как они собираются и тянутся через всю Индию. Точно нашествие леммингов. На автобусах, на арбах, по железной дороге, верхом, пешком по тропам с посохами в руках. Возможно, они так же мало, как лемминги, осознают, что их влечет: неясные чувства, смутный инстинкт, которые приняли вид веры в отпущение грехов. Бедные и богатые, люди разной веры, различных рас, разного цвета кожи, женщины и мужчины, молодые и старые, садху, купцы, чиновники, рабочие, здоровые и больные, даже умирающие.

Часто путешествие совершается на последние деньги. Друзья и родичи сопровождают немощных и умирающих. Железная дорога доходит до Хардвара, оттуда можно вдоль реки проехать на автобусе еще несколько десятков километров в горы. Дальше надо идти, вернее, карабкаться около шестидесяти километров. Многие не выдерживают этого перехода, а еще остается восемнадцать километров по-настоящему сложного подъема, который доступен только самым сильным и здоровым. Однако это не останавливает даже умирающих.

Лесничий рассказал о картинах, которые он наблюдал в начале сложного подъема. Люди передвигались на четвереньках, брели босиком, раздирая подошвы в кровь. Иные ползли, ползли — да так и умирали и скатывались вниз, в бушующий поток. Кое-кто шел нагишом, несмотря на холод, и ничего не ел в пути, с одной целью — умереть и очутиться в объятиях непорочной, всепрощающей реки. А кто был не в состоянии двигаться, но еще располагал деньгами, тот нанимал носильщиков, по два горца на носилки, крепких, выносливых молодцов, которые лазают по скалам, как козлы. Но путь крутой, и нет-нет да случается беда. Поскользнется носильщик, упадет,

Танцуют женщины пурджа.



Старик племени тода, которое называет себя потомками солдат Александра Македонского, то есть греков.

и паломник катится в реку. Ничего, он же сам хотел умереть в Ганге! И носильщики идут вниз за следующим. Доставят до цели и оставляют там умирать.

— А что, неплохая смерть, даже и для безбожника. Я люблю Гангу. Пусть заберет меня, когда я устану.

— Буйная любовница, да больно объятия холодные,— замечаю я.

— Сходим туда, сам все увидишь!

Но мне не пришлось пойти в горы с этим сыном Гималаев. Повода не нашлось: там нет леса.

ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ

Люблю этот пустынный, скудный ландшафт, его знойное дыхание и суровость. Днем я изменяю своей любви: строю козни, чтобы погубить эту своеобразную красоту, придумываю, как помочь лесу стереть краски нагой земли, занять чарующие открытые просторы. Только ночью, когда мрак полон звуков и удивительных запахов, любовь свободна.

Речь идет о районе южнее Мирзапура — города, крепости и дома которого овеяны легендами, повествующими о войнах, крови, ненависти, о вторжении монголов, которые покорили себе менее воинственных местных жителей.

Только три дня провел я в здешней полупустыне. Сегодня последний вечер, дальше путь лежит на север, к Гималайским горам. А как бы хотелось остаться здесь. Не нужны мне ни прохлада, ни великолепные города, ни могучие вершины...

Закат, сидим на террасе постоялого двора, усталые, притихшие. Скоро мне ехать на джипе в Мирзапур.

На фоне багрового неба темная птица, мерно работая крыльями, летит над пустыней вдогонку за солнцем. Восходящие токи прекратились, песок и земля уже остыли. В знойном, сухом, мглистом воздухе быстро густеют лиловые тени. Могучие крылья, загребая сумрак, силятся улететь от ночи. Тяжелый полет, тщетное старание...

Стервятник, сделай, как я: смирись, погрузись в ночь, дающую обманчивую — иной не будет — защиту. Ночь дарует отдохновение взору, и воображение рисует картины края вечерней зари, куда ты, мнится тебе, летишь.

Сухое черное дерево воздело к небу растопыренные пальцы. Но стервятник пренебрегает предложением отдохнуть. Вот уже горизонт поглотил солнце, обрекая птицу на одиночество. Куда она стремится на могучих усталых крыльях? Ищет покоя за гранью бытия? Или ее глаз-телескоп высматривает всего-навсего старую дохлую корову?

Правоверных призывают к молитве. Вижу силуэты минаретов на фоне гаснущего дня. Звонко разносится: «Аллах велик. Аллах велик...»

Лети прочь от горестного бытия. Лети за стервятником к манящему, обманчивому небу...

Приходят сны, сгущается черная ночь, но джип гудком будит меня: пора ехать на север.

Я один с шофером. Лесничие, которые неделю сопровождали меня, попрощались. Завтра познакомлюсь с новыми.

Едем по недавно положенному асфальту. Дороге, почитай, тысячи лет.

Дождя не было много месяцев, и пыль столбами вихрится вдоль дороги, слетая с голых полей, с ветхих крыш, с ветвей. Черный воздух загустел пылью; холодно, как бывает в Индии в январе. В горах идет снег.

Скоро полночь, но движение не редеет. Напротив, длинные караваны арб, запряженных быками, не дают нам разогнаться. Приходится осторожно петлять между встречными повозками. Рядом с асфальтовой лентой под раскидистыми деревьями, словно бесшумные тени, вышагивают по мягкой пыли верблюды. Идут, как во сне, покачиваясь, презрительно кривясь при виде нашего попрыгунчика-джипа. Высовываюсь из машины и смотрю вверх, чтобы разглядеть их причудливые головы. И груз: огромные тюки и свертки. И спящих всадников, закутанных в запыленные белые одеяла.

Тысячи лет идут этим путем верблюды. Джип новый и маленький. Глупые шины заносчиво покрикивают на асфальт. Подошвы верблюдов плавно, бережно касаются дороги: дорога и верблюжьи ноги знают друг друга и будут знать еще не одну тысячу лет. Джип всего лишь маленький нелепый эпизод. Не опоздать бы на поезд. Иначе придется ждать всю ночь, а мне некуда деться. Черт бы побрал эти арбы, которые не дают ехать быстро. Сидеть бы верхом на верблюде, закутавшись в белое покрывало, не заботясь о времени. Никогда не чувствовал себя таким одиноким.

Позади всего половина пути. Экспресс на Лакнау — он обычно ходит точно по расписанию — отойдет без нескольких минут двенадцать. А я не могу даже поторопить шофера, только без конца гляжу на запыленные часы. Один на людной дороге, ведущей в Мирзапур и Бенарес.

Наконец — станция Мирзапур. Крики, сутолока, пыль, холод. Окоченевшие пальцы роняют билет, добытый после напряженного ожидания. Клочок бумаги летит по перрону, но попадает в руки заботливому носильщику.

— Вам куда, сагиб?

— Лакнау.

— Поезд опаздывает на четыре часа. Ваш багаж?

Он забирает мой багаж и ведет меня сквозь толпу к залу ожидания. Здесь каждый клочок пола занят спящими, храпящими, зябнущими людьми.

Снова на перрон. И тут полно, негде прилечь. Да у меня и нет матраса для защиты от каменного холода, только тоненькое одеяло. Я ведь приехал с юга.

Переходим на другой перрон, к которому, быть может, подойдет мой поезд. Ох, эти окаянные индийские поезда! Всюду множество людей. Лежат, сидят, стоят... Краски яркие, ничего не скажешь, даже живописно. Если смотреть издали.

Нищий хватает меня за руку, другой за голые ноги. Носильщик бранится, отгоняет их, ведет меня дальше. До чего же все нелепо! Кой черт занес меня сюда? Зачем этот назойливый холодный ветер, вихри пыли, смешанной с навозом,

Быки в Индии обычно ходят без сбруи, только с ярмом. Возница направляет их, либо хлопая по бокам, либо потягивая за хвост.

Гордость, смешанная с презрением. Она мудра — неприкасаемая, уборщица на железнодорожной станции, всеми презираемая. Но при этом остается женщиной.

микробами, всякой дрянью, эти кашляющие, харкающие люди? Куда ни глянь — плевки. Что тут, все чахоточные, что ли, или грипп на них напал? И еще эти садху — наглые, высокомерные, грязные, хуже нищих. И нищие все в болячках. Кругом будто сплошная зловонная язва... Легендарная, чудная Индия! Почему так холодно, так пыльно? Почему не топят в домах? Почему не наведут чистоту? Почему нет зала ожидания, где мог бы устроиться уважающий себя человек? Почему я здесь? Кто я?

Очень просто: шведик, которого в этот самый миг одолела злость, и растерянность, и тоска по ласковому шелесту берез вместо воя ветра в сухих ветвях.

Носильщик поставил мой багаж и ушел. Вернется через четыре часа, когда придет поезд. Как я проживу эти долгие, как вечность, четыре часа? Меня ноги не держат. Сажусь на холодную, как лед, каменную скамью. Поблизости, окруженный внимательно слушающими женщинами, бормочет свои мантра садху. Только короткие штаны, рубашка и куртка защищают меня от пронизывающего холода. Да еще тонкое одеяло, которое я складываю несколько раз и стелю на камень.

Опять эти нищие. Не давайте ничего нищим, наставляли меня. И не дам: руки слишком окоченели, пальцы не в состоянии достать монетку. И сердце окоченело, такое же холодное, как ноги.

Детишки кричат, матери сплевывают красный сок бетеля, два носильщика препираются злыми, пронзительными голосами. Пытаюсь, по примеру йогов, позабыть о собственном теле, о том, что меня окружает. Куда там, от холода дрожь бьет. На стучащих зубах скрипит пыль. Сколько навоза и плевков наглотаешься таким образом? Сколько может вынести человек?

Почему не береза, а пыльный тамаринд? Почему люди здесь размножаются, как кролики? Кой черт они плюются и кашляют? Почему все так нелепо, так бессмысленно?

И тут появляется она.

Ей лет восемь-девять: облаченная в сари и тонкую шаль маленькая дама с большими черными глазами. Пробирается между спящими пассажирами и бормочущими молитвы садху. Целеустремленно идет к скамье, на которой я зябну в одиночестве. И садится рядом, бросив на меня взгляд, смысл которого мне непонятен.

Кто она, почему одна среди этого людского муравейника? Наверно, сейчас явятся ее родители. Она дочь богатых, это сразу видно. Но почему дочь богатых ходит одна? И отваживается сесть рядом с чужеземцем?

Она пододвигается поближе ко мне, кутаясь в свою шаль.

Не смею ничего сказать, ничего сделать, боюсь напугать эту кроху, которая, словно фея, вынырнула из мрака. Чувствую тепло ее тельца. Она прильнула ко мне. Какое тонкое лицо! Безупречный маленький нос, круглые щеки, изящная линия рта, на щеки легли длинные ресницы. Легко опирается головой о мое плечо. Я обнимаю ее плечи. Она тотчас засыпает. Уже первый час...

Маленькая ручка ложится на мою ладонь. Льщу себя надеждой, что европейский цвет кожи не ускользнул от ее внимания, она не по ошибке доверилась мне. И что она не заражена чумой расовых предрассудков.

Спит и, похоже, не зябнет. Да и мне уже не холодно. Меня согрела ее малень-

кая рука. И нет больше холода, нет ничего безобразного вокруг. Индия прекраснее сказки. Я понимаю и садху, и нищего, а кого не понимаю, тому прощаю.

Благодаря детской ручонке четыре часа пролетают, как одно мгновение. С гулом к перрону подкатывает поезд. Встаю, бужу ее. Всякому прекрасному приходит конец. Но мое сердце согрето, хотя ноги онемели от холода.

Она ежится. Зевает, потягивается, поправляет свою шаль. Не знает, то ли плакать, то ли смеяться. Удивленно глядит на меня.

— Намасте, я ухожу.— Складываю руки в приветствии.

Она тоже складывает руки, улыбается и шепчет:

— Намасте!

Долго после того, как я устроился в поезде, моя рука помнила тепло ее доверия. И я подумал: какое счастье для меня, что есть на свете эта кроха, которая отважилась довериться старику чужеземцу, что ей не преградили путь противозачаточные меры.

Еще я думаю: почему она не моя? Была бы моим ребенком...

Что за стремление — всем владеть? Особенно, когда речь идет о красивом? Разве нельзя быть просто благодарным за то, что выпало на твою долю?

Йог отвергает всякое владение. Владеть — значит быть связанным. Кто ничем не владеет — свободен, ему весь мир принадлежит, он любит все и всех.

Верно ли это?

Не знаю. Но берусь утверждать, что вон тот разрисованный мелом йог с высохшими ногами отнюдь не счастлив, это сразу видно. И нужно ли бояться цепочки, которой может привязать к себе маленький ребенок? Мне кажется, в отрицании земной жизни, которым щеголяют мудрецы, немалая толика обмана.

Поезд проехал священный Бенарес, затем Лакнау, наконец прибыл в Дехра-Дун. Моим следующим этапом был Чандигарх, современный город, созданный Корбюзье, оттуда я поехал в Симлу, бывшую летнюю резиденцию англичан, а из Симлы — в Гималаи.

Чуть севернее Чандигарха протянулась с запада на восток первая гряда Гималаев, Сиваликские горы. Но их вершины, от тысячи до полутора тысяч метров,— пигмеи по сравнению с теми, которые взметнули к небу следующие хребты: пять, шесть, до семи тысяч метров! Выше всех в этой части Гималаев Нанда-Деви, семь тысяч восемьсот семнадцать метров. Конечно, в восточной части Гималайской системы, скажем, Эверест и Канченджанга еще внушительнее.

До сих пор Гималаи, если не считать Канченджангу, не вызывали во мне особого трепета. Из Дехра-Дуна я видел Сиваликские горы, сам поднимался до высоты двух-трех тысяч метров, но первые впечатления не отвечали моим ожиданиям.

Теперь я наконец попал в область так называемых Больших Гималаев. И был поражен величием ландшафта. Дело не только в обилии круч и обрывов, долин и ущелий, снежных вершин и властно вторгающихся в небо заоблачных гребней. Больше всего вас захватывает удивительное соответствие между природой и историей этого края, воплощенной в величественном эпосе.

Портной, сикх, открыл ателье прямо на улице.

Но и здесь человек не пожалел усилий, калеча природу. Лес виден на всех ближних склонах. Кедры, сосны, ели стоят лишь на самых крутых и высоких косогорах. Не только в долинах люди возделывали землю, они старались хоть что-нибудь выжать из самых маленьких клочков, где можно было орудовать мотыгой.

Как ни скверно тут хозяйничали, сам по себе край богатый и перспективный. Таким он стал за последние годы. Прежде не было дорог, не было никакого сообщения. Конечно, англичане проложили до Симлы и иных горных мест дороги для военных и отдыхающих, но деревушки оставались в стороне и влачили прежалкое существование в стране, из которой быстрыми темпами выкачивались все богатства. Теперь индийцы строят дороги, ведущие в самое сердце горного царства Гималаев. Занимаются этим в первую очередь лесничества, налаживая рубку в высокогорной полосе. В последнее время энергично взялись за дело и военные.

Никогда еще я не видел, сколь важны дороги для экономического развития области.

Нищее население, которое до тех пор не могло никуда вывезти свои продукты и жило в полной изоляции, внезапно стало состоятельным. Мелкие землевладельцы сажают картофель, выращивают фрукты, причем за килограмм картофеля они получают не меньше рупии в месте поставки, то есть там, куда может пробраться грузовик. Одна рупия — это дневное жалованье рабочего.

Крестьяне, которые прежде еле-еле концы с концами сводили, теперь зарабатывают на картофеле в среднем десять — двадцать тысяч рупий в год. Огромная сумма! Меня знакомили с садоводами, которые с нескольких гектаров выручали за яблоки больше пятидесяти тысяч в год.

Если учесть, что средний дневной заработок в Индии около одной рупии, станет ясно, кому по карману яблоки и картофель. Их выращивают в Гималаях для незначительного меньшинства населения Индии. Разумеется, сбыт и уровень цен зависят от роста возделываемых площадей в связи с дальнейшим строительством дорог. Во всяком случае, продукция горных областей еще долго будет оставаться по цене, недоступной для широких масс.

Мы забирались на джипе все дальше в горы, дороги становились уже, опаснее.

Но даже на высоте около четырех тысяч метров шла рубка леса. Могучие сосны и ели валили и распиливали тут же на месте. Пиломатериалы несли на плечах десятки километров. Сплавлять сложно: маленькие ручьи только в дождевые сезоны обретают достаточную силу. Но тогда пороги очень уж безжалостно мочалят лес.

На лесоразработках зарабатывают в день от одной до полутора рупий. Потребители покупают лес по цене шесть — десять рупий за кубический фут. Иначе говоря, лес дороже, чем в Швеции, где рабочие получают раз в тридцать больше своих индийских товарищей.

С лесом то же самое, что с картофелем и яблоками: он для богатых. Для пяти процентов населения.

На следующий день я встретил людей, которые принадлежат к этим пяти процентам, однако не совсем обычно используют свое привилегированное положение.

Они были брахманы, жили в очень скромном доме в горной деревушке. Мы зашли в этот дом с моим спутником напиться чаю — и засиделись дотемна, когда ночь и холод объяли лачуги и вершины.

Нашими хозяевами были старая женщина лет семидесяти и ее тридцатипятилетняя дочь Сусила. Обе высокие, светлокожие: арийцы.

И обе принадлежали к разряду людей, которые излучают неподдельное расположение и благородство, сразу же покоряя вас. Хозяйством занималась незамужняя Сусила, ей помогали несколько девочек и мальчиков, для которых Сусила была учительницей. Оказалось, она устроила нечто вроде частной народной школы, каждый день бесплатно давала уроки деревенской молодежи.

Сусила немало путешествовала, получила хорошее воспитание и образование. Прежде они с матерью, располагая крупным состоянием, жили, как богачи живут. Но когда страна стала свободной, решили целиком посвятить себя родине и народу. Начинать, по их мнению, следовало с основы, то есть с деревни. Хотя бы от этого прок был только единицам.

Сусиле много раз предлагали пост в правительстве, но она предпочитала работать в глухой деревушке. Здесь она приносила ощутимую пользу; это не то что заниматься сочинением законов, пусть даже преследующих благие цели. Сусила окончила юридический факультет, одно время была адвокатом. Из ее рассказов я понял, что она скверно чувствовала себя в кругу политиков-карьеристов. Сусила не одобряла нынешнюю политику партии Индийский национальный конгресс, критиковала правительство. Неру она считала олицетворением мудрости и порядочности, но полагала, что окружение порой вынуждает его идти неверным путем.

— Мало издавать законы,— говорила она.— Наша конституция гарантирует девочкам то же право на образование, что мальчикам. А на деле! Особенно в деревнях и мелких городах девочка не может получить нужного образования. Оттого и приходится затевать подобные эксперименты.

Пока она наливала нам чай, мой товарищ воспользовался случаем рассказать,

что Сусила и ее старая мать все свое состояние обратили на помощь детям и молодежи. Могли бы жить в роскоши, если бы не тратили все на школу.

Сусила очень красивая. Красота ее не картинная, присущая многим индианкам, а живая. Когда же она говорила о своей работе, о надеждах, которые возлагала на молодежь и будущее Индии, то становилась так хороша, что глаз не оторвать. Но эта женщина отказалась от замужества, чтобы служить своему народу.

Подавая чай, она сказала:

— Вы слышали, наверно, что в Индии была объявлена кампания чистоты? Четырнадцать дней чистоты. Мы решили, что в нашей деревне это будет продолжаться не четырнадцать дней, а всегда. А в здешних горных деревушках это не просто. Многие мужчины, раз надев нижнюю рубашку, уже не снимают ее. И моются в холодной воде уж только в самом крайнем случае. Но мои ученики и ученицы умываются ежедневно утром и вечером. Воды хватает.

— Нескромный вопрос: а как здесь с неприкасаемостью? Тоже смываете?

— Можете не сомневаться, кое-что делаем! И добиваемся того, чтобы женщины были восстановлены в своих правах. Уже есть успехи. К примеру, я сейчас вот так запросто разговариваю с мужчиной — несколько лет назад это было бы немыслимо. Меня изгнали бы из нашей касты. Теперь у нас есть даже министры-женщины. Но мало дать женщинам политическую власть. Есть задача посложнее — восстановить наше былое достоинство. У нас, работников умственного труда, оно уже есть. Но я подразумеваю самые бедные слои. Скажите, в вашей богатой стране есть проституция? О Швеции такое рассказывают...

— Разумеется есть.

— Почему разумеется? Вот это как раз я и считаю унизительным для женщин. Почему, как проституция — так разумеется?

— Древнейшая профессия, говорят. Шутят, возможно, но что-то в этом есть. Это связано со структурой общества, в котором верховодит мужчина.

— Это унизительно. Я убеждена, в древней Индии не знали проституции. Тогда мужчина и женщина были равны, обладали одинаковой свободой.

— Да, я читал про это. Вы, наверно, правы. В ту пору проституции не могло быть. Тогда иначе смотрели на супружескую неверность, существовала и полигамия, и полиандрия.

— Вы знаете историю Индии? Вам нравится наша страна?

Этот вопрос задают мне почти все индийцы. Совсем как шведы, они допытываются у иностранца, как ему нравится страна. И конечно ждут похвалы. Я ответил, что очарован ее любимой Индией.

Редко мне доводилось видеть такую радость. Мне даже стало неловко, когда она с сияющими глазами воскликнула:

— Спасибо, спасибо, вы меня так обрадовали! Я очень сильно люблю мать-Индию и, возможно, не вижу ее недостатков. Кто же станет критиковать родную мать? Но я знаю, что перед нами немало трудных задач. И вы это знаете. Вот сегодня опять в газете написано, что в Дели украли девушку. Вы слышали об этом?

— Нет. А зачем, вымогать деньги?

— Они крадут четырнадцати-пятнадцатилетних девушек, чтобы продать их богатым промышленникам. Или прямо в публичный дом. Увезут на машине из Дели в Бомбей или Калькутту, еще куда-нибудь подальше, где девушку не знают.

— Ужасно... Это уже в последнее время додумались?

— Вероятно. Во всяком случае, число таких краж растет. В Дели в год регистрируют до ста пятидесяти случаев, да столько же остается в тайне. Не всех продают. Некоторых «потехи ради» крадут молодые парни. Изнасилуют и отпустят. Кое-кому из украденных девушек удается бежать. Но весь ужас в том, что от этого мало проку. Они не смеют возвращаться в семью. Так уж у нас относятся к женщине. Если девушку изнасиловали или, еще хуже, сделали проституткой, она уже никогда не выйдет замуж. Это такой позор для нее и для семьи, что ей просто нельзя возвратиться домой. Жизнь разбита навсегда. Вот ведь что возмутительно. Почему пострадавшая женщина считается «грязнее» мужчины? Почему ее презирают больше, чем того, кто ее украл, изнасиловал? Почему общество карает ее строже? Ведь оно определяет всю ее судьбу. Я думала, проституция у нас — следствие нищеты и неравноправия, но вы говорите, у вас не лучше.

— Конечно, у нас она не так развита, как здесь. Но все-таки есть. Да и во всех странах, наверно, есть.

— Да, неутешительно... Но ведь было время в Индии, когда проституции не существовало.

— Что же бывает с украденными девушками, которым удается бежать?

— Если они красивы и у них есть хоть небольшой талант, могут устроиться работать в кино. Прежде туда шли почти исключительно женщины легкого поведения. Только в последнее время профессия киноактрисы стала возможной для девушек из хороших семей.

...Но мне пора выходить в холодную ночь, трястись по ухабам в джипе.

Спускаемся в долину, ночевать будем в более сносном климате.

На следующий день — снова в путь.

(Окончание следует)

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

ЧЕЛОВЕК НА ПЕРЕКРЕСТКЕ

Солнце для каждого. Рассказы. Перевод с румынского. Составитель Татьяна Иванова. Москва, «Прогресс», 1964. 302 стр.

Есть в этой книге удивительная история — маленькая повесть Думитру Раду Попеску «Повозка с яблоками». Не раз уже рассказывалось в литературе про то, как провинциальные мальчишки в поисках романтических приключений и первого заработка отправляются в путешествие с бродячим цирком. Многострадальная история румынской деревни наполнила новым содержанием старый сюжет: однажды в Пэтруле мальчишки, раздосадованные невозмутимостью скупых на улыбку крестьян, которых не тронула ни женщина-змея, ни человек, разрывающий руками железные цепи («в Пэтруле было пять кузнецов, которые разрывали цепи руками; и еще был хромой плотник: тот гнул подкову, даже не вынимая изо рта сигарету»), мальчишки Петре и Савел сверх всякой программы изобразили в лицах то, что подсмотрели и запомнили по дороге в это «окаянное село»: волостного старшину, лебезящего перед барыней, надутого жандарма с саблей, блудливого попа с его еще более блудливой попадьей... Пять дней не отпускали их пэтруленцы, мальчишек окликали на улице, подзывали, хотели выведать, не слыхать ли чего насчет земельной реформы. А уже в следующем селе сынки богатеев встретили маленьких циркачей кулаками:

— Что, коммунисты? Политикой занимаетесь?

Так Петре и Савел впервые в жизни узнали, что говорить людям правду, смотреть на жизнь глазами народа, быть хорошим, смелым и веселым человеком — это и значит прослыть коммунистом.

Герцен определил как-то писательскую задачу такой формулой: рассказать о человеке, который стоит на перекрестке истории. Он уточнил при этом: «случайно оказался на перекрестке истории». И почти все рассказы, напечатанные в сборнике «Солнце для каждого», стремятся к этому: поглубже заглянуть в психологию народа, оказавшегося на перекрестке истории, оказавшегося уже не случайно (да и едва ли для целого народа возможна такая случайность), а вполне сознательно, по собственному разумению и выбору.

Медленно, трудно меняется веками сложившийся крестьянский быт и психология— и так же медленно, трудно рассуждают про себя и вслух герои этих рассказов. Не случайно многих из них мы застаем в дороге: едет на базар и постепенно ссорится сам с собой тугодум Финанцу («Осеннее утро» Василе Ребряну); в непривычную, полную тревожных раздумий дорогу — менять в городе паспорт — отправляется тетка Аника («Дорога» Николае Вели). Боюсь, кое-кому из наших сегодняшних, нетерпеливых читателей эти долгие, в чем-то повторяющиеся пути и размышления покажутся слишком долгими и даже утомительными. Но вглядитесь, вчитайтесь повнимательнее — ведь любая дорога (тем более уже известная, пройденная тобой) может показаться и длинной, и скучной, если не почувствуешь, не увидишь, как незаметно, исподволь меняются краски, смещается солнце, и уже новые, незнакомые тебе запахи и звуки заполняют окружающий мир.

У художников Румынии сейчас перед глазами тысячи примеров того, как коммунистическое мировоззрение преодолевает нравственность старого мира. И если роману, требующему самим своим жанром фундаментальных обобщений и выводов, труднее освоить этот неустоявшийся, неостывший материал, то писатели-новеллисты, представленные в этом сборнике в основном молодым и отчасти средним поколениями современной румынской прозы, все чаще и чаще дают нам почувствовать сегодняшнюю натуру: и в первых карандашных набросках

(такова, например, зарисовка молодого Раду Косашу «Суббота, вечер...»), и в таких, уже вполне законченных и самостоятельных живописных картинах, какими представляются мне чуть романтические акварели Фэнуша Нягу или остродраматические этюды Сорина Тителa.

Охотнее всего румынский рассказ обращается к крестьянскому характеру. На то есть немало серьезных причин. И, конечно, первая из них — проверенные опытом многих талантов традиции всей прежней румынской литературы. Да и многие нынешние прозаики росли и воспитывались в деревне — этот личный опыт художника нельзя сбрасывать со счетов. Наконец, следует учитывать и то обстоятельство, что кооперирование сельского хозяйства было одной из самых крупных социальных проблем в послевоенной Румынии. Преображение городов, стремительный рост старых и новых отраслей индустрии за последние годы, формирование пролетарской, социалистической сознательности, обновление интеллигенции — на всем этом, и в немалой степени, сказались те коренные перемены, которые совершались и совершаются сейчас в румынской деревне. И поэтому не желание идти протоптанным путем, а стремление копнуть поглубже, «зреть в корень» заставляет писателя-психолога вновь и вновь возвращаться к медлительному, порой мучительному процессу «переворачивания» крестьянской натуры. Уж коли обновление подняло, захватило, взяло за живое и эту не менявшуюся столетиями натуру — насколько же глубока и значительна историческая целесообразность такого обновления!

Впрочем, рядом с «крестьянскими» рассказами немало картин и совсем иного характера. Я называл уже Сорина Тителa, рассказам которого ближе быт маленького городка, психология молодого рабочего парня. Один из этих рассказов автор назвал «Идиллия», и название это вроде бы возвращает нас к одной из традиций прежней румынской прозы. Лирическими идиллиями о любви бедной крестьянки к благородному оболтусу с хозяйской усадьбы долгое время увлекалась литература так называемых «сеятелей». И поскольку серьезной, реальной почвы для таких идиллий в жизни не было, это направление охотней всего эксплуатировало ложноромантические, туманные формы изображения. Короткая «Идиллия» С. Тителa и выбором героев, и всем стилем повествования откровенно противостоит этой отжившей свой век традиции — как противостоит ей новая, достоверно жизненная и уж совсем не идиллическая, порой трагичная в своей конфликтности романтика Ф. Нягу. Вот, кстати, еще одно объяснение той настойчивой «заземленности», дотошной и обстоятельной до мелочей реалистичности, с которой бытописуют жизнь деревни многие румынские новеллисты.

Мастером современного реалистического рассказа по праву считается Эуджен Барбу. Его имя говорит румынскому читателю не меньше, чем говорят нам имена Сергея

Антонова или Владимира Тендрякова. Наши читатели уже знают его роман «Северное шоссе» и несколько рассказов. В сборнике «Солнце для каждого» их два, особенно запоминается — «Похороны Думитру Александру». И хотя посвящен он событиям довольно давним, но и в нем нетрудно почувствовать тот сосредоточенный психологизм, ту мастерскую «нетронутость», объективную достоверность людей и вещей — словом, как раз то самое «особенное», чем славится Барбу-новеллист и чему охотно учатся у него более молодые прозаики.

Год от года наши читатели все шире знакомятся с современной румынской литературой. Уже не раз — и в Москве, и в Бухаресте — садились за круглый стол советские и румынские литераторы, чтобы обсудить одинаково близкие им проблемы нынешней прозы, поэзии и драматургии. Интересной и плодотворной была оживленная дискуссия о путях и поисках сегодняшнего романа и недавно прошедшая дискуссия о современном герое. Пожалуй, меньше всего повезло на этих творческих встречах рассказу — о нем говорили вскользь. А между тем счастливых, богатых, весьма поучительных находок и открытий в жанре рассказа у нас, в советской литературе, за последние десять лет никак не меньше, чем в любом другом жанре. Так ли это и у наших румынских друзей — судить не берусь, но даже скромные рамки этого (не первого и уж, конечно, не последнего) сборника румынских рассказов позволяют почувствовать многообразие творческой жизни народа и его обновленной литературы.

В каждой стране есть свои излюбленные маршруты для приезжающих гостей. В Румынии впервые приехавшего туриста приглашают прежде всего в Бухарест, потом

везут к морю, потом ему показывают Плоешти, Брашов, Клуж, чудесный горный курорт в Синае... И турист уже не хочет быть просто туристом: ему теперь мало любоваться страной из окошка автобуса. Он хочет поближе узнать людей, вникнуть в их жизнь, почувствовать, а еще лучше — по-дружески разделить их заботы и радости. Он мечтает заглянуть в будни полюбившегося народа, в его душу.

Книжка рассказов «Солнце для каждого» менее всего рассчитана на первое, легкое, туристическое знакомство с Румынией. В ней, кстати, ничего не рассказано ни о Бухаресте, ни о Констанце, ни о многих других чудесных местах, с которых начинается такое путешествие (и, пожалуй, жаль, что не рассказано — картина сегодняшней жизни страны была бы и полнее, и красочнее). Но те, кто хранит в памяти свое первое знакомство с Румынией и с ее литературой, прочтут эту книгу с особым интересом: она позволяет заглянуть в душу своеобразного и талантливого народа, пожить в его буднях, постоять и поразмыслить вместе с его художниками на нынешних перекрестках истории.

ВАДИМ СОКОЛОВ

У ИСТОКОВ КОРЕЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ

Лим Чже. Мышь под судом. Повесть. Перевод с корейского Г. Рачкова. Редактор перевода Л. Коган. Предисловие Б. Рифтина. Комментарии Г. Рачкова. Москва, «Художественная литература», 1964. 244 стр.

Лим Чже, выдающемся корейском поэте и писателе XVI века, дошли до нас устные предания и рассказы его современников полулегендарного и анекдотического характера. Они восполняют биографию писателя, помогают лучше понять его натуру, его конфликт с официальным миром. Если высшая знать не взлюбила смелого писателя — сатирика и юмориста, то для этого было немало оснований. Образ мыслей и образ жизни остроумного, свободного от предрассудков Лим Чже не могли быть по душе феодальной верхушке, цеплявшейся за букву конфуцианской морали.

Из прозаических произведений писателя особенно прославилась его повесть «Мышь под судом», ставшая теперь достоянием и наших читателей. Любовно изданная, книга снабжена иллюстрациями Н. Доброхотовой, которые помогают представить и воспринять тот своеобразный и красочный мир, который раскрывается в произведении Лим Чже. Г. Рачков неплохо справился с нелегкой задачей перевода средневековой корейской повести, сумев передать ее образный строй и сатирический пафос.

В повести Лим Чже речь идет о проделках и преступлениях старой мыши-плутовки, которая вместе с многочисленными родственниками и друзьями-сообщниками водворилась в королевской кладовой. Мышиное семейство бесчинствовало в течение десяти лет, пока Дух — хранитель кладовой не обнаружил катастрофическую утечку зерна. Он мобилизовал свое святое воинство, поймал мышь и предал ее суду. Хитрая и ловкая мышь пустила в ход все свое искусство лживого красноречия и, чтобы снять с себя вину, назвала в качестве подстрекателей и помощников десятки самых разнообразных зверей, птиц, насекомых, растений, среди них был даже лев, который и не водится в Корее. И вот вопреки логике и здравому смыслу Дух — хранитель кладовой, являвшийся и судьей, бросает в тюрьму эту многочисленную армию ложно обвиненных в подстрекательстве. В конце концов наглая мышь объявила подстрекателем самого Небесного Владыку. И тогда разгневанный Владыка приказал судье казнить мышь.

В повести нет действия как такового. Ее содержание состоит в основном из допросов. Привлечение в качестве персонажей произведения восьмидесяти четырех представителей ползающих, летающих и ныряющих, каждый из которых поступает согласно свойственным ему повадкам, в конечном счете не лишенным черт человеческого поведения, дает автору возможность развернуть многообразные картины объективного мира.

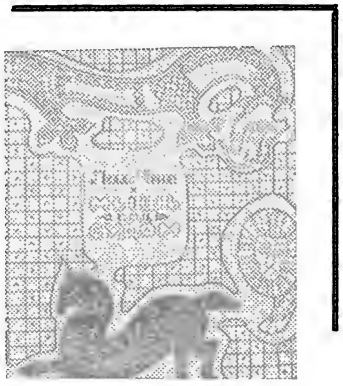
Нет сомнения, что повесть «Мышь под судом» — аллегория современной писателю феодальной Кореи с ее миропорядком. Дух — хранитель кладовой — нерадивый и беспечный феодальный чиновник; выступая в качестве судьи, он действует, как тупой, нерешительный перестраховщик. Сама мышь — это тунеядец и паразит на теле государства и народа. Сатирические стрелы писателя направлены против правящего класса янбаней в целом: против его паразитизма и лицемерия, против индивидуализма и бездеятельности части феодальной интеллигенции. Иногда автор прямо указывает на сходство своих персонажей с людьми определенного социального положения. Таков важничающий, но абсолютно бесполезный жираф, живущий в одиночестве, или редкие птицы павлин и феникс, которых автор сравнивает с учеными-отшельниками, спекулирующими на собственной славе.

Повесть «Мышь под судом» завершается многозначительным заключением, сделанным неким государственным чиновником, ведающим историческими записями. Его точка зрения — это точка зрения самого автора. Хотя в образе мыши порок и зло наказываются, но трезвые и обобщающие заключительные фразы повести говорят о том, что писатель был далек от плоского, поверхностного дидактизма. Повесть заканчивается словами: «Эх, да разве только у этой мыши коварный и подлый нрав?! Право, об этом и подумать страшно!»

Повесть «Мышь под судом» подкупает своей реалистической тенденцией, стремле-

нием писателя широко охватить окружающий мир, отобразить жизнь природы в разнообразных проявлениях, формах, цветах, тонах, звуках. И ему удалось воссоздать ее образы живо, ярко, поэтично и правдиво. Тонкие и меткие наблюдения над жизнью животных и растений — свидетельство стремления писателя изучить действительность непосредственно, на основе личного опыта, являющегося ступенью на пути научного познания мира. И в этом Лим Чже также отличался от конфуцианских ученых-схоластов, явившись одним из ранних провозвестников «школы реальных наук» в Корее, зародившейся в XVII веке и получившей мощное развитие в XVIII веке.

На наш взгляд, «Мышь под судом» — сатирическая, а не философская в собственном смысле повесть. И неправ автор предисловия к повести Б. Рифтин, склонный приписать ей абстрактную философичность. Нельзя согласиться с таким его утверждением: «Персонажи повести взяты не столько из привычного нам мира природы, сколько из художественной, философской и религиозной литературы Дальнего Востока». Думать так — значит, в конечном счете преуменьшать живую связь писателя со своей эпохой и реальной жизнью. Десятки представителей мира флоры и фауны, действующие в повести, интересны сами по себе, без связи с той или иной философской системой. Если некоторые из них и имеют отношение к китайской мифологии, истории и литературе, было бы ошибкой искать в каждом звере, птице, насекомом второй образ или философскую идею. Б. Рифтин же утверждает: «Некоторые персонажи повести как будто не являются носителями какой-либо философии, но о них говорится в трудах представителей той или иной школы». Едва ли о каждом из многочисленных персонажей повести Лим Чже непременно идет речь в философских трудах, а если даже так — это еще не говорит о том, что писатель отталкивался от литературных источников, а не от действительности, самой жизни. Что же касается образов, связанных с художественной, философской и религиозной литературой Дальнего Востока, в повести «Мышь под судом», как и во многих других произведениях корейской классической литературы до и после Лим Чже, они являются формами проявления классических тенденций в широком смысле во всех дальневосточных литературах, и не следует эту особенность, в частности корейской классической литературы в целом, возводить в значение самодовлеющего фактора в повести Лим Чже.



Разумеется, повесть «Мышь под судом» не лишена философского звучания, но искать его надо не в философской и религиозной литературе Дальнего Востока вообще, а в конкретной истории Кореи XVI века, в ее прогрессивной философской мысли. XVI век в Корее — это время расцвета материалистической философии.

Имя Лим Чже наряду с именем писателя XV века Ким Си Сыпа стоит у истоков корейской литературной художественной прозы. Традиция, заложенная ими, была плодотворно развита и продолжена в последующие века: поэтичность прозы Ким Си Сыпа и сатирический пафос прозы Лим Чже оказали прямое влияние на корейские повести XVII—XVIII веков, на ученую и народную прозу.

А. ТЭН

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

ТРАГИЧЕСКОЕ СОЛО

Pierre Gamarra. Solo. Paris, Editeurs Français Réunis, 1964.

Романы и новеллы Пьера Гамарра, многие из которых известны советскому читателю, всегда говорили нам о дружбе, единстве, взаимопомощи. «Соло» — книга об одиночестве. Не о том одиночестве, что испытывает человек, потеряв друга, расставшись с любимой или утратив веру в свою звезду. Но одиночестве полном, абсолютном: рядом *нет никого.* У тебя есть *все*, но ты *один.* Бывает ли так? В новой повести Пьера Гамарра, которую я бы назвала своеобразной фантастической сказкой, такое случилось.

Жан-Пьер Раза сначала жил, как все. Днем работал, вечерами гулял с Кристиной. Любил свою родную Тулузу и даже бакалейную фирму Касселарди, куда устроился, возвратившись с военной службы. У Касселарди служил уже его отец, сначала коню-

хом, потом, после предательского удара копытом одной из своих любимиц, плотником. Жан-Пьер поднялся выше: как представитель фирмы путешествовал по округе, заключая контракты с торговцами на поставку крупы, сахара, пряностей. Дружок его Эмиль Казубон увлекся скобяным ремеслом: у тестя была своя фабричка. Впрочем, Эмиль давно уже перебрался из Тулузы в Ним, и дорожка между сердцами друзей травой-муравой поросла. Да и Кристина, меньше года потешившись радостями семейной жизни, вдруг ушла от Жан-Пьера — ее соблазнили Парижем. Совсем одинок Жан-Пьер. Одинок? Нет, вы еще не знаете, что такое настоящее одиночество. «Я был несчастен, очень несчастен. Вы скажете, что я должен был привыкнуть к одиночеству. До Кристины разве не жил я один? И разве не оставался я часто вечерами один в номере гостиницы?

Нет, нет, я не знал, что такое одиночество».

Настоящее одиночество началось для Жан-Пьера утром 3 июня. Нехотя вылез он из постели, подошел к окну, за которым сияло яркое солнце: день обещал быть хорошим. Улица почему-то была до неправдоподобного пустынна. Утро понедельника, люди должны спешить на работу, детишки в школу, машины должны обгонять друг друга, торопясь проскочить под зеленым глазом светофора. Но улица словно оцепенела. Дома, деревья, застывшие машины и... никого. Наспех одевшись, Жан-Пьер бегом спустился к соседкам, старым девам, которые всегда раздражали его беспрерывным пением. С какой радостью сейчас услышал бы он их голоса! Квартира, как и все другие, была пуста. Ни в доме, ни на улице, ни на площади, куда, задыхаясь, побежал Жан-Пьер, предположив, что какое-то невероятное событие собрало всех жителей города у ратуши,— *никого*. День, второй, третий герой еще надеялся, что все объяснится, все будет, как прежде. Но неумолимая истина встала перед ним: «Вокруг меня исчезло все живое. Я не слышал больше ни человеческого голоса, ни лая собак, ни жужжания пчел, ни чириканья воробьев. Ничего. Все время страшная тишина».

И началось мучительное соло Жан-Пьера. Совсем не похожее на соло скрипки: ее ведь кто-то держит в руках и кто-то слушает. А Жан-Пьер был один, совсем один. Вместе с окружающими исчезли все заботы — не надо было ходить на работу, зарабатывать деньги, стоять в очередях. Продукты, сначала свежие, потом консервированные, можно было брать сколько душе угодно. Деньги лежали в сейфах толстыми, бесполезными пачками. «Все, что находилось вокруг, принадлежало мне. Я был *единственным хозяином*... Поначалу, бывало, я испытывал даже что-то вроде удовольствия. Я один был хозяином, обладателем всего. Никого, кто беспокоил бы меня, мешал бы мне, запрещал то или другое. Достаточно толкнуть или, в крайнем случае, высадить дверь. Можно открывать шкафы, ящики, комоды, рыться, рассматривать, выбирать. Никто меня не схватит за руку, не остановит. Все — мое... Никто меня не проверяет, никто не встанет передо мной и не скажет мне голосом Леона Касселарди: «Мой юный друг, а я не очень доволен вашим последним турне...»

Вечерами Жан-Пьер отдавался своему любимому занятию, на которое обычно не хватало времени: попыхивая отменной сигарой, читал полицейские романы. Но какая сила гнала его с дивана, едва начинало светать? Чего искал он, если обладал всем, о чем мечтал раньше,— квартирой, досугом, сытной едой, хорошей одеждой, даже машиной — выбирай на улице любую! Надежда увидеть снова человеческие лица, услышать привычные голоса прогнала Жан-Пьера не только с дивана, но и из родного города. Он побывал в Нарме, где до рокового дня беспечно мастерил ведра его друг Эмиль, в издевательски пустынной Ницце, добрался до Парижа, разыскал даже след Кристины по ее письмам, хранившимся у сестры. Но к чему все это, если люди бесследно исчезли с лица земли? Только во сне Жан-Пьер отдыхал душой: разговаривал с товарищами по работе, препирался с соседками, гулял по улицам среди шумной нарядной толпы.

Во сне? Нет, оказывается, сном было все остальное. Вернее, не сном, а болезнью. Неведомая болезнь, во время которой люди перестают существовать для тебя, сковала героя. В состоянии болезни и начал он описывать свою странную историю, не надеясь, что ее прочтут. «Читатель? Будет ли когда-нибудь у этой книги читатель? В момент, когда я пишу эти строки, я совсем этого не знаю и совсем не могу надеяться». А читатели, сограждане, люди были рядом и с недоумением смотрели на странного человека, торопливо записывающего что-то в потрепанной тетради. На него смотрели, но он не смотрел ни на кого и никого не видел. Его чувства, мозг парализованы каким-то странным равнодушием по отношению к окружающим.

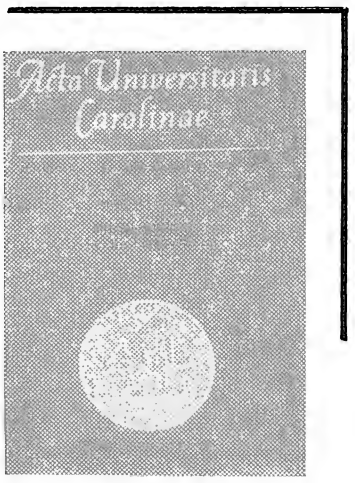
Может быть, и в тебе начинается эта страшная болезнь? Может быть, и тебе совсем безразличны те, кто рядом, ты их не видишь, не замечаешь? Ты стремишься к красивым вещам, любимым книгам, тишине и совсем не стремишься к себе подобным. Берегись, как бы эта тишина не стала зловещей и как бы равнодушие не сыграло с тобой злую шутку — не бросило бы тебя в такое же необратимое одиночество. «Для него мы не существуем,— с тревогой говорят окружающие, глядя на склоненную фигуру Раза,— для него мы фантомы, тени воспоминаний. Но в один прекрасный день фантомы оживут... Чем кончится его история? Это зависит от него, от меня, от нас».

Повесть Пьера Гамарра заставляет подумать о привычной реальности. Трагическое соло героя должно разбудить хор ответных голосов, чтобы победили в нашей трудной реальности дружба, братство, единство, как побеждали они всегда в лучших книгах Пьера Гамарра.

Т. БАЛАШОВА

ТРАДИЦИИ РЕАЛИЗМА

Radegast Parolek. Vilém Mrštík a ruská literatura. Praha, Acta Universitatis Carolinae Philologica. Monographia V. 1964.



Судьба чешского писателя Вилема Мрштика (1863—1912) сложилась трагически. Голодное детство. Одиночество и нищета в гимназические годы. Мечта стать живописцем, от которой пришлось отказаться: не было средств, чтобы получить профессиональное образование. Жизнь литературного поденщика, вынужденного выкраивать минуты для подлинного творчества. Кратковременный успех и долгие годы полузабвения. Медленное угасание в провинциальной глуши. Мания преследования и самоубийство.

Пролетарий пера и демократ, человек бескомпромиссный и страстный, он восстановил против себя не только реакционно-католическую и консервативную критику, но и литераторов буржуазно-либерального толка Затем с ним расходится последний литературный союзник и друг — виднейший чешский критик Ф. К. Шальда. Разрыв с Шальдой был для Мрштика одновременно разрывом со значительной частью литературной молодежи. Писатель оказывается почти в полной изоляции. Круг замыкается.

А после смерти Мрштика толкователями его творчества стали как раз те, кого он считал своими принципиальными противниками. Не удивительно, что критический анализ подменялся фальсификацией и скрытыми нападками. Не пощадил своего бывшего друга и Ф. К. Шальда, которому претил «материализм» его творчества. Низменный натуралист, эпигон Золя, «плохой ученик» русских реалистов, художник, полагающийся на интуицию и потому бросающийся из одной крайности в другую, «не поэт-психолог, а только живописец слова» — таково установившееся мнение о Вилеме Мрштике. Мнение само по себе достаточно противоречивое, но соответствующее тому хаосу противоречий, каким представлялось критикам творчество писателя.

Доцент Карлова университета в Праге Радегаст Паролек в монографии «Вилем Мрштик и русская литература» старается восстановить историческую справедливость, раскрыть истинное значение общественной и литературной деятельности талантливого писателя-демократа. Но книга Паролека — это не только убедительная литературная реабилитация Вилема Мрштика, одного из наиболее ярких и оригинальных чешских критических реалистов конца прошлого века. Исследователь затрагивает более широкие и важные проблемы.

В своем творчестве Вилем Мрштик сознательно опирался на опыт русской реалистической литературы и эстетическую программу русских революционных демократов. Ему же принадлежат первые чешские переводы таких произведений, как «Война и мир» и «Власть тьмы» Толстого, «Униженные и оскорбленные» Достоевского, «Обломов» и «Обрыв» Гончарова, «Боярщина», «Тюфяк» и «Тысяча душ» Писемского. Литературное наследие Всеволода Гаршина, писателя, особенно близкого ему, Мрштик перевел почти полностью.

Вилем Мрштик не был единственным, кто в 80-е и 90-е годы прошлого века пропагандировал в Чехии русский реализм. Присяжными поверенными великой русской литературы считали себя представители либеральной чешской интеллигенции, группировавшиеся вокруг журнала «Час» («Время»). Среди них был будущий первый президент буржуазной Чехословацкой республики Т. Г. Масарик. «Часисты» претендовали на монополию в интерпретации реализма и сделали его не только своим художественным, но и политико-философским символом веры (впоследствии буржуазно-либеральная партия Масарика называлась «реалистической»). Все дело заключалось в том, как понимать русский реализм и реализм вообще, в чем его сущность. Т. Г. Масарик и его сторонники, с одной стороны, и Вилем Мрштик, с другой, отстаивали два разных понимания русского реализма.

«Часисты», опираясь на слабые стороны творчества Толстого и Достоевского, считали главным в русском реализме религиозно-этическую проповедь. Отсюда замалчивание социально-критического начала в творчестве русских реалистов, равнодушие к их художественному новаторству, подмена беспощадной жизненной правды иллюстративностью, назидательностью, идеализацией. Вилем Мрштик, напротив, выдвигает на первое место требование художественной правдивости, типичности — в противовес и натуралистической описательности, и поверхностной тенденциозности,

и морализаторству; он стремится осмыслить художественные открытия русских писателей.

Спор о русском реализме превращался в борьбу за ту или иную ориентацию чешской литературы. Чешские «реалисты»-масариковцы уводили национальную литературу в сторону от решения кардинальных социальных проблем, от живой жизни, от подлинного реализма. Вилем Мрштик своими статьями и такими обличительными произведениями, как пьеса «Мариша» (написанная совместно с его братом Алоисом Мрштиком) и роман «Санта Лючия», способствовал утверждению социально-критических и реалистических тенденций в чешской литературе, за что и получил от своих противников кличку «натуралиста», подражателя Золя, «плохого ученика» русских писателей.

К сожалению, преобладающей в чешской литературе конца века оказалась «часистская», морализаторская концепция реализма, в немалой степени дискредитировавшая его. Это стало одной из причин того, что на переломе веков реалистические традиции в чешской литературе были сильно подорваны. Натуралистические и антиреалистические тенденции получили здесь значительно большее распространение, чем в русской литературе. Чешским реалистам XX века приходилось в своих творческих поисках либо во многом начинать заново, либо в большей степени опираться на завоевания раннего чешского реализма (Б. Немцова, Я. Неруда), чем на опыт своих непосредственных предшественников.

Объяснение этих фактов Радегаст Паролек ищет на путях сравнительно-типологического сопоставления чешского литературного процесса с литературным процессом на Западе, в России и других славянских странах. На Западе после 1848 года, как указывал Ленин, наступает период, когда одна революционность—буржуазная — отмирает, а другая — революционность пролетариата — еще только нарождается. В России задачи буржуазно-демократической революции не были разрешены ни в 1861, ни в 1905 году. Литература надолго осталась средоточием общественной мысли и социального протеста. С этим связан и новый взлет критического реализма и непрерывность революционно-реалистических традиций в эстетике и критике (Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Плеханов, Луначарский, Горький). В Чехии, как и в ряде других славянских стран, буржуазные отношения складываются в условиях национального угнетения. Поэтому острие критики направлено не против «внутренних», а против «внешних турок». Союзники пролетариата в капиталистически развитой Чехии конца XIX века — начала XX века уже не могут претендовать на общественную гегемонию. Но влияние их еще весьма значительно. Между тем буржуазный либерализм оказывает сильное воздействие на мировоззрение демократической интеллигенции, не решающейся примкнуть к пролетариату. Лишь немногим из писателей-демократов удается удержаться на радикальных позициях. Их революционные устремления по преимуществу облекаются в романтическую или просветительскую форму. Сам же реализм в Чехии развивается с опозданием и завоевывает ключевые литературные позиции лишь в 80-х годах XIX века, в период общеевропейского расцвета натурализма и начала распространения настроений декаданса. В результате этого границы, отделяющие его как от натурализма и декаданса, так и от романтизма и просветительства, расплывчаты и нечетки. Социально-критическое начало в нем ослаблено, зато проявляются национально-религиозные, узкоэтнографические, морализаторские тенденции, склонность к идеализации прошлого, а порой и патриархальная сентиментальность.

Выводы, к которым приходит автор книги о В. Мрштике, как подчеркивает и сам он, требуют еще дальнейшей разработки, конкретизации, уточнения, но направление поисков Р. Паролека несомненно интересно и плодотворно. Именно благодаря такой широкой концепции частное историко-литературное исследование приобретает принципиальное теоретическое значение, многое объясняя и в современных литературных спорах. Ведь и сейчас на отношение к реализму в Чехословакии оказывают известное влияние специфические его черты и особенности развития в условиях этой страны.

О. МАЛЕВИЧ

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРИЯ

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ С ВЕНГРИЕЙ

По сообщению австрийской печати, в последнее время усилились культурные связи между Австрией и Венгерской Народной Республикой.

Руководитель австрийского «Литературного общества» доктор Вольфганг Краус недавно гостил у венгерских писателей. Он рассказал, что в нынешнем году в Вене будут проведены два вечера венгерской поэзии. Общество намеревается издать антологию австрийской лирики (на венгерском языке), в которую будут включены также некоторые произведения венгерской поэзии.

В связи с празднованием 600-летия Венского университета его студенческий театр пригласил своих коллег из нескольких стран, в том числе из Венгрии. Недавно на сцене венского студенческого театра выступали студенты Будапештского университета.

АНГЛИЯ

ПЬЕСА О ВСЕОБЩЕЙ СТАЧКЕ 1926 ГОДА

Как сообщает театральный обозреватель газеты «Дейли уоркер», «Юнити-тиэтр», показавший сатирический антивоенный спектакль «Ах, какая великолепная война!», поставленный талантливой Джоан Литтлвуд (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 7, 1963), и другие злободневные разоблачительные постановки, ныне готовит спектакль, основанный на событиях, связанных с всеобщей стачкой в Англии в 1926 году. Полтора года тому назад театр обратился к литераторам и историкам с просьбой помочь в сборе материалов для этой пьесы.

Чарльз Чилтон, автор пьесы «Ах, какая великолепная война!», возглавил группу писателей, работающих над текстом новой пьесы. Союз музыкантов обещал предоставить театру за свой счет симфонический оркестр для этого спектакля. Финансовую помощь предложили несколько профсоюзов и рабочих организаций, поддерживающих идею создания спектакля, отражающего столь важную веху в истории борьбы английского рабочего класса.

В ЛАГЕРЕ ШТРАФНИКОВ

Слепящие глаз бескрайние пески африканской пустыни... Под палящими лучами солнца — группа солдат в полной боевой выкладке. Вверх по холму — вниз, снова вверх — и так несколько часов подряд. Крупным планом — расширенные зрачки, потрескавшиеся от жары губы...

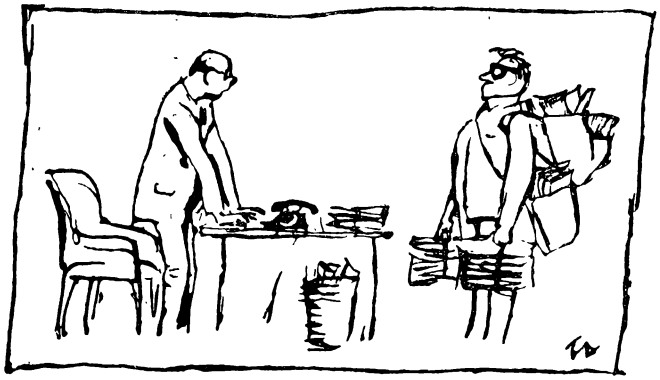
Так начинается фильм «Холм пропащих людей», в котором рассказывается о жестокой, бесчеловечной системе, царившей в лагерях для английских солдат-штрафников, воевавших во время второй мировой войны в Африке. Сценарий фильма был написан известным журналистом Рэем Ригби, который сам провел несколько лет в таком лагере. В главной роли снимался популярный киноактер Шон Коннери; режиссер — Сидней Люмет.

Этот реалистический фильм о бесчеловечном обращении с солдатами был неодобрительно встречен в официальных английских кругах, особенно холодно его приняло военное ведомство, которое поторопилось заявить, что «сюжет явно устарел и отнюдь не заслуживает столь пристального внимания, а актеры откровенно переигрывают...» Однако зрители с интересом встретили эту новую работу кинематографистов.

БОЛГАРИЯ

ОТПРАВИТЕЛЬ: АНРИ БАРБЮС

Еженедельник «Литературен фронт» опубликовал недавно два документа, имеющих отношение к судьбе Наталии Благоевой — дочери болгарского коммуниста



— Товарищ главный редактор! У меня есть все: Сопротивление, отечественная война, строительство, приключенческие романы, научная фантастика, драмы, лирика, детская и юношеская литература... (Рисунок Б. Ангелушева, опубликованный в еженедельнике «Литературен фронт».)

Димитра Благоева. В архивах фашистской полиции были обнаружены анкета, собственноручно заполненная Наталией Благоевой во время ее ареста в 1925 году, и письмо Анри Барбюса к ней, не дошедшее до адресата.

К анкете полицейский следователь сделал следующую приписку: «Задержана 17. IV. 1925 г. в собственном доме. Дочь Димитра Благоева, видного коммуниста, ныне покойного».

Неизвестно, каким путем попало в руки полиции письмо Анри Барбюса. Текст письма следующий:

«Дорогая Наташа Благоева!

Мне передали платочек, который Вы так очаровательно вышили в знак дружбы ко мне. Это свидетельство симпатии с Вашей стороны тронуло меня, и я попросил товарищей переправить Вам это письмо и сказать, что подарок, который Вы мне сделали, хороший сам по себе, имеет еще большую ценность в моих глазах, потому что он выражает симпатию и общность идей. Это еще одна нить, связывающая меня с благородным болгарским народом, для которого так много сделал Ваш замечательный отец. В знак почтения и уважения к большому другу угнетенных, чье имя Вы носите, я сердечно Вас обнимаю.

Анри Барбюс»

«917 ДНЕЙ СМЕРТНИКА»

Эта книга, по словам рецензента еженедельника «Литературен фронт»,— дружеская дань светлой, незабвенной памяти десятков героев, замученных и казненных фашистами.

«917 дней смертника» — книга Ради Радева, антифашиста, почти три года проведшего в Софийской и Пазарджикской тюрьмах. Ему был вынесен смертный приговор, каждую ночь Ради Радев мог ожидать, что откроется дверь камеры и палачи поведут его на виселицу.

Ради Радев знакомит читателя со своими товарищами-коммунистами, с героикой их последних дней. Какой физической выдержкой, духовной твердостью и верой должны были обладать все они, чтобы в нечеловеческих условиях до последней минуты оставаться людьми, борцами, преданными жизни и целям Сопротивления!

Книга «917 дней смертника», по свидетельству рецензента, еще одно красноречивое доказательство стойкости и мужества болгарских коммунистов. Сам автор так говорит о том, что заставило его написать эту книгу: «Мне хотелось почтить память своих товарищей, память особенную, немеркнущую, почтить так, как они того заслуживают. Не знаю, нашел ли я нужные слова. Достаточно ли сказать, что они погибли как герои? Достаточно ли воспроизвести только краткие минуты наших встреч в тюрьмах? Достаточно ли повторить то, что сказали они и что им ответили мы? Раскроет ли это их героизм и величие? Они походили на поднявшихся в атаку солдат...

Героизм похож на солнечный свет. Трудно смотреть на него — он ослепляет, хотя иногда он недолог, как вспышка падающей звезды».

КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ

По инициативе Комитета культуры и искусства Союза болгарских писателей и ЦК комсомола в Софии была проведена национальная конференция молодых литераторов, в которой приняла участие писательская молодежь всей страны.

«Наша современная литература,— сказал во вступительном слове заместитель председателя Союза болгарских писателей Младен Исаев,— не может успешно развиваться без новаторских исканий, без творческих дерзаний. Но этот процесс — не самоцель, и он не может происходить в какой-то абстрактной среде, вне времени и пространства, вне истории и общества.

Новаторский характер нашей современной литературы обусловлен великими идеями, которые способствуют революционному преобразованию действительности. Это коммунистические идеи, идеи социалистического гуманизма, и они сами по себе глубоко новаторские. Отрыв новаторства от здоровой национальной традиции ведет к космополитизму, к национальному обезличению, что совершенно чуждо нашему коммунистическому мировоззрению».

Далее Исаев остановился на рассуждениях некоторых «теоретиков» на Западе «о свободе творческой личности», «о полной автономии творческих работников», «о надклассовом характере литературы и искусства». Все это — лицемерие и фальшь, сказал Исаев. В классовом буржуазном обществе деятели литературы и искус-

Воспитанию «трудных» подростков посвящен новый художественный фильм «Волчица», поставленный болгарским режиссером Рангелом Вылчановым. Действие фильма происходит в воспитательной колонии для девушек. На снимке: кадр из фильма.

(Журнал «Филмови новини»)

ства не могут оставаться вне классовой борьбы, не могут быть свободными и независимыми.

«Никто не ставит и не может ставить перед нашими писателями ограничения: писать только на одну определенную тему,—продолжал Исаев,— однако существуют основные проблемы эпохи, которые жизнь властно ставит перед художниками слова».

Молодые писатели обсудили многие вопросы: об отражении в литературе жизни молодежи, о новаторстве, о сатире, о лирике. Литературная молодежь встретилась с писателями старшего поколения.

ГАНА

«ОСАГЬЕФО ПЛЕЙЕРС»

По сообщению корреспондента журнала «Гана тудей», в стране создано театральное общество «Осагьефо плейерс». Цель его — способствовать культурному возрождению театрального искусства Африки. В состав общества вошли деятели культуры, лекторы Ганского университета, ответственные сотрудники Института искусства и культуры, известные артисты.

По случаю открытия общества в Аккре с речью выступил президент Ганы доктор Кваме Нкрума.

— Как у нас в Гане, так и во всей Африке,— сказал президент,— имеются богатые культурные традиции в области искусства: музыки, драмы, живописи и скульптуры, которые колонизаторы тщетно стремились разрушить.

Задача работников культуры, по словам доктора Нкрумы, состоит в том, чтобы в новых условиях крепить и развивать эти традиции, стремиться к достижению целей, стоящих перед политикой и культурой в Гане.

Президент отметил, что возникновение нового театрального общества наряду с созданными ранее Институтом искусства и культуры, Институтом по изучению проблем Африки, школой музыки и драмы при Университете Ганы, симфоническим оркестром и хором и открываемой в ближайшее время школой работников телевидения и кино является значительным шагом на пути культурного развития страны.

ГДР

В НЕМЕЦКОЙ АКАДЕМИИ ИСКУССТВ

На состоявшемся недавно пленарном заседании Немецкой академии искусств ее президентом был избран известный режиссер, лауреат Национальной премии Конрад Вольф. Вице-президентами избраны Эдуард Клаудиус, Вольфганг Лангхофф, Альфред Курелла и другие.

С докладом о международной встрече писателей в Веймаре и Берлине на пленуме выступил писатель Клаус Кюхенмейстер. Пленум Академии заявил о солидарности с Веймарским воззванием. Решено разослать текст Веймарского воззвания всем литературным академиям и академиям искусств Западной Германии с предложениями совместно обсудить его.

КНИГА О СОВЕТСКОЙ СИБИРИ

«Степи Казахстана, бескрайние поля пшеницы, покоренная Ангара, диспуты в городе науки, сибирская задушевность и сибирское гостеприимство, замечательные люди «страны безграничных возможностей» — обо всем этом рассказано в записках о путешествии в современную Сибирь Бригитты Рейман, рассказано свежо и искренне, с неподдельным восхищением»,— так характеризует рецензент газеты «Берлинер цейтунг» новую книгу немецкой писательницы «Зеленый свет степей», вышедшую в издательстве «Нейес лебен». Книга превосходно иллюстриро-

вана, в ней использованы фотографии Томаса Бильхардта.

Сама писательница говорит следующее: «Текст книги соответствует тексту дневника, который я вела во время путешествия. Я оставила за собой право выбрать то, что меня больше всего увлекло, и описать это более подробно. Из множества цифр и других данных я выбрала то, что может дать читателю представление обо всем увиденном мною, я хотела передать ему то воодушевление и ту жизнерадостность, которые я ощущала в этой стране».

ФРГ

О ПЕТЕРЕ ВЕЙСЕ, ЕГО ПЬЕСЕ «МАРАТ», ТЕАТРАХ И ПОЛИТИКЕ

Имя Петера Вейса года два назад еще не было известно театральной публике. Первая его пьеса «Ночь с гостями» не имела особого успеха; зато второе драматургическое произведение Вейса, премьера которого состоялась на сцене театра им. Шиллера в Западном Берлине, вызвало самые широкие отклики прессы и было удостоено премии им. Лессинга в Гамбурге. Название этой пьесы несколько необычное: «Преследование и убийство Жана-Поля Марата, представленное труппой дома умалишенных в Шарантоне под руководством господина де Сада».

Вслед за театром им. Шиллера «Марата» поставил английский режиссер Питер Брук, городской театр Эссена и в ГДР — Народный театр города Ростока.

Режиссер ростокского спектакля Пертен вывел на первый план Марата, сократив и смягчив обусловленные местом действия всевозможные психопатические эксцессы. Впервые он ввел эпилог, который в других постановках был опущен и отсутствует в печатном тексте. В этом эпилоге, где главные герои подвергают ретроспективному анализу свои действия, подчеркиваются прогрессивные акценты пьесы и отношение автора к событиям. Пертен четко дифференцирует пациентов: они не все помешанные. Исторически известно, что в Шарантон наряду с психическими больными заключали и политических противников. Пертен показывает Шарантон скорее как наполеоновский медконцлагерь, а не как дом умалишенных.

Газета «Нейес Дейчланд» и еженедельник «Зоннтаг» опубликовали интервью с Вейсом, в котором он поделился своим впечатлением от постановки «Марата» Народным театром Ростока: «...Для меня было очень радостно,— сказал Вейс,— увидеть ансамбль, который с таким проникновением отнесся к тексту. Если в первой постановке «Марата» западноберлинским театром им. Шиллера особое значение было придано оформлению, а в лондонском—мрачному освещению жестоких событий, то в ростокской интерпретации на первый план выдвинуто политическое звучание пьесы... Здесь я впервые понял, как должен быть выражен политический заряд, заключенный в драме. Нельзя сказать, что постановка удалась во всех отношениях. Де Сад у ростокцев изображен слишком слабым противником. Зато образ Марата получился гораздо последовательнее и убедительнее, чем в постановках западных театров».

Петер Вейс принимал участие в Международной встрече писателей, состоявшейся в мае этого года в ГДР. Выражая свою солидарность с темой писательского форума, он заявил: «...Я очень сожалею о том, что никто или почти никто из моих западногерманских коллег не нашел сюда дорогу; ибо сегодня надо использовать любую возможность, чтобы прийти к взаимопониманию.

Сцена из пьесы Петера Вейса «Преследование и убийство Жана-Поля Марата...» в постановке Народного театра г. Ростока. В роли Марата — Герд Михеель, в роли Шарлотты Корде — Кристина ван Сантен.

(Журнал «Театер дер цейт»)

Эту выразительную карикатуру на западногерманскую прессу поместила дюссельдорфская «Дейче фольксцейтунг». «Дама» изображает одну из самых «представительных» газет — «Бильд цейтунг». Рисунок снабжен следующей подписью: «Мораль, правда, ответственность — на это не проживешь!»

Для нас, тех, кто живет и работает в западном мире, распространение правды, о котором говорит Брехт, связано с большими трудностями. Сначала нам надо преодолеть первую трудность — найти эту правду. Но уж если мы ее нашли, то должны действовать, как партизаны, чтобы распространить эту правду».

Западногерманская реакционная пресса обрушилась на Вейса с нападками за его участие в этой встрече. «...Ненависть к большевикам, которую питают в ФРГ, и расовая ненависть нацистов—родные сестры,— заявил в связи с этим Вейс корреспонденту шведской газеты «Стокгольмс тиднинген».— Писатель не имеет права быть нейтральным, и уж тем более, если он пишет на немецком языке. Это было бы слишком удобно. Я предпочитаю оказаться непонятым, нежели пойти удобным путем...»

ИЗДАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БЕХЕРА

Впервые в Западной Германии выпущен том избранных произведений Иоганнеса Бехера. Книга вышла в Висбадене, в издательстве «Лимес-ферлаг».

«Мы хотим представить читателю все творчество Бехера, показать его развитие в разные периоды жизни,— говорится в проспекте издательства.— Мы хотим проследить, какой резонанс вызвало его творчество у таких писателей, как Брехт, Ганс Каросса, Георг Лукач, Томас Манн, Борис Пастернак и другие».

Газета «Франкфуртер альгемейне цейтунг» откликнулась на появление книги Бехера статьей под броским заголовком «Возвращение немецкого писателя». «Впервые западногерманское издательство сняло табу с имени одного из значительнейших поэтов нашего столетия,— пишет литературный обозреватель газеты.— Несмотря на то, что подбор произведений не дает полного представления о писателе, эта маленькая книжка являет собой большую ценность. Это первая попытка вернуть западногерманской литературе большого писателя».

ИНДИЯ

ФИЛЬМ ОДНОГО АКТЕРА

С интересом встретил индийский зритель новый художественный фильм «Воспоминания» — режиссерский дебют популярного киноактера Сунила Датта. Он же исполняет единственную в этой картине роль. Автор сценария — известная киноактриса Наргис.

По свидетельству критики, сегодня для работ многих деятелей национального кино, особенно молодых, характерны активные творческие поиски. И среди них несомненный интерес представляет необычный эксперимент Сунила Датта, создавшего фильм одного актера.

«Воспоминания»—это психологический кинорассказ о типичном представителе молодого поколения современной Индии. Он, казалось бы, любит свою семью, много работает для ее благополучия, у него хорошие друзья. Так, во всяком случае, он привык думать. На самом деле все обстоит совершенно иначе. Однажды, придя домой, он обнаруживает, что жена и дети навсегда покинули его. И только теперь, оставшись наедине со своими воспоминаниями, которые волнуют и пугают его, он начинает осознавать трагедию своей жизни. Он бредет на кухню, заходит в спальню, заглядывает в детскую, смотрит на игрушки, останавливается перед картинами, развешанными на стенах... Ему чудятся голоса жены, детей, друзей. Восстанавливая в памяти картины ушедших дней, герой пытается рассказать зрителю о том, что он потерял.

«Воспоминания» — ценный эксперимент»,— так охарактеризовал работу Сунила Датта рецензент журнала «Филмфэр».

Сунил Датт — исполнитель главной и единственной роли в фильме «Воспоминания».

(Журнал «Филмфэр»)

ИРАК

СТИХИ РАШИДА АЛЬ-ХАШИМИ

Вышел из печати сборник стихотворений крупного, но почти забытого иракского поэта Рашида аль-Хашими (1896—1943 гг.), произведения которого при жизни не публиковались. Сборник подготовлен молодым иракским поэтом и исследователем литературы Абдаллахом аль-Джабури.

Аль-Хашими был талантливым поэтом, призывавшим в своих стихах к борьбе за освобождение арабов от иностранных поработителей. За свои свободолюбивые произведения аль-Хашими подвергался преследованиям и был выслан властями из Ирака. Последние семнадцать лет своей жизни поэт провел в больнице для душевнобольных. Иракский литератор Джалиль аль-Атыйя пишет в журнале «Аль-Адиб», что издание стихов Рашида аль-Хашими — «лучший памятник покойному поэту».

ИСПАНИЯ

ПОД ПРЕДЛОГОМ ЭКЗАМЕНОВ...

Недавно Генеральная ассоциация студентов Женевы обвинила правительство Испании в том, что оно по политическим соображениям запретило испанскому университетскому театру показать в столице Швейцарии пьесу Лопе де Вега «Фуэнте Овехуна».

Постановка испанскими студентами пьесы Лопе де Вега заслужила всеобщее признание и получила «Большой приз» на международном фестивале университетских театров в Амстердаме. Вскоре после этого успеха коллектив студенческого театра выехал на гастроли. Его первое представление должно было состояться в Женеве. Однако по времени эти гастроли совпали с массовыми выступлениями студентов в самой Испании и усилением борьбы трудящихся за свои жизненные права. Видимо, это обстоятельство, а также горячий прием, который был оказан испанским студентам в Амстердаме и Женеве, не на шутку встревожили правительство Франко. Тем более что во время спектакля герои «Фуэнте Овехуна» выходят на сцену в более или менее современных костюмах. Особенно сильную реакцию зрителей вызывает гражданская гвардия, чье появление на сцене живо напоминает сегодняшнюю Испанию.

Правительство Франко приказало студентам отменить все спектакли и возвратиться в Испанию под предлогом предстоящих вскоре экзаменов. В противном случае оно пригрозило всему коллективу университетского театра высылкой из страны.

Так были сорваны гастроли испанского университетского театра в Женеве, в Риме и в других столицах Европы, где предполагались выступления этого коллектива. Студенты поехали «сдавать экзамены».

ИТАЛИЯ

МОРАВИА О «КРИЗИСЕ РОМАНА»

В связи с выходом в свет в издательстве Бомпиани нового романа Альберто Моравиа «Внимание» писатель дал интервью корреспонденту миланской газеты «Корьере делла сера», в котором высказался по некоторым вопросам творчества. Ниже следуют выдержки из интервью.

Корреспондент: Чего вы, как автор, ждете от читателей своего нового романа?

Моравиа: Мне бы хотелось, чтобы они сумели увидеть все его многочисленные, сложные смысловые аспекты. По правде сказать, современный читатель, по сравнению с прошлыми временами, заметнее обнаруживает стремление постигнуть их, и это видно по растущему успеху книг очеркового характера. Сейчас читают скорее для того, чтобы удовлетворить какие-то определенные запросы, чем просто для развлечения. Но это, разумеется, не означает, что книга не должна к тому же служить развлечением.

Корреспондент: Можно ли, по вашему мнению, утверждать, что существует кризис романа?

Моравиа: Кризис налицо, но это кризис романистов, поскольку почти все считают, что существует некий «жанр» романа, а ведь такое определение применимо лишь к роману прошлых времен. Романисты переживают кризис постольку, поскольку не отдают себе отчета, что проблема не в том, чтобы непременно создать роман, а скорее в том, чтобы высказаться — не важно в какой форме.

Я хочу сказать, что роман завтра может, видимо, стать чем-то совершенно отличным от того, как мы представляем его себе сегодня, т. е. стать монологом, диалогом, очерком, иносказательной гиперболой, вообще говоря, чем угодно. Другими словами, кризис состоит в ломке старых схем романа и в наличии практически неограниченной возможности появления новых. Кризис романа, впрочем, аналогичен кризису всех искусств вообще: он, вероятно, мог бы завершиться и гибелью романа, как жанра, но я этого не думаю, потому что роман-то ведь пишется, а писать, по-моему, будут всегда, даже если придет конец живописи и сочинению музыки.

Если говорить о моем личном мнении, то я склонен считать, что наиболее прочное будущее обеспечено роману очерковому, так как выдумать можно все что угодно, но только не мысль, когда таковой нет.

ПУШКИН ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ

Пресса уделяет большое внимание новому телеспектаклю в шести частях по «Капитанской дочке». Повесть Пушкина хорошо знакома не только итальянским читателям, но и кинозрителям — в свое время ее экранизировали, один за другим, два видных кинорежиссера — Марио Камерини и Альберто Латтуада.

Умберто Орсини (Гринев) и Лючилла Морлакки (Маша) в телепостановке «Капитанская дочка».
(Журнал «Вие нуове»)

Поставил телеспектакль, который демонстрируется в течение шести вечеров, Леонардо Кортезе — в 40-е годы один из известных итальянских киноактеров, а ныне режиссер, успешно работающий в кино и на телевидении. Роли исполняют очень популярные в Италии артисты театра и кино: Амедео Надзари играет Пугачева (в этой роли в 1947 г. он снимался в фильме Камерини), актриса Лючилла Морлакки — любимица итальянских телезрителей — играет Машу, Умберто Орсини — Гринева, Альдо Джуфре — Швабрина, Андреа Чекки — капитана Миронова, Лилла Бриньоне — Василису Егоровну. Постановщик несколько расширил рамки повести — он использовал также материал из «Истории Пугачевского бунта».

«Показать по телевидению «Капитанскую дочку»,— рассказал корреспонденту газеты «Унита» Леонардо Кортезе,— предложил я сам, прежде всего потому, что после довольно долгого пребывания в Советском Союзе (Кортезе участвовал в создании советско-итальянского фильма «Они шли на Восток», поставленного Де Сантисом) я чувствовал горячее желание достойным образом засвидетельствовать то искреннее восхищение, которое я испытываю перед этой великой страной и русским народом, а также потому, что Пушкин, как мне кажется, наиболее полно и глубоко выражает то, что обычно зовется «русской душой». Естественно, при осуществлении этого замысла мне пришлось несколько изменить первоначальное развитие действия в «Капитанской дочке», расширив границы того, что могло бы, быть может, показаться на первый взгляд банальной любовной историей: я стремился передать эпический рассказ о подвигах Пугачева — крестьянского бунтаря, возглавившего народное восстание против Екатерины».

ОАР

«ДОМ С ДУРНОЙ СЛАВОЙ»

Писатель Нагиб Махфуз известен, главным образом, как романист, запечатлевший в своих романах историю Египта на протяжении первой половины XX века и события наших дней, связанные с переходом ОАР на путь коренных преобразований. Махфузу принадлежит видное место и среди арабских новеллистов. Всего опубликовано три сборника его рассказов, из которых первый — «Шепот джиннов» — появился еще в 1938 году, второй — «Мир Аллаха» — в 1963 году, а третий под названием «Дом с дурной славой» вышел совсем недавно.

Новым рассказам Махфуза посвящена статья критика М. А. Аль-Алима в журнале «Аль-Мусаввар». По словам автора статьи, новые рассказы Махфуза, как и прежние, носят характер социальной критики, и если в своем первом сборнике писатель обличал главным образом нравы египетской аристократии, то теперь он бичует пороки буржуазии. Однако новые рассказы Махфуза гораздо глубже по проблематике. В своей основе они, как и последние романы писателя, философичны, хотя философские вопросы ставятся в них не абстрактно, а вытекают из самого действия рассказов.

Однако, замечает Аль-Алим, в некоторых рассказах Нагиба Махфуза судьбы героев часто определяет некая таинственная сила, рок, что снижает силу их воздействия на читателя.

ПАКИСТАН

ФИЛЬМ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЙ ПОХВАЛЫ

На экраны страны вышел фильм режиссера Кхалила Кайзера «Фаранджи», созданный по сценарию Риаза Шахеда.

Это исторический фильм, посвященный борьбе народа против английских империалистов. Действие его развертывается на рубеже прошлого и нынешнего столетий, когда англичане решили проложить дорогу между Индией и Афганистаном по земле, принадлежавшей одному из племен.

В центре фильма — судьба местного жителя, призванного в английскую армию. Поняв истинный смысл политики британских правителей, он при первой возможности дезертировал из армии, поклявшись до конца бороться против колонизаторов. Враги схватили солдата, военно-полевой суд приговорил его к расстрелу. Но солдату удалось бежать. Вместе с людьми своего племени он продолжал борьбу. Англичане, несмотря на террор и убийства, так и не смогли построить дорогу.

По словам рецензента журнала «Иллюстрейтид уикли оф Пэкистан», этот патриотический фильм Кайзера заслуживает всяческой похвалы и поддержки.

ПОЛЬША

АПЛОДИСМЕНТЫ В СТУДЕНЧЕСКИХ ТЕАТРАХ

В Варшаве прошел III студенческий театральный фестиваль, которому посвящен обзор Богдана Ролинского в газете «Трибуна люду».

Много нового можно было увидеть на этом фестивале, пишет обозреватель. Если раньше модными были сатирические программы, «капустники», то теперь устремления и тематика студенческих коллективов намного разнообразнее и богаче. Все это свидетельствует о том, что студенты не оставили своих творческих поисков.

Наряду с театрами поэзии в настоящее время одно из важных направлений студенческого театрального искусства — документальный, публицистический театр. Яркий тому пример — «Студенческий политический театр» в Кракове. В его программе используются подлинные газетные тексты, стенограммы процессов над нацистскими преступниками, отрывки из рассказов Тадеуша Боровского о лагерях смерти.

На фестивале обнаружилось новое направление в студенческой самодеятельности — обращение к классической драматургии. Так, вроцлавский «Каламбур» поставил «Сапожников» Станислава Виткевича, а краковский «Театр 38»—комедию Габриели Запольской «Мораль пани Дульской». И здесь, по словам обозревателя, студенты проявили много хорошей выдумки, не старались слепо копировать признанные театральные образцы. Много интересного показали студенты из вроцлавского театра пантомимы «Гест».

Составной частью III студенческого театрального фестиваля был Международный фестиваль студенческих театров. Варшава принимала студенческие театральные коллективы из Мексики, Венесуэлы, Аргентины, представителя студентов Австралии. Перед польскими зрителями выступил студенческий Театр миниатюр из Томска.

«К каким выводам приводит сравнение польских студенческих театров с зарубежными? Мы можем,— пишет далее Ролинский,— без опасения показывать польский студенческий театр, потому что он — живое, полнокровное свидетельство постоянно растущей в нашей стране молодежной культуры».

Хорошей традицией стали в Польше проводимые ежегодно Дни просвещения, книги и печати. На снимке: писатель Ярослав Ивашкевич надписывает свои произведения на книжном базаре.

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПИСЬМА МИЦКЕВИЧА

Недавно в Париже, по сообщению Польского агентства печати, найдены новые архивы, относящиеся к так называемому «парижскому периоду» жизни Адама Мицкевича (1840—1855 гг.). В их числе — два до сих пор неизвестных письма поэта. Первое из них адресовано французскому министру просвещения и содержит предложения Мицкевича относительно составления каталога славянских рукописей в парижской Королевской библиотеке. Второе письмо поэт направил президенту республики Луи Наполеону по поводу прошения о натурализации.

Письмо к Луи Наполеону, датированное 1852 годом, а также другие документы из полицейских архивов свидетельствуют о том, что в годы своего пребывания в Париже Мицкевич находился под постоянным надзором полиции, а вся его деятельность тщательно контролировалась. Не удивительно, что многолетние попытки поэта получить французское гражданство не увенчались успехом.

Особенно внимательно полиция следила за поездкой поэта в Константинополь. Было заведено специальное досье, озаглавленное «Миссия в Турцию». Среди обнаруженных архивов находится переписка третьих лиц, связанная со смертью поэта в Константинополе и с его похоронами.

Найдены, кроме того, письма русских поэтов Николая Полевого и Петра Вяземского к Мицкевичу, свидетельствующие о том, что дружба, возникшая во время пребывания великого польского поэта в России, продолжалась многие годы.

НОВЫЙ ФИЛЬМ СТАВИНСКОГО

Советские зрители недавно имели возможность увидеть фильм, поставленный писателем Ежи Стефаном Ставинским,— «Разводов не будет». Как сообщает печать, на экраны польских кинотеатров вышел новый фильм — «Пингвин», в котором Ставинский снова вы-

Кристина Конарская в одном из эпизодов кинофильма «Пингвин». *(Еженедельник «Фильм»)*

ступает в качестве режиссера, осуществившего экранизацию своей повести.

Пингвином прозвали героя фильма, студента политехнического института. Он безнадежно влюблен в красивую девушку, окруженную множеством поклонников, которые своей внешностью и возможностями оставляют далеко позади неудачливого Пингвина. Однако в определенных жизненных обстоятельствах герой доказывает, что своими моральными качествами он намного превосходит «блистательных» соперников...

Кинокритик Збигнев Питера, который выступает на страницах еженедельника «Фильм» с рецензией на эту картину, пишет, что это кинопроизведение — новый шаг в творческой работе Ставинского - режиссера. «Стиль Ставинского несколько шероховат,— пишет Питера,— но это нам не мешает. Потому что Ставинский умеет наблюдать и остроумно, тонко рассказывать об увиденном. А поскольку он каждый раз рассказывает об очень интересных вещах, ему нет необходимости стремиться к гладкости стиля».

Режиссер умеет, по словам рецензента, подбирать на роли основных героев молодых, талантливых актеров. Так, в фильме «Разводов не будет» он «открыл» Магду Завадскую, а в «Пингвине» — Анджея Козака в заглавной роли и Кристину Конарскую в роли девушки, в которую влюблен герой.

В целом Ставинский верен в своих фильмах главной теме — изображению жизни современной польской молодежи.

ПОРТУГАЛИЯ

ПРЕМИЯ — УЗНИКУ

Недавно решением министра национального образования Португалии Гальвао Тельеса была распущена ассоциация писателей страны. Что же послужило причиной для этого репрессивного акта? Ответ на вопрос дал сам португальский министр. Дело в том, что специальное жюри ассоциации присудило литературную премию писателю Жозе Матеусу де Гераса за его новеллу «Луанда».

Жозе Матеус де Гераса известен своими выступлениями против колониальной авантюры правительства Салазара в Африке. Об этом же говорится и в его произведении, уже одно заглавие которого не могло, конечно, не вызвать неприятных ассоциаций у португальского правительства. Ведь именно в Луанде несколько лет тому назад вспыхнуло восстание против португальского господства в Анголе, которое положило начало национально-освободительной борьбе анголезцев за свободу и независимость.

Правительство поспешило обвинить автора «Луанды» в так называемых подрывных действиях, направленных против безопасности государства, и заточить его на 14 лет в тюрьму. И уж, конечно, оно никак не ожидало, что узнику Жозе Матеусу де Гераса будет присуждена за это произведение премия, которая по сути дела явилась протестом португальской интеллигенции против насилия, совершенного над писателем.

Любопытно, что как только было объявлено о роспуске ассоциации писателей Португалии, группа фашиствующих молодчиков не без ведома министерства внутренних дел тотчас же напала на помещение, занимаемое ассоциацией, и подвергла его варварскому разгрому. Полиция, как всегда в таких случаях, прибыла на место происшествия слишком поздно, чтобы помешать этому бандитскому налету и задержать хулига-

нов. Так власти «отомстили» писателям Португалии за то, что они присудили премию писателю — политическому заключенному.

РУМЫНИЯ

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ТРУД ПО ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ

Вышел первый том «Истории румынской литературы». Это — часть фундаментального труда, составленного большим коллективом авторов во главе с известным писателем и литературоведом академиком Дж. Кэлинеску. В работе над первым томом участвовали, помимо филологов, специалисты в области фольклора, историки, искусствоведы. Хронологически том охватывает весь средневековый период (1400—1780 гг.).

Том включает очерк Дж. Кэлинеску «Литературное мастерство в произведениях фольклора».

Рецензент газеты «Скынтейя» называет выход первого тома «Истории румынской литературы» «выдающимся достижением румынского литературоведения».

НОВЫЙ РУМЫНСКИЙ БАЛЕТ

Композитор Михаил Жора, один из основоположников балетной музыки в Румынии, создал новый балет «Возвращение из глубин». В основу балета легло поэтическое сказание о любви юноши и девушки из добруджского села, которые в день свадьбы, следуя старинному обычаю, отправляются в море. Но море неспокойно. Волнение усиливается, подымаются огромные волны, и одна из них уносит девушку.

Композитор ввел в балет танцы, навеянные фольклором Добруджской области. Они отличаются богатством мелодий и разнообразием ритмов. Впечатляюща картина бури, в которой композитор широко использует ударные инструменты.

Михаил Жора—автор нескольких балетов: «На рынке», «Старый двор», «Когда созревает виноград». Балет «Возвращение из глубин», по словам самого автора, он считает главным творением своей жизни.

США

«ВРЕМЯ РАБОТАЕТ НЕ НА НАС!»

В Нью-Йорке вышли две документальные книги о вьетнамских событиях американских журналистов Д. Хальберштама — «Что произошло под Квагмиром» и М. В. Брауна — «Новое лицо войны». Оба автора несколько лет провели во Вьетнаме и написали ряд репортажей о воснных действиях в этой стране. И хотя оба журналиста поддерживают внешнюю политику Вашингтона, они не могут не видеть всей безнадежности затеянной во Вьетнаме военной авантюры. Хальберштам и Браун стараются в своих репортажах ответить на вопрос, чего же добились янки во Вьетнаме. Оба они сходятся на том, что на такой вопрос можно дать лишь крайне неутешительный ответ: практически ничего, кроме грандиозной потери престижа и непрерывных неудач.

Американские газетчики хорошо осведомлены обо всем, что касается интервенции войск США во Вьетнаме. Поэтому небезынтересен вывод, к которому они приходят, проанализировав последние события в этой стране: «Война во Вьетнаме связана с большими трудностями, она стоит жизни многим американцам, а самое главное — время работает не на нас!»

ПРИШЛА ПОРА ЗАДУМАТЬСЯ...

В связи с окончанием 80-го сезона в нью-йоркском оперном театре «Метрополитен опера» театральный обозреватель газеты «Нью-Йорк таймс» Гаральд Шонберг выступил с двумя статьями: «Метрополитен» заканчивает сезон печальным аккордом» и «Ни славных традиций, ни смелого эксперимента».

«Репертуар театра прямо обусловлен кассовыми сборами, постановки ведутся по шаблону, исполнение находится либо на среднем уровне, либо значительно ниже его, и даже приглашенные высокооплачиваемые «звезды» не сумели выправить положения. Словом, не ощущается единого режиссерского замысла и тонкого художественного вкуса»,— писал Шонберг.

Репертуар театра, продолжал обозреватель, в прошедшем сезоне носил своеобразный «иностранный» характер (было поставлено 13 опер итальянских композиторов, 5 немецких, 3 французских и 2 английских).

«Зритель ожидает от «Метрополитен» высокохудожественных постановок, интересного и содержатель-

Сцена из балета «Возвращение из глубин».

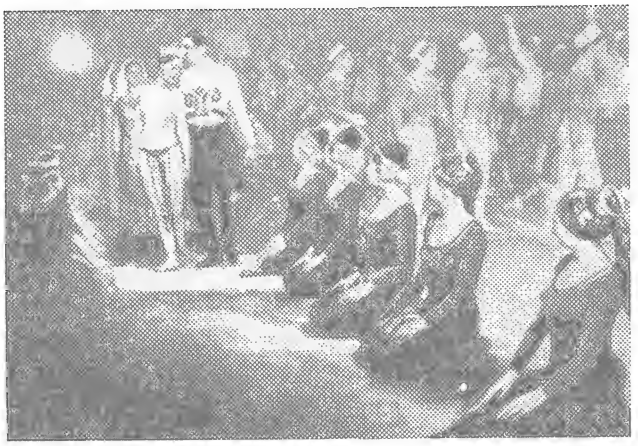


Рисунок из нового альбома Антона Рефрежье: «Любит — не любит...»

(Газета «Пиплз уорлд»)

ного репертуара,— писал в заключение Шонберг,— а вместо этого ему предлагают беспорядочную серию зрелищ, которые в силу конъюнктурных соображений зачастую готовятся наспех... Вот и получается, что «Метрополитен», который должен являться средоточием музыкальной мысли, представляет собой музыкальный театр средней руки, не имеющий хороших традиций и в то же время не рискующий заняться экспериментом... Пришла пора задуматься о коренной перестройке».

РИСУНКИ АНТОНА РЕФРЕЖЬЕ

В нью-йоркском издательстве «Интернейшнл паблишерс» вышел альбом рисунков известного американского художника Антона Рефрежье под названием «Путешествие художника». Этот цикл — результат поездки Рефрежье в Советский Союз, Румынию, Болгарию и Германскую Демократическую Республику.

По словам рецензента газеты «Пиплз уорлд», в этом цикле преобладают работы, изображающие женщин и детей: первый рисунок в альбоме — будущая мать, последний — мать, обнимающая ребенка. Здесь — румынские девочки, играющие в песке, на берегу Черного моря, русская девочка, кормящая голубей на Красной площади, молодая цыганка... Здесь и наброски памятников, относящихся ко второй мировой войне,— напоминание о преступлениях нацистов.

В кратком вступлении Рефрежье предлагает свои работы в качестве вклада в дело «взаимопонимания, которое приблизит нас к прочному миру». «И это так,— замечает рецензент.— Альбом Рефрежье — декларация любви к народам социалистических стран, к их жизни, к их труду, к их надеждам, к их будущему».

УГАНДА

ПЕРВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Как сообщает журнал «Африкен уорлд», в столице Уганды городе Кампале открыта первая в стране художественная галерея «Номмо гэлери». Там выставлены произведения 34 художников, главным образом из Восточной Африки, которые живут и работают в Уганде.

Доходы от галереи идут в фонд, который будет расходоваться на развитие искусства, стипендии молодым и помощь нуждающимся художникам, на организацию выставок произведений искусства других стран.

ФИНЛЯНДИЯ

ЮБИЛЕЙ АКСЕЛЯ ГАЛЛЕН-КАЛЛЕЛЫ

Финская общественность широко отметила столетие со дня рождения выдающегося художника Финляндии Акселя Галлен-Каллелы — одного из группы финских художников, помогавших А. М. Горькому скрываться в 1906 году в Финляндии от царских жандармов. Финская пресса, в том числе газета «Кансан уутисет», подчеркивает неоценимое значение творчества Галлен-Каллелы для изобразительного искусства Финляндии. Закончив обучение в Париже и Берлине, художник посвятил себя преимущественно реалистическому изображению труда и быта простых людей своей родины. Рыбаки, торппари-арендаторы и другие труженики — любимые герои Галлен-Каллелы.

Портрет банщика Ёонаса из Экола работы Галлен-Каллелы..
(Газета «Кансан уутисет»)

Модернистские течения в искусстве, распространившиеся в Финляндии на рубеже XIX—XX столетий, оказали влияние и на реалистическое по своему существу творчество художника. К этому периоду относятся известные графические работы Галлен-Каллелы по мотивам карело-финского народного эпоса «Калевала», лирических рун «Кантелетар» и романа Алексиса Киви «Семеро братьев». Но наряду с декоративно-символистскими работами Галлен-Каллела создает в это время и реалистические портреты Горького, известной финской актрисы Иды Аальберг и ряд других.

Как сообщает корреспондент газеты «Кансан уутисет», на юбилейных выставках Галлен-Каллелы в финской Национальной галерее и в доме-музее художника Терваспяя преобладали малоизвестные и ранее не экспонировавшиеся произведения художника. Корреспондент отмечает большой интерес финской общественности к работам Галлен-Каллелы.

ФРАНЦИЯ

«ПРЕДАНИЕ СМЕРТИ»

В издательстве Галлимара вышло новое произведение Луи Арагона «Предание смерти». «Ничего подобного еще никогда не было написано»,— утверждает Роллан Пьер в еженедельнике «Юманите-диманш». «Последняя книга Арагона опрокидывает традиционную структуру современного романа,— отмечает Жак Анрик в еженедельнике «Франс-нувель»,— автор пренебрегает модными теориями и создает новый жанр, не поддающийся какой бы то ни было классификации». «Эта книга,— пишет критик,— и роман, и поэма, «разделенная мечта», роман о романе, собрание воспоминаний, опера и симфония, обширное любовное послание, фантастическая сказка, басня и притча. Она написана и о современном реализме «с его трудностями, с его противоречиями и проблемами».

«В чем же, собственно, заключается сюжет моей книги? — говорит сам Луи Арагон.— Человек, потерявший свое отражение, жизнь Антуана Знаменитого и Ингеборг, поэзия, реализм или ревность? Ни то, ни другое и в то же время, конечно, все это вместе».

...Известный писатель Антуан Знаменитый любит замечательную певицу Ингеборг д'Ушер. До встречи с ней он был другим человеком и даже носил другое имя: его звали Альфредом. Изумительный голос, искусство пения и человеческое обаяние Ингеборг совершили чудо: Альфред утратил «субъективное ощущение вещей» и стал видеть мир «объективно»; ему открылось существование других людей, их радостей и страданий; писатель Альфред становится писателем Антуаном, обращается к реализму. Эта метаморфоза имеет в романе и аллегорическое выражение: когда Альфред смотрится в зеркало, он не находит в нем своего отражения. Альфред превращается в Антуана, преодолевает свой индивидуализм и эгоцентризм. Он откликается на все, что происходит в мире. Его волнует смерть Горького, война в Испании, наступление фашизма в Европе 30-х годов. Именно эта трагическая действительность, со всем, что в ней есть грозного и прекрасного, насыщает и творчество Ингеборг д'Ушер. Поэтому любовь к ней и стала источником вдохновения для писателя-реалиста Антуана Знаменитого. Но Антуан знает о том, что в нем живет и прежний Альфред. Двойственность главного героя получает в романе аллегорическое воплощение: Антуан и Альфред как бы становятся раздельно существующими персонажами, они беседуют друг с другом, становятся соперниками в любви к Ингеборг. Ингеборг любит только Антуана. Альфред для нее не существует, так как в любимом она хочет видеть только тот образ, который ей нравится. Альфред, мучимый ревностью, решает убить Антуана. Но в тот момент, когда он ударяет соперника, под его рукой разлетаются осколки разбитого зеркала, которые ранят его...

По мнению Роллана Пьера, в «Предании смерти» три героя: Альфред, Антуан и сам Арагон, и эти три персонажа—три отражения разных аспектов личности писателя. Действительность сложна, люди многолики; Арагон мечтает о мире, в котором сможет осуществиться цельность личности человека, когда ее многоликость будет не противоречивой, не разрушающей, а обогащающей, творчески созидающей,— таков, с точки зрения критика, главный вывод из нового произведения Луи Арагона.

«ПОДОБИЕ ГИТЛЕРОВСКОГО АДА...»

На экранах страны демонстрируется новый фильм кинорежиссера Жан-Люка Годара «Альфавиль», вызвавший оживленные отклики в прессе.

В фильме рассказывается о фантастическом городе, которым руководит электронно-вычислительная машина, Великий Управитель Альфа-60. Альфавиль достиг небывалого технического прогресса, следуя советам своего электронно-

го мозга. Это особый мир, где царят спокойствие и логика. Запрещены слезы, смех и любовь. Из последнего издания словарей разрешенных слов исчезли признанные «опасными» слова: совесть, почему, нежность, плакать, любить.

Великий Управитель Альфа-60 допрашивает жителей в своей камере-башне. Мгновенные вычисления машин решают судьбу каждого. Диктатура Великого Управителя полностью обезличила людей. Те же, кто прибывает извне, постепенно ассимилируются. Не желающие или не могущие признать законы, господствующие в Альфавиле, попросту уничтожаются.

...В космический порт города прилетает с другой планеты тайный агент Леми Косьон. Белокурая Обольстительница третьей категории указывает ему комнату в отеле... В дальнейшем Косьона сопровождает дочь ученого, создавшего и Альфа-60 и самый Альфавиль.

Девушка ведет Леми на Праздник уничтожения мятежников в городской бассейн. На край трамплина ступает очередной мятежник; его «преступление» — оплакивал умершую жену... Выстрел — и он падает в воду. Девушки-спортсменки в бассейне под аплодисменты топят раненых.

Косьона разоблачают и арестовывают. Он спасается, испортив машину Альфа-60, и покидает город вместе с девушкой, которую полюбил; она учится произносить запрещенные слова «я тебя люблю»...

В еженедельнике «Леттр франсез» Жорж Садуль отмечает, что Альфавиль не кажется выдумкой, а лишь «новым вариантом печально известного гитлеровского концентрационного ада, изображенного Годаром с силой и блестящим сарказмом, достойным Маяковского».

По словам Сервони во «Франс нувель», в фильме показано, как «полная американизация жизни и безмерное увлечение техникой приводят к гибели не только культуры, но и всего человеческого в людях».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ТРНКА ЭКРАНИЗИРУЕТ БОККАЧЧО

Известный чешский кинематографист Иржи Трнка, создатель многих кукольных фильмов, обратился в своем творчестве к «Декамерону» Джованни Боккаччо.

Его новый цветной кукольный фильм называется «Архангел Гавриил и синьора Гусыня». В его основу легла вторая новелла четвертого дня «Декамерона». В ней рассказывается о том, как развратный монах Альберто, приняв облик святого, соблазнил глупую, богобоязненную мещанку Лизетту, а затем был подвергнут публичному осмеянию. Режиссер сумел придать своему произведению необычайно выразительное антирелигиозное звучание.

«Фильм Трнки представляет собой произведение самобытное, тонко задуманное и остроумное, со вкусом поставленное,— пишет чехословацкий критик Ярослав Бочек.— Каждый жест, каждое движение имеют здесь свое значение и свидетельствуют о том, что Трнка — не только знаток жизни и ее преходящих утех, но также психолог, который способен глубоко проникать в души людей». Фильм Трнки «Архангел Гавриил и синьора Гусыня» получил уже две премии: на международном кинофестивале в Оберхаузене и в Карловых Варах, во время Дней короткометражного фильма.

Кадр из кукольного фильма Иржи Трнки «Архангел Гавриил и синьора Гусыня».
(Еженедельник «Фильм»)

ИЗДАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЛУ СИНЯ

Пражское издательство «Книговна класику» впервые познакомило своих читателей с эссеистическими заметками Лу Синя, которые занимают значительное место в его творчестве. В сборник, составленный известным чешским исследователем творчества Лу Синя — Б. Кребсовой, вошло около девяноста произведений писателя острого публицистического содержания, относящихся к 20-м годам. Материал взят главным образом из сборников «Горячий ветер», «Могила», «Под роскошным балдахином». Публицистика была для писателя боевым оружием в борьбе с уродливыми общественными явлениями. Многие общенациональные проблемы Лу Синь ставил именно в своих эссе.

Не замыкаясь в узкие национальные рамки, мысля широко, свободно оперируя знаниями национальной и мировой культуры, Лу Синь сражался, по его собственному выражению, с «убийцами современности». «Мысль о гибели человечества вызывает огромную скорбь, огромную печаль, не такую, как гибель отдельного человека... Жизнь не боится смерти — перед лицом смерти она смеется, танцует, перешагивает через гибнущих и неуклонно движется вперед, ничто не может остановить ее в этом поступательном развитии»,— писал он.

В Китае 20-х годов лучшие силы нации устремлялись в литературу, которая сливалась с революционным движением. Эти годы отмечены особенно интенсивным проникновением в Китай идей и учений из-за рубежа. Новые понятия, не только учения в целом, усваивались не сразу, понимались своеобразно, подчас путанно, за что писатель беспощадно критиковал своих современников. «Если случайно к нам попадают идеи извне, они немедленно истолковываются по-своему, а некоторые теоретики даже гордятся этим... Между нашим пониманием и идеями других народов действительно на-

ходится несколько слоев железной стены. Они говорят о семейном вопросе, а мы полагаем, что они раздувают войну, они пишут о социальных недостатках, а мы говорим, что рассказывают анекдоты...». Каждое общественное явление находило отклик у писателя-гражданина, он вскрывал его сущность со свойственной ему глубиной и ясностью. Резко критиковал он горе-патриотов, невежд-крикунов за их массово-слаженное самовосхваление всего национального, оправдываемое тем, что «...нас 400 миллионов. Разве нас уничтожишь?»

Лу Синь ставил проблемы остро и принципиально. В них явственно обнаруживаются черты писателя-философа. Он умело объединял взгляды на прошлое и настоящее со взглядом на будущее, хорошо ощущал историческую перспективу.

В своих эссе Лу Синь «создал нечто вроде энциклопедии китайского общества, в которой мы найдем все, от самых важнейших проблем до мелких вопросов повседневной жизни», поэтому они представляют значительную ценность для понимания деятельности самого писателя и общественного и литературного процесса того времени и многих других вопросов, справедливо утверждает Б. Кребсова в своем предисловии к сборнику.

ЦЕЙЛОН

УСПЕХИ НАЦИОНАЛЬНОГО КИНО

В нынешнем году на Международном кинофестивале в Дели первая премия — «Золотой павлин» — была присуждена цейлонскому фильму «Деревня меняет свое лицо» режиссера Лестера Джеймса Периса. «Это заслуженное признание творческих успехов национальной кинематографии»,— писал корреспондент индийского журнала «Филмфэр». К концу прошлого года национальная тематика, принесенная в кино главным образом молодыми режиссерами, заняла прочное место в цейлонской кинематографии. Признание публики и критики получили такие фильмы, как «Восходящая звезда», «Молодежь», «Рыбак» и «Деревня меняет свое лицо», в которых правдиво показана жизнь страны.

Аналогичные тенденции наблюдаются и в целом ряде произведений, находящихся сейчас в стадии производства,— в картине режиссеров Сумитры Перис и Гамини Фонсека «Мифический цветок», в фильме Дхармасири Калдера «Холодная вода» —социальной сатире, построенной на ярких контрастах между жизнью города и деревни, в новом произведении Лестера Джеймса Периса «Между двух миров», поставленном в реалистической манере, без традиционных песен и танцев. «Стереотипные фильмы, сопровождаемые в большинстве своем песнями и танцами, не удовлетворяют больше цейлонцев,— пишет корреспондент.— Они предпочитают серьезные и высокохудожественные картины, верно отражающие жизнь современного Цейлона».

ЮГОСЛАВИЯ

«ВЕТЕР ФРАКИИ»

Литературное издательство в Загребе выпустило недавно в свет книжку стихов югославской поэтессы Весны Парун «Ветер Фракии». Это уже одиннадцатый томик стихов талантливой поэтессы, поэзия которой оценивается критиками как одно из наиболее значительных явлений современной югославской литературы.

Критики подчеркивают при этом, что Весна Парун — представительница «типично женской поэзии», что она — певец любви и что любовь — основное содержание ее стихов.

Между тем, пишет рецензент газеты «Борба» Драган М. Еремич, в действительности любовь в стихах Весны Парун является лишь тем откровением, которое определяет одну из важнейших сторон человеческой жизни. Весь творческий путь Весны Парун пронизан поисками смысла жизни. Разумеется, в сборнике «Ветер Фракии» она не открыла «тайн жизни», но, во всяком случае, выразила свой взгляд на мир — плод постоянных поэтических и философских исканий. Богатый красками, лаконичный, живой язык — неотъемлемая часть сборника, пишет Еремич.

ДАР ПИКАССО

Известный французский художник Пабло Пикассо подарил Музею современного искусства в городе Скопле свою картину «Голова женщины». Скоро это полотно вместе с другими произведениями французских художников, подаренными музеям города, пострадавшего от землетрясения, будет доставлено в столицу Македонии.

ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ПО ЗАКОНАМ АПАРТЕИДА

Известный английский певец Адам Фейт согласился выступать в Южно-Африканской Республике после того, как ему официально было обещано, что 42 из 48 концертов, которые он даст, будут проходить перед смешанной аудиторией.

Однако после первых же концертов Фейт понял, что его обманули. В зал, где он выступал, допускались только белые. Окончательно убедившись в этом, он решил прервать гастроли. Тогда южно-африканская полиция, под предлогом нарушения контракта, арестовала певца.

Несмотря на угрозы, Адам Фейт не изменил своего решения. В конце концов полиции пришлось освободить певца и разрешить ему возвратиться на родину.

Эта позорная расправа с артистом, отказавшимся по-

такать политике апартеида, по словам корреспондента журнала «Форвард», еще раз показала всему миру, что южно-африканские расисты не брезгают никакими средствами, чтобы и в искусстве сохранить расовую дискриминацию.

ЯПОНИЯ

ИНТЕРВЬЮ ТАКЭСИ КАЙКО

Недавно известный японский писатель Такэси Кайко отправился в Южный Вьетнам. Перед отъездом с ним встретился представитель редакции журнала «Бунгэй» и взял у него интервью.

— Какова цель вашей поездки? — спросил он у писателя.

— В последние годы,— ответил Кайко,— я побывал во многих странах мира. Но материальные затруднения не позволяли мне осуществить свое давнее намерение — своими глазами увидеть то, что происходит в Южном Вьетнаме. Дело в том, что, по моему глубокому убеждению, у Америки нет другого выхода, как начать мирные переговоры и вывести свои войска из Вьетнама...

Я недавно перечитал «Тихого американца» Грина. Как вы помните, он описывает то время, когда французы начали терпеть поражение во Вьетнаме и их место стали занимать американцы. Грэхем Грин проделал огромную работу. Чтобы написать свой небольшой роман, он ежегодно в течение пяти лет ездил во Вьетнам. Нередко бывал и на передовой.

Мне кажется, что Вьетнам тех лет мало чем отличается от Вьетнама наших дней... Поэтому, на мой взгляд, роман Грина не устарел и сегодня.

В общем, я отправляюсь в Южный Вьетнам и надеюсь увидеть там много интересного.

ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ХИРОСИ НОМА

Известный писатель Хироси Нома поделился недавно на страницах журнала «Бунгакукай» своими творческими планами.

«До недавнего времени я был болен, — пишет он,— но теперь поправляюсь и чувствую себя уже настолько хорошо, что могу снова работать над своим романом «Кольцо молодости», который надеюсь издать осенью или, в крайнем случае, зимой. Это моя ближайшая задача, и мне хочется думать, что ее осуществление не за горами... Потом я попытаюсь закончить «Глаза часов» и, наконец, «Крылья земли». Видимо, для завершения «Крыльев земли» потребуется года четыре, а может быть, даже пять лет, но я полон решимости продолжить работу над романом.

Из всех моих незавершенных произведений этот роман волнует меня больше, чем все остальные. Он принадлежит к числу самых любимых моих произведений. Может быть, мне не хватит таланта, чтобы закончить этот роман, но все же мне жаль с ним расстаться. Я буду работать над ним даже несмотря на то, что недавно Такэо Окуно и Момо Иида писали о нем, как о моей неудаче, хотя роман еще не закончен и выносить о нем окончательное суждение пока рано... Я буду спорить со своими критиками. Бороться я буду не словом, а делом — закончу роман».

Авторы этого номера

АХИЛЛЕАС ПИЛИОТИС (род. в 1925 г.)

Кипрский поэт, чье поэтическое творчество складывалось в годы освободительной борьбы кипрского народа. Его стихотворения составили сборник, вышедший в 1955 году под названием «Послушайте!». Многие месяцы А. Пилиотис провел в английских тюрьмах и концентрационных лагерях на Кипре, где им была написана поэма «Голос нашей земли» (1959), откуда взяты напечатанные в номере стихи. Некоторые стихотворения поэта отмечены премиями на Всемирном фестивале молодежи в Варшаве.

В русском переводе стихи А. Пилиотиса опубликованы в сборнике «Кипрская рапсодия», выпущенном издательством «Иностранная литература» в 1961 г.

■

ФЕОДОСИС ПИЕРИДИС (род. в 1908 г.)

Один из ведущих современных кипрских поэтов. Начало его литературного творчества относится к 1930 году. Стихотворения и поэмы Ф. Пиеридиса составили около пятнадцати сборников, среди которых «Мы тоже умеем слагать песни» (1937), «Баллада о Марии» (1939), «Десять песен» (1940), «Любовная история» (1943), «Ода нашим дням» (1951), «Марш мира» (1955), «Кипрская симфония» (1956), «Золотая тропа» (1961) и др. Некоторые из его стихотворений, переведенные на русский язык, вошли в сборник «Кипрская рапсодия».

■

ЭЛЛИ ПЕОНИДУ (род. в 1940 г.)

Стихи молодой кипрской поэтессы, включенные в нашу подборку, вошли в первый ее сборник под названием «Ладонь, открытая солнцу» (1964). Элли Пеониду по профессии учительница, ее стихи часто публикуются в греческой печати.

■

МИХАЛИС ПАСИАРДИС принадлежит к самому молодому поколению кипрских поэтов. Ему двадцать лет, он работает литературным сотрудником кипрского радио. В 1964 году М. Пасиардис опубликовал два сборника своих стихотворений — «Разговор со звездами» и «Стихи № 2». Напечатанные в этой книжке журнала стихотворения взяты из кипрского журнала «Обозрение искусства».

■

ЛУАНДИНУ ВИЕЙРА — LUANDINO VIEYRA (Жозе Виейра Матеус де Граса) (род. в 1935 г.).

Молодым ангольским писателем Л. Виейрой кроме стихов написан сборник рассказов «Город и детство» («Cidade e a infancia», 1960), книга «Луанда», получившая премию Ассоциации писателей Португалии за 1965 г. За присуждение премии этой книге Ассоциация писателей была распущена португальскими властями.

Как один из создателей партии «Народное движение за освобождение Анголы», автор книг, разоблачающих преступления колониализма, писатель дважды был брошен в тюрьму и в настоящее время находится в заточении на островах Зеленого мыса.

ЭЙСУКЭ НАКАДЗОНО (род. в 1920 г.) — японский писатель, автор повести «Когда погас свет» (1960), удостоенной премии Акутагава, приключенческих романов «Время блужданий» (1959), «Тайное послание» (1963).

Публикуемый в этом номере рассказ был напечатан в токийской газете «Нихон докусё синбун».

РАЗИПУРАМ КРИШНАСВАМИ НАРАЙАН — RASIPURAM KRISHNASWAMI NARAYAN (род. в 1906 г.).

С творчеством этого видного индийского писателя читатели нашего журнала хорошо знакомы по романам «Святой Раджу» (№№ 6—7, 1960) и «Людоед в Мальгуди» (№ 2, 1964 г.).

Индийская общественность выразила свое признание выдающихся заслуг писателя, избрав его членом Литературной академии Индии и присудив Национальную премию Академии — высшую литературную награду страны.

РИЧАРД РАЙВ — RICHARD RIVE (род. в 1931 г.) — южно-африканский писатель.

Р. Райв живет в Кейптауне, преподает английский язык и латынь в высшем учебном заведении для цветных. Рассказы Р. Райва, описывающие южно-африканскую действительность, проникнуты симпатией к коренному населению страны. Перу Р. Райва принадлежит сборник «Африканские рассказы» («African stories», 1963), из которого взят публикуемый рассказ «Кафе у дороги». Его роман «Чрезвычайное положение» («The Emergency») вышел в Англии в 1964 г.

ДЖОН БОЙНТОН ПРИСТЛИ — JOHN BOYNTON PRIESTLEY (род. в 1894 г.)

Сатирический роман «Сэр Майкл и сэр Джордж» («Sir Michael and Sir George») известного английского писателя и драматурга Дж. Б. Пристли, который мы начинаем публиковать в этом номере, в журнальном варианте, вышел в 1964 г.

Творчество Дж. Б. Пристли хорошо знакомо советским читателям по выходившим в русском переводе книгам: «Затемнение в Грэтли», «Дневной свет в субботу», «Улица Ангела»; его пьесы «Опасный поворот», «Время и семья Конвей» и др. с успехом шли на сценах советских театров.

В «Иностранной литературе» напечатаны пьеса Дж. Б. Пристли «Теперь пусть уходит» (№ 2, 1958) и повесть «31 июня» (№ 9, 1962).

КОБО АБЭ (род. в 1924 г.) — один из наиболее оригинальных и талантливых писателей современной Японии, участник прогрессивного литературного движения, романист, новеллист и драматург. Известны его романы «Стена» (1951), получивший премию Акутагава, «Звери стремятся домой» (1957), «Женщина в песках» (1963), «Чужое лицо» (1964). Многие его произведения переведены на европейские языки, пьеса «Охота на рабов» шла в театрах Чехословакии.

КЭНДЗАБУРО ОЭ (род. в 1935 г.) принадлежит к младшему поколению японских писателей. Его многочисленные рассказы и повести, посвященные главным образом проблеме молодежи в современном японском обществе, пользуются широкой известностью, а появление некоторых из них, как, например, романов «Семнадцатилетние» и «В клетке», явилось своего рода событием в современной японской литературе.

ХУАН БОШ — JUAN BOSCH (род. в 1909 г.).

В этом номере мы печатаем в сокращенном виде статью видного доминиканского писателя Хуана Боша «Возможности рассказа».

Х. Бош известен как автор многочисленных рассказов из крестьянской жизни, составивших сборники: «Большая дорога» («Camino real», 1933), «Индейцы» («Indios», 1935), «Бремя воды» («Dos pesos de agua», 1944), «Девушка из Ла Гуайры» («La muchacha de La Guaira», 1955), «Рассказы, написанные в изгнании» («Cuentos escritos en el exilio», 1962) и др.

Писателем был опубликован также роман «Плутовка» («La mañosa», 1936) и ряд литературоведческих работ.

В 1963 г. Хуан Бош был избран президентом Доминиканской Республики, но вскоре свергнут в результате переворота, организованного империалистическими силами США.

■

МАРТИН НАГ — MARTIN NAG (род. в 1927 г.).

Под рубрикой «Что читают сегодня» в этой книжке журнала вы найдете статью норвежского литературного критика М. Нага, написанную для нашего журнала.

Перу М. Нага принадлежит также ряд книг и статей о советской литературе.

■

ЭРИК ЛУНДКВИСТ — ERIC LUNDQVIST (род. в 1927 г.)

В этом номере мы публикуем главы из книги «Мать-Индия» («Moder India», 1964) известного шведского писателя Эрика Лундквиста.

Читателям нашего журнала он знаком по интересным очеркам «Бали» («Bali», 1957), публиковавшимся в № 1 за 1959 г., посвященным Индонезии, где Э. Лундквист прожил много лет. Его роман «Дикари живут на Западе» («Vildarna finns i väst», 1951), очерки и рассказы завоевали признание читателей в нашей стране.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: **И. И. АНИСИМОВ, Б. Г. ГАФУРОВ, С. А. ГЕРАСИМОВ, С. А. ДАНГУЛОВ** (зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, И. М. КУЛАКОВСКАЯ** (отв. секретарь), **Т. Л. МОТЫЛЕВА, Л. В. НИКУЛИН, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, В. П. ТЕРЕШКИН, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

И. о. художественного редактора **В. Л. Шачнев**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон: В 3-51-47.

А 11115. Сдано в производство 12/VI-65 г. Подписано к печати 11/VIII-65 г.

Бумага 70×108¹/₁₆=9,0 бум. л.; печ. л. 24,66. Зак. 1404.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394